Георгий Владимов

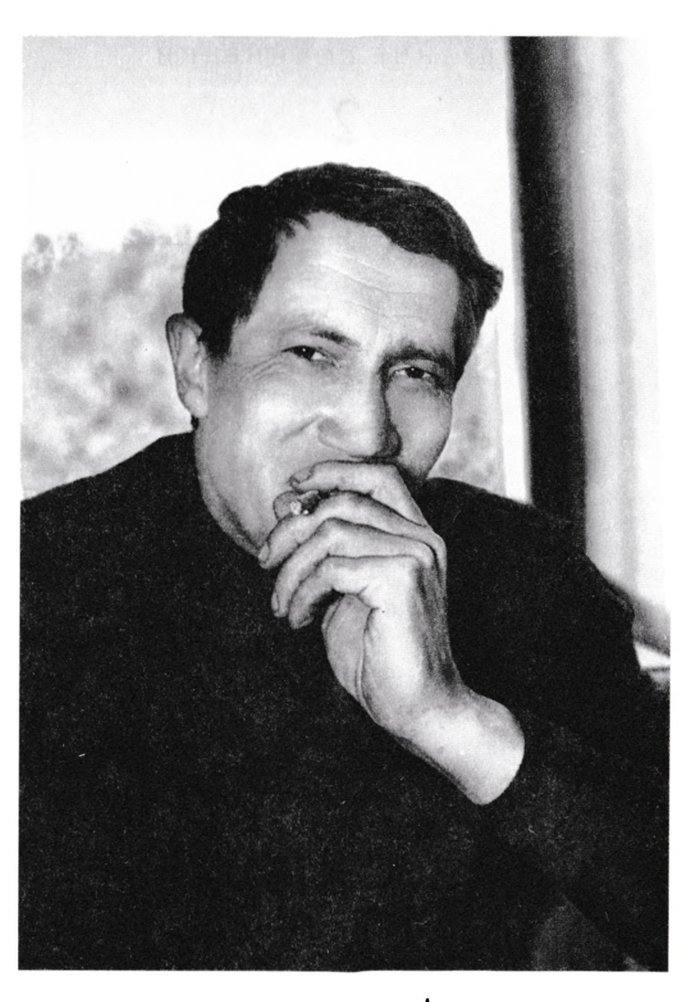
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

2

Георгий Владимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

2



Георгий Владимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Том второй

✦

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

Роман

✦

Москва
«NFQ/2Print»
1998

УДК 882 Владимов 2 + 882-31 Владимов
ББК 84 (2Рос=Рус)6
В 57

Оформление художника
Т. САФАЕВА

ISBN 5-900041-03-4 (Т.2)
ISBN 5-900041-01-8

✦

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

Роман

✦

Ты не Дух, – он сказал, – и ты не Гном.
Ты не Книга и ты не Зверь.
Не позорь же доброй славы людей,
воплотись ещё раз теперь.
Живи на Земле и уст не смыкай,
не закрывай очей
и отнеси сынам Земли
мудрость моих речей:
что каждый грех, совершённый двумя,
и тому, и другому вменён.
И... Бог, что ты вычитал из книг, да будет
с тобой, Томлинсон!

Р. Киплинг

Глава первая

ЛИЛЯ

1

Сначала я был один на пирсе. И туман был на самом деле, а не у меня в голове.

Я смотрел на чёрную воду в гавани — как она дымится, а швартовые белеют от инея. Понизу ещё была видимость, а выше — как в молоке: шагов с десяти у какого-нибудь буксирчика только рубку и различишь, а мачт совсем нету. Но я-то, когда ещё спускался в порт, видел — небо над сопками зелёное, чистое, и звёзды как надраенные, — так что это ненадолго: к ночи ещё приморозит, и Гольфстрим остудится. Туман повисит над гаванью и сойдёт в воду. И траулеры завтра спокойненько выйдут в Атлантику.

А я вот уже не выйду. Я своё отплавал. И дел у меня никаких в Рыбном порту не было; просто завернул попрощаться. Посмотрю в последний раз на всю эту живопись, а после — смотаю удочки да и подамся куда-нибудь в Россию. В смысле — на юг.

Тут они являются, два деятеля. Вынырнули из тумана.

— Кореш, — кричат, — салют!

Оба расхристанные, шапки на затылке, телогрейки настежь, и пар от них, как от загнанных.

— Салют, — говорю, — кореши. Очень рад видеть.

А на самом деле — никакие они мне не кореши. Ну, с одним-то, с Вовчиком, я корешил недолго, рейса два сплавали вместе под тралом, даже наколками обменялись. У него на пальцах «Сеня» выколото, а у меня — «Вова». Ну, выколото, и ладно. А второго-то, пучеглазого, я вообще в первый раз видел. А он-то громче всего и орал. И с ходу лапаться полез мослами своими загребущими.

— Гляди, кого обнаружили! Нос к носу вышли — при такой видимости. Как это понимать, Вовчик?

«А так и понимать, — думаю, — что ты носом своим лиловым всегда кого надо обнаружишь. А раньше всего —

денежного человека». Видно же, с кем имеешь дело — с бичами непромысловыми*. Которые в море не ходят, только лишь девкам травят про всякие там «штормяги» и «переплёты». Не портовым девкам, а городским. А все-то ихние «переплёты» — сползать раз в день отметиться в кадрах, лучше всего — под вечер, когда уже вся роль на отходящее судно заполнена. Ну, и дважды в месяц потолкаться возле кассы, получить свои законные — семьдесят пять процентов. Чем не жизнь! И вечно они кантуются на причалах, когда траулеры швартуются и ребята на берег сходят с авансом. Тут они тебя прижмут — гранатами не отобьёшься. «Салют, Сеня! Какие новости? Говорят, в Атлантике водички поубавилось, пароходы килём по грунту чешут, захмелиться бы надо по этому поводу. Моряки мы или не моряки?» И знаешь ты их, как родных, а всё равно — и поишь, и кормишь, потому что любому рылу береговому рад, и душа твоя просится на все четыре стороны.

– Что, — спрашиваю, — бичи? На промысел топаете?

— Какой теперь, к шутам, промысел? — пучеглазый орёт. — Не ловится в этот год рыбёшка. Научилась мимо сетки ходить.

— А ты почему знаешь?

— Осподи! Сами ж неделю как с моря.

А море он в позапрошлом году видел. В кино. Потому что у нас не море, а залив. Узкий, его между сопками и не видно. А неделю назад я сам вернулся из-под селёдки, и этот же Вовчик меня на этом же самом причале встретил.

Смутился Вовчик.

— Ну где ж неделя, Аскольд? Больше месяца.

— Да где ж месяц?

— А где ж неделя?

Уйти бы мне от греха подальше, но, сами понимаете, интересно же — кто сегодня пришёл, кого в последний мой день принимают в порту, а верней всего у бичей узнаешь, можно к диспетчеру не ходить.

– Ладно, — говорю, — считаем: неделя без году. Кого встречаете, Вовчик?

---

* Слово «бич» ведёт своё происхождение, по всей видимости, от английского «beach» — пляж, берег, морская отмель. «To be on the beach» — быть на мели, в отставке *(морской сленг)*. Русская расшифровка — «бывший интеллигентный человек» — также не лишена смысла. — *Здесь и далее примечания автора.*

— Своих, трёхручьёвских, — отвечает мне Вовчик. А он и правда к женщине одной, инкассаторше, на Три Ручья* ездил. Трёхручьёвские ему, конечно, свои. — Триста девятый пришёл, «Медуза».

Ну, и пошёл, конечно, обыкновенный рыбацкий трёп:

— А куда ходили?

— К Жорж-Банке**.

— А что брали?

— Окуня брали, хека серебристого.

— И хорошо брали?

— Не сильно.

— Штормоваться пришлось?

— Что ты! Штиль всю дорогу, хоть брейся. Гляди в воду и брейся. Хотя окунь-то, он в штиль не любит ловиться.

— Значит, и плана не набрали?

— Да почти что в пролове. Премия-то, ясно, накрылась. Ну, гарантийные получат, и коэффициенту набежит; под Канадой — там вроде ноль-восемь.

Всё знают бичи: и кто куда ходил, и как рыбу брали, и кто сколько получит. Зато сами в пролове не бывают.

— Дак вот, плешь какая, — Аскольд опечалился. — Пришли ребята с Жорж-Банки, четыре месяца берега не нюхали, а их в порт не пускают. Локатор из строя вышел. Со вчерашнего дня и стоят на рейде, видимости ждут.

— Что ж, — говорю, — зато целее будут.

Но это они умеют мимо ушей пропустить. Помолчали для вежливости. Вовчик спрашивает:

— А у тебя чего, отход на сегодня назначен?

— Нет, — говорю, — кончилась для меня эта музыка.

— Списали, значит?

— Зачем? Сам решил уйти.

— Что ж так?

— А вот так. Надоело.

— И документы забрал?

— За этим, что ли, дело — с тюлькиной конторой расчихаться?

— Н-да, — говорит Вовчик, — куда ж ты теперь пойдёшь?

---

* Три Ручья — район Мурманска, расположенный по другую от центра города сторону залива.

** Джорджес-Банка — обширное мелководье у берегов Канады.

— Не пойду, — говорю, — а поеду.

— На другое море?

— Люди, Вовчик, не только ж по морю ходят. И на сухом месте объякориться можно.

— Можно. Да смотря как.

— Ну, по крайней мере, не как у тебя, по-глупому: ни в море, ни на земле.

Аскольд стоял и помалкивал, губы развесив, как будто его не касалось. А Вовчика я всё же смутил. Да ведь он уже долго бичевал, пообвыкся в бичах, плюнешь в него — утрётся.

— Что ж, — говорит Вовчик, — тут грех отговаривать. Если человек решился. Может, захмелимся по этому поводу?

— Да захмелиться-то недолго...

— А что мешает? Монеты кончились? Вон, Аскольд пиджак может заложить, ты расчёт получишь — выкупишь.

— Монеты не кончились, Вова. Дураки, — говорю, — кончились.

За такие речи любой моряк дал бы мне по глазам. Но эти уже и забыли, когда и звались по-честному моряками, они только переглянулись, когда я сказал про монеты; Аскольд даже губу лизнул. А все деньги у меня при себе были, в платке, в нагрудном кармане, заколотые булавкой, — тысяча двести новыми. Всё, что осталось с последней экспедиции. Мы ходили под селёдку в Северное, к Шетландским островам, и рыба хорошо заловилась — иной раз по триста, по четыреста бочек в день брали — поуродовались, как карлы*, зато и премию взяли, и прогрессивку. И тридцать процентов начислили мне полярки**. А истратил я — на папиросы в лавочке, на лезвия, ну и долги по мелочам роздал, и матери по аттестату. Ну, приход свой, конечно, отметил — рублей на полста. Но уж в кредит на плавбазах не взял ни на рубль, и на берегу ни одной стерве не перепало. Кончился для некоторых Сенька Шалай, списывается по чистой и аванса не просит.

Так вот, я и говорю им:

— Монеты не кончились. Дураки кончились.

---

* Это загадочное сравнение автор объяснить не берётся.

** Надбавка к жалованью за само пребывание на Севере, по 10% за каждый год. Рассказчик, стало быть, отбыл три года.

— Как это понимать, Вовчик? — Аскольд понемногу обидеться решил, багровый сделался, глазищи только на шапку не вылезли. — Это он, выходит, с матросами не желает знаться!

А Вовчик, друг мой, кореш, засмеялся и говорит:

— Он же шпак теперь без пяти минут, разве не слышал? Он теперь в Крым поедет, будет там на пляже придуркам травить, какая в Атлантике сильная погода.

Хотелось мне врезать ему, но ведь кореш всё-таки, да и я ему тоже не комплименты говорил, — раздумал и пошёл от них подальше. У меня в этот день была мечта — обойти все причалы, судоверфь, сходить на катере в доки на Абрам-мыс, везде побывать, где я бывал, откуда уходил в море или в ремонте стоял, нёс береговую вахту, — а теперь вот сразу и расхотелось. Потому что ещё кого-нибудь встретишь и не отвяжешься, такие пойдут беседы.

— Обожди-ка! — Вовчик мне крикнул. Так они и стояли на пирсе, но уже лица не увидишь, одни ноги свисали из тумана. — Значит, не повстречаемся больше? Так, что ли, кореш? А мне и подарить тебе на прощанье нечего.

— Подари, когда будет, Аскольду.

— Он вот и сам предлагает: подарить бы чего дураку. Чтоб хоть память осталась. А хочешь — мы тебе курточку сосватаем?

— Какую ещё курточку?

— Лопух, в чём же ты уедешь?

Подошли, и Вовчик меня взял за пальто, раздраил на груди.

— Срам! Девки на первом броде* засмеют. Ну, флотский! Ну, северный! Бостоном не мог обшиться, макен** позаграничнее нацепить. Жмёшься вот, а себе же и прогадываешь. Где он, этот-то, с курточкой?

— Здесь он, — Аскольд куда-то рукой махнул. — Промеж пакгаузов ходит.

— Понимаешь, механичек тут один, с торгового, такого курта загоняет: ты во сне увидишь, проснёшься и опять скорей заснёшь!

– Норвежеская! — пучеглазый орёт. Чем другим, а глоткой бог не обидел малого. — С мехом, понял, на подстёжке. Цветом не то вроде серенькая, а не то, понял, тём-

---

* Брод — место, где бродят, знакомятся, гуляют, — бульвар, набережная и т. п. *(сленг)*.

** Макен — макинтош, плащ.

ненькая такая, в дымчик. Что ты! У спекулей разве такую достанешь?

— А он что, не спекуль? Торгаш* этот.

— Ну где ж спекуль? — Вовчик мне доказывает. — Сотнягу просит. Можно считать, даром отдаёт. Ну, бывает несчастье у человека — купил, а не в размер. А на тебя, мы так прикинули, в сам раз.

А я, в том-то и дело, насчёт такой курточки давно мечтал. Сраму-то на мне не было, — вот уж на них срам, это точно! — а у меня пальто было велюровое, с мерлушкой, костюм коверкотовый, шапка тоже в порядке. Но всё моё — что на мне надето. Так и затаскать недолго, следить же за мной некому. А главное, во внешнем облике, как говорится, ничего у меня морского-то не было, один тельник полосатый под рубашкой. А всё-таки море меня видело, память должна же остаться!

— Чего раздумываешь? — спросил Вовчик. — Так он тебя и ждал, торгаш, с такой курточкой! Ну-к, стой тут на пирсе, никуда не беги...

Прихлопнули меня по плечам, и нет их, растаяли. А я стою и жду. А потом думаю: лопух я, вот уж действительно! Доверился бичам, чтоб они мне барахло сватали. Ведь они четвертак за комиссию попросят, у них такой прейскурант, за прекрасные глаза ничего не делается. А нужна мне ихняя комиссия! Что я, сам бы не мог торгаша этого повстречать? К тому же на моих золотых, смотрю, уже два пробило, вот-вот стемнеет.

И снялся я с места, пошёл по причалам, под кранами, вдоль пакгаузов. Потом увидел — ни к чему всё это. Да и туман. Хороший я себе денёк выбрал для прощания! Но ведь его не выбираешь, проснёшься как-нибудь утром — или сегодня, или никогда! А почему именно сегодня, не надо и спрашивать. Как спросишь — так и раздумаешь.

И всё-то я знал в Рыбном порту, любую дорогу отыскал бы с завязанными глазами — только по запаху, по звуку. Вот я слышу: солёной рыбой уже не пахнет, а пахнет мороженым свежьём, аммиаком, — это я на десятом причале, возле рефрижераторов. Дальше — мочёными досками запахло, ручники стучат по железу, шофера матерятся, — тарные склады, двенадцатый причал, здесь контейнеры набивают порожними бочками. Ещё дальше — нефтя-

* Торгаш — моряк (также и судно) торгового флота.

ной дурман, и насосы почмокивают, — там уже тринадцатый, там топливо берут и воду.

Если б я ещё лет пять проплавал, я бы и не это знал — чьи там гудки перекликаются, чья сирена попискивает — водолазов зовёт или сварщика, и как этого диспетчера зовут, который в динамик хрипит на всю гавань:

— «Чеканщик»! Включите радио, «Чеканщик»!.. Буксир «Настойчивый»! Переведите плавбазу «Сорок Октябрей» на двадцать шестой причал!..

Но я, пожалуй, и так слишком долго плавал. Хватило бы мне и года. И ничего бы я такого не переживал. Уехал бы и как-нибудь прожил без моря. А может быть, и не прожил бы — человек же про себя ничего не знает.

У Центральной проходной я оглянулся напоследок и ничего не увидел. Туман загустел — кажется, руку протянешь и пальцев своих не разглядишь.

Однако бичи меня разглядели. Совсем, бедняги, задохлись, но догнали у проходной. И с ними торгаш с чемоданчиком. А я и забыл про них.

— Что же ты подводишь? — Аскольд кричит. — Мы к тебе со всем доверием, а ты и закосил. Как это понять, Сеня?

Торгаш меня сразу глазами смерил.

— Этот, что ли? Напялим.

Он в порядке был морячок — ладненький, резвый, шуба-канадка на нём с шалевым воротником, мичманка на месте, козырёк на два пальца от брови. Это мы, сельдяные, всё больше в пальтишках, в телогрейках. А торгаши себя уважают.

Мы отошли шага на два, за щиты с газетами, и тут он вытащил свою курточку.

Какая это была курточка! Просто явление природы, и более того. Поперёк груди — белые швы зигзагами, подкладка — сиреневая, скрипучая, карманы внутри на «молниях», и по бокам ещё два косых, белым мехом оторочен- ных, и капюшон на меху, а от него до пояса «молния», а в плечах погончики вшитые с «крабом», безо всяких там якорей, якоря — это старо, и рукава тоже мехом оторочены. А насчёт цвета и говорить не будем — как штормовая волна баллах при восьми и когда ещё солнце светит сквозь тучи...

— Сдохнуть можно, — пучеглазый чуть не навзрыд. — Эх ты, мой куртярик!

— Ладно, ты, — Вовчик ему сурово. — Не куртярик, а прямо-таки куртенчик. Ты только руками не лапай, твоим он не родился.

— Ну, как? — торгаш говорит. — Тот самый случай?

Мне бы спросить, почём такое сокровище, но так же не делается, так только вахлаки на базаре торгуются, надо сперва намерить. Я скинул пальто, дал его Аскольду подержать, а пиджак взял Вовчик. Курточка мне и вправду оказалась «в сам раз», ну чуть свободна в плечах. Но это ведь не на год покупается, я же ещё раздамся.

Они меня застегнули, прихлопали, поворотили на все стороны света, торгаш с меня шапку снял и свою мичманку мне надел, как полагается. Потом открыл чемоданчик — там у него в крышку вделано зеркальце.

— Не торопись, — говорит, — посмотрись подольше. Надо же знать, какое действие производишь. Акула увидит — в обморок упадёт.

Вид был действительно — как у норвежского шкипера. Только скулы бы чуть покосее. Рот бы чуть пошире. Глаза бы — не зелёные, а серые. И волосы без этой дурацкой рыжины. Но ничего не поделаешь.

— Сколько? — спрашиваю.

— Ну, если нравится, то полторы.

— Как полторы? Ты же сотню просил.

— За такую курточку, родной, не просят. За неё сами дают и говорят спасибо. Кто тебе сказал — сотню?

Бичи, конечно, уже по сторонам загляделись.

— А больше, — говорю, — она не стоит.

Торгаш моментально мичманку с меня стащил и куртку расстёгивает.

— Будь здоров, — говорит. — Привет капитану!

— Постой. — Я уже понял, что так просто мне с нею не расстаться. — Сколько, если для конца?

— Вот для конца как раз полторы. Для начала две хотел, но — засовестился. Вижу — идёт тебе.

Я потянулся было за пиджаком, а Вовчик уже, смотрю, вынул всю пачку, развернул платок и сам отмусоливает пятнадцать красненьких. Торгаш их перещупал, сложил картинками в одну сторону, последнюю — поперёк, как в сберкассе, и нету их, сунул за пазуху. Аскольд тем временем надрал газет со стенда, завернул мне пиджак.

— Ну, сделались? — торгаш говорит. — Носи на здоровье.

— Что ты! — Аскольд ему улыбается и трогает под локоть. — Не-ет, это мы ещё не сделались. Не знаешь ты нашего Сеню. А он у нас — добрый человек. Правда же, Сень?

Откуда ему, пучеглазому, знать, добрый я или злой? Первый раз человека видит. Добрый — значит, всю капеллу теперь захмели. А торгаш и так на мне руки нагрел, с ихней же помощью.

— Да уж, — говорю, — добрей меня нету!

— А замечаешь, Сень, — всё пучеглазый не унимается, — мы с тебя за комиссию ничего не берём. А вообще — берут. Замечаешь?

Да, думаю, тяжёлый случай. Ну, что поделаешь, раз уж я в эту авантюру влез.

— Гроши-то спрячь, — Вовчик напомнил. — Раскидаешься.

Я взял у него пачку, уже завёрнутую и булавкой заколотую, и так это небрежно затиснул в курточку, в потайной карман. Как она, эта пачка, только не задымилась от ихних глаз. Любим же мы на чужие деньги смотреть!

2

И мы, значит, с ходу взошли в столовую — тут же, у Центральной проходной, и сели в хорошем уголке, возле фикуса. А над нами как раз это самое: «Приносить-распивать запрещается».

— Это ничего, — говорит Вовчик. — Это для неграмотных.

Одолжил у торгаша самописку и приделал два «не». Получилось здорово: «не приносить и не распивать запрещается».

— Вот теперь, — говорит, — для грамотных.

Но мы всё сидели, грамотные, а никто к нам не подходил. Официантки, поди-ка, все на собрание ушли — по повышению культуры обслуживания.

— Бичи, — говорю, — не отложить ли нам встречу на высшем уровне?

— Что ты! — Аскольд вскочил. — С такими финансами мы нигде не засидимся. Сейчас пойду Клавку поищу, Клавка нам всё устроит, на самом высшем!..

Пошёл, значит, за Клавкой. А торгаш поглядывал на нас с Вовчиком и посмеивался. У них в торговом порту всё это

почище делается, и никто этих дурацких плакатов не вешает. Всё равно же приносят и распивают, только не честь по чести, а вытащат из-под полы и разливают втихаря под столиком, как будто контрабанду пьют или краденое.

Пришла наконец Клавка, стрельнула глазами и сразу, конечно, поняла, кто тут главный, кто платит. Передо мною и с чистой скатёрки смела.

— Мальчики, — говорит, — я вам всё сделаю живенько, только чтоб по-тихому, меня не выдавайте, ладно?

— Сколько берём? — Аскольд захрипел. По-тихому он не умеет.

— Ну, сколько, — говорю, — четыре и берём, раз уж мы сидя, а не в стоячку. Пора уже вам жизнь-то понимать!

— Вот это Сеня! Добрый человек! А ты думаешь, Клавдия, почему он такой добрый? А он с морем прощается нежно, посуху жить решил.

Очень это понравилось Клавке.

— Вот, слава богу! Хоть один-то в море ума набрался. Ну, поздравляю.

— А ты думаешь, Клавдия, мы не добрые? Видишь, как мы его прибарахлили?

— Вижу. Хорошо, если эту курточку и его самого до вечера не пропьёте. — Клавка мне улыбнулась персонально. — Ты к ним не очень швартуйся, они же пропащие, бичи. А ты ещё такой молоденький, ты ещё человеком можешь стать.

Вся она была холёная, крепкая. Красуля, можно сказать. А лицо этакое ленивое, и глаза чуть подпухшие, будто со сна. Но я таких — знаю. Когда надо, так они не ленивые. И не сонные.

— Кому от этого радость, — спрашиваю, — если я человеком стану? Тебе, что ли?

Опять она мне улыбается персонально, а губы у ней обкусанные и яркие, как маков цвет. Наверно, никогда она их не красила.

— Папочке с мамочкой, — говорит. — Есть они у тебя?

— Папочки нету, зато мамочка ремнём не стегает. Неси, чего там у тебя есть получше.

— Не торопись, всё будет. Дай хоть наглядеться на тебя, залётного...

Торгаш посмотрел ей вслед, как она плывёт лодочкой, не спеша, чтоб на неё подольше глядели, и даже присвистнул.

— Хорошая, — говорит, — лошадка. И ты уже определённое действие производишь. Я бы уж не пропустил, ухлестнул бы на твоём месте.
— Что же не ухлестнёшь?
— Своя имеется. Пока хватает.
— Тоже и у меня своя.
— Это другое дело.
Правду сказать, насчёт «своей» это я так брякнул. Были у меня «свои», только они такие же мои, как и дяди-Васины, — но вот за такими Клавками, крепенькими, гладкими, на портовых щедрых харчах вскормленными, я ещё салагой гонялся. И с ними-то я быстрее всего состарился.
Принесла она «рижского» на всех и закусь, какой и в меню не было, — прямо как для ревизии, — жаркое «домашнее» и крабов, даже копчёного палтуса. Поставила передо мною поднос и так это скромненько:
— Угодила?
Я и не посмотрел на неё.
— Ух ты, рыженький, какой сердитый! А говорил — что жизнь понимаешь. Как же ты её понимаешь, скажи хоть?
Ни больше, ни меньше захотела знать! И ещё я почему-то рыженький для неё. Ну, есть малость, но никто меня так не называл.
— Сколько надо, — говорю, — столько понимаю. На всё другое боцман команду даст. Что касается тебя — не глядя вижу.
— Ах, — говорит, — какой залётный!..
Опять они с Аскольдом ушли, потом он приносит, озираясь, четыре поллитры под телогрейкой, и мы с них зубами содрали шапочки, налили по полному и закрасили пивом. Они-то по половинке решили начать — для долгой беседы, а мне — о чём с ними особенно беседовать, хлопнул его весь, ну и другие за мной, ободрённые примером.
— А ты здоров! — торгаш говорит.
Он и то заслезился, а уж, наверно, отведал там, в загранке, и ромов, и джинов. Стали закусывать быстренько, как будто нас кто-то гнал.
— Вот, Сеня, — Вовчик ко мне придвинулся и начал проповедовать. Он как выпьет, всегда чего-нибудь проповедует. Тем он мне и надоел. — Видишь, как всё красиво, по-мирному получилось, а ты уже и знаться с нами не хотел. А я тебе так скажу, Сеня: не отрывайся ты от бичей, они тебе родная почва. Настоящих бичей, как мы

с Аскольдом, мало осталось, всё – шушера, никто тебе в беде не поможет. Вот ты с флота уходишь, а никого вокруг тебя нету, один ты по причалам бродишь. Почему бы это, Сеня? А мы тебя и проводим, и на поезд посадим, рукой хоть помашем тебе.

Торгаш мне подмигнул.

– Пропаганда.

Но мне вдруг так жалко стало Вовчика. Ведь спивается мужик, и ничего я тут не поделаю. Я его бить хотел – ну куда его бить! Руки у него трясутся, капли по бороде текут, глаза мутные, в них жилки краснеют. И Аскольда этого пучеглазого мне тоже стало жалко. Орёт, дурень такой, рот у него не закрывается, губы никак не сложит, ну жалко же человека, разве нет!

И так мне захотелось утешить Вовчика, и Аскольда утешить, и торгаша заодно – наверно, не от хорошей жизни такую куртку толкнул...

– Об чём говорить, бичи! – это я, наверно, во всю глотку рявкнул, потому что набилось тут много портового народа, и весь народ на меня глядел. – Вечером сегодня отвальную даю – в «Арктике»! Всех приглашаю!

Бичи мои взвеселились, Аскольд ко мне обниматься полез, чуть глаз мне не выколол щетиной.

– Нет, – говорит, – ты мне объясни: за что я тебя сразу полюбил? Вот веришь – не знаю. Но я всем могу сказать: «Это такой человек! Таких теперь нету, все умерли!»

А Вовчик справился с нервами и говорит:

– Отвальная – это здорово! Святой морской закон. А сколько ж ты на неё отвалишь?

– О чём ты говоришь, волосан! – Аскольд ему рот ладошкой прикрыл. – Мелко плаваешь, понял. Не хватит у него, так я пиджак заложу. Сейчас вот Клавку позову и заложу!

– Не надо, – говорю, – поноси ещё. Будь другом, поноси.

– Так, – кореш мой, Вовчик, соображает. – А ежели мы с собой кого приведём?

– Валяй, приводи свою трёхручьёвскую. И я свою приведу.

– Ясное дело, – Аскольд кивнул важно. – Какая же отвальная без баб? А кто она у тебя? Может, она какая-нибудь тонкая, не захочет с бичами в ресторане сидеть. Не все ж такие, как ты, Сеня!

— Как это не захочет? Раз вы со мной — захочет.

Вовчик совсем растрогался — опять всем налил по полному, и мы опрокинули, а пивом уже не закрашивали, не до того было, и тут я почувствовал, что не худо бы и кончить.

Я закусил наспех, а потом встал и качнулся, голова кругом пошла, но всё же выстоял.

— Салют вам, бичи! До вечера.

— Да посиди ты, — Аскольд меня не отпускал. — И не побеседовали, душой не раскрылись. А ведь интересный же ты человек, содержательный, многогранный!..

— В «Арктике» побеседуем. Всё в «Арктике» будет.

Тут Клавка подошла, не понравилось ей, что мы так расшумелись, а я её взял за плечи и поцеловал за ухом, в пушистый завиток.

— И тебя, дурёха, тоже приглашаю.

Она и не спросила — куда, только кивнула и засмеялась.

— Значит, так, — стал Вовчик черту подводить. — Столик на восемь персон. Это тридцатку кладём на первый заказ, ну и официанту на лапу...

Аскольд авторитетно бровями подтвердил. Чёрт знает, что у них там за арифметика. В жизни, наверно, за приличным столиком не сидели, с таких всегда деньги вперёд просят. Да мне перед Клавкой не хотелось торговаться. И неудобно было, что деньги у меня в платке, как у какого-нибудь сезонника. Но Клавка не стала смотреть, собрала посуду и ушла, и я развернул всю пачку и отсчитал — и на заказ, и на лапу, и за всё, что мы тут имеем.

Торгаш заторопился, надел свою мичманку и снова сделался ладненький, ни в одном глазу.

— Погоди, — Аскольд мне сказал, — Клавка тебе сдачу сосчитает.

— Сами сосчитаете.

«Всё равно у вас, — думаю, — с Клавкой одна коалиция. Ну и чёрт с вами, а я буду — добрый. Помирать мне придётся с голоду — вы мне копья не подкинете, знаю. И всё равно я буду добрый. Вот я такой. Я добрый, и всё тут...»

Торгаш вышел со мною.

— Ты, — спрашивает, — серьёзно это, насчёт приглашения?

— Что за вопрос!

— А то, что девка правду сказала, ты к ним не больно жмись.

— Такая же она, эта девка!

— А не важно, кто учит. Ко всем прислушивайся. Гроши попридержи, не носи так. Уродовался, наверно, в море за эти гроши.

— А для чего ж уродовался? Чтоб скрипеть над ними? Пусть знают мою доброcть!

— Это они знают, родной. А поэтому семь шкур сдерут — и мало покажется.

Ну что вы скажете — профессор! Но, между прочим, сам только что полторы шкуры содрал — от стыда не помер.

— Будь здоров, — говорю. — Придёшь в «Арктику»?

— Точно не обещаю. А в смысле курточки — вспомнишь меня не раз. Ей сносу не будет. Заляпаешь чем — потри ацетончиком и опять она новая.

— Вспомню, — говорю. — Потру ацетончиком. Салют!

3

Я вышел из порта весёлый, и мороз мне был нипочём, вот только пиджак и пальто неудобно было тащить — все, кто ни шёл навстречу, ухмылялись: ну и фофан, обарахлился, до дому не утерпел. И я подумал — сколько ни живи с людьми, а что они про тебя запомнят? Как ты глупый и пьяненький по набережной шёл. И ладно, какая мне от этого печаль, не вернусь я в эти места никогда.

Сверху уже не видно было — ни воды, ни причалов, сплошное облако плыло между сопками. Небо загустело к ночи, стало ветреней, и покуда я шлёпал к общежитию — мимо вокзала, по-над верфью, — понемногу голова засвежела. И тут я вспомнил про бичей. И чуть не завыл — господи, и зачем я этот цирк затеял? «Всех приглашаю!» Видали лопуха?

А ведь эти деньги, если на то пошло, уже и не мои были. Вот я им брякнул насчёт «своей», — а ведь я правду сказал. Была девочка. И это я из-за неё решил уехать. С нею вместе уехать. Куда — не знаю, это мы ещё решим, но кто же нам на первое время поможет? Вся надежда была — в этой пачечке. А она уже вон как потоньшала — я прямо душой чувствовал, сквозь рубашку.

Я шёл как раз мимо Милицейской, где Полярный институт, и хотел уже дойти до общаги, закинуть шмотки,

но посмотрел на часы – около четырёх уже, а в пять она кончает работу. Потом её кто-нибудь провожать пришьётся или в кино позовёт, в наших местах хорошую девочку скучать не заставят.

Старуха-вахтёрша кинулась ко мне, но я сказал ей:

– Мамаша, метку несу.

А это как пароль. Метят эти учёные деятели пойманную рыбу, цепляют ей на жабры такие бляшки и выпускают, а рыбаков просят эти бляшки приносить и рассказывать – где эту рыбину снова поймали. Который год они её метят, а рыба всё та же в Атлантике и на палубу сама не лезет. Однако рубль за такую метку дают. Так что старуха меня пропустила, только велела вещички на вешалку сдать. А спросила бы – покажи метку, я бы ещё чего-нибудь придумал, на то я и матрос.

На втором этаже ходил по площадке очкарик, что-то в кулак себе шептал. Такой чудак с приветом – отрастил бородку по-северному, как у норвега, а теперь щиплет и морщится. Житья человеку нет.

– А нельзя ли, – говорю, – вызвать товарища Щетинину?

– Лилию Александровну?

– Ага, – говорю, – Александровну.

Оживился очкарик. Вот такие, наверно, и пришиваются. Чёрт-те чего он ей нашепчет, а девка и уши развесила.

– К вам, – спрашивает, – вызвать?

– Ага, к нам.

Уставился на меня с подозрением. Но я прилично держался, в сторонку дышал.

– Нельзя, – говорит, – она в лаборатории. Извините, рабочее время...

– Ну, это детали. А главное – к ней брат приехал. Из Волоколамска. Сегодня же и уезжает.

И откуда у меня в башке Волоколамск взялся? Старпом у нас был из Волоколамска.

– Это вы – брат?

– Нет, что вы. Он там внизу дожидается.

– Почему же вошли вы, а не он?

– Знаете, глухая провинция. Застеснялся.

Пошёл всё-таки звать. Вот тебе и очкарик. С бородкой, а не сообразит, что может парню девка просто так понадобиться вдруг до зарезу. Хотя бы и в рабочее время.

Ну, вот она вышла, Лиля. И он за нею выглянул.

— Лиличка, я понимаю — брат, но время, к сожалению, поджимает...

Такой он был вежливый, никак не мог уйти, стучал дверьми в коридоре, а мы стояли, как дураки, молча.

Потом я спросил у неё:

— Сразу догадалась?

— Нет. Подумала — кто-нибудь из моих.

Мы стали у перил. Тишина тут, как в церкви, по всей лестнице малиновые ковры, и всюду, куда ни посмотришь, картинки: какая на белом свете водится рыба и как её ловят — тралом, кошельковым неводом, дрифтерными сетями, на приманку, на свет. Почему-то ни разу я к ней сюда не приходил. А вот «мои» — поди, уже побывали.

— Кто же они, «твои»? Что-то не рассказывала.

— Двое моих сверстников тут приехали. Из Ленинграда. Тени забытого прошлого. Завтра уходят в плаванье.

— На «Персее»?

Есть у них при институте такое научное корыто, поисково-исследовательское, больше чем на две недели не ходит.

— Нет, они не из Рыбного, это ещё школьное знакомство. Хотят на сейнере пойти, простыми матросами.

— Романтики захотелось?

— Не знаю. Может быть, просто заработать.

— Тогда б они на СРТ шли. А то все чего-то на сейнера́ ломятся*.

— Это я им объясняла. Но им больше нравится говорить «сейнер».

— Ладно, — говорю. — Покурим?

Никогда мне не нравилось, если девка курит, но у неё хорошо это выходило, сигарету она разминала, как парень, и когда затягивалась, голову склоняла набок, смотрела мимо меня. А я на неё поглядывал сбоку и думал — чем она может взять? Она ведь и угловатая, и ростом чуть не с меня, и жёсткая какая-то — руку пожмёт, так почувствуешь, — и бледная чересчур, по морозу пройдёт и не закраснеется, — и волосы у неё копной, как будто даже и непричёсанные. Но вот глаза хорошие, это правда, у неё первой я это заметил, а насчёт других и не помню — какие у них глаза. Вот у неё — серые. И не в том даже дело,

* СРТ — средний рыболовный траулер — приспособлен для дальних океанских экспедиций. Сейнер — судёнышко для местного лова, обычно — в виду берегов.

что серые, а какие-то всегда спокойные. Вот я и думал: это она с другими – и угловатая, и жёсткая, а со мною – самая мягкая будет, всегда меня поймёт, и я её только один пойму.

– Вот так, Лиля...

– Да, Сенечка?

– Одни, видишь, в плавание идут. А другие... некоторые – с флота уходят.

– Совсем уходят некоторые? – поглядела искоса и улыбнулась чуть-чуть. – Много мы сегодня выпили?

– Ну, выпили. Разве плохо?

– Почему же? Для храбрости, наверное, не мешает. Курточка тоже по этому поводу?

Я к ней стоял плечом, облокотясь так небрежно на перила, как будто эта курточка была на мне год. Но перед нею-то ни к чему было выставляться. И как-то я почувствовал – не выйдет у меня сказать ей, что хотел.

– Я тебе что-нибудь должна посоветовать?

– Не должна...

– Ты ведь и раньше говорил, что уйдёшь.

– Раньше говорил, а теперь – ухожу.

– Наверное, тебе так будет лучше?

Вот бы и спросить: «А тебе?» Но какая-то немота дурацкая на меня нападала, когда я с ней говорил.

– Учиться мне, что ли, пойти? Тоже дело. – А я ещё и за минуту про это дело не думал. – Только вот куда?

– А тут я тебе и вовсе не советчица. Если даже про себя не могла решить. В своё время я это предоставила решать маме. Наши мамы не всегда же говорят глупости. Вот я никак не могла выбрать после школы – в медицинский или на журналистику. Почему-то все мои подруги шли – или туда, или туда. А мама сказала: «В Рыбный». Почему в Рыбный? «Там нет конкурса». Я бесилась, ревела в подушку, хоронила себя по первой категории. А потом – ничего, успокоилась.

– И теперь не жалеешь?

– А что я, собственно, потеряла? Талантов же никаких. Обыкновенная. Как все.

Только это я от неё и слышал. «Ничего мне не надо, Сенечка. Я – как все». Да всем-то как раз и хочется: одному денег побольше и чтоб работа не пыльная, другому – чтоб ходили под ним и отдавали честь, третьему только семейное счастье подай, дальше трава не расти. А её – ну

никак я не мог зацепить, ну всем довольна. Но я-то видел, как ей жилось — в чужом краю, без жилья своего, без грошей особенных, без мамы с папой, — она без них не привыкла, письма писала им чуть не каждый день.

— Что ты вдруг загрустил? — она спросила. И руку мне положила на руку. — Ну, не со мной тебе советоваться, что я в твоей жизни понимаю?

Бог ты мой, если б она знала — всё она мне уже посоветовала. Ещё когда я только увидел её. Не она бы, так я бы всё жил, как живу, и ни о чём не думал, кидал бы гроши направо-налево, путался с кем ни придётся.

— И ты ведь, главное, уже всё решил. Завидую тебе, честное слово. Чувствую твоё блаженное состояние. Может быть, это самое лучшее — не знать, что тебя ждёт впереди.

В окнах почернело, вахтёрша зажгла люстру и пригляделась: чего это мы примолкли на лестнице? А я и не сказал ещё — ради чего пришёл, не смог даже подступиться. Но впереди была «Арктика», там-то хорошо языки развязываются. Там я скажу ей — или потом, когда провожать буду: «Уедем отсюда вместе!» Вот так и брякну. Она спросит: «Куда?» А куда глаза глядят, лишь бы не спросила: «Почему вместе?» Но, наверно, что-нибудь же придёт мне в голову.

Я спросил:

— В «Арктику» не пойдёшь сегодня?

— Знаешь, мои хотят какой-то сабантуй устроить, прощальный. У меня в комнате. Им же больше негде. Я их в наше общежитие устроила, но там такие строгости, боже мой... И ты приходи, если хочешь.

— Спасибо...

— А почему именно сегодня в «Арктику»?

— Отвальную даю.

— Так полагается по вашим морским законам? А совместить нельзя?

— Никак. Это вещи разные.

— Тогда я, пожалуй, приду. Ну, я постараюсь. А что за компания будет?

— Обыкновенная. Бичи.

— Господи, всюду только и слышишь: «бичи», «бичи», а я ни одного живого бича в глаза не видела. Ты знаешь, я, кажется, всё-таки приду. Как-нибудь отговорюсь. Фактически им же только хата нужна.

— А ты?

— Ну, и я — до определённого градуса. Но вообще-то они вроде грозились дам привести. Долго я с ними не высижу. Ты лучше не заходи за мной, я как-нибудь сама...

Тут как раз он и высунулся, очкарик. И мы притушили свои окурки.

— Лиличка, я всё понимаю, но...

— Да-да, Евгений Серафимович, куда же вы делись?

Он на меня сверкнул стёклышками, я ему сделал ручкой и скинулся по лестнице. Снизу мне слышно было, как он её допрашивал:

— Где же, простите, брат? Это он и есть?

И быстренько она ему заворковала. Это она умела — чтоб на неё не обижались.

Вахтёрша на меня заворчала — где же, мол, метка, шашни тут развели, обманывают старого человека, — а мне её стало жалко: платят с гулькин хрен, и всякая шантрапа вокруг пальца обводит. Я её погладил по голове, а она зашипела и вытолкала меня на улицу.

4

Из комнаты все разбрелись куда-то. Я повалился на койку вниз лицом, но и минуты не пролежал, как стало укачивать, и пошёл в умывалку смочить голову под краном. Тут-то меня и развезло: будто бы с лица не вода текла, а слёзы, и вправду мне захотелось плакать, бежать к ней обратно на Милицейскую, умолять, чтоб она непременно пришла, а то я напьюсь в усмерть с бичами, и кончится это плохо, даже и представить боюсь как. А с нею мне никто не страшен, мы посидим и уйдём от них, а завтра возьмём билеты, колёса будут стучать, деревья полетят за окном, все в снегу... Много я ещё городил глупостей, но вот когда она мне начала отвечать, тут я и понял: всё это бред собачий. Я с нею часто так разговаривал, и немота проходила, и оказывалось — она меня с полслова понимала, отвечала мне, как я и ждал.

Я пошёл обратно в комнату, лежал там без света. А когда перевернулся на спину, луна светила в окно, а на полу серебрился снег и чернели переплёты от оконной рамы. Соседи как будто вернулись, посапывают на койках, это значит — за полночь, в «Арктику» я опоздал, проспал

всё на свете! Но кто-то, я слышу, идёт — по длинному-длинному коридору, и отчего-то я знаю: это она ко мне идёт. Мне страшно делается — нельзя же ей сюда! Они же проснутся, шуток потом таких не оберёшься... И вдруг слышу — шарк, шарк, — громадный кто-то, пятиметровый ростом, волочит свои подошвы. И ржёт по-страшному. Она от него кинулась по коридору, а за нею — с топотом, ржанием, с жуткой матерщиной, кошмарные какие-то нелюди, жеребцы, которых убивать надо! Она закричала, побежала быстрее, но от них не убежишь, догнали, повалили, топчут сапожищами. И я хочу крикнуть ребят на помощь, один же я не спасу её, и — не могу крикнуть, меня самого завалили чем-то душным. А там её добивают, затаптывают, и рёгот несётся конский, и вопли, как будто динамик хрипит на всю гавань: «Её больше нету!.. Есть ещё?.. А вот теперь — нету!» Я забился, отодрал голову от подушки...

Господи, а это старуха-уборщица шастала метлой под тумбочками, ставила табуретки на койки ножками кверху. Она мне и удружила, простыню завернула на лицо.

— Нету! — кричит. — Нету меня тут больше — жеребцов обихаживать!

— Чего шумишь, нянечка?

Подскочила ко мне с метлой наперевес.

— Проснулся, сынок? А банки с-под сайры — это дело под тумбочки шибать? Окурки, обгрызки... Плевательницы нету? Коменданту сказала... Пускай, скажу, всех вас в умывалку переселяет. Там себе живите, там себе гадьте, а меня нету!

— Это ты неплохо придумала. Всё равно мы тут временные.

— А, временные! Ну, так и я тоже временная... Закурить не найдётся?

Я ей дал «беломорину».

— Всё! — говорит. — Ушла я на фиг!

И вправду ушла. А я полежал ещё, сердце жутко как колотилось. Совсем я стал никуда, а ведь двадцати шести ещё не стукнуло парню. Но и то спасибо, разбудила к полвосьмому.

Автобуса я не стал дожидаться — сомлеешь в толчее, и завезут к чертям на рога, куда-нибудь в Росту*, — пошёл

* Северная окраина Мурманска.

своим ходом, чтоб совсем развеяло. А возле «Арктики» уже полно было страждущих, и табличка висела: «Мест нет». Но меня-то гардеробщик углядел сразу:

— Проходи, вот этот, в курточке. У него столик заказан.

Большой он был спец, даром что однорукий. Кого не надо — не пустит, нюхом определит — при деньгах ты сегодня или же на арапа рассчитываешь. И вот тоже талант у человека — никаких вам номерков, всех так помнил, кто в чём пришёл. Выходишь — пожалте вам пальтишко, и не чьё-нибудь, а ваше.

— Ко мне, — сказал я ему, — особа должна подойти, вы меня с нею видели. Каштановая, любит зелёную покраску.

Вспомнил, кивнул. Я ему подал трёшку, он её смахнул в кармашек, снял с меня шапку, отстегнул капюшон.

— С обновочкой вас!

Вот и насчёт курточки усёк, а спроси его, как меня зовут, ушами захлопает.

В зале уже надышано было, накурено, хоть топор вешай. На эстраде четыре чудака старались: скрипка, два саксофона и баян, — снабжали музыкой. Но не качественной, а так себе, «Во поле берёзонька стояла». Бичи мои сидели в углу, держали сдвоенный столик, как долговременную огневую точку, — хоть потёртые, но прикостюмленные, Вовчик даже галстук надел. С ними — Вовчикова Лидка трёхручьёвская и Клавка. Ну, Лидка, скажу вам, очень была не подарок — жилистая и злющая, видать, или просто нервная: всё щипала свой перманент и глазки на лоб заводила. А Клавка — та королевой сидела, кофта на ней широкая, голубая, с перламутровыми пуговками, в ушах золотые серёжки покачивались, и вся-то она розовая была, вся лоснилась и платочком обмахивалась сложенным, заместо веера.

Бичи мне замахали, и я уже было двинулся к ним, когда вдруг увидел «деда»*.

«Дед» сидел один за столиком — и, верно, давно уже сидел, китель был расстёгнут на три пуговки. Рядом ещё стоял стул, но прислоненный, — «дед» кого-то ждал или просто не хотел, чтоб подсаживались. Заметно он сдал за то время, что мы не виделись, морщины прорезались глубже и мешочки обозначились под глазами. Но плечи ещё были прежние, в порядке плечики, только обвисли немного.

---

* «Дед» — старший механик на судне.

«Дед» меня тоже увидел и не сказал мне ни «здравствуй», ни «салют», а выволок второй стул и улыбнулся.

— Присаживайся, Алексеич. Откуда такой красивый?

Так он меня звал — Алексеичем, как будто я был старпом или хотя бы третий штурман. Тут же и официантка подскочила, как по вызову к начальству.

— Маленькая, — сказал ей «дед», — нам повторить бы. Граммчиков триста. А чтоб совсем хорошо — четыреста. И один прибор Алексеичу. А заказывать он ещё не научился, я сам закажу, мне же и запишешь.

Меню он поднёс почти что к глазам и стал шарить пальцем.

— «Дед»... Понимаешь, я тут с компанией.

Я ему показал на бичей. «Дед» на них поглядел сурово и покривился.

— Это они тебе компания?

Официантка тоже покривилась. Я засмеялся — отчего-то всегда бичей узнают, хотя и прикостюмленных.

— Затралил нечаянно, пришлось пригласить.

— Выхода, значит, нет никакого? Ну, закажи им там, только не очень шикуй, и приходи сюда. Мы ведь с тобой полгода не виделись.

— Больше, «дед». Восемь месяцев.

Я сходил к бичам — сказать, чтоб заказывали себе чего хотят, а счёт бы прислали. И чтоб держали два места, как договаривались. Клавке это не понравилось, но плевать мне было, она с Аскольдом пришла, вот пусть и будет весь вечер Аскольдова.

Когда я вернулся к «деду», официантка ему принесла коньяк в графинчике, и «дед» его сразу весь разлил по фужерам.

— Начнём — за твой приход, Алексеич. Когда пришёл?

— Восьмого дня.

Я тут же язык прикусил: как же так вышло, что я с ним не повидался?

— А я вот завтра отчаливаю. Ну, ты не красней, меня обнаружить трудненько было. Полмесяца, с утра до ночи, на Абрам-мысу пропадал. В плавдоке стояли.

— Почему в доке, «дед»?

— Заплату пришивали на корпусе. Вот за неё тоже.

Он первый отпил, понюхал ладонь и зарычал. А мне протянул на вилке лимончик.

— Ты на каком теперь, «дед»?

— Восемьсот пятнадцатый, «Скакун».

Раньше мы вместе плавали на «Орфее», потом «дед» прихворнул, а я с кепом поругался, — не помню уже, на какую тему, — и разошлись мы на разные пароходы*.

— Что ж это делается? — сказал я «деду». — Нам же твой «Скакун» сети передавал в Северном, когда вы с промысла уходили. А я и не знал, что ты на нём.

— Помнится, передавали кому-то сети... Ну, где ж знать? Я даже на палубу не вышел. Так бы хоть перекрикнулись.

— А заплата — какая? Есть о чём говорить?

— Да повыше ватерлинии. Но длинная, на две шпации. Всё ржавчина съела.

— Но хоть заварили как следует? Принял Регистр?**

«Дед» усмехнулся.

— Тебя что больше интересует — как заварили или как приняли? Свидетельство — имеем. Прикроемся им, когда потечёт, больше-то на что надеяться? Там уже — ни ангел не явится, ни чайка не прилетит.

Мне неприятно было, что он так шутит. Знал я, как это делается. Являются три субъекта на судно, щупают заплату пальчиками и морщатся, и все их стараются побыстрее в каюту проводить, выставить им спирту или трёхзвёздочного. Но только у «деда» это не в обычае было. Всё-таки здорово он сдал, наверно. Раньше он капитанам головы отвинчивал, но судно у него из порта выходило, как со стапеля.

— Давай, «дед», ещё за твою заплату...

— Давай, — он потрепал мне волосы и успокоил: — Да там хоть всю обшивку меняй, один чёрт...

Нет, он ещё в силе был. Ведь хорошо уже нагрузился — и ни в одном глазу, другой бы уже под столиком Васю вспоминал. Я смотрел на «деда» — он оживился, вроде бы помолодел, оттого что встретил меня; я ведь знал, что он меня любит, и я его тоже любил, — и вот я думал: как же я скажу ему про своё решение? А «деду» я должен был сказать.

— Ну, а ты как, Алексеич? Месячишко погуляешь?

---

* Траулеры, конечно, не пароходы, на них стоят дизели, но так их называют моряки.

** Морской Регистр (также и Речной) — ведает страхованием судов. Эксперты Регистра оценивают качество ремонта и годность судна к плаванью, выдают (или не выдают) разрешение на выход из порта.

— Может, и больше.
— Больше-то смысла нет. Если бы летом...
— Нет уж, до лета я не дотяну.
«Дед» поглядел подозрительно.
— Ты что-то виляешь. Раньше ты со мной не вилял.
— И теперь нет. Просто я на берег списываюсь.
— Надолго?
— Не знаю. Покамест — насовсем.
«Дед» ничего не сказал, разглядывал свой фужер.
— Сказать по совести, хватит мне. Я в армии наплавался*, три года протрубил, и тут столько же. Посуху и ходить разучусь, всё палуба да палуба. А жизнь — она тоже проходит.
— Н-да, — «дед» вздохнул. Потом улыбнулся, как будто что-то вспомнил. — А что, Алексеич, может, вместе ещё поплаваем?
— С тобой-то — я б не отказался.
— А вот завтра и поплывём.
Я помотал головой. Ничего-то он не понял.
— В другой раз, «дед».
— Другого раза не будет. На пенсию меня уведут, под белы руки.
— Тебя на пенсию? Ты шутишь!
— Почему ж не пошутить? Раз ты тоже шутишь. А если по правде, то мне уже нормальную комиссию-то не пройти.
— Ну, знаешь, «дед»... Наверно, все мы, сельдяные, на пенсию уйдём, а ты останешься.
— Так вот, Алексеич. Команда, я слышал, недобрана, вожакового не хватает в роли. Я почему знаю — дрифтер с помощником сами вожак укладывали в трюме. Вот ты и пойдёшь вожаковым. Это я с капитаном обговорю.
Я подумал — наверно, не сахар ему на этом чёртовом «Скакуне». Когда уже вся команда знает, что ты последнюю экспедицию плаваешь.
— «Дед», мы же не навек расстаёмся. Ты иди и возвращайся. И чтобы с тобой ничего такого не приключилось.
«Дед» вдруг насупился, опустил взгляд. Я-то не заметил, как они подошли, эти двое. А они у меня за плечом стояли: один — Граков, персона, всей добычи начальник, «сельдяной бог», а второй — бывший мой кеп; ну, скажем,

---

* Армией моряки называют и военный флот.

один из бывших, у меня их штук семь перебыло; тоже личность знаменитая в своё время, а теперь — из его прилипал.

Они к своему столику проходили, забронированному, и как бы призадержались невзначай.

— Что же это с Сергей Андреичем-то может приключиться? — Голос у Гракова был весёлый, но как бы и озабоченный. — Привет тебе, Сергей Андреич.

«Дед» чего-то буркнул в ответ, я и то не расслышал.

— А кстати, как у тебя с восемьсот пятнадцатым? Отчалите завтра? Ты извини, я, может, не к месту...

— Да уж такие мы люди, — сказал «дед», — на службе про футбол говорим, на футболе — службу вспоминаем.

— Чего, чего? Это ты интересно!..

Граков на шажок поближе к нам пододвинулся. А прилипала его просто заклокотал от восторга, даже залысинки у него посветлели.

— Надо бы наоборот, — сказал «дед», — но не можем.

— Не можем, это точно! — тут же опять он сделался озабоченный, Граков. — Но мне докладывали: там вроде всё зализано...

— Ну, раз докладывали...

— Да я ведь и тебя немножко знаю, за тобой проверять не нужно. Ну, одну экспедицию ещё попрыгает «Скакунишко» твой, а там и на слом, а?..

— На слом, — сказал «дед».

Больше им, вроде, и говорить было не о чем. Но Граков вокруг себя пошарил глазками, и прилипала мигом куда-то шастнул — не иначе за стульями. А мы их и не приглашали, прошу заметить.

— И нас самих, наверное, на слом? Как думаешь?

«Дед» насчёт этого ничего не думал.

— Значит, последний вечерок сидишь?

— Значит, так.

А точно — прилипала уже стулья тащил. А за ним официантка — с бутылкой «Арарата». Для Гракова тут специально держали, другого он ничего не пил. Она было начала распечатывать, но прилипала у ней перехватил бутылку.

— Нет уж, это уж нам дайте...

И вышиб пробку ладонью. У него это красочно получилось — покрутил, покрутил и вышиб. Подал бутылку Гракову. А тот уселся — но не прямо к столику, а чуть боком, — и помахал бутылкой: кому бы налить первому.

«Дед» свой фужер прикрыл ладонью: у него, мол, налито до половины.

— Марочного? — Граков удивился.

— Тем более, мешать не стоит.

— Тогда, с твоего разрешения, бича захмелим.

И долил мне. Быстренько, я и не успел свой фужер прикрыть. Ну, и духу не хватило, если по правде. Он-то всё-таки бог. Я ему только сказал:

— Промыслового, прошу не путать.

— Кто же в этом сомневается? — засмеялся мой бог, даже руку мне на плечо положил. Даже прилипала, который как раз себе наливал, поглядел на меня ласково. Забыл уже, поди, как в своё время орал на меня в рубке. — А дерзкая молодёжь пошла, языкастая!

Прилипала уже не ласково смотрел, а недовольно.

— Чем же дерзкая? — сказал «дед». — Просто достоинство имеет.

— Ну да, ну да. Достоинство в первую очередь. Потом уже к старшим уважение.

Официантка стояла, не уходила. Граков поворотился к ней и пальцем показал на столик. Колечко описал. Мол, это всё на меня запиши.

Но тут случился один момент. «Дед» покряхтел и сказал:

— Ну... Мы-то уж тут давно сидим.

А это надо вам объяснить, все эти тонкости. В «Арктике» за себя по отдельности не платят. Если моряцкая компания сидит, то каждый спешит первым за всех выложить. Ну, если уж все разом выложили, то официантка решает, с кого брать. Но когда уже вместе посидели, а платят врозь — это враги, это обида. А мы как-никак, а посидели.

Граков чуть не испариной покрылся. Но недаром же он прилипалу при себе держал. Прилипала-то и спас положение:

— Димитрий Родионович имел в виду нам двоим чего-нибудь под коньячок. Салатик там фирменный или что... А горячее — на наш столик потом, мы туда перейдём.

Она записала и отошла.

— Ну, а... выпить за тебя — разрешишь? — спросил Граков.

Я поглядел на «деда». Он на меня. Он взял свой фужер. Я тоже свой взял.

Прилипала, тот просто ел своего Родионыча — глазки его медвежьи, носик кнопкой, губки, вечно поджатые. Но весь вид такой, как будто он сейчас самое важное скажет. Ну такое, до чего тебе в жизни не додуматься, и от отца с матерью не услышать, и в книжках не прочесть.

— Сергей Андреич... Во-первых, семь футов тебе под килем. Это — прими, пожалуйста. Это искренне.

«Дед» кивнул. У прилипалы сразу лоб посветлел.

— А во-вторых... Ну, не в каменном же веке мы живём. Про что я — ты знаешь. Пойми, все мы люди, все можем ошибиться, не казнить же нас за это по двадцать лет. Ах, кержак ты эдакий, ископаемый человек! Ведь пора уже кое-что и пересмотреть. Время-то, время какое было. Вот молодость сидит, разве она себе может представить, какое было время?..

Прилипала то на «деда» смотрел, то на Гракова. И такая у него на лице печаль была — ну действительно, не казнить же, ну бросьте вы старые ваши счёты, ну хоть обнялись бы... А «дед» молчал и супился. Граков ему руку на руку положил, «дед», я видел, страдал от этого, но руку свою не убирал.

Я поглядел по сторонам — никто на нас не смотрел, — и «дед» поглядел на меня, понял, что никто не смотрит, и ему стало легче.

— Слушай-ка, Родионыч, — сказал «дед». — Для чего ты это начал? Я ведь тебе никаких обид не высказываю. Ну, было, ну, прошло. Только вот пить за что, всё я в толк не возьму?

Граков опять вокруг себя пошарил глазками.

— Что ж она не несёт? Хоть минеральненькой — запить...

Прилипала вскочил, шастнул между столиками.

— А это мы сейчас сформулируем. — Граков золотой улыбкой заблестел. — Как я понимаю, ты последний год плаваешь. А ведь грустно это. Разве нет?

— Кому грустно? Тебе?

— Флоту, Сергей Андреич. Флот без тебя осиротеет.

— Так уж прямо осиротеет.

— Сергей Андреич, цену себе надо знать. Ты ещё много можешь флоту дать, молодым. Такой механик! Могут с тобой нынешние «деды» равняться? Нынешние, двадцатисемилетние? Вот и не хочется мне тебя с флота отпускать на пенсию. Ой, как не хочется!

Прилипала тем временем воду принёс, вскрыл её вилкой, забулькал по всем фужерам.

— Как, Игнатьич, не отпустим мы Бабилова с флота?

— Нельзя, Димитрий Родионович, нельзя-а!

— Вот и я думаю. — Граков уже всю ладонь «дедову» в обеих руках держал. — Ты, верно, по зрению на траулерах не можешь находиться?

— Ну, — сказал «дед». — Ты уже в курсе.

— А если — групповым механиком? Как? Правая моя рука будешь, по технической части. Целый отряд у тебя под началом, двенадцать, пятнадцать судов. Нахождение — на плавбазе, каюта — люкс. Трудненько ведь в твои годы на СРТ, покоя хочется, комфорта. Власти, если на то пошло. Как, сформулировали тостик? За группового механика Бабилова, Сергей Андреича!

— Да, — сказал «дед», — соблазнительно. Но ты погоди.

— Ну-ну, что тебя волнует?

— А вот, если я твоя правая рука буду, ты меня за минеральненькой — тоже пошлёшь?

Мне на прилипалу не хотелось смотреть, на бывшего моего кепа. И всё же я видел, как он вспотел даже, а улыбаться не перестал. А мужик — вида наигвардейского, такому б как раз на параде полковое знамя нести, рапорт почётного караула отдавать. Ужас, что можно с человеком сделать!

— При чём тут это? — Граков нахмурился. — Я серьёзно с тобой.

— Хочется мне наперед мои обязанности знать. Своё место. Может, и прогадаю по глупости. — «Дед» убрал свою руку, поглядел на прилипалу в упор. — Скажи-ка мне, Игнатьич, ты по мостику не скучаешь?

Представьте себе, он смотрел на «деда» и улыбался.

— Ну, а я, — сказал «дед», — без моей вонючей шахты помру, наверно. Так меня из люкса ногами вперёд и вынесут. Что же ты, Родионыч, смерти моей захотел?

Граков улыбнулся через силу.

— Не вышел тостик?

— Этот нет, — сказал «дед», — ты чего-нибудь другое придумай. Тогда и приходи.

Граков отставил свой коньяк, поднялся. Прилипала тоже вскочил. Он теперь и не знал, улыбаться ему или хмуриться. «Дед» напомнил:

— Марочный не забудьте.

— Жаль, — сказал Граков. — Не понял ты меня, Сергей Андреич. Я к тебе с чистыми помыслами. А ты всё же камень за пазухой таишь. Что и доказал сейчас наглядно.

И вдруг он знаете чего сделал? Наклонился к «деду» — низко-низко, обнял за плечи и сказал, так задушевно:

— Ну, ладно, ещё потолкуем. Сейчас ты, конечно, не в том состоянии...

Я поглядел, как они уходят. Коньяк свой они, конечно, нам оставили. Не такие дураки — с бутылкой через всю залу переть. Но я ошибся, что никто на нас не смотрит. Вся «Арктика» теперь глядела им вслед. И вся «Арктика» видела, как Граков обнимался с «дедом»... Мне странно вдруг показалось — а было это всё на самом деле? Ведь не могло же быть! Но тут у меня в башке, наверно, стало туманиться. Я повернулся к «деду» — он себе отрезал мяса и прожёвывал медленно, зубы у него были плохие, у всех у нас такие из-за нашей воды, и мне отчего-то жалко было на него смотреть.

— «Дед», а ведь он своего добился. Как же ты позволил?

Он взглянул хмуро и пододвинул мне фужер.

— Вот это допей и, пожалуй, хватит тебе сегодня.

— Скажи, а почему ты один сидишь в «Арктике»? К тебе ведь при нём не всякий подсядет.

— Я с тобой сижу, Алексеич. А глупости будешь пороть — рассядемся. Уяснил?

— Ладно, — я кивнул. — Ты посидишь ещё?

— Минут десять, не больше.

— Почему так спешишь?

— А как раз Ненила Васильевна моя вещички собрала, сидит теперь скучает. Надо же и с ней напоследок побыть.

— Понимаешь, ко мне одна девка придёт. Просила, чтоб я с тобой познакомил.

«Дед» улыбнулся.

— Что-то давно они насчёт этого не просят.

— Ну, не просила, я сам хочу. Подождёшь?

Я пошёл в вестибюль. Гардеробщик уже и двери заложил жердиной, а сам в окошко смотрел на улицу.

— Не подошли. Напрасно беспокоитесь, я не ошибусь.

Я ему хотел дать трёшку.

— Вот это лишнее. Я ещё ту не отработал. И пожалте в залу.

Те чудаки на эстраде уже качались в тумане, а всё старались — как будто их кто-нибудь слушал. Гомон стоял,

как на базаре. «Дед» уже расплачивался с официанткой, вручил ей «Арарат» и туда показал, на граковский столик. Она покивала, однако — не понесла, спрятала в шкафчик.

— Опаздывает? — спросил «дед». — Марафет наводит, у них это долго.

— Нет, — я повалился на стул. — Вообще не придёт.

— Почему знаешь?

— Потому что сука...

— Ну, ты совсем хорош! Может, ей со мной знакомиться расхотелось. — «Дед» поглядел на часы. — На воздух со мной не выйдешь?

— Посижу ещё. — Жутко мне было стыдно перед «дедом»; зачем я её так назвал? — Дождусь всё-таки. Ничего, я в порядке. Правду говорю, в порядке.

— Да не ругайся с нею, обещаешь?

Я обещал. Мы допили — за тех, кто в море, — «дед» застегнул китель, поднялся, аккуратно задвинул стул.

— Завтра на причал приходи, попрощаемся.

Я ему пожал руку — обеими своими, как будто навсегда мы прощались, и смотрел, как он идёт к выходу. «Дед» был тяжёлый, а между столиками тесно, но он никого не задел. Потом я повернулся и сидел как очумелый, глядел в тот угол, на Гракова, ему в затылок. Ладно, думаю, ты у меня попомнишь. Я не человек буду, если ты у меня не попомнишь.

Я услышал: официантка убирает посуду.

— Принеси, — сказал я ей, — ещё полтораста.

— Ничего тебе больше не принесу.

— Думаешь, без денег сижу? Могу показать. — Я расстегнул «молнию» на куртке и нащупал пачку. — Видишь, я в море уродуюсь... И все вы у меня в ногах должны валяться!

— Поваляюсь, а не принесу. Больше тебе не велено.

— Кто это не велел?

— А с кем ты тут сидел? Забыл уже? Напиток могу принести, «Освежающий».

— Неси во-он тому борову. Видишь, лысина светится.

— Дурачок ты, — она говорит. — Ты потише, зачем тебе пятнадцать суток сидеть?

Взяла мою руку с деньгами, сунула мне же за пазуху, в карман. Тут крепких баб держат, в «Арктике». И не зря — драться же с ними не станешь, а выставить, если надо, выставят.

Потом вся зала как-то повернулась – с люстрами, с дымом, с музыкой, – и я уже с бичами сидел, попивал из чьего-то фужера. Всё бы ничего, да эта дура трёхручьёвская всё перманент свой щипала и бровки супила – с таким это ко мне презрением, меня зло разобрало.

– Чего ты всё щиплешься? – спрашиваю. – Гляди, облысеешь. И так они у тебя, поди, на трёх бигудях помещаются.

– Фу, – говорит, – до чего я пьяных не выношу!

– Милочка, оно же и лучше, что я выпимши. Буду я трезвый – ты же у меня за Софи Лорен не сойдёшь. А так – пожалуйста.

Что-то недопоняла она, но плечьми передёрнула.

– Какая я тебе «милочка»!

– Милочка у него другая, – Клавка ей говорит. Как раз она напротив меня сидела, обмахивалась платочком, улыбалась во всё лицо. – Вот он по ней и страдает, а нам достаётся ни за что, ни про что. Вообще-то она ему верная, только сегодня чего-то подвела.

– Глупости, – говорю, – моя верная никогда не подведёт!

– А то мы не видим? Он тут со старичками беседует, а нет-нет в вестибюль сбегает: может, всё-таки сжалилась, пришла.

– Вот те на, «со старичками»! Да какой же он старичок? Ты ж не знаешь, что ему пережить пришлось... Он и сейчас твоего пучеглазого одним пальцем уложит, а в своё время одиннадцать миль проплыл. Знаешь, что это такое – одиннадцать миль?

Клавка рукой махнула и засмеялась.

– Ну, пошли мили-шмили...

И я тоже стал смеяться. Не знаю почему. Ничего она такого не сказала смешного.

– А прогадал ты, рыженький, – говорит мне Клавка. – Меня пригласил, а сам в сторону. Удивляюсь, чем я тебе не угодила. Не хороша для тебя?

– Слишком, – говорю, – хороша.

– А хочется, чтоб у тебя такая была?

– Не-ет, – смеюсь, – от тебя лучше подальше. У меня таких экипаж был, с меня хватит.

Вовчикова трёхручьёвская фыркнула, а Клавка ничего, не обиделась.

– Ну и напугали же его! – говорит. – Да ты меня рассмотрел хоть? Чем я такая страшная?

— Ты из мужиков чёрт-те что делаешь, не людей.

— Пока что твоя из тебя сделала. Взяла да не пришла. И правильно не пришла, с такими только так!

Вовчикова трёхручьёвская сморщилась, как будто лимон разжевала.

— Не тронь ты, — говорит, — его самолюбие. Видишь, в каком он состоянии.

И с такой это жалостью на меня уставилась, — ну, совсем я погибший во цвете лет. А глазки у ней — как у мыши, близко посаженные, меня даже замутило слегка. И тоска вдруг напала жуткая, волчья. Вот она, моя жизнь: с такими корешами сидеть, с такими девками. Слова живого от них не дождёшься. «Самолюбие», «состояние»! Ах ты, инкассаторша чёртова. Нечуева, что ли, у ней фамилия?

— Нечуева, — говорю ей ласково, — не чуешь ты души моей переливы.

— Остроумно! — шипит. И откуда злости в ней столько, и на кого — ума не приложишь.

— Показал бы я тебе одну женщину — так ты же удавишься, оттого что такие бывают.

Клавка опять засмеялась.

— Ну, сбегай за ней, приведи. Мне ж тоже интересно. Одним бы глазком взглянуть, как ты с ней управляешься.

В вестибюле ко мне гардеробщик кинулся — отдирать меня от дверей, я его оттолкнул шага на три, подёргал дверь, а она ведь жердиной заложена, стал её вытаскивать и чувствую — кто-то у меня на плечах повис.

— Отстань, гад однорукий!

А это вовсе и не гардеробщик — меня двумя руками держали. Это, оказывается, Аскольд за мной выскочил.

— Чего тебе, филин пучеглазый?

— Как то есть «чего»? — и губищи-то, губищи распустил. — Ты же уходишь, а нам счёт принесут.

— Я сказал — приду.

— А это ещё неизвестно, Сеня.

— Ах, кисонька! Напугался? Нá тебе на лапу, за мной не заржавеет, ступай к своей Клавке, вермуту ей закажи!..

— А торту? Лидка торту хочет безейного.

Я ему совал пятёрками, ронял при этом, а он подбирал, присчитывал бумажка к бумажке. Гардеробщик, хмурый, стоял сбоку, поглядывал — сколько он у меня берёт.

— Те-те-те, — говорит, — я свидетель.

Аскольд ему показал, сколько взято, остальное они мне сунули в карман. Гардеробщик напялил мне шапку, из-под стойки чего-то достал и мне запихнул за пазуху.

— Капюшон свой не потеряйте.

Мне плакать хотелось, что я его так обидел.

— Прости, отец. Давай поцелуемся.

— Идите, — говорит, — к чертям свинячьим. И не безобразничайте.

Вытащил наконец дурацкую эту жердину, и я, на него не глядя, прошёл на улицу.

5

Одиннадцать миль «дед» проплыл ещё молодым, в осень сорок первого года.

В те времена он ещё не рыбачил, а служил мотористом — «мóтылем» — на транспорте «Днепр»; как раз перед войной этого «Днепра» спустили, и считался он — гордость флота: из первых дизельных, дизеля-то у нас ещё в новинку были на судах. В войну его приспособили возить боеприпасы, питание гарнизону, а вывозить — раненых. Конвой ему не полагался, да и не было чем конвоировать; когда из порта шли — одна надежда на кресты милосердия, когда в порт — расчехляли два пулемёта на мостике. Ну, и винтари были, конечно, — образца девяносто первого дробь тридцатого года.

Несколько раз им сошло, отбились от самолётов. Но как-то, часа за четыре ходу до Кильдина-острова, всплыла рядом с ними подлодка и подала им сигнал — следовать за ней к Нордкапу*. «Геен зи битте нах плен, рус Иван!» — или вроде этого сказали им немцы в «матюгальничек», — ну, то есть в мегафон, значит, — а капитан на «Днепре» был мужик горячий, с Кавказа, он это не перенёс, велел развернуть пулемёты и врезать немчуре по очкам. Те ему на это — из орудия пару зажигательных и устроили на «Днепре» пожар. А тушить не давали, обстреливали, зажигали снова. Так что кеп уже не пожарную тревогу пробил, а — шлюпочную. А перед тем, как покинуть судно, он спохватился, что «Днепр»-то ещё на

* Мыс Нордкап — самая северная точка материка Европы. Проходящий через него меридиан разделяет моря Баренцево и Норвежское, а также и океаны — Северный Ледовитый и Атлантический.

плаву, потушат немцы пожар своими средствами, да и утащат гордость флота за собой в Германию. Тогда он и сказал «деду» — то есть не «деду» ещё, а мóтылю: «Надо открыть кингстон». — «Сделаю, — мотыль ответил, — сходи в шлюпку, Ашотыч». Кеп ему показал на далёкий берег: «Доплывёшь с нагрудником?» — «Доплыть не обещаю. А меня не дожидайся».

Это он потому сказал, что Ашотычу полагалось сойти последним. Но «деду» он был не нужен, «дед» бы и за пятерых справился. Так что Ашотыч за кингстон был спокоен и сошёл в шлюпку. А «дед» ушёл к своим дизелям.

Многие думают, что кингстон открыть просто, будто бы есть такой специальный рычаг для затопления судна. Никто, конечно, таких рычагов не ставит, всё на судне делается, чтоб плавать, а не тонуть, а через кингстон забортная вода идёт к двигателю на охлаждение, и нужно ещё там крышки какие-то отвинчивать. Так что минут сорок прошло, и за это время команды уже не стало. Ашотыч велел — идти шлюпками «враздрай» и отстреливаться из винтовок: плена-то ведь боялись больше, чем смерти, и тут ещё робкая надежда была, что покуда немцы с одной шлюпкой провозятся, другая как-нибудь затеряется среди зыбей. А немцы за двумя зайцами и не стали гоняться, они на одну шлюпку положили снаряд и размолотили в кашу, а другую преследовали, пока там не кончились патроны, тогда подошли спокойно, подцепили багром и всех перетащили к себе на палубу.

Когда «дед» поднялся из машины, лодка уходила на погружение, и «Днепр» тоже погружался, а больше на море живой души не было. Ему только и оставалось, что плыть с нагрудником к берегу. Это одиннадцать миль, не меньше, потом это место установили точно по вахтенному журналу с подлодки. Но «дед» всё-таки доплыл до берега, только вот берег был — маленький островишко, он лишь на морских картах и обозначен. А до материка ещё было миль двадцать — где же силы взять! «Дед» на другие сутки попробовал, проплыл с милю и вернулся — стал замерзать. Больше не пытался.

Почти месяц прожил он на этом островишке — без хлеба, без огня, без кровли над головой. Он уже радовался, что дожди пошли: содрал брезент с нагрудника и собирал пресную воду. «Всё ничего, — он мне рассказывал, — а вот

без курева было скучновато. Помру, думаю». Наконец, его засёк наш самолёт-разведчик, но сесть нельзя было, лётчик ему только банку со сгущённым молоком кинул. И та — об скалу разбилась, «дед» потом эту сгущёнку слизывал. Тогда, конечно, не до робинзонов было; ещё трое суток прошло, пока прислали гидросамолёт и сняли «деда» с утёса. Первые дни он и говорить не мог, его в госпитале кормили с ложечки, потом ожил, рассказал, как погиб «Днепр» и вся его команда тоже. Он-то думал — они все погибли. И пришлось ему — хуже нельзя, потому что к нему в госпиталь матери приходили, жёны, и каждой расскажи: как погиб Вася, что перед смертью сказал Коля, — а что он мог рассказать?

Я вот часто думаю: если бы он наплёл чего-нибудь с три короба — как вели бой с неравными силами, как он закрыл глаза капитану, как там кто-нибудь, *истекая кровью*, сказал ему в час прощальный: «Плыви, Серёга, родной земле передай весточку!» — всё бы, может, и обошлось. А он только одно твердил: «Ушёл в машину, слышал перестрелку, больше ничего не знаю». И тут один человек из штаба порта выразил сомнение: «А так ли всё было, как травит наш уважаемый мотыль Бабилов? Не странно ли, что капитан, которого все мы знали как настоящего моряка, партийца, покинул судно не последним. А последним — почему-то моторист... Не исключено, между прочим, что немцы же его и подбросили на этот островок. Скажем, он мог дать подписку, что, вернувшись к нам в гарнизон... Я ничего не утверждаю, я только прошу заметить — не исключено».

«Дед» все допросы прошёл, — каких нам, наверно, не выдержать, — и ничего против него не доказали. Под расстрел не попал. Но загремел хорошо — на полный червонец, да полстолька же и ссылки ему добавили — «подозрение в шпионаже», не баран чихал. В конце войны разыскался в немецком концлагере Ашотыч и ещё пяток из команды, рассказали следователю, как всё было с «Днепром», как мотыль Бабилов пошёл открыть кингстон и суровая волна поглотила славного героя. Да им тогда и самим веры не было, потому что все они шестеро ехали в те же места, что и «дед», и всю эту историю ещё на восемь лет забыли. А вспомнили, когда нашёлся в архивах вахтенный журнал с той самой подлодки, — ну, он-то, положим, давно нашёлся, да не знали, как его к «деду» приме-

нить. Выпустить — не посадить, тут думать надо. Так вот, в этом журнале всё по минутам было расписано, как по нотам:

«11.15. Русский транспорт охвачен пожаром. Команда пересаживается в шлюпки. Однако моими наблюдателями замечен на палубе смертник, оставленный, чтобы способствовать затоплению судна.

12.00. Русский транспорт погружается. Подобрав восьмерых уцелевших из его экипажа и опасаясь, что дым привлечёт русские самолёты, сам начал погружение. Ухожу подводным курсом к Нордкапу».

Что вы, про «деда» целая книжка написана! Журналист из Москвы приезжал, часов пять с ним беседовал, потом прислал экземплярчик. Про лагерь там, правда, вылетело, но насчёт пожара и про житьё «дедово» на островишке — это всё есть, и очень даже красочно, «дед» со старухой как ни прочтут — плачут.

А я вот что спросил у «деда»:

— И как же вы с ним теперь? По крайности, рыла ему не начистишь?

— Кому, Алексеич?

— Ну, кто тебе всё это устроил.

Он удивился.

— Это зачем? Он своим рылом начищенным ещё и похвалиться побежит: за бдительность ему перепало. Я-то его знаю. И всё ведь другие устраивали, он только сомнение высказал. Ну, время не такое было, чтоб в людях сомневаться. А ты — поверил бы?

— Тебе?

— Что человек в нашей воде осенью столько проплывёт и сердце у него не лопнет.

— За это, честно скажу, не ручаюсь.

— То-то вот! — сказал «дед». — И я бы не поручился. Потому что второй бы раз не проплыл.

6

Я шёл по снегу, он аж звенел, и мороз мне палил лицо. Капюшон я не стал пристёгивать, ведь это куртку надо снимать и перчатки, так и замерзают по дурости. У нас один чудик, бухой, портянки затеял на улице перематывать, и — заснул на морозе, устал, а после ему полноги отрезали. Я только нос в воротник упрятал и чуть

не по полквартала с закрытыми глазами шёл. А мог бы и всю дорогу так и не сбился бы.

Это в большом-большом дворе, на Володарской, пройти под аркой и сразу налево, угловое окошко на четвёртом этаже, там она снимала комнату. Там я бывал — четыре раза, там все вещи чужие, её — только накидка на кровати, коврик, финтифлюшки на столике, а всё-таки думаешь — она век здесь живёт. «Главное — ничего не хотеть, — она мне говорила, — тогда ты ещё хоть как-то счастлив. Сегодня это моё, а завтра, может быть, нас и не будет».

Окошко светилось.

Я постоял внизу, — нельзя же к ней сразу, пусть немного развеет, — и увидел: кто-то подошёл к окну, она подошла, смотрит на двор. А кругом бело, ни скамейки, ни кустика, один я чернею. Нет, не заметила, повернулась туда, в комнату, я только волосы видел, тёмную копну, и вот она отошла.

Парень какой-то подошёл, повернулся затылком, взлез на подоконник, к нему второй подошёл. Разглядеть я их не мог, высоко было, но как будто они там смеялись. Почему бы не посмеяться, если тепло, и выпивка на столе, и кадровая девка рядом, и она им рассказывает, как я её приглашал в «Арктику», а она вот не пошла, с ними осталась. Господи, думаю, ну и не пошла, свет клином на тебе не сошёлся, только врать было зачем? У меня была Нинка, посудомойка с плавбазы, я с ней морскую любовь имел — и в плавании, и на берегу, держал себя с нею посвински, месяцами не заявлялся, и всё же она со мной таких фортелей не выкидывала. А попробовала бы выкинуть, я бы ушёл, не оглядываясь. Потому что вот так и делают из тебя не человека.

Вдруг я заметил: стою, как дурак, и считаю этажи. Снизу вверх, потом сверху вниз. А зачем, я подумал, я их считаю? Ну, правильно, мне же надо как-то наверх взобраться! А что я там понаделаю — видно будет, главное — взойти туда. Но только я к подъезду направился, из него какой-то мужик вышел — в чёрном, лица не видно. Ступил два шага и заскучал, с места не сдвинется. Ему-то, думаю, чего меня бояться? А это, поди, его «Москвич» под окном стоял, под брезентом, так он решил — я угонять собираюсь или колёса отвинчивать. Чего-нибудь бы повеселее придумал!

— Ступай, — говорю ему, — спи, дядя. Не нужны мне твои колёса.

Он куда-то метнулся вбок и опять стоит. Совсем пропащий человек.

— Ты кто? — спрашивает. Голос как из бочки. — Откуда взялся?

— Туда же и уйду. А ты спи.

Не хотелось мне этого олуха тревожить. Ведь до утра будет своего «Москвичишку» стеречь, замёрзнет. Или работу проспит, нагоняй получит. Я уже на улицу вышел, а он под аркой стал и смотрит. Печальный такой и скучный. Пропади ты, думаю, со своими колёсами. И вы там тоже все пропадите с вашим сабантуем, уйду я, откуда взялся, вот это верно сказано!

Конца не было у этой улицы, я шёл-шёл и почувствовал — худо дело. До какого-нибудь бы тепла дошлёпать — до общаги или до «Арктики». Но я же от общаги как раз и иду, зачем же я лишнего протопал, а в «Арктике» бичи сидят, и Клавка будет смеяться. «А что я говорила, рыженький! Не пошла она с тобой?» — «Ну и не пошла, — говорю, — очень она мне нужна! И ты мне тоже, стерва розовая, гладкая, пушистая, не нужна, лучше я к Нинке поеду, у неё тепло, у Нинки, она меня спать положит и не ограбит, она добрая, Нинка, она за мной всегда смотрела, не то что другие, которым только деньги давай, у нас с ней любовь, с Нинкой...»

Ну, вот я и до морского вокзала добрался, откуда идут катера через залив; ввалился весь деревянный, насилу кулаки из карманов вытащил. В помещении было жарко от печки, накурено, и людей набилось до тыщи — кто в доки ехал в ночную вахту, кто с работы домой, — но все хмурые, гады, ни с кем не поговоришь. К одному дяде я втиснулся на лавку, стал ему объяснять, что я к Нинке плыву на Абрам-мыс, потому что я её не забыл, а он мне:

— Иди ты, — говорит, — со своей, понимаешь, Нинкой!

— Куда же, — спрашиваю, — идти, туман не кончился, катера без локатора не пойдут.

— Это в башке у тебя туман, а локатора нету.

— Вот в чём причина, значит? Ну, я тогда покемарю, ты меня толкни...

Я только привалился к нему, и вдруг — кричат:

— Катер пришёл! Кому на Абрам-мыс?

Дядя схватил меня за грудки, поставил на ноги, а сам побежал. Все куда-то понеслись галопом. Ну, и я тоже старался не отстать. Долго же мы бежали!

7

Катеришко посапывал у причала, и вся публика вниз повалила, в кубрик, а я не пошёл — сидеть уже негде там, — сел на кнехт. Туман и вправду кончился. Последние хлопья относило ветром к Баренцеву, и вода не дымилась, была чёрная, без морщинки, и в ней стояли огни — красные, зелёные, белые. На том берегу светились доки и корабли, домишки на сопках. Там-то и жила моя Нинка. Один огонёк был её. И я, когда возвращался с моря, всегда уже знал, дома она или нет. И ребята мне говорили: «Нинка твоя лампадку засветила». И мне нравилось, что она не ходит на пирс, а ждёт, пока я сам приду, по своей воле.

Скоро мы зашлёпали, ветер обжёг мне щеку, потом другую, это мы делали циркуляцию, проходили под пароходами, под ихними кормами и носами. Шла на судах работа, искры сыпались в воду и шипели, что-то там заваривали, шкрябали борта, красили, висели в беседках, а по трансляции травили джазы. Вдруг вынырнула тюленья башка — отфыркалась, усами подвигала и опять погрузилась. Что им тут делать в заливе, не знаю, рыбы же никакой, разве на нас поглядеть — так чего хорошего увидишь? Однако — с другого борта показался, пронырнул, бродяга, под килем — и опять на меня глядит. Чем-то я ему всё же понравился. Наняться бы мне на такой катеришко, работа — не бей лежачего: трап подай и убери, гашу* на кнехт накинь и сбрось, а в основном — сиди, любуйся на воду. Я бы непременно этого тюленя приманил, прозвал бы как-нибудь — Васькой или Серёгой, он бы выныривал и плыл бы рядышком от причала до причала. Всё же какая-то жизнь была бы!

Народ, однако, уже повыполз на палубу, потом по мосткам устремился счастье ловить — автобус или попутку, а я, чтоб не затолкали ненароком, пошёл тихонечко последним. И закарабкался к Нинке — напрямик, через сопки.

---

* Гаша — или огон — глухая, не скользящая петля на швартовом конце.

Можно и дорогой к ней пройти, только она вьётся, гадюка, часа два по ней идёшь, я всегда по утёсам карабкался. Здесь домишки, как стрижиные гнёзда, лепятся один над другим, и клочки земли — как палуба при крене, всё время одна нога выше другой. А всё чего-то пытаются развести на этой земле, картошку, морковь, но ни черта не вырастает. И не вырастет никогда. Мы эту землю отняли у чаек — и сами за это живём, как чайки.

Долго я лез, весь измок под курткой. А наверху на меня накинулся ветер, заледенил, и я уже думал — конец, сейчас полечу с косогора, и крика моего не услышат. Но разглядел Нинкин плетень, вытащил из него жердину, стал ею отталкиваться, как посохом. Окошко у Нинки светилось, я приложился лицом, но ничего не увидел, всё затянуло изморозью. Я постучался и пошёл к двери, привалился к ней. Так и дождался, покуда Нинка открыла.

Нинка не напугалась, когда я на неё навалился, удержала меня, только не говорила ни слова. И не прижалась, как всегда.

— Что ж не встречаешь, Нинка? Я к тебе пришёл или не к тебе?

Губы у меня ползли от холода. Нинка прислонила меня к стенке, как полено, и заперла наружную дверь. Потом прижалась ко мне и заплакала.

— Горе ты моё, — говорит мне Нинка. — Мучение.

Ну, и всё такое прочее. Я сам чуть не заплакал. Обнял её покрепче и поцеловал в лоб. Вот уж мучение так мучение.

— Погоди ты, я же пришёл, никуда не делся. Что же ты меня в сенях держишь!

Она только пуще заплакала. Просто сил моих не было. Но всё-таки в комнату не повела.

— Нинка, у тебя там есть кто?

Я никак не мог её руки отодрать.

— Я ж чувствую, — говорю. — Ну и ладно, неужели же мне нельзя в гости к тебе? Как ты считаешь, Нинка?

Сам-то я считал — мне уйти надо. Но вот что мне Нинка скажет — это я хотел знать. Она отступила, но сени-то были тесные, я сразу нашарил Нинкины плечи. Она, оказывается, стояла у двери в комнату, загораживала её.

— Ты что, Нинка?

Лицо у ней было всё мокрое.

— Не пущу, ты драться будешь.

Вот именно, думаю, за этим только я к ней сюда пёхался!

— Ладно тебе. Пусти!

— А будешь?

— На улицу пусти, я назад пойду.

— Куда! Ты же до причала не дойдёшь, замёрзнешь...

— Ну видишь! Что ж теперь делать?

Нинка тогда открыла, и я вошёл за ней.

Он сидел за столом, в майке и в галифе, чистенький такой солдатик, крепышок, ёжиком стриженный. Весь розовый, как из баньки. И улыбался мне. А Нинка стояла между нами. Гимнастёрка его лежала на койке, на красном стёганом одеяле; я помню, как Нинка его купила. Раньше у неё шитое было из лоскутков. Она тепло любила до смерти и печку топила жарко, я вот так же мог за столом сидеть, в одном тельнике. А теперь она ему пришивала пуговицы. Или подворотничок, это я уж не знаю; просто увидел — ножницы уже не на гвоздочке висят, на стенке, а лежат на одеяле, рядом — иголка и нитки. Сапоги же его кирзовые она у двери поставила, я их не заметил и повалил. Не нарочно, а просто не заметил. Он так это и оценил, не перестал улыбаться.

На столе была закусь и водка, полбутылки они уже отхлебнули, то-то он был такой хорошенький, прямо-таки загляденье. Только вот ростом не вышел, не повезло Нинке. Ну, и то хорошо.

— Что стоишь, Нинка, не познакомишь меня с товарищем военнослужащим? Солдат, — говорю, — матросу друг и соратник. Взаимодействие и выручка!

Нинка не двинулась, стояла между нами, к нему лицом, ко мне спиною. А он вскочил, как на пружине, протянул мне руку.

— Сержант Лубенцов. А так вообще — Аркадий.

Я и руку отдёрнул. Подошёл к его гимнастёрке, расправил, чтоб видны были лычки на погонах. А руку ему подал не сразу, сперва потёр об штаны.

— Сенька.

— Очень приятно. Семён, значит?

— Представьте себе — Арсений. Но это — ежели трезвый. А так — Сенька.

— Ну что ж, — говорит, — корешами будем?

Ах, скуластенький, так и набивался на хорошее отношение.

— Не только, — говорю, — корешами. Может, и родственниками. Всё ж таки Нинка нам обоим не чужая.

Нахмурился скуластенький. А я подошёл к столу и сам себе налил в стакан. В Нинкин. Он смотрел, моргал белесыми ресницами. Что же, думаю, ты сейчас предпримешь? Ударишь? Ну, это-то просто, я тут же с копыт сойду. Но только ведь этим не кончится. Я упаду, но я же и встану. И мне тогда всё нипочём: бутылка — значит, бутылка, табуретка — так табуретка. А Нинка — чью сторону примет? Поможет тебе меня выпроваживать?

— Прошу к нашему столу.

Это он мне говорит, скуластенький, и рукой показывает гостеприимно. А я уже сам себе налил. Вот положение.

— Да нет, — говорю, — благодарен. Только отужинал.

И полез вилкой в шпроты. Тут он снова заулыбался. Непробиваемая у солдатика оборона. Прошу прощения, — у сержанта.

— Как жизнь, морячок?

Это он у меня спрашивает, береговой, сухопутный.

— Да какая же, — говорю, — у морячка жизнь! Одни огорчения.

— Ну, это зря!

— А вот, представьте себе: один мой знакомый... ты его, Нинка, не знаешь... сошёл, значит, на берег. Заваливается к своей женщине. На всех парусах к ней летел. А у ней, представьте, другой сидит. Ну, всё понятно. Соскучилась женщина ждать. Но кто-то же из них двоих — третий. А третий — должен уйти, как в песне поётся. Мой знакомый ему и говорит: «Я кого-то вижу или это у меня мираж перед глазами?» А он мужчина строгий, мой знакомый. Правда, уже нет его, удалился в сторону моря, погиб в неравном бою с трескою. Ну, с кем не бывает. А тот, представьте, моргает и не уходит. Стесняется, что ли, уйти. Тогда мой знакомый знаете чего делает?..

Но тут я на Нинку посмотрел и замолчал. Она уже сидела на койке, ноги скрестила, а руки у ней лежали на коленях. Смотрела на меня и губы кусала. Но я не на губы смотрел, а на руки.

Я вам сказал или нет? — она судомойкой была на плавбазе. И ещё всякие постирушки брала — и в море, и на дом, всегда у ней полное корыто стояло в кухоньке. Представьте, сколько же она за свою жизнь всего перемыла — и какие у ней могли быть руки! Ей, наверно, и тридцати

ещё не было, я никогда не спрашивал, но руки ещё на тридцать были старше, я честно говорю. Как будто с чужих рук содрали кожу и напялили ей, а кожа не приросла, такая и осталась — мёртвая, влажная, бледно-розовая, вся в морщинах, в мешочках. И когда я её обнимал, я только и думал: хоть бы она меня не трогала этими руками, у меня всякая охота к ней пропадала. Я сам не свой делался, хотелось мне бежать от неё куда глаза глядят. Но и она как чувствовала — сама от меня их прятала. Вот я их увидел и всё тут забыл начисто. Зачем я сюда явился? Что я этому скуластенькому втолковывал?

— О чём это я?

— Про твоего знакомого, — Нинка напомнила. Губы у ней дрожали. — Что же он сделал? Убил их? Обоих или только её?

— Да нет же! — Я засмеялся. — Третий-то он был, вот в чём дело. Сказал он им: «Тогда за ваше счастьице!»

Солдатик смутился, но я взял его руку и чокнулся с ним.

— Чего ты смущаешься? — говорю. — Нинка знаешь какая женщина! Ты не пропадёшь с ней. Она тебя и обстирает, и обошьёт. С нею сыт будешь и пьян, и нос всегда в табаке. Ты только не бей её, это мы все умеем, а что не так — скажи ей с металлом в голосе, не мне тебя учить, она и послушается...

Такого со мной ещё не было: я пил и только трезвел. И вправду, мне вдруг подумалось: может, это оно и есть, Нинкино счастье? Чем чёрт не шутит, может, ей с ним тепло будет на свете? А я тогда зачем тут стою, почему не уйду? Ведь у меня ж не серьёзно с ней, я только лясы буду точить, голову ей баламутить, а у него, может, и серьёзно?

— А ты, кореш, лёгок на помине, — скуластенький мне говорит.

Я допил и поглядел на него. Глазки, смотрю, у него повеселели, но что-то осталось в них тревожное. Не верил, поди, что всё так добром и кончится и он останется сегодня с Нинкой.

— Вот здорово! И чем же вы тут меня поминали? Добром?

— Да нет, не тебя лично, а просто Нинок сейчас ножик уронила; надо, говорит, постучать об дерево, а то к нам мужчина пожалует. А я говорю: «Суеверие — привычка вредная. Если и пожалует, то вряд ли».

— Правильно говорите, Аркадий... Как вас там дальше?

— Васильевич. Я лично, например, в тринадцатое число не верю. И насчёт чёрной кошки — это всё глупости. А человек — хозяин природы и всего мировоззрения, он должен твёрдый курс иметь в поведении. И на всё постороннее не обращать внимания. Вот, например, задумал — умри, но сделай. Согласен ты?

— Да что вы у меня-то, вы у ней спросите.

— Нет, я о чём? Вот у меня тоже друг. Неустойчивый, всё ему что-то мерещится. А я на него воздействую постоянно. И перелом намечается, определённо. Вот, Нинок его знает...

Нинка поглядела на меня и вздохнула. Какой же был у него *твёрдый курс*, у скуластенького? Сегодня — к ней под одеяло стёганое. А служба кончится — он к себе поедет, дома его другая ждёт, запланированная. А Нинка всё так и будет на Абрам-мысу жить, как чайка, светить окошком очередному трепачу. А я — что могу для неё сделать?

Я снял куртку — мех пристегнуть — и увидал изнутри карман, затянутый «молнией», плотно ещё набитый. Вот разве только это я могу. И то — если она возьмёт.

— Выйди со мной, Нинка. Я чего скажу.

Он так и примёрз к стулу. Но улыбался. Конечно, не уведу же я её.

— Что ж так скоро, морячок?

— Вахта, — отвечаю.

— Э, хорошая вахта сама стоит!

Ах, скуластенький, что ты ещё про морячков знаешь? Но больше он меня не удерживал. Пожал мне руку — со всей, конечно, силёнкой, — но как-то я почувствовал: нет, ненадолго у них.

Нинка пошла за мной, я пропустил её в сени, помахал ему рукой и притворил дверь. В темноте я взял её за плечи и притянул.

— Сеня! — она сама ко мне прильнула. Вот уж ни к чему. Я же не за тем её звал. — Прогнать его, да? Скажи только честно...

Ничего, я подумал. Особенно она страдать не будет, если у них и ненадолго.

— Ты брось это, Нинка, выкинь из головы... Всё у вас наладится, он, знаешь, верный, такой зря не гуляет. Это мне верить нельзя, а он положительный, ты и сама видишь.

— Ты за тем меня позвал?

— Нет, не за тем... Нинка, возьми у меня гроши.

— Ты что?

— Ну, на сохранение возьми, я же всё равно размотаю.

Я стал ей совать полпачки. Она меня схватила за руки — своими руками! — я дёрнулся, выронил всё, рассыпал по полу. Нинка нагнулась и стала шарить впотьмах. Я тоже с нею шарил. Нинка мне их совала в руку, а я опять ронял. Тогда она меня оттолкнула к стенке, стала одна подбирать, потом всё сразу втиснула за пазуху, в карман. Я снова за ними полез — она вцепилась и держала меня за руки.

— Уйди! Уйди по-доброму. Ничего мне от тебя не надо! Сволочь ты, изувер!

Она меня уже не держала. Один её голос из темноты египетской, через слёзы, бухал мне в уши: «Сволочь... Изувер... Палач...»

— Не гони, я и так уйду.

— Ступай! В последний раз тебя видела! Замёрзни, гад...

Я нашарил щеколду, Нинка меня оттёрла плечом и сама открыла дверь. Ветер нас ожёг колким снегом. Нинка сразу притихла, — верно, уже не рада была, что гнала меня. Но не ночевать же нам тут втроём, хотя у неё и кухонька была в этой хибаре.

Нинка спросила:

— Как же ты дойдёшь такой?

Я её погладил по плечу и пошёл с косогора. Прошёл шагов двадцать — услышал: стукнула щеколда.

С катера я всё хотел разглядеть её огонёк, но не увидел — расплылся он среди прочих. Вот так весь вечер, думаю, всё у меня невпопад. Да он ещё и не кончился, этот вечер...

Когда причаливали у морвокзала, матрос вахтенный замешкался, не вышло у него с ходу накинуть гашу, и я к нему полез отнимать её, — как он меня отпихнёт локтем!

— Отскочи, ненаглядный, в лоб засвечу!

Так, думаю, ну, быть мне сегодня битым.

8

Я только успел сойти на причал, они ко мне кинулись — двое чёрных, как волки в лунной степи.

— Сеня! — кричат. — Ну, теперь какие планы?

Не знаю, как у бичей, а у меня планы были в общагу идти, спать.

— А я тебе что говорил! — это Вовчик Аскольду. — Мы-то по всему городу, с ног сбились, в милицию хотели даже звонить, не дай бог замёрзнет, а он — спать!

— Как это понять, Сеня? Ты постарел или с нами не хочешь знаться?

Нет, вам таких корешей не иметь! Я от волнения даже сел на причальную тумбу. Ведь и вправду же я мог замёрзнуть.

— Вставай, Сень, не сиди, вредно, — они меня подняли под локти. — Пошли погреемся.

Вовчик сбоку плёлся, дышал в воротник, а Аскольд — то вперёд забежит, то приотстанет — и зубами сверкал, рассказывал:

— Я ему говорю: «Вовчик, грю, это не дело, так мы Сеню потеряем, мы грех берём на душу, что его не разыскали». А он говорит: «Какой грех, он к бабе ушёл, нас забыл». Нет, думаю, он человек верный, что-то не то, вот так люди и погибают. Ну, мы на моторе к тебе в общагу, всё щас перевернём кверху килем, а там тебя знают, Сеня, ты вообще человек известный. «Ищите его на Абрам-мысу, — говорят. — Бывает, он туда ездит».

— Это кто ж сказал? Толик? Лысоватый такой?

— Неважно кто, Сень. Важно, что нашли тебя — живого, не замёрзшего.

Не иметь вам таких корешей, я честно говорю!

Так мы и до «Арктики» дошли. А оттуда уже последних вышибали, и двое милицейских на страже стояли, с гардеробщиком. Какой-то малый к ним ломился, росточком с дверь, убеждал сиплым голосом:

— Папаша, пустите кочегара, у меня ребёнок болен.

Аскольд к нему кинулся на помощь.

— И нас пустите, там наши дамы сидят в залоге!

— Нету ваших дам, — гардеробщик нам наотрез. — Уехали.

— Как это уехали? Без нас уехали?

Мы стали вчетвером ломиться. Да только у нас дверь поддалась — товарищ из милиции высунулся, в шубе.

— Это что за самодеятельность? — говорит. — Ну, посидит у нас кой-кто сегодня. А ну, Севастьянов, бери вот этого, в куртке.

Ну, я эти штуки знаю, никакой Севастьянов меня не поведет никуда, охота ему на холод вылезать. Так что я ботинок просунул в дверь, помощи ожидаю справа и слева. Но Вовчик с Аскольдом чего-то скисли и сами же меня оттащили. Дверь и закрылась. Так обидно!

– Это ничего! – орёт мне пучеглазый. – Зато у меня план есть. Сейчас мы в Росту смахаем, у Клавки доберём. Тем более, понравился ты ей, Сеня!..

Ага, думаю, значит, в гости поедем. Ну, она тоже занятная, Клавка. А я-то: «спать, спать!» Какой тут «спать»!

– А найдётся у ней чего добрать?

– У Клавки чтоб не нашлось? Стойте тут, я к вокзалу побежал за мотором.

Ну, пускай, думаю, сбегает, у него мослы долгие, а вокзал – метров двести, не больше. Но наблюдаю – Вовчика шатает легонько. Стал я его поддерживать. А он – меня. Правильно, надо вместе держаться. Кореши мы или не кореши?

Долго ли, коротко мы с ним корешили, но вот и такси загудело, и Аскольд нам из окошка машет. Мы с Вовчиком полезли, а там ещё какие-то двое, да с барахлом. Вовчик-то поместился, а у меня ноги ещё на улице. Ну, уж как-нибудь.

– Как-нибудь это ты на своей будешь ездить, – это шеф, значит, голос подаёт из провинции. Вылез, переложил мне ноги вовнутрь. Оказывается, нашлось для них местечко. У шефа чтоб не нашлось! – Вам куда, капиталисты?

– В Росту вези! – пучеглазый орёт. – Улица Инициативная, дом семнадцать...

Ну, всё помнит, кисонька! А ведь тоже под газом.

– Э, мне в Росту ехать – себе во вред. Смена-то кончается.

– Это не разговор, шеф! – опять он, пучеглазый. – Ты сперва счётчик выруби, тогда поговорим. Крути налево!

И сам уже там баранку, что ли, крутит.

– Э, ты мне не помогай!

– Всё, шеф, мы тебя любим. Умрём за тебя.

– Не надо, поживите ещё. Только у меня пассажиры до Горки, им ближе.

– Не в том дело, ближе или дальше, а мы как будто раньше сели.

Это какая-то гражданка сзади меня. Оказывается, я к ней привалился. То-то мне было мягко. Я к ней повернулся,

хотел извиниться за наше поведение, а она мне чего-то руками в грудь упёрлась.

— Сидите, — говорит, — смирно, без этих штук. А то я, знаете, с мужем еду.

Я и на мужа хотел поглядеть, но шея уже дальше не поворачивалась. А муж — он тоже голос подал:

— Действительно, — говорит, — уже если мы ради вас потеснились, так не хулиганьте. А то и милицию можно позвать.

— Хе! — сказал шеф. — Какая теперь милиция!

И поехал, родной. Да только мы двинулись — кто-то догоняет, приложился носом к стеклу.

— Ребятки, возьмите кочегара, у меня ребёнок болен.

Шеф сразу на тормоз.

— Ты, охламон, отстанешь?

— Езжай, — орёт пучеглазый, — сам отвалится!

— Куда «езжай», он за ручку держится.

Стали они там объясняться на морозе. Долго руками махали. Потом шеф снова сел и как рванёт с места. Кочегар попрыгал, попрыгал и отстал.

— Послушайте, — вдруг эта гражданка говорит, — вы в самом деле счётчик выключили? Там уже сколько-то набито у нас, как же будем считать?

— Действительно, — мужнин голос, — мы уже доедем, потом свои тарифы устанавливайте.

— А тебя кто спрашивает? — говорит ему Аскольд. — Ты кто? Приезжий? Ну, и сиди, приезжий, не вякай. Мы, если хочешь знать, ещё за вас можем заплатить. Видишь вот этого, в курточке? А ты думаешь, он кто? А он капитан-директор всего сельдяного флота. Самый главный капиталист!

— Рокфеллер! — кричит Вовчик.

— Про него каждый день в газетах интервью печатают. Он всю страну рыбой кормит. И заграницу всю кормит. Да мы тебя, приезжий, со всеми шмотками купим! Покажи ему, Сеня, какие у нас капиталы...

Я засмеялся, сунул руку за пазуху и вытащил всю пачку. Хотя это уже не пачка была, а ворох — мы же их с Нинкой не складывали впотьмах, совали как придётся. Я этот ворох и показал дамочке, и её мужу, и шофёру тоже показал, пусть не волнуется, не на арапа едем.

— Спрячь, — говорит Вовчик, — а то ослепнут. Они ж у тебя в темноте светятся.

— Понял, приезжий? — спросил Аскольд. — Тут патриоты едут родного Заполярья. Скромные патриоты! Была б гитара, я б тебе спел... «Суровый Север нам дороже кавказских пальм и крымского тепла!»

И Вовчик тоже запел:

— «И наши северные ворота — бастионы мира и труда!»

— Газуй, шеф! Крути лапами!

Эх, и парень же был этот пучеглазый! Ну, и Вовчик тоже дай бог!

А машина не шла, а просто летела по улице, покрышками снега не касалась, и меня так славно стало укачивать... Потом эти приезжие холоду напустили, пока барахло своё вытаскивали. Муж чего-то там платить набивался, а пучеглазый орал шефу:

— Да плюнь ты на ихние трёшки, ты тоже патриот! Чаевые в нашем городе не берут!

И только опять поехали, ну минуту буквально — Аскольд меня взбодрил:

— Товарищ капитан-директор, как спали? Платить надо.

Я засмеялся, расстегнул «молнию» на куртке.

— Давай сам плати.

Вовчик сунул руку, вытащил сколько-то там, дал шофёру. А тот, дурень, ещё застеснялся:

— Орлы, я с пьяных больше десятки не беру.

— Бледный ты, шеф! — пучеглазый орал. — Плохо питаешься. Тебе капитан-директор премию выдаёт на поправку. Сень, ты подтверди!

— Ага, — я подтвердил. — Я же у нас добрый.

И правда — так хорошо мне было, счастливо, оттого что они все меня любят, и я их любил, как родных...

А совсем я проснулся — от холода. Мотоцикл трещал, и я уже не в такси ехал, а в коляске. Когда ж это я в неё пересел? Просто уму непостижимо.

— Эй, артист! — надо мной товарищ из милиции склонился, в дохе. Сам-то он сзади сидел, на колесе. — Тебя держать? Не вывалишься?

— Да хулиган он, а не артист! — ещё какие-то орали.

Мотоцикл медленно выезжал со двора, и целая толпища нас провожала.

— Господи, — кричали, — когда же мы от них город очистим?.. Учти, лейтенант, коллективное заявление у нас готово!..

— Отдыхайте, граждане, — лейтенант их успокаивал. — Коллективок не надо, а у кого конкретно стёкла побиты...

Рядом со мной пучеглазый шёл и шептал сиплым голосом:

— Сеня, они же нас не поймут! Вспомни всё лучшее, Сеня!..

Что же там лучшего-то было?.. Я какие-то обрывки помнил... По какой-то я лестнице летел башкой вперёд и парадное пробил насквозь, обе двери, то-то она у меня раскалывалась. И лицо горело, как набитое. Да точно, набитое, с кем-то я ещё перед этим дрался... Я по лицу провёл ладонью и смотрю — кровь на ней. Господи, да с корешами же я и дрался, с кем же ещё! Вовчик меня стукал, а пучеглазый за локти держал сзади.

Я вспомнил всё лучшее и полез из коляски. Аскольд от меня отскочил на шаг, не достать. А Вовчика я что-то не видел, друга моего, кореша бывшего.

— Сиди! — лейтенант мне надавил на плечо. И спрашивает Аскольда: — А ты чего, с нами в отделение поедешь, свидетелем?

Ага, только пучеглазого и видели.

— Вот так-то. Давай жми, Макарычев. Отдыхайте, граждане, приятного вам сна!

Макарычев на меня поглядел с высокого седла.

— Ну, арти-ист! — И прибавил газу.

9

Глаза у меня слезились от нашатыря, лицо горело, пальцы на правой сочились сукровицей. Лейтенант мне ватку с чем-то дал прикладывать, посадил на лавку в дежурке, и они с Макарычевым куда-то уехали.

Я себе посиживал, а дежурный чего-то пописывал за барьером и на меня не глядел. Я уже подумал, не уйти ли мне по-тихому, но тут зашёл старшина в тулупе, роста весьма внушительного, личико кирпичное, и прислонился к косяку. Ещё была дверь с решёткой, там какая-то баба стояла патлатая, разглядывала меня сквозь прутья. Не знаю, чем она там провинилась, почему за решётку села. А я — почему на лавке. Дежурному видней.

Он уже был в летах, до майора дослужился, облысел на этом деле. Но пока ещё «внутренним займом» пользо-

вался, зачёсывал с боков. Я поглядел-поглядел и засмеялся. Тут он и бросил скрипеть пёрышком.

– Самому смешно? Сейчас расскажешь мне, я тоже посмеюсь.

– С удовольствием, – говорю, – только дайте вспомнить.

– Это пожалуйста, дадим. Время у тебя будет, суток пятнадцать. Не возражаешь?

– Да что там... Ведь от этого ж не умирают.

– Как фамилия?

– Ох, – говорю, – а бесфамильного – вы меня не посадите?

– Ныркин, при нём документы были?

Старшина перемнулся с валенка на валенок.

– Нету.

Всё правильно, я их в общаге в пиджаке оставил.

– А что при нём было?

– Деньги были. Сорок копеек.

– Чего-чего?! – Я вскочил с лавки, пошёл к барьеру. – Каких сорок, вы что-о? У меня тыща двести было новыми, с рейса остались.

Майор поглядел на меня и ручку закусил во рту.

– Правду говоришь?

– Ну, поменьше, я куртку вот купил, в ресторане сидел, на такси тоже потратился. Но тыщу же я не мог посеять!

Майор поглядел на старшину. Тот руками развёл.

– Не знаю, как там тебя...

– Шалай.

– Ну, вот и познакомились. Майор Запылаев. Так вот, Шалай. Мы же твои деньги не заначили, ты же это прекрасно знаешь.

Я пошёл обратно к лавке. Когда же их у меня заначили? Всё какие-то обрывки... Аскольд, задом к двери, молотил в неё копытом, а Вовчик как сунул палец в звонок, так и держал, покуда Клавка не открыла на цепочке: «Кого ещё черти?..» – «Отпирай, Клавка, мы к тебе Сеню специально привезли. Жить, говорит, без тебя не может!» – «А говорить он может?» Она там стояла в халатике с красными и зелёными цветами, смеялась. «И что я с вами, тремя идиотами, буду делать?» За ней – трёхручьёвская, в бигудях, что-то ей шептала. «Ты там, Нечуева, не агитируй!» – это

Аскольд всё орал... Потом он на диване сидел, тренькал на гитаре: «Пришёл другой, и я не виновата, что я любить и ждать тебя устала...» Вовчик свою Лидку обжимал, она его шлёпала по рукам и шипела: «Не щекотись, мне смеяться нельзя, не видишь — я кремом намазанная?..» А я сел на пол у батареи. Клавка мне поднесла стопку и чего-то закусить, хотела со мной чокнуться. А я её ноги увидел — красивые, с круглыми коленками, и чокнулся об её коленку. Я её так любил, Клавку, никого в жизни так не любил!.. Где-то я ещё в кухне её обнимал... Ну да, голову пошёл смочить... Куда-то я её поехать со мной упрашивал, потому что бичи меня ограбят, только она одна меня может спасти... «Ах ты, рыженький, — говорила Клавка, — я ведь не железная, тоже голову могу потерять. А если мне твоя верная в глаза кислотой?» Чего-то я ещё ей бормотал несусветное. Она вырвалась, запахнула халатик, пошла из кухни...

— Ты что, — спросил майор Запылаев, — совсем ничего не помнишь?

— Начисто.

— А с кем в ресторане сидел?

— С друзьями.

— На них не думаешь?

Я не ответил.

— И куда на такси ехал, запамятовал?

— К женщине.

— Что за женщина?

...А в комнате я её с Аскольдом застал, чуть не в обнимку. Ну, так мне показалось. И я его с дивана шуранул на пол. А сам к ней подсел, стал её целовать в шею, в грудь. Она не вырывалась, только хохотала и дула мне в лицо. И тут меня пучеглазый начал душить. А Вовчик вроде бы разнимать кинулся, но сам же первый и стукнул. В коридор они меня вытащили метелить. Но там-то я вырвался и врезал обоим хорошо по разу, а в третий раз в стенку попал, себе же в убыток. И уж они меня без помехи метелили. Аскольд за локти держал, а Вовчик примеривался и стукал. «Это ему ещё мало. Это он ещё не запомнит. А вот так — запомнит. И вот так». Покамест Клавка не выскочила: «А ну, прекратите, звери!

Я вас сейчас всех налажу!» Но их наладишь, когда они уже и впрямь озверели. Открыли дверь и с лестницы меня — головой вниз...

Баба вдруг подала голос из-за решётки:

— Ты вспомни получше, мальчонка. Милиция — она хорошая, она чужого не берёт.

— Отсиживай, Кутузова, отбывай своё, — сказал ей старшина. — Тебя не спрашивают.

— Есть, гражданин начальник. Мне мальчонку жалко.

— Нам тоже его жалко. А ты молчи в тряпочку.

Майор Запылаев повздыхал и сказал:

— Так как же, Шалай? Не поможешь мне? Я ведь обязан твои деньги найти.

— Ничего вы не обязаны. Я, по крайней мере, не прошу.

— Напрасно ты так. Тем, кто это делает, крепко может попасть, а ты покрываешь. Что — и фамилии её не помнишь?

...Когда я эти кирпичики стал кидать — ей в окошко, а попал другому кому-то, тут целый взвод выбежал меня хватать, и какой-то мужик сверху кричал: «Это у Перевощиковой, у Перевощиковой шпана собирается! Я эту квартиру давно на заметку взял!» А Клавка из подъезда: «Больше тебе делать нечего! Смотришь, кто ко мне ходит. А я женщина свободная. Может, мне тоже жизни хочется». Ну, и голосок же был у моей возлюбленной!

Но я ещё и про Нинку вспомнил: бичи-то ведь знают, что я на Абрам-мысу был, милиция докопается, а вдруг у неё деньги в сенях остались, даже наверняка остались, и Нинку вполне замести могут, потом мне её и самому не выручить. Да если и бичей заметут с Клавкой — всё равно, какие б они ни были, — не стоили эти деньги, чтоб люди из-за них сели в тюрягу. Я всего двадцать суток на губе* сидел, больше не сидел, и всё равно я знаю: никакие деньги этого не стоят. Лучше я сам их при встрече возьму за глотку.

— Ты откуда, Шалай? С тралового?

— Сам ты траловый!

— Давай, груби мне. Я всё фиксирую.

---

* Армейская гауптвахта *(сленг)*.

— Не траловый я, а сельдяной.

— Вот и отвечай по существу. Я на тебя официальный документ заполняю. Где живёшь?

— На земле и на море.

— Ладно, спрошу точнее. Прописан где?

— Прописан по кораблю.

— Так... В общежитии, значит. Ну что, две недельки у нас поживёшь. За вытрезвление с тебя, так и быть, не взыщем по бедности.

— Спасибо...

— Ныркин, выдай ему постельный комплект, завтра ещё допросим.

Ныркин пошёл было, но тут эта баба из-за решётки стала канючить:

— А меня когда ж в туалет сводют?

— Водили тебя, — сказал Ныркин, — часа не прошло. Потерпишь маленько.

— Не буду я терпеть! Вот возьму и напущу на пол.

Ныркин ей сказал добродушно:

— Напустишь — юбкой будешь вытирать.

— Ещё чего! Юбка у меня — шерстяная.

«Господи, — я подумал, — вот баба кошмарная. Как её только земля носит! И ведь это я с нею там окажусь, других же камер нету». Я встал и пошёл к барьеру.

— Не поживу я у вас, я лучше в общагу пойду.

— Ну, милый, это уж мне знать, где тебе лучше. Нахулиганил — значит, у нас лучше.

— Нельзя мне, майор. Береговые у меня. Я неделю как с моря...

— Что ж делать, Шалай? Мы, что ли, с Ныркиным стёкла били, покой нарушали трудящихся?

— ...и мне завтра по новой в море. Утром отход. На восемьсот пятнадцатом, можете проверить.

Майор Запылаев бросил свой документ заполнять, вздохнул.

— Ныркин, какой завтра отходит?

— Кто его знает. В диспетчерскую надо звонить.

— Н-да... Тем более, он же не знает, диспетчер, есть там этот Шалай в роли или нет. Кто у тебя капитан?

Я плечами пожал. Капитана я не успел придумать.

— В море, — говорю, — познакомимся.

— Врёт, — сказал Ныркин. — А может, не врёт.

— Ну, а кого-нибудь помнишь? Старпома? Дрифмейстера?

— Штурманов? — баба сказала из-за решётки. — Механиков?

— Во! Стармеха помню. Бабилов.

— Сергей Андреич?

— Ну.

Запылаев опять чего-то вздохнул.

— Телефон-то у него наверняка есть...

Это правда, телефон был у «деда», его за три года до этого депутатом выбирали в райсовет. Только не нужно ему было знать про мои похождения.

— Он же спит, — говорю.

— Что ж делать, разбудим. Твоя вина.

— И всё я пошутил. Никакой у меня не отход.

— Врал, значит?

— Ага, — я снова пошёл к лавке, — давай мне, старшина, комплект, я спать буду.

Майор Запылаев всё же набрал номер. Я так себе и представил — как в длинном-длинном коридоре, где сундуки стоят, корыта, холодильник чей-нибудь, а на стенах велосипеды висят, как там звенит, заливается звонок, — пока кто-нибудь нервный не выскочит, протирая кулаками очи, не нашарит выключатель, потом в другой конец не зашлёпает, к телефону. Потом к «деду» идут стучать — тоже подвиг, опять в другой конец шлёпай. Но «деда» нельзя не позвать, его и ругают, и уважают. И вот «дед» поднимается, кряхтит, накидывает бушлат, суёт ноги в тёплые галоши, идёт. И вся квартира, конечно, пристраивает уши к дверям — кому ж это он понадобился в столь поздний час? Любопытно, любопытно, «майор Запылаев из милиции», то-то нынче пошатывались, когда пришли. Нет, с «дедом» всё в порядке, матросик из его экипажа набедокурил — «в нетрезвом», конечно. Скажите, тысячу рублей размотал, не помнит где. Хорош экипаж! А «деду» он что — сын, племянник? Ах, этот, который всё к нему ходил, вроде подкидыша. Хорош подкидыш, с таким жить да радоваться. А старый-то за него просит, унижается, было бы из-за кого. Господи, и Ненил Васильна выбежала. Бог своих не дал, вот и носятся с прохиндеем великовозрастным, души не чают... Потом идут они двое между замочных скважин и молчат. Запираются в своей комнатёшке и друг другу ни слова.

Майор Запылаев положил трубку, погладил свой «внутренний заём» и насупился: что ж ему теперь с официальным документом делать?

– Оставлю на всякий случай. Жильцы пожалуются. Стёкла придётся тебе вставить. Договорились?

Я кивнул. Ничего, сквозь землю не провалился, только лицо как будто пятнами пошло.

– Я идти могу?

– Мотай. Хотя подожди, Лунёв с Макарычевым тебя отвезут, а то ещё где-нибудь попадёшься, снова придётся Бабилова будить.

Тут как раз и подъехали Лунёв с Макарычевым – злые как бесы. Макарычев платком ссадину зажимал на щеке, а Лунёв высыпал майору Запылаеву на стол гильзы от пистолета – штуки четыре, – оказывается, в международный конфликт им пришлось вмешаться, возле Интерклуба англичане подрались с канадцами.

– Весёлая ночка! – сказал майор Запылаев. – А придётся ещё, Макарычев, съездить, бича в общежитие свезти.

Лунёв поглядел на меня зверем.

– Так и будем, значит, работать? Мы задерживаем, а ты выпускаешь.

– Видишь, какое дело, Лунёв. Чем ты его воспитывать собираешься? Метлу в руки дашь – улицу подметать? Это ему приятный отдых. А вот он завтра в море идёт, в восемь утра, это проверено, так лучшей меры мы с тобой не придумаем. И рыбы мы тоже не наловим для государства, Лунёв...

– Пусть отдохнёт Макарычев, – сказал Лунёв, – сам свезу.

По дороге я Лунёва попросил подождать, зашёл в один знакомый двор и постоял там, задрав голову. Окошко на четвертом этаже погасло. Я вернулся и сел в коляску.

Лунёв меня довёз, разбудил вахтёршу и на прощанье помахал мне рукой.

– Всё хреновина, не огорчайся.

Про деньги ему сказали.

– Спасибо, – говорю.

– Счастливо в море!

Я пришёл, скинул только куртку и тут же повалился на койку – лицом вниз. Заснул без снов, без памяти, как младенец.

10

Вахтёрша своё дело знала. Если кому в море идти, она всю общагу перевернёт, но тебя и мёртвого поставит на ноги. Постоишь, покачаешься — и оживёшь. Но уж соседям, конечно, не улежать. Все мои четверо проснулись, поглядели на чёрные окна и задымили в четыре рта. Сочувствовали мне. Шутка сказать — вместе неделю прожили! Тем более, нам в одной компании уже не встретиться. Сегодня же на моё место другой придёт — как в том анекдоте: «Спи скорей, давай подушку».

Они себе покуривали, а я собирался. Чемоданчик ещё был крепкий, две пары белья на смену, три сорочки и галстук, и шапка меховая, и золотые часики, а пальто и костюм я на хранение решил оставить — одолжил у соседей иголку и химический карандашик, зашил в мешковину и написал: «Шалай А. А. Ждать меня в апреле. СРТ-815 “Скакун”». Вот всё, что я нажил. И ещё курточка. Ну, с ней ничего не сделалось, и кровь хорошо замылась, никаких следов. Да, вот и пачка осталась «Беломора», на сегодня хватит, а завтра можно и в кредит брать в лавочке у артельного. А если сегодня и вправду отойдём, то и деньги мне ни к чему, сами понимаете. Вот если б они были, тогда другое дело. Ну, ладно, что теперь говорить.

— Счастливо, негритята!

— Тебе счастливо, дикарь.

— Встретимся в море?

— Возле Фарер.

Мы посидели, как водится, и я всем пожал лапы — ещё теплые, вялые со сна.

Сколько же раз я уходил отсюда? Дайте вспомнить. Ну, не из этой комнаты, все они на один лад: пять коек с тумбочками, стол под газеткой, потресканное зеркало на стене и картина — люди спасаются на обломке мачты, а на них накатывает волнишка баллов так на десять — чёрта лысого спасёшься! На другой стене — пограничный дозор в серых скалах вглядывается в серое море, старшина ладошку приставил ко лбу — бинокль у него, наверно, в воду свалился. Да, без воды нам, конечно, не обойтись на берегу. Ладно, пускай висят. А я пошёл.

На выходе вахтёрша меня остановила:

— Постой, сынок, у тебя за семь суток не уплочено.

5 3571

Вот этого я не учёл. Семь дней – это, значит, семьдесят копеек. Я вынул свои сорок. Она поглядела на меня поверх очков, вздохнула.

– У соседей не мог одолжить?

– Меньше десятки занимать – несолидно.

– Ладно, сама за тебя заплачу. Упомнишь?

– Забуду. Вы напомните, пожалуйста.

– Постой, я тебе пропуск выпишу.

Я показал ей, что у меня в чемоданчике, а пропуск порвал и кинул в плевательницу. Кому же его показывать? Той же вахтёрше.

– До свиданья, мамаша.

– Ступай, счастливо тебе в море.

Была ещё самая ночь, когда я выходил, со звёздами. Я пошёл по тропке, вышел на набережную. Порт переливался огнями до самых дальних причалов, вода блестела в ковшах*, и весь он ворочался, кипел, посапывал, перекликался тифонами и сиренами, и отовсюду к нему спешили – толпами, врассыпную, из переулков, из автобусов.

На углу Милицейской я остановился. Четверть десятого было на моих. Она уже там, на работе. Она минута в минуту приходит. Не то что я к отходу. Монеты у меня для автомата не было, но я зато способ знаю.

Подошёл там к трубке мужчина.

– Нельзя, – говорит, – она в лаборатории. И мы по личному делу...

– Ах, какая жалость! Тут к ней брат приехал...

– Из Волоколамска?

Так и есть, нарвался я на очкарика.

– Ну, нельзя – не зовите. Только передайте: тот самый звонил, ему сегодня в море, просил её прийти на причал. – Я ему сказал, какое судно и как найти причал. – Запомните?

С кем-то он там пошептался и ответил:

– Хорошо, я постараюсь.

– Вы-то не старайтесь, пусть она постарается.

– Она... по-видимому, придёт. Если сможет. Больше ничего?

– Нет, спасибо.

---

* Ковш – часть портовой акватории, углубление, ограниченное с трёх сторон причалами.

Так мы с нею пообщались.

Мне ещё нужно было в кадры – это рядом, на спуске: избёнка в один этаж, стены внутри голубые, облупленные, карандашами исписанные вкось и наискось, увешанные плакатами: «Рыбак! Не выходи на выметку без ножа», «Не смотри растерянно на лоно вод, действуй уверенно, используй эхолот!», «Перевыполним план по улову трески на трам-тарарам процентов!» Пять или шесть окошек выходят в коридор – в такое окошко лица не увидишь, только руку просовываешь с документами. И народ здесь толчётся с утра до ночи – кажется, век не пробиться. Но это кажется.

Я вломился в коридор и заорал с порога:

– Бичи, пустите добровольца!

Расступились. Девица даже выглянула из окошка.

– Это ты доброволец?

– Я. Выдай мне билетик на пароход.

– Выбирай любой. Какой на тебя смотрит?

– Восемьсот пятнадцатый.

– Привет! Отошёл уже.

– Быть не может, – говорю. – Отход на восемь назначен. А сейчас только полдесятого. Вон у тебя и роль ещё на столе.

– Ой, ну надо же! – захлопотала. – Неужели я ещё не отнесла?

Бичи мне дышали в затылок, смотрели, как она меня оформляет.

– Ты гляди, – один говорит другому, – в Норвежское идут под селёдку. Ну, юмористы!

– Надеются, значит, – отвечает другой.

– Ты шутишь! Какая же в январе селёдка?

– Так это ж не я иду. Это ж они идут.

Девица мне выбросила направление и закрылась. Бичи повздыхали и ушли перекуривать. А я дальше – крутиться по карусели. И часа не прошло, как выкрутился – со всеми печатями.

На спуске народ уже валом валил по мосткам. Я вклинился и зашагал – как рыбёшка в косяке. Снег скрипел под ногами, скрипели доски, и с нами облако плыло – от нашего дыхания; мы в нём шагали, как в тумане. У проходной разделились на два рукава, потекли мимо милицейских. Портовые шли налегке, ну, а меня с чемоданчиком остановили.

Спиртного при мне не было. Даже милиция выразила удивление:

– Небось через проволоку передал?

– Святым духом, – говорю, – по воздуху.

– А много? – смеётся милиция.

– Да штуки три.

– Это ещё не много. Вот сейчас кочегара задержали – восемь поллитров нёс в штанинах.

– Анекдот! – говорю. – Конфисковали?

– Ну, так если вываливаются! Это ж не дело. Надо, чтоб не вываливались.

– Правильно, – говорю.

– Счастливо в море!

Народ растекался по причалам, по цехам, по пакгаузам. Знакомые меня приветствовали – машинист с локомотива, доковые слесаря, девчата с коптильни, с рефрижераторов; я им улыбался, рукой помахивал и шёл себе, не задерживался, пока не упёрся в шестнадцатый причал. Здесь мой «Скакун» стоял – весь в инее, как обсахаренный. Грузчики-берегаши набивали трюма порожними бочками. Кран с берега подавал их в контейнере, контейнер зависал над люком и рассыпался, и бочки летели в трюм с грохотом.

У трапа чудак скучал с вахтенной повязкой на рукаве – две синих полосы, между ними белая, – поглядывал на берегашей и поплёвывал в воду. Не нравилась ему такая работа. Я ему подал направление и матросскую книжку. Он их приложил к пачке, а сам на мою курточку загляделся.

– Матросом идёшь?

– Матросом.

– Хорошо. – Не знаю, что тут особенно «хорошо», но так уж всегда говорится. – А я третьим штурманом.

– Тоже хорошо.

– Медкомиссию прошёл?

– В этом году не надо.

– А венеролога? Не намотал на винт?

– Ангел меня сохранил.

Ростом третий штурман был меня ниже, а вида ужасно задиристого. Где-то шрам себе заработал через всю щеку. Когда он смеялся, шрам у него белел, и лицо ощеривалось.

– Отойдём сегодня? – спрашиваю.

— В три часа, наверно. А может, завтра. Капитана ещё нет. А ты почему опаздываешь?

— Оформляли долго.

— Оформляли! Дисциплинка должна быть. Курточку не продашь?

— Нет.

— И не надо. Раз опоздал — будешь вахтенным. Повязку надень.

Он мне отдал свою повязку и сразу повеселел.

— В контору сбегаю. Лоции надо взять. И аптеку.

— Так и скажу, если спросят.

— Ну, молоток! Последи за берегашами. Видишь — как бочки швыряют. Все клёпки разойдутся. Ты покричи, чтоб кранец подкладывали.

— Покричу обязательно.

— Надо, знаешь, хоть покричать.

Мы друг друга поняли. Если кранец подкладывать — покрышку от грузовика, — это же каждую бочку нужно кидать отдельно. Так мы и через неделю не отойдём.

— А заскучаешь, — сказал третий, — на камбузе собачка сидит, Волна, поиграешь с ней. Сообразительный пёсик.

— Обязательно поиграю.

— А может, махнёшь курточку?

— Нет.

Он сбежал по трапу и скрылся. А я пошёл устраиваться. Кубрики на СРТ — носовые, под палубой. В каютке — дрифмейстер с боцманом живут; в двух кубриках — на четыре персоны и на восемь — вся палубная команда. Но туда, где четыре, мне и толкаться нечего, там аристократия — «Рыбкин»* поселяется, помощник дрифмейстера, бондарь и какой-нибудь матрос из «старичков», ветеранов этого парохода. Ну, а я уж как-то на любом судне — молодой, мне туда, где восемь. Я скинулся по трапу, толкнулся в дверь, а на меня — дым коромыслом, пар от горячего камелька, весёлый дух от стола, где трое сидело с дамами.

— Здорово, папуасы!

— Будь здоров, дикарь. С нами идёшь? Присаживайся.

— Нельзя мне. На вахте.

— А что на вахте, богу молятся?

---

* Рыбмастер, специалист по разделке и засолке.

Я поглядел — ни одного знакомого рыла. И койки пока все заняты. Одни — шмотками завалены, а в других — лежали по двое, обнявшись намертво, шептались; из-за занавесок выглядывало по четыре ноги: два ботинка, две туфельки. Так он и будет, этот шёпот прощальный, — до самой Тюва-губы. Потому что порт — это ещё не отход. Вот Тюва — это отход. Там мы возьмём *вооружение:* сети, троса́, кухтыли, возьмём солярку, уголь для камбуза, проверим компас, в последний раз потопчем берег. Потом отойдём на середину залива, и к нам причалит пограничный катер. Всех нас соберут в салоне, лейтенант возьмёт наши паспорта и выкликнет каждого по фамилии, а мы отзовёмся по имени-отчеству. Знамо дело, не первый год за границу ездим. А солдаты тем временем обшарят всё судно и выведут этих женщин на палубу — назад отвезти, в порт. Дело уже будет к ночи, в Тюве сколько только можно прокантуемся, хотя там делов часа на четыре, не больше. Тут мы в последний раз этих женщин увидим — под нашим бортом, под прожектором, будем орать им: «Ты там смотри, Верка (или Надька, или Тамарка), гулять будешь — узнаю, слухом земля полнится и море тоже, мигом аттестат закрою, и кранты нашей дорогой любви!» А они нам снизу: «Глупый ты, Сенька (или Васька, или Серёга), говори, да не заговаривайся, люди же слушают, когда ж это я от тебя гуляла, я себя тоже как-нибудь уважаю!» И катер нырнёт в темноту, покачивая топовым*, повезёт наивернейших наших жён, невест и подружек, — я за них ручаюсь, с кем-нибудь из этих и я вот так же прощался за занавеской.

Одним словом, койки мне сразу не нашлось, а это худо дело, я вам скажу, койка в море — это твоё прибежище, в ней не только спишь, в ней читаешь книжки и пишешь письма, в ней штормуешься — это значит, лучше, когда она вдоль киля, а не поперёк. Но такой уж я невезучий, это надолго.

Ладно, я закинул чемоданчик в верхнюю, около двери, и пошёл.

И только я показался в капе, уже меня какой-то верзила кличет, в безрукавке-выворотке, без шапки, в шлёпанцах на босу ногу.

— Вахтенный, флажок почему не поднял?

---

* Белый огонь на топе (верхушке мачты).

— Может, он поднят?

— Нет. Мне диспетчер звонит. Надо поднять.

Я влез на ростры*, пробрался между шлюпками к корме и поднял флажок — весь замасленный, линялый, в копоти, — разглядит его там диспетчер в бинокль или нет? Я закрепил фал и спустился. А тот верзила меня ждал внизу, на морозе, приплясывал в своих шлёпанцах. Ну, такому ничего не сделается — лицо младенческое, румянец во всю щеку, и в пухлых плечах дремучая, должно быть, силища.

— Новенький, аттестат будешь оформлять?

— Матери в Орёл.

— А бичихи — нету?

— Нет пока.

— И алиментов не платишь? Что ж ты такой?

— Такой уж...

— Ну, и я такой. — Протянул мне ручищу розовую, в крапинах. — Выбери время, зайди. Ножов моя фамилия. Жора. Второй штурман.

— Хорошо.

— Вот так. Свои будем. Стой вахту, не сачкуй.

Зашлёпал к себе вприпрыжку. И тут же меня с берега позвали:

— Вахтенный!

Стоял на пирсе мужичонка, весь в бороде, поматывал концом шланга.

— Воду будем брать ай нет?

— Обязательно, отец.

— Ну дак валяй, откупоривай танки-то. Какой я тебе отец? Я ещё тебя перемоложе.

Хорошо же я выглядел после вчерашнего!

— Вода у тебя — питьевая?

Он для чего-то на шланг поглядел.

— Нет, вроде мытьевая.

Я вывинтил пробку в палубе, приладил шланг, махнул ему рукой. Он своему напарнику махнул, такому же бородатому. А тот ещё кому-то. Так и домахались до водокачки.

— Вахтенный! — опять кричат.

Повар кричал с камбуза. Машина привезла продовольствие. Я к ней подвёл лебёдку, петлёй обвязал коровью ногу и затянул.

---

* Шлюпочная палуба.

— Вирайте!

Поплыла мороженая нога с причала на камбуз — торжественно, как знамя. Потом ещё мешки перегружали — с картошкой, сухофруктами, вермишелью и чёрт его знает с чем. А только управился — опять голос, с берега:

— Вахтенный!

Стоит — в шляпе, под ней уши мёрзлые, дышит себе на руки.

— Кто воду берёт?

— Что значит «кто»? Пароход берёт.

— Кто персонально? Фамилия? Шаляй? Почему, Шаляй, питьевую воду в мытьевые танки заливаете? Очистка денег стоит. Народных. Государственных. За границей, например, за это золотом берут. Валютой.

— Мы ж не за границей.

— Тем более. Значит, себя грабим. Кто это приказал?

— Кто шланг давал, сказал — мытьевая.

— Персонально кто? Не помните? Как же так получается?

А чёрт его знает, как это получается. Все руками махали.

— Что ж теперь, — говорю, — обратно её качать? Тоже деньги. Народные. Государственные. Опять же, чище помоемся, раздражения кожи не будет. Доктора советуют.

Озадачился в шляпе.

— Всё равно — непорядок. Вот как мы это назовём.

Махнул тоже рукой и пошёл. Минуты не прошло, как снова:

— Вахтенный!

Это из рубки старпом — его на отходе вахта. Стоял в окне, как портрет в раме, косил мне глазом на палубу. А там, возле трюма, стоял некто — в барашковой шапке, в пальто с шарфом, в тёплых галошах, руки за спиной, — наблюдал за берегашами, как они бочки швыряют. Так, думаю, сейчас насчёт кранцев будет заливать.

— Ты вахтенный?

Смотрел на меня холодными глазами и морщился. Капитан, конечно, кто же ещё. Они всегда посередине палубы останавливаются, а говорить — не спешат. Капитану в море ещё много чего придётся сказать, ну, а когда он в первый раз на судно всходит, спешить не надо, а надо сказать такое, чтоб запомнили. Чтоб прониклись.

— Скользко на палубе, вахтенный. Люди упадут и ноги переломают.

Так сразу и переломают. А я думал, он насчёт кранцев.

— Сейчас, — говорю, — посыплю.

— Так. А чем будешь посыпать? Солью?

— Нет, — говорю, — это инструкцией запрещено. Надо — песком.

— А он у тебя есть?

— Нет, но достану.

— Новенький, а знаешь. Ну, действуй.

Сказал он своё капитанское слово и пошёл к себе в каюту, легонько этак пошатываясь. А я взял лопату, пошёл к бочке с солью и стал её сыпать. Новенький, а знаю. И он тоже знает. Это один гений в газете написал, что от соли настил гниёт. И напечатали. Не спросили только — а чем её, палубу, в море поливает, не солью? Потому что — борец за экономию. Как будто, если я её песком посыплю, это дешевле выйдет. Песок зимой дороже, чем соль. А летом и посыпать не надо.

Ну так, я с этим покончил, больше никто меня не звал, и сел я на комингс трюма перекурить. Кто-то выполз из кубрика, пошатался в капе, к трюму подошёл и стал над люком. Я вскочил и отодвинул его на полшага.

— Отодвигаешь меня? Ты главный тут?

— Не главный, но вахтенный. Свалишься — мне же отвечать.

Тут одна бочка выпала из контейнера, ещё с высоты, и раскололась по всем клёпкам. Не знаю отчего, так же и другие падали. Обруч небось был перержавленный.

Вдруг этот, кто выполз, так усмехнулся лениво и сгрёб меня за куртку. Задышал мне в лицо гнилью зубной, да с перегаром.

— Вахтенный, а не смотришь. А я за бочки с тебя спрошу, понял. Потому что я — бондарь.

— Пусти, — говорю, — порвёшь.

А он, хоть и косой был вдымину, но мёртво держал, сильней был меня трезвого. И так смотрел из-под серых своих бровей, с такой медвежьей злобой, как будто убить хотел.

Из берегашей один, который внизу стоял, на укладке в трюме, сказал:

— Что вы, ребята, как не стыдно? Вы ж в море вместе идёте, должны быть, как братовья.

— Ты помалкивай там, — сказал ему бондарь. Но всё

же куртку отпустил. Зато кулак поднёс к самому моему лицу. – Убивать таких братовьёв.

И пошёл обратно в кубрик. Берегаши работу оставили, смотрели вслед ему. Тот, в трюме, спросил:

– Слышь, вахтенный, неужели из-за бочки? Ну, сто́ит она? Может, чего по-крупному не поделили?

– Чего нам делить? Первый раз его вижу.

– Вот дела! Не, тогда лучше не ходить вместе.

Действительно, я подумал, дела. Ведь тут ничего не попишешь, если не понравились двое друг другу на пароходе. Не из-за бочки, конечно, а просто рылами не сошлись. В море и те, кто нравятся, мало-помалу осточертеют. А тут мы рейс начинаем врагами. Даже не поймём отчего. Может, и правда, не ходить с ним?

– Слышь, вахтенный, – сказал мне тот, из трюма, – я подумал: в общем-то на это плюнуть. Ну, это ж он – спьяну.

– Да чепуха, – говорю, – есть о чём говорить!

– Ну, правильно. Слышь, а пошарь там, на камбузе – хлебца не найдётся ли? Есть захотелось.

Ох, эти берегаши. Вечно у моряков чего-нибудь клянчат. Как будто прорва бездонная на пароходе.

– Ладно, пошарю.

– Будь ласков. Может, и мяску найдёшь? Или там курку?

На камбузе у кандея* пыхтела кастрюля на плите, и два помощника чистили картошку. Сам кандей собачку кормил из миски – рыженькую такую, пушистую, глазёнки выпуклые, лобик с зачёсиком. Она не ела, а прямо отведывала. И ушками-то всё прядала, и поджимала лапку. Не верила, что всё так хорошо.

– Рубай, Волна, веселей, – кандей её подбадривал. – Скоро тебе на вахту идти.

Всех портовых собак зовут Волна. А если кобель, то – Прибой. В Тюва-губе она, конечно, сбежит. Не такие они дураки, портовые пёсики, с нами в море идти. У них программа чёткая – за кем-нибудь увяжутся, чуют судового человека, и по нескольку дней живут на пароходе в тепле и в сытости, только бы уши не оборвали от широты души. А в Тюве – сбегают на берег и на попутных возвращаются в порт. Я всё понять не мог, как же они различают: кто

* Повар *(рыбацкий сленг).*

в море идёт, кто в порт, ведь к одному причалу подходят. А наверно, по запаху — с моря-то трезвые возвращаются. Ну, и настроение другое.

Я спросил у кандея, нет ли чего для берегашей. Он повздыхал, но вынул из кастрюли кус мяса и завернул в газетку, вместе с буханкой чёрного.

— А сам не покушаешь?

Я со вчерашнего не ел, но как-то и не хотелось.

— Ну, хоть компоту порубай, — дал мне полкастрюли и черпак. — Докончи, всё равно мне новый варить.

Сам он только папиросу за папиросой курил. Худющий, лицо страдальческое, в морщинах. Язву, поди, нажил на камбузах.

Я ел нехотя и поглядывал на его помощников, как они картошку чистят. Каждый глазок они вырезали — это у кандея и завтра не будет готово. Они-то, конечно, старались, но — медленно. А мы не работаем медленно. Мы, чёрт нас задери, всё делаем быстро. Потому что удовольствия мало картошку чистить. Или бочки катать. Вот узлы вязать — это другое дело, это я люблю. Но тут ведь всё удовольствие — что делаешь это быстро. А картошка — это, как говорил наш старпом из Волоколамска, «работа не для белого человека».

Один заметил, что я смотрю, смущённо мне улыбнулся, откинул со лба белесую прядь. Он славным мне показался, хоть и дитя ещё пухлогубое.

— Что, — спрашиваю, — рука онемела?

— Да нет, чепуха.

Салаги они, я сразу понял. Моряк старый, конечно, сознался бы, ничего нет зазорного. Я кинул черпак в кастрюлю, взял у него ножик, показал, как чистить. Чик с одного боку, чирик с другого — и в бак.

— Так же много отходов, — говорит он.

— Ну, чисти по-своему.

Второй — смуглолицый, раскосый, как бурят, — посмеялся одними губами.

— Друг мой Алик, всякая наука благо, скажи спасибо.

— Спасибо, — Алик говорит.

Из салона вышел малый в кепчонке, в лыжной замасленной куртке, взял кочергу и сунул в топку. Потом посчитал, сколько нас тут на камбузе.

— Шура! — крикнул туда, в салон. — Четырёх учти.

— Я не в счёт, — говорю ему. — На вахте.

— Сиди ты! Вахтенному — полуторную. — И, не улыбаясь, наморщенный, угрюмый, сунул мне пятерню. — Фирстов Серёга. Компоту оставь запить.

Алика отчего-то вдруг передёрнуло. И сказал как-то виновато:

— Пожалуй, и я не в счёт... Я этого не пью. Ни разу, впрочем, не пил.

Раскосый опять посмеялся чуть-чуть.

— Ах, он у нас предпочитает шампанское.

— Разбирайся с вами, котятами, — сказал Серёга, — кто чего не пьёт...

Кочерга накалилась, он прикурил от неё и пошёл в салон. Мы тоже пошли. А Шура уже там распечатал ящик с одеколоном — «Маки» — и сливал из флаконов в чистый котелок. Двадцать четыре флакончика стограммовых — это команде на бритьё, но никто ещё с ними не брился, всё палубные выпивают в день отхода. Штурманá на это не посягают, у них своё законное есть — спирт из компаса, три с чем-то литра на экспедицию, потом они всю дорогу механикам кричат: «Топи веселей, картушка* примерзает!»

Шура весёлыми глазами смотрел, что там творится в котелке. А кандей тем временем шлюпочный аварийный ящик вскрывал, с галетами.

Рядом с Шурой стояла девка — молоденькая, нахмуренная, — держалась за его плечо.

— Шура, — просила его, — когда ж со мной поговоришь?..

Он только плечом подёргивал. А она даже нас не замечала, только его и видела одного. Ну, я б на её месте тоже бы по сторонам не заглядывался: такой был парень красивый — глазастый, темнобровый, зубы жемчужные. Он, поди, и сам своей красоты не знал, а то бы девки за ним по всем причалам пошли толпою. Да может, и ходили. Но всё равно, наши ребята себя не знают. Вот и Серёга был бы ничего, — хотя не сравнить его с Шуркой, — чёрен, как дёготь, и притом синеглазый, это редко встретишь, но уж как рыло своё угрюмое наморщит, лет на десять ему больше дашь.

---

* Картушка — градуированный диск компаса, насаженный на иглу и плавающий в незамерзающей жидкости, обычно в разбавленном спирте.

Шура из котелка разлил по кружкам и мне почему-то первому поставил:

— Хватани, кореш.

Сам же не брал себе, пока все не расхватали. Смотрел на меня, улыбался мне весело. Вот с ним-то мы поладим. И с Серёгой, наверное, тоже. Не знаю, как объяснить вам, отчего я это почувствовал.

— Сам откуда, кореш?

— Орловский.

— Ну, ты даёшь! Земляки почти, я изо Мценска. Давай, земеля, грохнем.

Даже его провожающая поглядела на меня милостиво. Мы грохнули, она тоже пригубила из его кружки и сморщилась, замахала рукою возле рта. Мы слегка пригорюнились, быстренько запили компотом и потянулись за галетами. Салаги долго не решались, смотрели на нас — не умрём ли? Нет, живы, — потом раскосый глотнул всё разом, подобрал живот и выдохнул в подволок. Алик же пил судорожными глоточками и плавился, истекал слезьми.

— Ничего, — сказал Шура, — с ходу оморячились.

Алику, однако ж, плохо сделалось, хоть он и улыбался геройски. Кандей вскочил и увёл его в камбуз. Мне тоже пора было идти.

— Да посиди, земеля, — сказал Шура, — не украдут пароход.

Провожающая взглянула на меня исподлобья.

— Ну, раз ему на вахту... Вы потом, в экспедиции, наговоритесь.

Я взял свёрток и вышел. Берегаши, конечно, не грузили, ждали меня, и тут же сели закусывать.

— Ступайте, ребята, в салон, — я им сказал, — там тепло и есть чего выпить.

Они подумали и отказались.

— Да чо там, нам всё равно бесполезно, по холодку выдохнется. А вы уж почувствуйте, как подобает, ведь три месяца будете трезвенники.

— Это верно. Три с половиной.

Я ушёл на полубак, сел там на бочку, дымил и поглядывал на причал. Я ещё не потерял надежды, что она придёт. В прошлый раз она тоже опаздывала, успела

к самому отплытию. Вот разве очкарик не передал ей, что я звонил. Но какой ему резон — если я ухожу? И с кем же он тогда шептался?

До Полярного недолго было и сбегать или позвонить из диспетчерской, но чёртова повязка меня связала по рукам, по ногам. Кому её передашь, у каждого эти минуты последние. Просто сбежать, и всё? Никто особенно не хватится, покричат — другого найдут. Но не в том дело, хватятся или нет, а тут у меня определённый свих, я даже не могу объяснить. Так, наверно, заведено: одним — жить в тепле, другим — стынуть и мокнуть. Вот я родился — стынуть и мокнуть. И с вахты не сбегать. Я сам это себе выбрал, тут никто не виноват.

Уже смеркалось, когда снова позвали:

— Вахтенный!

Было начало четвёртого, а к причалу никто не спешил — я бы издалека увидел.

11

Позвал меня «дед». Он возился под рубкой, доставал из-за лебёдки шланги и футшток — готовился к приёмке топлива, что в Тюве будем брать. И сказал мне, не оборачиваясь:

— Сейчас прилив начнётся, швартовые не забудь ослабить.

— Не забывал до сих пор.

«Дед» повернулся, оглядел меня всего.

— А мне сказали — новенький на вахте. Давай-ка остаток замерим.

Он вывинтил пробку в танке, я туда вставил футшток, упёр его в днище и вытянул. «Дед» стоял, наклонясь, и смотрел.

— Сколько там?

Он, значит, не различал делений. А мне они были видны с полного роста, да и не так ещё стемнело. Я стал на корточки и пощупал — где мокро от солярки.

— Тридцать пять вроде...

— Я так и думал. Завинчивай.

— «Дед», а почему ты сам замеряешь? Мотыля мог бы послать.

— А я не сам, — сказал «дед». — Ты вот мне помогаешь. Ничего, я их в море возьму за жабры. Как довезли тебя, в норме?

— Спасибо.

— Мне-то за что? А деньги — ты не тужи об них, деньги наших печалей не стоят. Ну, вперёд будь поосторожней.

Я засмеялся. Вот и вся «дедова» нотация. За что я его и любил.

— Зайдёшь ко мне? — спросил «дед». — Опохмелиться же надо.

— Да я уже, вроде бы...

— Чувствуется. Пахнешь, как балерина.

— Зайду.

На СРТ у троих только отдельные каюты: у кепа, старшего механика и радиста. Штурманá — и те втроём живут. Но «маркони» тут же и аппаратуру держит, это его рабочее место. А фактически — у двоих, одна против другой. «Дед», как говорят, «вторая держава на судне». И к нему в каюту никто не ходит. Даже к капитану ходят — по тем или иным вопросам, а к «деду» один я ходил, и на меня за это косились. И на него тоже. Но мы на это плевали.

«Дед» к моему приходу разлил коньяк по кружкам и нарезал колбасу на газетке.

— Супруга нам с тобой выставила, — объяснил он мне. — Жалела тебя вчера сильно.

— Ненил Васильну я, жалко, не повидал. Проводить не придёт?

— Она знает, где прощаться. На причале — одно расстройство. Ну, поплыли?

Я сразу согрелся. Только теперь почувствовал, как намёрзся с утра на палубе.

— Кой с кем уже познакомился? — спросил «дед».

— Кеп — что-то не очень мне...

— Ничего. Я с ним плавал. Это у тебя поверхностное впечатление.

— Да бог с ним, лишь бы ловил.

— А вообще, народ понравился?

Я пожал плечами.

— Не хочется плавать? — спросил «дед». — Тебя только деньги и тянут в море?

Я не ответил. «Дед» снова разлил по кружкам и вздохнул.

— Вот я чего решил, Алексеич. Я тебя весь этот рейс на механика буду готовить. Поматросил ты — и довольно. Это для тебя не дело.

Я кивнул. Ладно, пусть помечтает.

— Ты пойми, Алексеич, правильно. Матрос ты расторопный, на палубе ты хорош. Но работу свою — не любишь, она тебя не греет. Оттого ты всё и качаешься, места себе не находишь. И нельзя её любить, скоро вас всех одна машина заменит — она и сети будет метать, и рыбу солить.

— Это здорово. Только я ни черта в твоей машине не разберусь.

— У меня разберёшься. Да не в том штука, чтоб разобраться. А чтобы — любить. Я тебя жить не научу, сам не научился, но дело своё любить — будешь. Дальше-то всё приложится. Ты себя другим человеком почувствуешь. Потому что люди — обманут, а машина — она как природа, сколько ты в неё вложишь, столько она тебе и отдаст.

Я улыбнулся «деду». Под полом частило гулким, ровным стуком, кружки на столике ездили от вибрации. Света мы не врубили, и не нужно было, в «дедовой» каютке любую вещь достанешь сидя, — но я увидел в полутьме его лицо. Тепло ему тут жилось, наверно, когда она день и ночь стучит внизу.

— Что ты! — сказал «дед», как будто услышал, о чём я думаю. — Я как попал в свою карусель, когда народ ото всех святынь отдирали с кровью, я только и ожил, когда меня к машине поставили.

— А что она делала, та машина?

«Дед» пододвинул мне кружку и сказал строго:

— Худого она не делала, Алексеич. Асфальтовую дорогу прокладывала через тайгу.

— Зверушек, наверно, попугали там?

— Каких таких зверушек?

— Да это я так...

Просто я вспомнил — мне рассказывал один, как они лес валили зимой, где-то в Пошехонье, и трелёвочными тракторами выгоняли медведей из берлог. Я себе представил этого мишку — вылазит он из тёплой норы, облезлый, худющий,

пар от него валит. Одной лапой голову прикрывает от страха, жалуется, плачет, а на трёх — улепётывает подальше — искать себе новую берлогу. А лесорубы, здоровые лбы, идут за ним оравой, в руках у них пилы и топоры, и кричат ему: «Вали, вали, Потапыч!..» Хорошо бы узнать, находят себе мишки новую берлогу или нет. Зимой ведь не выроешь...

— Я тебе серьёзно, — сказал «дед», — а ты мне про зверушек.

Мне отчего-то жалко стало «деда», так пронзительно жалко. Я и вправду решил к нему пойти на выучку. Может быть, что-нибудь из меня и выйдет.

— «Дед», не обижайся. Я ради тебя чего только не сделаю.

Тут меня позвали с палубы.

— Ступай, — сказал «дед».

Когда я уходил, он, сутулый, сидел в темноте за столиком и смотрел в окно. Потом стал убирать недопитую бутылку и кружки.

— Куда делся, вахтенный? — старпом стоял в окне рубки. Был он, наверно, из поморов — скуластый, широконосый, с белыми бровками. И очень важничал, переживал свою ответственность. — Я тебя час зову, не откликаешься.

Час — это значит он два раза позвал. Я в таких случаях не спорю, это самое лучшее.

— Не ходи никуда, сейчас отчаливать будем. Люди все на месте?

— Кто пришёл, тот на месте.

— Отвечаешь не по существу вопроса.

А что ему ответишь? Не пошлёт же он меня в город, если кто и опоздал. В Тюва-губе нагонят.

Ещё два человечка спрыгнули с причала, с чемоданчиками в руках, и тут же скрылись в кубрике. Потом показался третий штурман — с белым мешком за спиной. Не с мешком, а с наволочкой. В ней он, верно, лоции приволок и аптеку, он же на СРТ и за доктора. Лекарств у него там до едрёной фени, каких хочешь, но на все случаи жизни — зелёнка и пирамидон, других он не знает. Зелёнка — если поранишься, а пирамидон — так, от настроения. А больше мы в море ничем не болеем.

За третьим — женщина прибежала, в пальто с лисой и в шляпе. Как раз у трапа они и начали обниматься. Женщина большая, а штурман маленький. Он её за талию, она его за шею. Еле отпустила живым, набрасывалась, как прямо тигрица. Третий спрыгнул на палубу и помахал ей морской отмашкой. Глаза у него блестели растроганно.

— Иди, — сказал он ей нежно, — простудишься.

Она постояла, как статуя, и пошла.

— Хороша? — спросил он меня. — За полторы сойдёт, верно?

— За двух.

— Сашкой зовут. Вчера познакомились.

Я кивнул.

— Слыхал новости? Отзовут нас с промысла, рейс не доплаваем. Точно, мне в кадрах верный человек сказал.

— Это почему отзовут?

— А не ловится селёдка.

— Неделю назад ловилась.

— Неделю! За неделю знаешь, что может произойти? Землетрясение! Чёрт-те чего! Я те говорю — отзовут.

Новости, конечно, самые верные. Одна баба сказала и кореш подтвердил. Всегда перед отходом ползают какие-то слухи: отзовут, не доплаваем, вернёмся суток на двадцать раньше. Иногда и правда отзывают. Но я, сколько ни плавал, день в день приходил, на сто пятые сутки.

— Что ж, — говорю, — приятно слышать.

— Вот! Ты со мной не спорь. Как насчёт курточки?

— Всё так же.

— И зря. Отнеси мешок в штурманскую.

— Не понесу. Это твоё дело. А я с палубы не могу уйти.

— Ну, знаешь... Резкий ты парень!

Он поднял воротник на шинели, вскинул наволочку и побежал, полусогнутый.

— Вахтенный! — старпом позвал из рубки.

— Ну?

— Не «ну», а «слушаю». Убрать трап!

С берега мужичонка в шапке набекрень подал мне трап. Больше никого на пирсе не было. Над всей гаванью заревело из динамиков:

— Восемьсот пятнадцатый, отходите! Восемьсот пятнадцатый, отдавайте концы!

Старпом в рубке горделиво стоял у штурвала. Рад был, что кеп ему доверил отчаливать.

— Вахтенный, отдать кормовой!

Тот же мужичонка подал мне конец, и я вышел под рубку, ждал, когда борт отвалит от стенки.

— Что молчишь? — спросил старпом. — Конец отдал?

— Порядок, — говорю, — можешь отваливать.

— Надо говорить: «чисто корма»!

— Знаю, как надо говорить. Только надоело.

Чудо, что за пароход. Как будто я один отчаливал. Не считая, конечно, старпома.

Машина встрясла всю палубу, и винт за кормой всхрапнул, взбурлил чёрную грязную воду. Борт начал отходить, и я пошёл на полубак. Старпом мне крикнул вдогонку:

— Отдать носовой!

Опять мы с тем же мужичонкой встретились. Он сделал своё дело, похлопал себя рукавицами по груди, по ляжкам и сказал мне:

— Счастливо те в море, парень!

— Ага, бывай, отец.

Мы уже отошли на метр — в слабом свете плескалась мазутная волнишка между бортом и стенкой, кружились щепки и мусор, и я пошёл закрепить леер — где раньше трап был. Вдруг меня оттолкнули — какая-то девка с плачем, охая, кинулась с борта на причал. Едва-едва достала до пирса носочками — и напугалась отчаянно, заплакала навзрыд. За нею выскочил Шура — в одной рубашке, без шапки. Он ей орал:

— Мне всё про тебя скажут, не думай, не утаишь!

— Шура! — она шла по причалу, прижав руки к груди, платок ей закрывал половину лица. — Как ты можешь говорить! В гробу я с ним лежала!

— Я тя люблю, поняла, но услышу про твоего Венюшку — гад буду, всё тут кончится!

— Шура!

Она отставала, уплывала назад — и скрылась за рубкой. Я закрепил леер. Шура стоял рядом, ругался по-страшному и мотал головой.

— Жена? — я спросил.

— Да только расписались.

— Зря ты с ней так, девка же тебя любит.

— Любит!.. А ты чо суёшься? Твоё дело? — Но скоро он успокоился, заулыбался даже. — Ничего, для любви не вредно пошуметь. Всё равно она завтра в Тюву прискочит. А нет — тоже неплохо. Громко попрощались, запомнит.

Причал уходил вдаль, за корму, надвигались и уходили другие причалы, корпуса пароходов. Вода, чёрная, как дёготь, поблескивала огоньками. Над рубкой у нас три раза взревел тифон. Низко, протяжно. Кто-то издалека откликнулся — судоверфь, наверно, и диспетчерская.

— Раньше не так было, помнишь? — сказал Шура. — Весь порт откликался. Аж за сопки провожали.

Он вздрагивал от холода, но не уходил, смотрел на порт.

— А тебя почему не проводили? Времени не нашла?

— Не смогла.

— Убить её мало. Сходи погрейся, я за тебя постою.

— Не надо.

— Ну и стой, дурак. — И пошёл в кубрик.

Мы шли мимо города, проходили траверз «Арктики», потом траверз улицы Володарской — промелькнула в огнях, стрелой, направленной в борт, и отвернула назад. С другого борта уходил Абрам-мыс, высоко на сопке мелькнуло Нинкино окошко. Потом — пошла Роста.

— Слышь, вахтенный, — старпом позвал. — В Баренцевом, сообщают, шторм восьмибалльный. Повезло нам. До промысла лишний день будем шлёпать.

— Нам всегда везёт. Чем ни хуже, тем больше.

— А ты чего такой злой? Тоже не поладил с бабой?

— Я не злой. Это у тебя поверхностное впечатление.

— Ишь ты! Ладно, притрёмся. Иди спать пока, до Тювы ты не нужен.

Но я не сразу ушёл, а покурил ещё в корме, на кнехте сидя. Здесь шумела струя от винта, переливалась холодными блёстками и отлетала во тьму, и лицо у меня деревенело от ветра. Ветер шёл от норда — в Баренцевом и правда, наверно, штормило. Но мы ещё не завтра в него выйдем. Завтра весь день — Тюва. Если я сильно захочу, можно ещё оттуда вернуться...

Мы шлёпали заливом, лавировали между тёмными сопками, покамест одна не закрыла напрочь и порт, и город, и огоньки на Абрам-мысу.

Встречным курсом прошлёпал кантовочный буксирчик* — сопел от натуги, домой спешил. Кранцы висели у него по бортам, как уши. На нём тоже можно было бы вернуться, если сильно захотеть.

Прошла его корма, я на ней разглядел матроса — в ушанке и чёрном ватнике. Он, как и я, сидел там на кнехте, прятал цигарку от ветра. Увидел меня и помахал рукой.

— Счастливо в море, бичи!

Я бросил окурок за борт и тоже ему помахал. Потом ушёл с палубы.

---

* Эти буксирчики разворачивают (кантуют) в портах или в других узкостях большие суда.

Глава вторая

СЕН ШАЛАЙ

1

Весёлое течение – Гольфстрим!..

Только мы выходим из залива и поворачиваем к Нордкапу, оно уже бьёт в скулу, и пароход рыскает – никак его, чёрта, не удержишь на курсе. Зато до промысла по расписанию шлёпать нам семеро суток, а Гольфстрим не пускает, тащит назад, и получается восемь – это чтобы нам привыкнуть к морю, очухаться после берега. А когда мы пойдём с промысла домой, Гольфстрим же нас поторопит, поможет машине, ещё и ветра подкинет в парус, и выйдет не семь, а шесть, в порту мы на сутки раньше. И плавать в Гольфстриме веселей – в слабую погоду зимой тепло бывает, как в апреле, и синева, какую на Чёрном море не увидишь, и много всякого морского народу плавает вместе с нами – касатки, акулы, бутылконосы, – птицы садятся к нам на реи, на ванты...

Только вот Баренцево пройти, а в нём зимою почти всегда штормит. Всю ночь громыхало бочками в трюме и нас перекатывало в койках. И мы уже до света не спали.

Иллюминатор у нас – в подволоке, там едва брезжило, когда старпом рявкнул:

– Па-дъём!

К соседям в кубрик он постучал кулаком, а в наш зашёл, сел в мокром дождевике на лавку.

– С сегодняшнего дня, мальчики, начинаем жить поморскому.

Мы не пошевелились, слушали, как волна ухает за бортом. Один ему Шурка Чмырёв ответил, сонный:

– Живи, кто тебе мешает.

– Работа есть на палубе, понял?

— Какая работа, только из порта ушли. Чепе* какое-нибудь?

— Вставай — узнаешь.

— Не, — сказал Шурка, — ты сперва скажи, чего там. Надо ли ещё вставать или мне сон хороший досмотреть.

— Кухтыльник** сломало, вот чего.

— Не свисти! Сетку, что ли, порвало?

— Не сетку, а стойку.

— Это жердину, значит?

— Ну!

На нижней койке, подо мной как раз, заворочался Васька Буров, артельный. Он самый старый у нас и с лысиной, так мы его с ходу назначили главным бичом — лавочкой заведовать.

— Что же ты за старпом! — говорит Васька. — Из-за вшивой жердины всю команду перебудил. Одного кого-нибудь не мог поднять?

— Тебя, например?

— Не обязательно меня. Любого. Волосан ты, а не старпом!

Ну, тот озлился, конечно, весь пошёл пятнами.

— А моё дело маленькое, сами там разбирайтесь. Мне кеп сказал: найдётся работа — всех буди, чтоб не залёживались.

— Я и говорю — волосан. Кеп сказал, а работы — нету. А ты авралишь.

Старпом поскорей смылся. Но мы тоже не улежали. Покряхтели да вышли. На судне ведь ничего потом не делается, всё сразу. Хотя кухтыльник этот и не понадобится нам до промысла.

Горизонта не видно было, сизая мгла. Волна — свинцовая, с белыми гребнями, — катилась от норда, ударяла в штевень и взлетала толстым, жёлто-пенным столбом. Рассыпалась медленно, прокатывалась по всей палубе, до рубки, все стёкла там залепляла пеной и потом уходила в шпигаты не спеша, с долгим урчанием. Чайки носились косыми кругами с печальным криком и присаживались на волну: в шторм для них самая охота, рыба дуреет, всплывает к поверхности. И заглатывают они её, как будто на

* ЧП — чрезвычайное происшествие.

** Кухтыльник — сетчатая выгородка для надувных поплавков (кухтылей). На СРТ располагается под окнами ходовой рубки.

неделю вперёд спешат нажраться: только мелькнул селёдкин хвост в клюве – уже на другую кидаются. Смотреть тошно.

Мы потолкались в капе и запрыгали к кухтыльнику. Ничего там такого не сделалось, стойку нужно было выпилить метра в полтора, обстругать и продеть в петли. Работы – одному минут на двадцать, хотя бы и в шторм. Но мы-то вдевятером вышли! Это значит, на час, не меньше, мы же друг дружке помогаем! Потому что работа – на палубе, а кто её должен делать? Один не будет, если восемь останутся в кубрике. Он будет орать: «Я за вас работаю, а вы ухо давите!» И пошла дискуссия.

В общем, и полутора часов не прошло, как управились, пошли в кубрик сушиться. А кто и сны досыпать, кандей ещё на чай не звал. И тут, возле капа, увидели наших салаг – Алика и Димку, которых с нами не было на работе. Алик, как смерть зелёный, свесился через планширь и травил помалу в море. А Дима его держал одной рукой за плечо, а другой сам держался за вантину*.

Дрифмейстер, который всей нашей деятельностью руководил, сказал ему, Диме:

– На первый раз прощается. А вперёд запомни: когда товарищи выходят, надо товарищам помогать.

Дима повёл на него раскосым своим, смешливым глазом:

– Я вот и помогаю товарищу.

– Травить помогаешь? Работа!

Дима сплюнул на палубу и отвернулся. И правда, говорить тут было не о чем. Но дрифтер чего-то вдруг завёлся. Он ещё после кухтыльника не остыл.

– Ты не отворачивайся, когда с тобой говорят, понял?

– Со мной не говорят, на меня орут, – Дима ему отвечал через плечо. – А я в таких случаях не отвечаю. Или отвечаю по-другому... На первый раз прощается.

Дрифтер как вылупил рачьи свои глаза, так и застыл. У него даже шея стала красной. Он, правда, и не орал на салагу, просто у него голос такой, ему по ходу дела много приходится орать на палубе. Но салага всё равно был на высоте, а дрифтер уж лучше молчал бы. Вообще, он мне понравился, салага. Он мне ещё в Тюве понравился, когда

---

* Вантина – или ванта – трос, раскрепляющий мачту от бокового изгиба. Крепится нижним концом к борту или к палубе.

сети грузили. Понюхал и сказал Алику: «Лыжной мазью пахнут». Сколько я их перетаскал, а вот не учуял – и в самом деле, лыжной мазью.

– Ты сперва руку брось с вантины! – Дрифтер уже и впрямь заорал, стал над ним с кулачищами. У нас ещё боцмана́ бывают дробненькие, ну а дрифтеру всю палубную команду нужно в кулаке держать, так что кулаки у него дай бог. – А то ещё на трёх ногах стоишь на палубе!

– Пожалуйста, – сказал Дима. И руку убрал с вантины.

Тут из ребят кто-то, Шурка вроде Чмырёв или Серёга Фирстов, толканул дрифтера, увёл в кап, и мы всем хором скинулись по трапу в кубрик. Сели в карты играть, покамест кандей не позовёт. Серёга достал засаленную колоду и раздал по шестям. Пришёл ещё боцман наш, Кеша Страшной – ну, на самом-то деле он не страшной, а симпатичный, в теле мужичок, с чистым лицом, как с иконы, в довершение ещё бороду начал ро́стить. До порта побалуется, а там жена всё равно потребует сбрить. О чём мы тут заговорили? Да, боцман-то и начал мораль нам читать – на что мы время золотое тратим, карты у нас с утра, лучше бы книжки читали.

– Всё поняли, – Шурка ему говорит, – садись теперь с нами, а то у нас игра не заладится.

– Вот кеп вас застукает, он вам наладит игру. – Боцман взял карты, разобрал и вздохнул. – Вообще-то на судне не положено. Это игра семейная.

– А мы что, не семья? – спросил дрифтер. – Мы же и есть семья!

Тут как раз и явился Дима, взял полотенце с койки и сказал – так что все мы услышали:

– Семья! Пауки в банке, а не семья.

Мы положили карты лицом вниз и поглядели на него. Он был хмурый и матовый от злости.

– Ну, как он там? – спросил дрифтер про Алика. – Всё дразнит тигра?

– Не понимаю шуток, – сказал Дима. – Человеку плохо, а вы зубы скалите. Что за подончество!

Сказать между нами, дрифтер-то спросил из самого милого сочувствия. Он уже забыл начисто, как он орал на палубе. И из-за чего орал. Потому что палуба – одно, а кубрик – другое. Там свои интриги, а в кубрик пришли – всё забыто, сели играть, ходи с шестёрки. Но салага-то этого не знал.

— Ты озверел? — у дрифтера глаза на лоб вылезли. — Чем я тебя обидел?

— Да нет, всё в порядке. Это я тебя обидел. Если не повторится, возьму свои слова назад.

Дима кинул полотенце через плечо и пошёл. Мы опять взяли карты. Но что-то нам уже не игралось.

— Берут же инвалидов на флот! — сказал дрифтер. — И мытарься с ними. Ещё и рот разевают, дерьма куски.

Я положил карты снова лицом вниз и сказал ему:

— Ты, дриф, ещё не понял, что ты сам кусок? Ты этого на палубе не понял? Так я тебе здесь, в кубрике, могу объяснить.

— Ну, кончили, — Шурка поморщился. — Не заводись.

Но я уже завёлся. Меня вот это дико бесит — как мы друг к другу относимся.

— Салага тебе урок дал — другой бы со стыда помер. Но ты не помрёшь, не-ет! С таким-то лбом стоеросовым — жить да радоваться.

— Ладно, они тоже не помрут, — сказал боцман. — Злее будут.

— Зачем же злее, боцман?

— На СРТ пришли, тут им не детский сад.

— А, ну валяйте тогда. О чём ещё с вами говорить!

— Нет уж, поговорим, Сеня, — сказал дрифтер. Лицо у него побелело, ноздри раздулись. — Ты же мне объяснить хотел. А не объясняешь. Только ругаешься. Лучше-ка вот я тебе объясню. Ведь мы, Сеня, такие деньги получаем — ты их нигде не заработаешь: ни в колхозе, ни на заводе. Значит, работать надо со всей отдачей. Так мы ещё с салагами должны возиться, учить их по палубе ходить? Они-то что думали — придут на траулер и сразу нам будут помощники? Нет, Сеня, они этого не думали. А это, как ты считаешь, по-товарищески? Они моряками станут, когда мы последний груз наберём и в порт пойдём — денежки считать. Вот где от них помощь-то будет! А покамест они нам — на шее камень. Они это должны усвоить. И рот не разевать, когда их уму-разуму учат.

— Ты научишь! В ножки тебе поклониться за такое учение.

— Валяй тогда сам учи. Если такой добрый.

Плечи у него выперли тяжело под рубашкой. И всё он сверлил меня глазками. Устал я с ним говорить.

— С отдачей — это как, дриф? Доску всем хором приколачивать? А кто не вышел — всем хором на того и кидаться? Не будет у нас этого на пароходе!

Боцман засмеялся, сказал, глядя в карты:

— Откуда ты знаешь, Сеня, как у нас будет на пароходе? Как сложится, так и будет.

Васька Буров на своей койке вздохнул, отвернулся лицом к переборке.

— Охота вам лаяться, бичи, на пустое брюхо. Чаю попьём — и лайтесь тогда до обеда. А так-то скучно.

— И правда, — Серёга стал собирать карты. — Что-то не шевелится кандей.

В кубрике ещё один сидел, Митрохин некто. Совсем унылая личность. Я только заметил за ним — он с открытыми глазами спит. Даже ответить может во сне, такой у человека талант. Но хуже нету, если он тебя на вахте сменяет. Будят его ночью: «Коля, на руль!» — «Ага, иду». Тот, значит, возвращается в рубку, стоит лишних минут пятнадцать, потом отдаёт руль штурману, снова приходит будить: «Коля, ты озверел? Ты же не спишь, дьявол!» — «Нет, говорит, иду уже». И спит при этом дремучим сном.

Так вот, он сидел, слушал, морщины собирал на лбу, потом высказался:

— А вообще у нас, ребята, этот рейс не сложится.

Дрифтер повернулся к нему, его стал сверлить.

— Как это — не сложится?

— А не заладится экспедиция. Всё как-то сикось-накось пойдёт. Или рыбы не будет. Только не возьмём мы план.

— Свистишь безответственно! Ты скажи — какие у тебя предчувствия?

— Не знаю. Не могу точно сказать.

— А свистишь!

Митрохин опять в свои думы ушёл, лоб наморщил. Может, у него и в самом деле предчувствия, я чокнутым верю. Всем как-то грустно стало.

Я поднялся, вышел из кубрика. Наверху, в гальюне, Алик стоял над умывальником, а Дима, упёршись ногой в комингс, держал его за плечо, чтоб его не било о переборки.

— Полегчало?

Алик поднял мокрое лицо, улыбнулся через силу. Он уже не зелёный был, а чуть бледный, скоро и румянец выступит.

— Господи, сколько волнений! Это ведь со всеми бывает?

— Со всеми. С одними раньше, с другими — потом.

— И с тобой тоже было?

— И со мной.

Он поглядел в дверь на сизую тяжёлую волну и сам потемнел.

— Ты не смотри, — я ему посоветовал. — Вообще, приучайся не смотреть на море.

— Это интересно, — Алик опять улыбнулся. — Зачем же тогда плавать?

— Не знаю, зачем ты пошёл. Меня бы спросил на берегу — я бы отсоветовал.

— Как-то ты нам не попался, — сказал Дима.

Алик утёрся полотенцем и сказал бодро:

— Всё нужно пережить. Зато я теперь знаю, как это бывает.

— Да, — говорю, — повезло тебе.

Он и не узнал, как это бывает. Со мной-то не было, но я других видел. В армии мы как-то вышли на крейсере на учения, и — шторм, баллов на девять. Эти-то калоши рыболовецкие вместе с волной ходят, валяет их с борта на борт, а на крейсере из-под тебя палуба уходит — будь здоров, как себя чувствуешь. Одного новобранца как вывернуло — он десять суток в койке пластом лежал, языком не шевелил. А потом — не уследили за ним — взял карабин в пирамиде, ушёл с ним в корму да и выстрелил себе в рот. Или вот тоже — на «Орфее»: пошёл с нами один, из милиции. Всё похвалялся, что он приёмы знает, любого может скрутить. А за Нордкапом его самого скрутило — уполз на ростры, поселился в шлюпке, так и пересидел. Я, помню, принёс ему с камбуза миску квашеной капусты — говорят, помогает, да он на неё и смотреть не мог, смотрел на волну, не отрываясь. «Я знаешь чего решил, — говорит. — На тринадцатый день, если эта бодяга не кончится, прыгаю на фиг в воду!» А в глазах тоска собачья, мне тоже прыгнуть захотелось, с ним за компанию. Мы уже думали — связать его, пускай в кубрике полежит, но на двенадцатый день кончилось, и он сполз оттуда, списался на первой базе. Теперь снова в милиции служит.

Кандей наконец позвал с кормы:

— Чай пить!

В салоне мы все следили за нашими салагами. Диме-то всё нипочём, держался, как серый волк по морскому ве-

домству. Сразу и кружку научился штормовать — меньше половины пролил. Алик же — поморщился, поморщился и тоже стал есть. Но это ещё ничего не значит. Надо, чтоб закурил человек.

Дрифтер открыл свой портсигар, протянул Алику. Шурка поднёс спичку.

— Спасибо, — Алик удивился. — У меня свои есть.

— Вот, от них-то и мутит, — сказал дрифтер. — Рекомендую с антишторнимом.

Алик поглядел настороженно, ждал какого-нибудь подвоха. Потом всё же закурил. Тут мы все и расплылись. На это всегда приятно смотреть — ещё одного морская болезнь пощадила, пустила в моряки.

— Теперь посачкуй у меня, салага, — сказал боцман. — Сегодня же на руль пойдёшь как миленький.

— А я разве отказывался? — спросил Алик.

Дима всё понял и засмеялся. Однако слова свои назад не взял.

2

За Нордкапом погода ослабла, и мы потихоньку начали *набирать порядок:* из сетевого трюма достали сети, стали их растягивать на палубе, укладывать на левом борту; ещё распустили бухту сизальского троса, поводцов из него нарезали двадцатиметровых. Обыкновенно это на третий день делается или на четвёртый, лишь бы до промысла всё было готово. Но если погода хорошая, лучше сразу и начать, потому что она не вечно же будет хорошая, не пришлось бы в плохую маяться.

С утра было солнце и штиль — действительно, хоть брейся, — и мы себе шлёпали вдоль Лофотен, так что все шхеры видны были в подробности, чуть присинённые дымкой. И вода была синяя с прозеленью. Чайки на неё не садились — рыба снова ушла на глубину, — иногда лишь альбатросы за нею ныряли. С вышины кидались белыми тушами и не выныривали подолгу, — думаешь, он уже и не появится, — но нет, показался с рыбиной в клюве, только глаза налиты кровью. Тяжёлый же у птахи хлеб! Обыкновенно, когда работаешь, всего и не видишь, некогда лоб утереть, но порядок набирать — работа спокойная, можно и покурить, и байки потравить, и поглядеть на красивый берег.

Мы как раз и расселись на сетях, дымили, когда боцман привёл их ко мне — Алика, значит, и Диму.

— Вот, — говорит, — это у нас Сеня. Матрос первого класса. Учёный человек. Он-то вас всему и научит. Слушайтесь его, как меня самого.

И пошёл себе, довольный, оглаживая свою бородку. Ну что ж, я на это сам почти напросился. Моряки, конечно, подняли головы — ждали какой-нибудь потехи. Это уж обязательный номер, да я это и сам люблю. А салаги стоят передо мной, переминаются, как перед каким-нибудь капитан-наставником.

Хорошо, я сел и говорю им — Алику, значит, и Диме:

— Начнём, — говорю, — с теории. Она, как известно, опережает практику.

— Не совсем точно, — Алик улыбается. — Она её и подытоживает. И на ней базируется.

— Кто будет говорить? Я буду говорить или ты будешь говорить?

— Пардон, — сказал Дима. — Валяй, шеф.

— Первый вопрос такой: каким должен быть моряк?

Моряки уже там потихоньку давились.

— Ну, тут ведь у каждого свои понятия, — сказал Алик.

— Знаешь или не знаешь?

— Не знаем, — сказал Дима. Скулы у него сделались каменные.

— Моряк должен быть всегда вежлив, тщательно выбрит и слегка пьян. Второе: что он должен уметь?

— Мы люди тёмные, — сказал Дима. — Ты уж нас просвети.

— Вот, это я и делаю. Моряк должен уметь подойти — к причалу, к столу и к женщине.

Старые байки, согласен, но с них только всё начинается. Салагам, однако, понравилось. Алик, тот даже посветлел лицом.

— Теперь, — говорю, — практика. Ознакомление с судовыми работами.

— Пардон, шеф, — сказал Дима. — Мы знаем, что на клотике чай не пьют.

— А я вас на клотик и не посылаю, — говорю. — Я вам дело поручаю серьёзное. Ты, Алик, сходи-ка в корму, погляди там — вода от винта не греется? Пар, в смысле, не идёт?

— А это бывает?

— Вот и следят, чтоб не было.

Пожал плечами, но пошёл. Дима смотрел насупясь — он-то чувствовал розыгрыш, да не знал, с какого боку.

— А ты, Дима, вот чем займёшься: возьми-ка там, в дрифтерском ящике, кувалду. Кнехты осадить надо. Видишь, как выперли.

Тоже пошёл. Скучно мне всё это было до смерти. Но моряки уже, конечно, лежали. В особенности, когда он поплевал на руки и стукнул два раза, тут-то и начался рёгот.

— Что, — спрашиваю, — не пошли кнехты? Мешок пару надо заказать в машине, пусть маленько размякнут.

В это время Алик является с кормы.

— Нет, — говорит, — не греется. Я, во всяком случае, не заметил.

Моряки уже просто катались по сетям: «Ну, Алик! Ну, хмырь! Не греется?» Алик посмотрел и тоже засмеялся. А Дима взял кувалду и пошёл ко мне. Ну, меня, конечно, догонишь! Я уже на кухтыльнике был, пока он замахивался. И тут он как двинет — по кухтылю. Хорошо, кухтыль был слабо надут, а то бы отскочила да ему же по лбу.

— Э, ты не дури, салага. Ты её в руках держать не умеешь.

— Как видишь, умею. Загнал тебя на верхотуру.

— Ну, порядок, волоки её назад, у нас ещё работы до чёрта.

— Какой работы, шеф?

Смотрел на меня, как на врага народа. А чёрт-те чего, думаю, у этого раскосенького на уме. С ним и не пошутишь, идолом скуластым.

— Мало ли, — говорю, — работы на судне. Палубу вот надо приподнять джильсоном, а то бочки в трюмах не помещаются.

— Нет, шеф, это липа.

— Кухтыли надувать.

— Чем? Грудной клеткой?

— А чем же ещё?

— Тоже липа.

А хорош бы он был, если б я его заставил кухтыль надувать — заместо компрессора. Но это сразу надо было делать.

— Ладно, повеселились...

Я спрыгнул, отобрал у него кувалду. Всё-таки он молодец был, моряки его зауважали. А этот Алик, конечно, лапша, заездят его на пароходе.

— Продолжим практику, шеф?

— Продолжим, — я наступил ему на ногу, потом Алику. Они, конечно, опять ждали розыгрыша. — Первое дело: скажете боцману, пусть сапоги даст на номер больше. В случае, свалитесь за борт, можно их скинуть. Всё же лишний шанс.

— А вообще, между нами, девочками, говоря, — спросил Алик, — таких шансов много?

— Между нами, девочками, договоримся — не падать.

— Справедливо, шеф, — сказал Дима.

— Второе — на палубе чтоб я вас без ножей не видел. Зацепит чем-нибудь — тут распутывать некогда.

— Такой подойдёт? — Дима вытащил ножик из кармана, щёлкнул, лезвие выскочило, как чёртик. — Чик — и готово.

— Спрячь, — говорю, — и не показывай. Это в кино хорошо, а на палубе плохо.

— Почему же, шеф?

— Потому что лишний чик. Шкерочный возьмёшь. И наточишь поострей, обе стороны.

Мне ещё многому пришлось их учить — и узлы вязать, и марку накладывать, чтоб трос на конце не расплеснивался, и сети укладывать. Много тут всякой всячины. Меня самого никто этому не учил. Ну, правда, я с флота на флот попал, но тут и чисто рыбацкой премудрости было с три короба, а этому уже и не учили. Орали, пока сам не выучился.

Они ничего соображали, не туго, да тут и недолго сообразить, если кто покажет толком. Найти только нужно — кто бы и мог объяснить, и хотел. Я вам скажу, странно себя чувствуешь, когда расстаёшься с какими-то секретами. Что-то как будто от тебя убывает, от твоей амбиции. Вот, значит, и всё, что ты умеешь и знаешь? Только-то? И всё равно же они всю премудрость за один рейс не освоят. А во второй, пожалуй, и не пойдут.

— А всё ж таки, ребятишки, — я их спросил, — кой чёрт вас в море понёс? Романтики захотелось?

Дима лишь усмехнулся краем губы. Алик же помялся, как девица.

— За этим ведь тоже ходят, правда?

— И находят, — говорю, — не только что ходят. Матюгов натолкают вам полную шапку, тут вы её и увидите.

— Ну, шеф, — сказал Дима, — это мы тоже умеем.

— Да, на первое время вам и это — утешение. А если по правде — так деньги поманили?

— Шеф, это тоже не лишнее.

— И вообще, интересно же, — Алик сказал, — как её ловят, эту самую селёдочку. Которая так хороша с уксусом и подсолнечным маслом.

И сам же смутился, когда сказал.

— Так. А на берегу — кем работали?

Алик опять помялся, посмотрел на Диму. Тот быстро сказал:

— Шофёрами. На грузовых. Если интересует, можем рассказать при случае. Поговорим, шеф, за карбюратор, за трамблёр.

— Что ты! Мне этого вовек не понять.

Мы потравливали трос из-под лебёдки, смазывали его тавотом от ржавчины. Алика я за ключом послал — «крокодилом», потом дал его Диме — развинтить чеку.

— А работа как? — я спросил. — Нравилась?

— Не пыльная, — сказал Дима. — Временами наскучивало.

— А в смысле шишей?

— На беленькую хватало. По большим революционным праздникам.

— И по субботам?

— Почему же нет, шеф?

Я засмеялся.

— Нет, — говорю, — по субботам уже не хватало.

Тут и Дима смутился:

— Пардон, шеф. Не понял.

— Потому что шофёрами вы не работали.

— С чего ты взял?

— Ну, это просто. Ты гайку отвинчивал — сначала вправо подал, потом уже влево. Шофёр так не сделает.

— Ну, шеф, это ещё не улика.

— Ладно, — сказал я ему, — не закипайся. Не хочешь говорить — не надо, я у тебя не анкету спрашиваю. И что ты всё — «шеф» да «шеф»? Заладил тоже! Я те не таксишник.

Я ушёл к лебёдке смотать трос. Они думали — я не слышу.

— Действительно, — Алик ему сказал, — зачем вилять?

— Ну, скажи ему, скажи, бродяга. Чей ты родом, откуда ты.

А бог с ними, с дурнями, я подумал, на судне-то разве утаишься. Всё про тебя узнают, рано или поздно.

День на четвёртый, на пятый они помалу освоились, начали разбираться, что к чему. Ещё больше вид делали, что освоились, по глазам было видно — для них это тёмный лес: триста концов извиваются, не знаешь, за какой взяться. И вот слышу — Дима кричит Алику:

— Брось ты эту верёвку, мы одну и ту же ко́йлаем. Вот эту бери, у меня под сапогом.

И берёт Алик эту самую «верёвку», мотает себе на локоть одной левой. А правая у него — в кармане. Я его отозвал и сказал по-тихому:

— Не дай тебе бог, салага, работать одной рукой. Что ты! Заплюют тебя, замордуют, живой не останешься.

— А кому какое дело, — спрашивает, — если я одной могу?

— Тем более и двумя сможешь. Надо, чтоб обе были заняты. И Димке это скажи.

— Это интересно!

— Ну, не знаю. А мой вам совет.

Однако не вняли они. А лишней руке кто же на палубе дела не найдёт? Димку, правда, не очень стали гонять, он и послать может, а этот — отзывчивый, рад стараться.

— Алик! — ему кричат. — Ты чо там стоишь, делать тебе не хрена, сбегай к боцману, иглу принеси и прядину.

Алик не стоит, он ждёт, когда ему поводец дадут — закрепить на вантине. Но бежит, приносит иглу и прядину.

— Алик! Иди-ка брезент стащим, я в трюм слазаю.

— Но у меня же тут...

— Без тебя справятся!

Тащит Алик брезент.

— Алик, ты куда делся? Вот это — что за концы висят?

— Не знаю.

— А тебя и поставили, чтобы знать.

Распутался он с поводцами, лоб вытер. Теперь ему бондарь командует:

— Алик! А ну поди сюда — обруча́ осаживать.

Бочек тридцать он задумал, бондарь, для первой выметки приготовить, и мы ему с Шуркой помогали. Справлялись вполне, салага нам был не нужен. Тут уже я не вытерпел:

— Иди назад, — я сказал Алику. — И стой, где стоишь. Всех командиров не слушай.

Бондарь усмехнулся, но смолчал, постукивал себе ручником по обручу. Руки он заголил до локтя — узловатые,

как у гориллы, поросшие рыжим волосом. С отхода мы как-то с ним не сталкивались, я уже думал — он меня забыл. Но нет, застрял я у него в памяти.

— Ты жив ещё, падло?

Улыбнулся мне — медленно и ласково. Глаза водянистые наполовину прикрыты веками.

— На, прими, — я ему откатил готовую бочку.

— И курточка твоя жива?

— В порядке. Мы чего с тобой не поделили?

— И в начальство пробиваешься?

Я засмеялся:

— Олух ты. В какое начальство? Над салагами, что ли?

— А приятно, когда щенки слушаются? Ты старайся, в боцмана́ вылезешь. Меня ещё будешь гонять.

— Тебя-то я погонял бы!

А сами всё грохаем по обручам. Шурка к нам прислушивался, потом спросил:

— Об чём травите, бичи? Мне непонятно.

— А нам, — я спросил, — думаешь, понятно?

Он поглядел подозрительно на нас обоих и сплюнул в море, через планширь. Чайка тут же спикировала и взмыла — с обиженным криком.

— В таких ситуациях одному кому-то списываться надо, — сказал Шурка. — Советую от души.

— Пускай он, — говорю.

Бондарь ухмыльнулся и смолчал.

А салаги — я как-то вышел из капа, они меня не видели за мачтой, стояли одни на палубе, и Дима втолковывал Алику:

— ...потому что природа, создавая нас двуногими, не учла, что мы ещё будем моряками. Но есть один секрет. Шеф тебе не зря сказал: «Не смотреть на море». Обрати внимание, как они ходят по палубе. Она для них горизонт. На истинный горизонт не смотрят, а только на палубу. С ней накреняются, с ней же и выпрямляются. А у тебя устаёт вестибулярный аппарат. И всё время хочется за что-нибудь схватиться.

— Всё ясно, — Алик говорит, — и свежее дыхание пассата холодит нам кожу!..

Ушли довольные. Только всё за что-нибудь да хватались. А я стал на их место — интересно же, как это я хожу. И на что же я при этом смотрю? На палубу или на горизонт? Смотрел, смотрел и вдруг сам за подстрельник схватился. А ну их в болото, так ещё ходить разучишься.

3

— Смысл жизни ищут, — сказал я «деду». — Не иначе.

Мы у него в каюте поздним вечером приканчивали ту самую бутылку.

— Так, значит? — сказал «дед». — Ты-то уже бросил его искать?

— Оставил покамест. На период лова.

— И это хорошо. Но что-то не нравишься ты мне. Рассказываешь, а — брюзжишь. Стареешь ты, что ли?

— Может, и старею. Но дурью зато не пробавляюсь. Что они, своим делом заняты? Книжечек, поди, начитались, ну и пошли...

— Так это же прекрасно, Алексеич! Начитались — и пошли. Другой и начитается, а не пойдёт. Нет, это ты зря про них. Сейчас хорошая молодёжь должна пойти, я на неё сильно надеюсь. Моё-то поколение — страшно подумать: кто голову сложил, кто руки-ноги на поле оставил, кто лет пятнадцать жизни потерял ни за что, как я. Да и кого не тронуло — тоже не всякому позавидуешь. Иному в глаза посмотришь — ну чистый инвалид. А тут что-то упрямое, всё пощупать хотят. Такой-то дурью пробавляться — лучше, чем с девками по броду шастать.

Я улыбнулся. Мне с ним не хотелось на моральные темы заводиться, тут ни я не силён, ни он.

— А чем плохо? Если есть такая возможность. Я бы сейчас пошастал!

— Ну, это от тебя не уйдёт. Поплыли?

Мы допили, поглядели в пустые кружки. «Дед» закряхтел, будто с досады, опустил окошко и выкинул бутылку. Она промелькнула над планширем, красная от бортового огня, и исчезла в брызгах.

— Теперь у нас по плану трезвость, — сказал «дед». — До апреля.

Он локтем опёрся на раму и смотрел в темноту, старые его волосы шевелились от ветра. Погромыхивала неприкрытая дверка на мостике или ещё какая-нибудь железяка, и машина стучала под полом, и слышен был винт — то ровно он лопотал в студёной глубине, а то вдруг взборматывал и шлёпал, когда лопасть выскакивала наружу. И я так затосковал вдруг — о Лиле. С каждым оборотом всё дальше я от нее, уже мы вторую тысячу миль разменяли. И обиды у меня уже не было на неё. Ну, не пришла

к отходу... Мало ли отчего не приходят? Может, вдруг заболела или очкарик не передал ей, что я звонил. И с чего я взял, что она всё слышала? С секретаршей он там какой-нибудь шептался.

— А с этой что... не сложилось у вас? — вдруг спросил «дед». Я чуть не вздрогнул. — Которую в «Арктике» ждал.

— Почему не сложилось?

— Я так спрашиваю. Ты её, по-моему, и на причале высматривал. Может, мне показалось.

— Ничего я не высматривал.

«Дед» не ответил. Но мне хотелось, чтоб он ещё спросил. Жалко, что я его так сразу осёк.

— Понимаешь, «дед», она вообще-то не местная, все законы знать не обязана. Ну, и тем нравится баба, что не похожа на других. Скажешь — нет?

«Дед» слушал меня и морщился от ветра. Потом сказал:

— Тебе женщина нужна, Алексеич. А не баба.

— Есть разница?

— А ты не чувствуешь? Всё это чепуха собачья: обещала — не обещала, обязана — не обязана. Бабская терминология, ты меня прости.

— Когда тебя твоя ждала — столько-то лет, ты считал — обязана?

— Нет, не считал.

— Но всё же надеялся?

Он помотал головой, глядя всё туда же, в темноту.

— Тоже бабская терминология: надеялся — не надеялся. Всё не те слова, понимаешь? Я умер тогда. И она меня похоронила. А встретились — уже вроде как после смерти. Вот, примерно, в таких терминах...

— Ты кержак, «дед». Вымерший человек. Но говоришь занятно. Жалко вот, всё выпили.

— Потерпи, — сказал «дед». — Я на плавбазе достану. Монахи мы, что ли!

Я вот о чём подумал — хорошо бы нам где-нибудь поселиться рядом. Он вот отплавает свой последний рейс, а я свой, и мы возьмём наших женщин и увезём их. Куда-нибудь в Россию. Где трава и лес. И речка недалеко. Есть одно хорошее место возле Орла. Как раз то, что нужно. Там бы мы себе отгрохали дом из брёвен. Я бы только мать ещё забрал из города, сколько же ей одной вековать! И нам бы так славно жилось, кто нам ещё нужен! А работа везде найдётся. На худой конец, плоты пригонять по Оке,

там лесопилка неподалёку. Или — на дебаркадере. А совсем бы хорошо — мы бы с «дедом» устроились на речной пароходишко туристов возить, показывать им всякие церквушки, места боёв, братские могилы. «Дед» — и за капитана, и у машины, а я — концы отдавать, рвать билетики, ухаживать за всем судном. И читать — я столько ещё не успел! Хотя я и так много чего навидался. «Дед» бы ещё увидел моих детей, будут же они у меня когда-нибудь. И уж я их, сволочей, выучу, как жизнь понимать, они у меня глупостей делать не будут... Почему это всё — нельзя? Только ведь захотеть. Энергии у меня до чёрта лысого. Только вот чего я хочу — не знаю. Я так всё могу придумать, с такими, брат, тонкостями, что и самому расхочется. Вот я хотел уехать с Лилей, начать другую жизнь. Теперь она её с кем-нибудь другим начнёт. И если на то пошло, я как-то не очень и жалею. Иногда вдруг заноет, но справиться можно, это ещё не такая мура, от которой лезут на переборку.

— «Дед», я пойду, пожалуй.

Он засуетился, достал из шкафика книжку и сунул мне. Потом отобрал, надел на нос очки в железной оправке. Книжка была — «Судовые двигатели».

— Мы уж тут говорили, — сказал «дед», отчего-то смущаясь. Перелистнул пару страниц. — Первую главку одолеешь — дальше само пойдёт. Что неясно, я тебе на нашем дизеле объясню.

— Добро, — я её сунул под куртку, — почитаем обязательно.

— До порта ты помалу весь курс пройдёшь. А на берегу экзамен сдадим, в следующий раз пойдёшь у меня мотористом.

— В следующий! Тебя же — на пенсию.

— Ну, может быть, и нет. Всё, знаешь, вилами по воде...

Я вышел, стал под рубкой. Вода поблескивала, как чешуя, переливалась от носовой струи, и далеко-далеко, за тридевятью морями, мерцали огоньки на Лофотенах. Воздух был дикий, пьяный, как спирт. А как бы это знать, я подумал, когда же он наступает, тот день, что ты вдруг видишь — всё поздно, жизнь прозёвана? Хоть бы за год раньше это почувствовать. «Дед», пожалуй, и не дождётся, когда я это почувствую, он скоро и вправду станет дедом, хоть у него и внуков нет. И сыновей нет. Не считать же меня, охламона. Как-то он мне сказал: «Молодые были —

не о том думали. Не знали, что и двух годков не пройдёт, как всё грянет. А потом — сразу пожилые стали. И уже не о том думали». Так у него-то всё-таки был рубеж — и какой! А у меня он где, этот рубеж?

Крайнее окно в рубке было опущено, вахтенный штурман — третий — мурлыкал чего-то и кутался в доху. Смотрел на звёзды. А кто на руле — я не узнал, он снизу был освещён, из компаса, подбородок и ноздри в огне.

Я вдруг забацал сапожищами — чёрт знает, с какой стати, — запел гнусаво:

Теплоход в дальний рейс уп-плыва-ает...
Не уйти никуда от пррра-тя-анутых рук!
У люб-бви берегов не быв-ва-ает,
Ах, у люб-бви не быв-вает ррразлук!

Штурман зачертыхался, врубил прожектор и жарил меня в спину, пока я не смылся в кап. А всё ж таки поднял я ему настроение, будет об чём посвистеть с рулевым.

В обоих кубриках не спали ещё. У соседей пиликала гармошка: «И только одна ты, одна виновата, что я до сих пор не женат...» Я хотел зайти — да там этот Ребров, бондарь, лучше на его территорию не заходить — пошёл сразу в наш. Тут были дела серьёзные — Шурка Чмырёв с Серёгой Фирстовым сидели за картами. Дрифтер всей тушей ёрзал по лавке, заглядывал то к одному, то к другому и хлопал себя по ляжкам. Истомился от раздвоения личности — игра ещё на равных шла, а он всегда за того, кто выигрывает.

Увидел меня — потянул носом.

— Ох! — говорит. — Коньячком запахло. Заходи, Сеня, быстрей и дверь закрой, а то жалко — развеет.

Шурка с Серёгой подняли головы, поглядели затуманенным взором и снова в карты.

— Сколько ж там звёздочек-то было? — спросил дрифтер. — Три или пять?

— Там уже ни одной.

Он вздохнул горестно.

— Жалко, я с кепом блат не завёл. Хорошо бывает к начальству в гости зайти.

Я стал снимать курточку, и тут выпала книжка. Я и забыл, что она за поясом. Он тут же на неё кинулся.

— «Судовые двигатели»... Ай, Сеня! Переквалифицироваться решил. По пьянке или всерьёз?

— Дай сюда.

Но у него отнимешь, он уже её за спину упрятал. Я полез в койку, там зажёг плафончик и задёрнул занавеску. Тут же он её отдёрнул, засопел над ухом.

— Сень, подыши на меня. Что ж ты, эгоист такой, от общества укрываешься?

Невозможно на него озлиться. Я дохнул — он замурлыкал, зажмурился.

— Ах, какая жизнь настала! А за чей счёт пьёте, Сеня? Ты «деду» ставишь или он тебе? Я вот думаю — какой ему-то резон бича захмеливать?

— Отлипни! — сказал ему Шурка. — Ты сам крохобор, так тебе за всю твою биографию никто чекушки не выставит. А ты, земеля, чего стесняешься, двинь ему по клыкам.

— Играй, «по клыкам», — сказал Серёга.

Дрифтеру скучно стало, отдал мне книжку.

— Читай, Сеня, грызи науку. Зато уж потом!.. Галстук нацепил и лежи в каютке, ножки кверху, за тебя машина уродуется.

— Механики, они тоже для чего-то вахту стоят, — сказал Шурка.

— Конечно, не при коммунизме живём, надо ж хоть пальцем пошевелить. Маслица подлить, на манометр поглядеть. Но только это «уход» называется, а не «работа».

Шурка засмеялся.

— А механиков послушаешь — лучше палубной работы на всём пароходе нету. Палубные чем дышат? Диким воздухом. А механики? Соляркой, маслом горелым...

— Повару хорошо. С «юношей»*, — Васька Буров высказался. — Они у плиты греются. В любой час пожрать могут.

— А ещё лучше радисту, — сказал Митрохин. — У него каютка отдельная на «голубятнике». Кто его там проверит — работает он или сачкует.

Дрифтер спросил у него грозно:

— Азбуку Морзе надо знать или не надо? Ты её когда-нибудь выучишь, заразу? Или — в передатчике разобраться. Лучше всего — штурманам. Вахту отстоял — и лежи.

— Тогда уж лучше кепу, — сказал Шурка.

— Башка! Кеп за всё отвечает. И за улов, и за аморальное разложение, и чтоб ты за борт не упал «по собствен-

---

* «Юноша» — юнга, помощник повара.

ному желанию». Кеп рыбу ищет. А механики со штурманами – вот уж точно бездельники.

– Непонятно, – сказал Шурка, – зачем ты дрифмейстером ходишь. Почему не механиком?

Дрифтер почесал в затылке, вздохнул.

– Так уж мне больше нравится. Я человек трудолюбимый.

– А я думал...

– Ты не думай, – сказал Серёга. – Ты играй.

Дрифтер опять к ним подсел переживать. А я открыл книжку: «Судовые двигатели служат основным или вспомогательным средством... Подразделяются на... Топливами для них являются...»

– Тишина, – дрифтер прошептал. – Читает!

Но я уже не читал, а смотрел в подволок – у меня над самым лицом. Потом я её закрыл аккуратно и положил под подушку. А вытащил другую – Ричарда Олдингтона, «Рассказы». Я прочёл один, начал другой, но как-то он меня не забрал, этот Ричард Олдингтон. Всё какие-то рассуждения были, а дела не было. Сдуру я его взял. В судовой библиотеке у нас книжек восемьдесят, и каждый, конечно, хватает себе, какая потолще. Чтобы уж весь рейс одну читать. Разновесов не любят: всё, говорят, в башке перемешивается, кто там за кого замуж вышел. Я тоже себе не тоненькую отхватил, но я-то у этого Ричарда Олдингтона читал одну вещь, «Все люди враги», так вот то действительно была вещь. Давно я её читал, ещё на крейсере. Командир первой башни мне посоветовал. «Зачти, говорит, эту вещицу. Похабели тут, правда, много, но, знаешь – дёргает!» Я зачёл – и не оторвался. Только там, по-моему, конец испорчен. Так хорошо у них всё начиналось, у этого парня, главного героя, с этой женщиной, и так за них тревожишься; чуть не плачешь, когда война и они расстаются, даже забыли друг про друга. А вот когда они снова встречаются, с такими трудами, да после всего, что каждый из них пережил, тут и пошла бодяга – всё он ей покупает какие-то шмотки; ничего ему, видите ли, для неё не жалко, и в чём-то всё время они друг перед другом извиняются. Говорить им, наверно, не о чем. И жить вместе ни к чему. Лучше бы им расстаться теперь по-хорошему. Или, может быть, лучше было этому Ричарду Олдингтону тут и оборвать, где они только-только встретились. Ну, может, я не так всё понял, но неужели они тоже стали

врагами?.. Командир первой башни со мной не согласился. Но оказалось, он её не дочитал.

Эти «Рассказы» я тоже отложил. Перевернулся, свесил голову через бортик. Подо мной Васька Буров уткнулся в какой-то талмуд – оттуда лишь бородёнка его торчала и шевелилась.

– Васька, ты чего читаешь?

– Не знаю, Сень, у ней заглавие оторвано.

– А стоящая литература?

– Что ты! – он мне улыбнулся блаженно, показал реденькие зубы. – Одна Оксана чего сто́ит!

Салаги, сбросивши сапоги, уселись на нижнюю, Димкину, койку – разучивали узел. Как я понял – «морскую любовь». Наверное, дрифтер им показал – чтоб загладить конфликт. Это вяжется шлагов двадцать или тридцать, есть разные варианты, и кажется – вовек не распутаешь, но тянешь за оба конца, и он весь отдаётся. Тоже занятие для души.

А чего наш чокнутый делал, Митрохин? Авоську сплетал из серой прядины. Безо всякого крючка, без спиц, одними пальцами. Это он рано начал, ближе к порту и другие начнут их сплетать. Зачем, вы спросите? Не знаю, его ведь учили маты плести, концы сплеснивать – куда же это всё денется? В порту он эту авоську жене подарит или тёще, они её назавтра же выкинут и купят в магазине капроновую, цветную. Копеек десять это будет стоить.

Димка и то сказал с усмешкой:

– Столько мороки за гривенник!

Но дрифтер её взял, разглядел на свет и спросил у Димки:

– Зачем солдаты в окопе ложки кленовые вырезают – знаешь?

– Ну? – спросил Димка. – Зачем?

– А вот и сами не знают. За голенищем алюминиевая лежит, казённая.

А Шурка с Серёгой заканчивали кон. Жулили они отчаянно, но друг на дружку не обижались, у нас без этого не играют. Вот уж когда расплата настаёт, тут без дураков, выдай товар лицом, чтоб нос торчал бушпритом и щёлкать было удобно с обеих сторон. Серёга в этот раз продул – играет он не хуже, а жулит плохо, нет в нём «свободы совести», как говорил наш старпом из Волоколамска. Потом они посчитались – вышло бить шестью картами

одиннадцать раз. Шурка, улыбаясь злорадно, сложил их поплотнее, сел поудобней, а Серёга потёр нос ладошкой и выставил его – на позор и муки.

Дрифтер в большое удовольствие пришёл. Теперь уж он, конечно, Шуркин был, предан ему всецело.

– Двадцать восемь! – считал громогласно. Это у них с предыдущим счётом сложилось. – Двадцать девять!.. Ты смотри, как бьются!

Посмотреть там было на что. С пятого щелчка у Серёги обе ноздри горели, с восьмого – пламя кверху поползло, к бровям. Всё он вытерпел, мученик, только скулы пожёстче выступили и глаз пошёл блеском. И тут же быстренько стал он сдавать по новой.

– Не торопись, – сказал ему Шурка ласково. – Дай, чтоб остыло.

– Топчи его! – дрифтер орал. – Топчи лежачего!

Шурка, небрежно так, разбирал карты.

– Ну вот, ну что тут с тобой кота тянуть, козырей же навалом, готовь рубильник заранее.

– Играй давай! – сказал Серёга. – Щас я тебя с твоими козырями!..

Шурка подождал ещё, пока он получше озвереет, и начал. Везло же ему, красавцу, – и в картах везло, и в любви.

На шум принесло к нам боцмана. Наш кубрик, наверно, повеселее, никак его не минуешь. С толстенной книгой пришёл, пальцем заложенной.

– Та-ак... – вздохнул. – Ну что с вами делать, безнадёжные вы мужики. Силком вас книжки заставлять читать?

– Начитались уже, – сказал Серёга. – Надо отдых дать извилинам.

– Когда они у тебя были?

– Были, представь. Да я их всякой мурой забил. Все одно и то же пишут. Какие все хорошие, как им всем хорошо.

– Для тебя же, дурака, стараются. Чтоб ты цель имел в жизни. Было б тебе, понимаешь, на что равняться. Стремиться к чему.

– К правде, боцман, – сказал Димка. – Токмо к ней единой.

Боцман поворотился к нему.

– Закройся! Правда – её, знаешь, не всем и говорить можно.

– Да-а? Это что-то новенькое.

— Такому вот скажи — он и будет сидеть в грязи по макушку. Скажет, что так и нужно.

— Товарищ боцман, вы большой учёный!

Боцман посопел и сказал:

— Подмети в кубрике. Чтоб ни одного окурка.

— А кто уборщик? Расписания же нету.

— Вот, с тебя и начнётся.

Димка сказал, усмехаясь:

— Кроме того, боцман, ты ещё, оказывается, волюнтарист.

— Возьми веник, салага. Сказали тебе.

— Есть!

— Так-то вот. Безнадёжные вы мужики!

Димка, когда он ушёл, снова завалился в койку. Всё же освоился, салага.

Я лежал, слушал, как вода шипит за переборкой, почти у меня над ухом. Меня слегка укачивало от хода, и я летел куда-то над страшной студёной глубиной, только мне было тепло и сухо. И я было заснул, но они заговорили снова.

Восьмым у нас в кубрике Ванька Обод жил. Я вам про него не рассказывал. Да я его и не замечал особенно. Весь он — из сапог и шапки, а под шапкой едва личико разглядишь — наморщенное. И всегда он помалкивал и хмурился, а в кубрике сразу же заваливался в койку, только сапоги свешивались через бортик. Вот он полёживал, этот Ванька Обод, покачивал сапожищем, да вдруг заговорил:

— Чтоб цель имел! Я её вот лично имею. Мне цыганка посулила: «Ты, золотой, в казённом доме умрёшь, тридцати семи годков». Так мне чего беспокоиться?

Шурка привстал с картами, но так, наверное, и не разглядел его за голенищем с раструбом.

— Ванька, ты там чего?

— Чего, чего! А ничего.

— Какая у тебя цель?

— Бабу свою пришить. Как раз время. Я знаю, с кем она там сейчас. А я, дурак, ей аттестат открыл.

— Ну, Ванька, — сказал Шурка, усмехаясь, — ты за морями видишь.

— Ага, за синими и за зелёными. Сам пользовался. Я с одной, примужней, роман в Нагорном имел. Так мы на его аттестат славно время проводили. Он вторым штурманом ходил. Что ты! Всю дорогу хмельные были. Вот стервь!

— Приятно вспомнить?

— А нет, скажешь? Потом она его на причале встретила: «Ах, Витенька, я без тебя не жила, а прямо таяла». Именно, что таяла... Ну, я приду — ох, если застану! Топориком это дело пресеку...

— Эту, — спросил Шурка, — с которой роман имел?

— Зачем эту? Свою.

— Да как же застанешь? Она у диспетчера справится, когда у тебя приход.

Ванька там призадумался. Нам не понять было, травит он или всерьёз. Потом опять донеслось из-за голенища:

— Не узнает. Я на всю экспедицию не останусь, на первой базе спишусь. Ну, на второй. У меня врачиха есть знакомая. Душевная баба, Софья Давыдовна. Глупая, сил нет. Бюллетень мне выписывала за первый свист: «Радикулит у меня, говорю, наследственный». Она и проверять ничего не стала. «Правильно, голубчик, отдохни, надо разумно к своему здоровью относиться». А топор у меня в сенях лежит. С топором и войду.

— Постой, — сказал Шурка, — а если она одна будет?

Ванька опять призадумался. Но ненадолго.

— Одна — значит, не вышло на этот раз. Да не может быть, чтобы одна. Бабе одной скучно.

Алик вдруг подал голос:

— Почему же «не может быть»? А если она тебя любит?

— А я что сказал? — спросил Ванька. — Не любит?

— Ну, значит, ждёт...

Голенище затряслось — от Ванькиного смеха. Тряслось оно долго, Ванька смеялся с чистым сердцем, хотя голос у него надтреснутый был и хриплый. Потом он сел в койке, и шапка на нём тряслась, уши так и прыгали, он часто и шапку не снимал, когда заваливался в койку. Потом Ванька спросил:

— Ты что, маленький? Или мешком шлёпнутый? Не знаешь, кого бабы любят? Они мужика любят, который с ними рядом, понял? А когда его нету, они другого любят. Он теперь с ней рядом. Эх, салага! Ты с бабами спал или с мамкиной подушкой?

— И никаких исключений? — спросил Димка. С еле заметной своей усмешкой.

Ванька опять завалился в койку.

— Исключений! Мне кореш про неё написал, ещё в прошлом плавании. Верный кореш, не соврёт. Он её

с этим хмырём видал, как они на пару из магазина выходили. А магазин какой, знаешь?

— Нет, — сказал Димка. — И какой же магазин?

— Галантерейный. Где духи продают. И чулки. И эти... бюстгальтеры. Так что он теперь её лапает, как врага народа.

Васька Буров бросил свой талмуд читать, заворочался.

— Бичи, кончайте вы свою дурь. Я с тоски не засну.

— А ты давай, — сказал ему дрифтер, — включайся в беседу. Это не дурь, Вася, а семейная проблема.

— А я уже их все порешал давно. А до ваших мне дела нету.

— Дак ты с нами-то поделись. Как они решаются?

— Так и решаются. По́трохов народи и радуйся.

Дрифтер даже подпрыгнул на лавке.

— Вот те на! «Радуйся». Да у меня их четверо. Хоть в сенях спи. Или штаны не снимай.

Шурка с Серёгой зареготали.

— Вот и хорошо, — сказал Васька. — Теперь твою бабу никто не соблазнит. Главная у ней забота — по́трохи. У тебя они пацаны, что ли?

— Четверо военнообязанных.

Ванька вздохнул завистливо.

— Я б хоть одного хотел. А то у меня обе — пацанки. Хорошие, но пацанки.

— Плохой ты задельщик, Вася. К следующему рейсу не исправишься, мы тебя артельным не изберём.

— Тебя бы вот попросить — заделывать.

— А чего ж? Я, Вась, всегда за товарища.

— Конечно. Мозгу-то чуть, на что другое не хватит...

Дрифтер не обиделся, зареготал — со всеми за компанию. Васька повернулся лицом к переборке. Но дрифтер опять к нему пристал:

— Васька! А, Васька?

— Ну чо тебе?

— Не чокай, мы тебе всё равно спать не дадим. Ты как их зовёшь, пацанок, — Сашка да Машка? Или же — Сонька да Тонька?

— Что я их — для потехи родил?

— А для чего, Вась?

— Дурак ты. Им жить надо. Имена им для жизни дают. Не просто так, корове кличка.

— Ну, дак как же ты, как же ты их, Вася?

— Как же... Одну — Неддочка. Недда.

— Ух ты! Кит тебя проглоти! А другую, Вася?

— А другую — Земфира.

Я думал — они до слёз нарегочутся.

— Не, Вась, не обидься. Заделал плохо, дак хоть назвал хорошо. Неддочка, значит, и Земфира? Ах ты, цыган!..

Васька помолчал и вздохнул тяжким вздохом.

— Не, бичи, я вижу — вы так не кончите. Ну-ка, я вам сказку расскажу.

Дрифтер запрыгал, заскрипел лавкой.

— Давай, Вася, травани чего-нибудь божественное про волков!

— Жил, значит, король. В древнее время. Молодой и распрекрасный...

— Это где же было? — спросил Шурка.

— Где? В Турции.

— Там не король, там султан. С гаремом.

— Сиди! — заорал дрифтер. — Шесть классов кончил, а уж будто знает — где король, где султан. Дай сказку слушать.

— Жил, значит, король, и служил у него кандеем один бич, с детства порченый. Горб у него был на спине.

Шурке не понравилось:

— А без горба нельзя?

— Нельзя. Тут всё дело в горбе. А условие кандею такое было — каждый день новую похлёбку варить. Чтобы без повтору, иначе — секир-башка. Ну, изворачивался бич. И король его за это очень любил. Как приедет с охоты, сразу — кандея: «Чего сегодня настряпал?» — «Супцу с оленем, господин король». — «А вчера — не с оленем разве?» — «Никак нет, господин король, вчера с кабаном». — «А завтра?» — «А завтра — с медведём». — «Ну валяй. Но если ты мне, швабра, то же самое сваришь, что я уже отведал, я тебе голову острой шашкой снесу и прикажу моим ближайшим помощникам съесть». Так-то ему, бичу, жилось. А звали его — Маленький Мук. Да-а... И вот как-то приходят три ведьмы во дворец. Мымры ужасные, из-под носа клыки торчат. Идут к кандею на кухню...

— Где ж охрана была? — Шурка спросил, военный человек.

— Где? А вся с королём уехала — на медведя. А ведьмы — они через любую охрану пройдут. Да... И говорят

они кандею: «Слышь, кандей, а хочешь — мы тебе горб исправим?» — «Как так?» — «А это наше дело. Исправим, и всё. Красив будешь, как прынц, и королевская дочка в тебя влюбится без памяти. Двенадцать по́трохов тебе нарожает и верность соблюдёт. Ты, например, в море уйдёшь, брильянты искать на дальних островах, а она хоть чёрным хлебушком перебьётся, а верность соблюдёт». — «А что же я за это сделать должен?» — «А это скажем. Супцу с оленем королю навари». — «Да он уже рубал с оленем». — «Вот, ещё навари».

— Ать, стервы! — дрифтер опять заёрзал.

— «Э, — говорит кандей, — так я не только что горба, так я головы лишуся». — «Ну как хочешь, — ведьмы говорят, — мы тебе самоё лёгкое предлагаем». — «Да вдруг он заметит? На кого мне тогда сваливать?» — «А вот, — говорят, — в том-то всё и дело! Тебе ещё гарантию дай. Какое же с твоей стороны будет геройство?» А за королевскую дочку геройство надо было проявить.

— Это понятно, — Шурка подтвердил. В карты он уже не глядел.

— Ну, кандей почесал горб и думает: «Была не была, сварю я ему с оленем. Может, и не заметит». Приезжает король с охоты. «Супчику бы, — говорит, — навернул бы сейчас, тарелок бы восемь!» — «А пожалста, господин король, целый бак наварили». Сел король за похлёбку. «Это чего, — говорит, — я отведываю?» — «А что, невкусно?» — «Очень даже вкусно, да жалко, я этого больше в жизни не порубаю». Тут у кандея надежда появилась. Вдруг его король помилует. И он всё же честный был, кандей, до сих пор не врал ни разу. Бац королю в ножки и лбом трясёт. «Ты чего это, верный Маленький Мук?» — «Виноват, господин король, вы это уже рубали позавчера». Король сразу и ложку бросил. «Ах ты, волосан, где моя любимая шашка?» Сразу к нему вся охрана кидается: «Вот, господин король, мою возьмите». — «Нет, лучше мою, моя острее!» Король и на охрану озверел: «Я сказал — мне мою любимую чтоб принесли! Всю жизнь мечтал кому-нибудь этой шашкой башку снести, да всё случая не было...» Побежали, значит, за любимой шашкой...

Тут Васька и примолк.

— А дальше чего было? — дрифтер не утерпел. — Э, ты не спи! Досказывай. Принесли шашку, а дальше?

— Кто сказал — принесли?

— Побежали, побежали за ней.

— Вот. Побежали. Это дело другое. А шашки-то — нету.

Дрифтер едва не до слёз растрогался.

— Спёрли, шалавы! Вот те и ведьмы, а?

— Ага, — сказал Васька. — Ведьмы...

Он уже совсем был сонный.

— А король, значит, другой не хочет, не любимой?

— Не-е, не хочет...

— Васька, не спи. Васька!

Васька только замычал.

— Васька, этак мы сами не заснём. Что дальше-то было?

— А не знаю. Не придумал.

— Да что же ты, вражина, непридуманную рассказываешь! Это как называется?

— Завтра придумаю. Доскажу тогда...

Дрифтер до того обиделся — еле дверь не разнёс, когда уходил в свою каюту. Потом всё же успокоились бичи, поздно уже было, улеглись. Одни Шурка с Серёгой ещё доигрывали кон, а после сводили счёты:

— Тридцать шесть! Тридцать семь! Тридцать восемь!..

Как я понял, Серёга снова продул. Наконец и он угомонился, вытянулся в койке, а на сон грядущий оглядел перед собою весь подволок и переборку. Он, как поселился, сплошь их обклеил всякими красотками. Из журналов, да и своего производства — Надьками-официантками, Зинками-парикмахершами, — в кофточках и так, неглиже на лоне природы, где-нибудь он их за сопками снимал, средь серых скал, гусиная кожа чувствовалась. Он даже расписание тревог убрал, чтоб разместить всю коллекцию. Потом и Серёга щёлкнул плафончиком.

Тьма настала кромешная, и тишина, только вода шипела близко, у меня над головой, а где-то далеко, в тёплом нутре, урчала, постукивала машина. И я летел один, качался над страшной студёной глубиной. Все сказочки для меня кончились. Они-то, впрочем, давно уже кончились. Я в этом рейсе как будто впервые плавал, заново открылись у меня глаза и уши, и я всё видел и слышал со стороны,

даже себя самого. Странно, кто это со мной сделал? Может быть, эта самая Лиля? Нет, она уже потом появилась, а сначала мне самому вдруг захотелось совсем другой жизни, где ничего этого нет — ни бабьих сплетен, ни глупостей, ни тревоги: что там делается дома, чем будешь завтра жив? Потом она появилась — в Интерклубе мы познакомились, на танцулях. Чествовали тогда не то английских торгашей, не то норвежцев, теперь не помню, а помню, как... Ну, вы представляете, как это бывает, когда полон зал и накурено, хоть топор вешай, и все уже обалдели, выпили, накричались, обмахнулись всякими там жетонами и значками, и уже кое-где спят в углу, на сдвинутых стульях, а у массовички регламент ещё не кончился, — хотя она уже еле ползает и хрипит, как боцман на аврале, — ей, видите ли, ещё хочется, чтоб мы теперь всей капеллой станцевали «международный» танец. «Внимание! — хлопает в ладоши. — Эттэншен плы-ыз! Смотрим все на меня. Делаем, как я. И-и раз! И-и два! Берёмся все за руки». И вот чья-то рука оказалась в моей, только и всего. Горячая, цепкая. Потом я её в буфет пригласил: «Плы-ыз, леди», раздобыл выпить, и мы посидели за столиком, а рядом сложил голову какой-то мулат. Та ещё была атмосферка! И я зачем-то слова коверкал «по-иностранному» — по дурости какой-то или отчего-то вдруг оробел, — а она всё допытывалась: «Вы англичанин? Инглиш? Нет, вы француз!» — пока я ей не брякнул: «Из тутошних мы, не робей». Как она рассмеялась!.. На ней было зелёное платье с вырезом, платок за рукавом, а волосы — копной. Потом я её провожал. Я ещё ничего не знал про неё, кто она и что, но вдруг померещилось, что я своё нашёл, и теперь я всё к чертям перепахаю, меня на всё хватит. А вот упал — в первой борозде. Из того же я теста, что и все прочие.

Лучше-ка я вам расскажу про Летучего Голландца — это совсем другой коленкор. Тоже сказочка, не лучше она и не хуже, чем у Васьки Бурова, который их где-то вычитал, да всё перепутал, когда рассказывал своим пацанкам. Но это всё-таки не из книжки, он на самом деле приходил к нам на флот, этот парень, лет десять назад или двенадцать. Откуда он взялся — никому не ведомо. Куда потом делся — тоже. Вот он и был Летучий Голландец, я вам рассказываю — северный вариант.

4

Легенда о Летучем Голландце

(Северный вариант)

Так вот, этот парень пришёл на флот ещё в то время, когда сельдяные экспедиции были по полугоду, и залавливали рыбаки по тысяче тонн, по восемьсот в самый худой рейс, а приносили домой по тридцать пять, по сорок тысяч старыми. Может быть, селёдки тогда в Атлантике было побольше, а может быть, столько же её и было, да она ещё не научилась мимо сетки ходить. Я вам скажу, само время было легендарное. Тогда на всём косогоре от причала до «Арктики» стояло двадцать девять забегаловок, сидячих и стоячих, а тридцатой была сама «Арктика», но до неё, конечно, редкие добирались. Тут-то и «выкристаллизовывалась стойкая когорта», как говорил наш старпом из Волоколамска, и ей, конечно, весь почёт доставался и всё уважение гвардейцев пищеблока. Шла эта когорта, не сняв роканов*, в сапогах полуболотных, в зюйдвестках**, только скатывали из шлангов чешую и слизь, а всё-таки скатёрки ей постилали крахмальные, и «Арктика» не закрывалась до тех пор, покуда последнего посетителя двое предпоследних не уносили на руках. Потому что все понимали — что такое полгода без берега! Этого только Граков не понимал, из отдела добычи, он тогда на всех собраниях призывы кидал: «Рыбаки! Возьмём перед родиной обязательство — год без захода в порт!..» Рыбаки — то есть кепы, старпомы и «деды» — слушали и помалкивали. Родину любили, план уважали, но и с ума тоже не хотелось сходить. Да Граков, поди, на то и не рассчитывал — было бы слово сказано.

Но я не про Гракова, я про Летучего Голландца. Оформили его вторым классом, вытолкнули в рейс, а там, как бывает, кого-то списали «из-за среднего уха»*** или кто-нибудь опоздал к отходу, и этого салагу переоформили в первый. Потому что он сразу же притёрся и пошёл вкалывать, как будто для того и родился. Правда, когда штормило, ему плохо делалось, он в койке лежал зелёный, а всё же, когда звали на палубу, выходил первым и держался других

* Ро́кан — прорезиненная куртка.
** Зюйдвестка — рыбацкая шапка-панама.
*** Имеется в виду морская болезнь.

не хуже. Но в ту экспедицию штормы были не частые явления, а вот рыба хорошо заловилась, пустыря ни разу не дёргали, а всё больше по триста, по четыреста бочек набирали в день. И вот — полгода прошло, как одна трудовая неделя, от гудка до гудка, и радист получает визу — можно сниматься с промысла. Тогда он, конечно, вылетает из рубки пулей и орёт, как чокнутый: «Ребята, в порт!» — и рулевой, без команды, тут же кладёт штурвал круто на борт, делает циркуляцию и держит, собака, восемьдесят три градуса по ниточке, как никогда не держал. А машина уже врублена на все пять тыщ оборотиков, она чуть не докрасна раскалена, плюётся горелым маслом, сейчас развалится... А полгоря, если и развалится, по инерции долетим! И парус, конечно, поднят на фоке-мачте, и Гольфстрим подгоняет — только бы свой залив сгоряча не проскочили. Вот они уже прошли Лофотены, вот обогнули Нордкап, вот и Кильдин-остров — кому видится, кому не видится. А встречным курсом идут на промысел другие траулеры и приветствуют счастливчиков гудками и флагами.

И вот тут, значит, этот самый Летучий Голландец поднимается на «голубятник», подходит к капитану и просит: «Просемафорьте, пожалуйста, встречному — не нужен ли матрос?» Я себе представляю этого кепа — у него, наверно, шары на лоб вылезли. «А тебе-то зачем? Не хочешь ли обратно на промысел?» — «Вот именно, хочу обратно». — «Нет, — говорит кеп, — я тебя слышу или не слышу? Или, может, я сдурел?» Летучий Голландец ему улыбается вежливо: «Просемафорьте, пожалуйста, а то с ними разойдёмся».

Ну что — просемафорили. Нужен матрос. «Прекрасно, — Летучий Голландец говорит, — значит, я пересяду. Пускай плотик пришлют». — «Погоди, — говорит кеп, — плотик мы тебе и сами спустить можем. Но ты сначала сходи к кандею, пусть он тебя накормит, а после покури подольше, а за это время подумай. Они подождут — не в порт же шлёпают». — «Зачем же? Я об этом полгода думал». — «Давай вместе ещё подумаем. Завтра приходим. Берёшь аванс — по уму, но чтоб душе не обидно. Сидишь в «Арктике». Женщины тебя любят и целуют. Выбираешь самую лучшую и едешь с ней в Крым. Или — на Кавказ. Представил?» — «Очень даже. Прикажите, чтоб плотик быстрей смайнали, а то уйдут».

Ему тогда спускают плотик, он забирает чемоданчик и спрыгивает, не мешкая. Вся команда его отговаривала, а

он и не возражал, только улыбался. Пароход отошёл от него, подошёл встречный и принял его на борт. На прощанье он помахал своим бичам и тут же к другим ушёл в кубрик. И плавал с ними ещё полгода. Сети метал и тряс, бочки катал, выгружал на плавбазах. Другие к концу рейса одуревали, а он всю дорогу оставался таким же спокойным и ясным. При том, рассказывали ещё, кто с ним плавал, что писем он ни разу не получал, и радиограммы ему не приходили, и сам он не писал никому. А всё время после работы лежал в койке и читал газеты да изредка, задернув занавеску, пописывал карандашиком в блокнотике. Однажды подсмотрели, без этого не обходится, — там сплошная цифирь была и ни одного слова. Но вообще-то никакой придури за ним не водилось, и был он всем свой, только всем на удивление — вот ведь, кит его проглоти, плавает человек два рейса и хоть бы хны. Но главное-то, никто себе в голову не забрал, что́ ещё дальше будет. Когда завернули за Нордкап, опять он поднялся на «голубятник» и просит капитана: «Просемафорьте — не нужен ли матрос?»

И так он это пять раз проделывал. Два с половиной года проплавал, не ступая на берег, только видя его за двадцать две мили, — но это ведь и не берег, а мираж. Уже на всех траулерах знали про Летучего Голландца, и вся гвардия портовых бичей подсчитывала, сколько же он загребёт, да всякий раз со счёта сбивалась. Потому что за каждую новую экспедицию ему набегали какие-то там проценты и сверхпроценты — сверхсрочные, прогрессивные, сверхполярные и бог ещё знает какие, — и на круг выходило раза в полтора больше, чем в предыдущий рейс. В последнем он уже втрое против кепа имел, а подсчитали, что, если он в шестой раз пойдёт, он половину всей зарплаты экипажа возьмёт, это уже тюлькиной конторе невыгодно! Да, но как ему запретишь? Он такой матрос был, что его не спишешь, и он ведь в своём праве — не чужое берёт, горбом заколачивает. Уже, я так думаю, самому Гракову икалось — до чего его проповедь бича довела! И как прикажете стоп давать?

Но отыскались умные головы. Дали капитану шифровку: «При возвращении в порт — чтоб не было встречных!» А встречные тоже были предупреждены — чтоб двигались мористей. За Нордкапом этот Летучий Голландец всё время торчал на палубе, — кому-то он вроде бы признался,

что хочет в шестой раз пойти на промысел, чтоб было три года для ровного счёта, — но встречных не было. Все они шли за горизонтом, и дымка не видать. Тогда он сошёл в кубрик, достал свою цифирь и подвёл черту. Не вышло у него в шестой рейс пойти без перерыва, а с перерывом — ему невыгодно, опять начинай со ста процентов. Вот он и подвёл черту.

На причал огромная толпища сбежалась — на него посмотреть. Думали, сойдёт образина, бородища до самых глаз, а глаза не людские. А сошёл — ясный, спокойный, и улыбался — глядя на землю, на камешки, на щепки там или мазутные пятна, от которых дуреешь, когда возвращаешься. И сразу стопы направил в кассу. Однако и двух шагов не прошёл — свалился, застонал от боли. Вы, наверное, знаете — какие-то мускулы в ногах слабеют, когда долго не ходишь по твёрдой земле, без качки, — так вот, он первые метров двести чуть не на карачках полз, отдыхал у каждого столба. И вся толпища шла за ним и молчала. А когда он дополз, в кассе и денег таких не оказалось, какие он заработал. Представляете — что такое касса сельдяного флота! Так вот, там не оказалось. Пришлось к нему приставить двоих из милиции, они ему взяли такси и отвезли в банк. Милицейские потом рассказывали, что все пачки у него едва поместились в чемодане, и он оттуда выкидывал в урну сорочки, свитера, носки, бельё. Моряки, из его экипажа, ожидали при входе — посидеть с ним в «Арктике», отметить прибытие. Он к ним не вышел, сидел в банке до закрытия, с чемоданом под боком. Не знаю, чего он боялся, никто б его и без милиции не тронул. Ведь он стал легендой, кто ж осмелится испортить легенду! А может, он просто устал до смерти — и покуда плавал, и когда шёл от причала. Та же милиция купила ему билет на «Полярную стрелу», посадила в вагон. Больше его из наших никто не видел. И не встречался он в других местах. Вдруг как-то обнаружилось, что ни одному человеку он не сказал — откуда он, где живёт.

Только слава осталась. И к ней потом всё больше прибавлялось легенд. Кто говорит — он четыре года проплавал, кто — пять. Но я вам говорю — два с половиной, а я это знаю от тех, кто был с ним в последнем рейсе. Портовые-то сколько хотите прибавят, а для моряков и год — это слишком много. Вам расскажут — он был горилла, якорь мог выбрать заместо брашпиля, и зубы у него все были

стальные, на спор комбинированные тросы — пенька-железо — перегрызал. Но это уже такая туфта, что и спорить не о чем. А если возьмёте старую подшивку — там писали о нём, когда он остался на второй рейс, потом-то писать запретили, — увидите его фото: самый средний он, слегкакоскулый, с белесым чубчиком, с прозрачными глазами.

Если подумать, ведь он эти деньги всё равно что в тюрьме отсидел, а — ради чего? Если из-за женщины, кто б его ждал так долго? А если и ждала какая-нибудь, то писала бы ему, — а ему никто не писал, ни одна душа живая. Может, он себе дом хотел отгрохать, со всем хозяйством, — и это можно выколотить, и не такой ценой. Если быть таким, как он. А он, конечно, был из другого теста. Его бы на всё хватило. Я вот часто думал о нём, и никак его не пойму. Я только одно знаю — мне таким не быть, это точно.

Вот и вся сказочка.

5

Мы лежали в койках одетые и ждали, когда позовут на выметку.

Девятый день, с утра мы уже — на промысле. Та же вода, синяя и зелёная, и берега те же, миль за тридцать от нас, как горная гряда под снегом, и маячат норвежские крейсера — на границе запретной зоны*. Но простора нет уже, столько скопилось тут всякого промыслового народа — англичане, норвежцы, французы, фарерцы — все шастают по морю, как шары по бильярду, чертят зигзаги друг у дружки перед носом. А смотреть приятно на них, на иностранцев: судёнышки хоть и мельче наших, но ходят прибранные, борта у них лаком блестят — синие, оранжевые, зелёные, красные, рубка — белоснежная, шлюпки с моторчиками так аккуратно подвешены. И тут влезает наш какой-нибудь — чёрный, ржавый, все от него чуть не врассыпную. Но и то правда, никто из них больше чем на три недели не ходит, дом под боком, грех не присмотреть за судном, а наши — за сто пять суток — так обносятся, что в порт идти стыдно, выгонят, как шелудивых.

И ловят они тоже будьте здоровы, особенно норвежцы — они своё море знают. Бросают кошельковый невод,

---

* Теперь установлена зона запрещенного лова в 200 миль от берега.

обносят его на моторном ботике и тянут себе кошелёк — обязательно полный. Полчаса работы — тонна на борту. И телевизор идут смотреть. Мне рассказывал один, — он за борт упал, и наши не заметили, а норвежцы спасли, — в салонах у них телевизоров штуки по три, не знаешь, какой смотреть. В одном ковбои скачут, в другом — мультипликашки, а в третьем — девки в таком виде танцуют — не жизнь, а разложение. А роканы у них какие! Чёрные, лоснящиеся, опушены белым мехом на рукавах и вокруг лица, в таком рокане спокойно можно по улице гулять — примут за пижона.

Сперва мы только присматривались, как другие ловят, штурмана поглядывали в бинокли, потом и сами начали поиск. Но весь день не везло нам, эхолот одну мелочь писал, реденькие концентрации, до ужина мы так и не выметали. Теперь лежи и жди — хоть до полночи, а то и до двух, — а спать нельзя, да и сам не заснёшь.

Всегда мы молчим в такие минуты. Даже салаги отчего-то примолкли, то они всё перешёптывались. Наше настроение им передалось. А какое у нас настроение перед первой выметкой, этого я вам, наверное, не объясню. Пароход носится зигзагами, переваливает с галса на галс, и вот-вот поднимут нас, как по тревоге. Видели вы спортсменов перед кроссом? Хочется им бежать? А ведь никто не гонит их. Вот так же и мы. Но только всё, что было до этого, — переход там, порядок набирали, притирались друг к другу, — всё это были шуточки, а вот теперь-то главное начинается.

Волна била в скулу, разлеталась и шипела на палубе, переборки тряслись от вибрации. И сразу — утихло. Даже отсюда слышно стало, как ветер свистит в вантах. Потом винт залопотал, взбурлил, и кубрик опять затрясся — дали реверс.

— Зачем-то назад пошли, — сказал Алик.

Ванька Обод ответил ему, из-за голенища, нехотя:

— Не поймешь ты. По инерции шли, а теперь встали. Нашли её.

— Думаешь, нашли рыбу?

— Чего тут думать. Метать надо, а не думать.

Ванька Буров надел шапку, вздохнул долгим вздохом.

— Начинаются дни золотые. Рыбу — стране, деньги — жене, сам — носом к волне.

Тот же час захрипело в динамике. Старпом забубнил:

— Палубная команда, выходи готовиться метать сети.

В боцманской каюте хлопнула дверь, дрифтер загрохотал по трапу. И мы стали подбирать с полу непромокаемые наши роканы и буксы*, а под них надели непросыхаемые наши телогрейки и ватные штаны, сунули ноги в сапоги с раструбами, головы покрыли зюйдвестками.

Навстречу Шурка проталкивался — прибежал с руля. Там теперь вахтенный штурман заступил. Кто-то сказал Шурке:

— Ну, поглядим, какую ты нам рыбу нашёл.

Так уж говорят рулевому: «Посмотрим на твою рыбу», хотя он, конечно, не ищет, делает, что ему велят.

И Шурка ответил, как будто извинялся:

— Эхолот, ребята, верещит — аж бумага дымится. Ну, черти его знают, — может, он планктон** пишет.

Может быть, и планктон. Это мы завтра узнаем. А пока что — оба прожектора зажглись, вся палуба в свету, а за бортом чернота египетская, брызги оттуда хлещут. Мы разошлись по местам, позёвывая, поёживаясь, упрятали носы в воротники. А моё место — у самого капа, надо отдраить круглую люковину у вожакового трюма, в пазы уложить ролик, через него перебросить конец вожака и подать дрифтеру — он его сро́стит с бухтой, что лежит возле его ног, под левым фальшбортом. А другой конец — сам уже соединяешь с лебёдкой. И стой, поглядывай в трюм, как идёт вожак, да покрикивай: «Марка! Срост! Марка!» — это чтобы дрифтеру заранее знать, где ему затягивать узел на вожаке, а где руки поберечь от сроста.

В трюме зажглась лампочка, и в первый раз я его увидел — мой вожак: из жёлтого сизаля, японской выделки. Толщиной в руку удав. Валютой за него, чёрта, плачено. Он ещё на вид шёлковый, не побывал в море, и пахнет от него «лыжной мазью». А завтра придёт ко мне серый и пахнуть будет солью, водорослями и рыбой. И сети тоже запахнут морем, зелень на них потемнеет, и порвутся не в одном месте, латать мы их будем и перелатывать.

«Маркони» нам уже музыку врубил — не слишком громко, чтоб мы команды не прозевали, но как раз для поднятия духа. Дрифтер воткнул нож в палубу и натянул белые перчатки. Да, сказать кому — не поверят, что мы на выметку выходим под джаз и в белых перчаточках. Но уж

---

* Буксы — прорезиненные штаны.

** Планктон — скопления мельчайших плавающих водорослей и рачков.

такая работа бывает тонкая, в брезентовых варежках её не сделаешь. А перчатки эти – просто некрашеные, и рвутся мгновенно, пар сорок он в клочья сносит за рейс.

Кеп вышел на крыло рубки. Но не спешил, ждал верную минуту. Поди, холодно ему было стоять на крыле – не от ветра, а оттого, что все смотрели с палубы. Штурман тоже на него смотрел, грудью привалясь к штурвалу.

– Скородумов! – кеп закричал. Дрифтер приставил ладонь к уху. – Какие поводцы готовили?

– На шиисят метров!

Кеп подумал и махнул рукой. Ладно, мол, пусть на шестьдесят. Это серединка на половинку. Обычно от сорока до восьмидесяти заглубляют сети. Тут уже эхолот не поможет – он-то эту рыбу нащупал точно, да мы вперёд неё должны забежать, а как узнаешь – поднимется косяк или опустится, покуда он к нашим сетям подойдёт? Море до дна не перегородишь, вся-то сеть – от верхней кромки до нижней – двенадцать метров, попади-ка в эти двенадцать, угадай, на сколько их заглубить!

– Боцман! – опять он скомандовал. – Поднять штаговый!

И на фок-мачте, по штагу – к самому клотику – поплыл фонарь с чёрным шаром. Шар виден днём, а фонарь – ночью. Это значит, мы застолбили косяк, просим других не соваться. Какая б там ни была рыба – она теперь наша, мы её будем брать.

А штурвал уже положен круто на борт, и пароход летит с креном, чуть не черпает бортом. Описывает циркуляцию. Секунда, ещё секунда, и кеп кричит:

– Поехали!

И тут-то всё началось. Дрифтер нагнулся, сграбастал всю бухту разом, швырнул её через планширь. За нею полетели три концевых кухтыля, шлёпнулись, зацепились за воду, запрыгали на чёрной дегтярной волне и – пропали из глаз. И тут же пополз мой вожак – сначала как неживой, а потом зарычал, заскрежетал роликом. Жёлтый он, пока ещё жёлтый, и вот выползла первая, чернью намазанная, отметка.

– Марка!

Дрифтер уже присел с поводцом в руках, обмётывал вокруг вожака выбленочный узел. И на марке – одним рывком! – затянул его, а сам руки в сторону. Первые-то марки легко идут – и у него, и у меня, я их поначалу раз-

личал стоя, а потом они замелькали, вожак уже пошёл в разгон, и мне тоже пришлось присесть – различать их при лампёшке в трюме. Там этот чёрт носился кругами, отлипая от бухты, змеился тяжёлыми кольцами и вылетал с рычанием.

– Марка! Ещё марка!

Серёга снимал поводцы с вантины, подавал дрифтеру по одному, – ну, это работа нетрудная, у всех у нас работа нетрудная, а вот у дрифтера главное дело в руках. Привяжи их, попробуй, когда вожак уже разогнался. Его теперь всем хором не удержишь. Зацепится – выворотит к чертям горловину, а она литая, чугунная.

– Срост идёт!.. Марка! Ещё марка!

Я один из всех палубных имею голос. Даже кеп молчит. Его дело сделано. «Поехали!» – и больше ничего не поправишь. Он постоял и ушёл. Ни один кеп не ждёт конца выметки. Да и что тут смотреть, завтра посмотрим.

Кухтыли танцевали на волне и пропадали за рубкой. Струились через планширь сети, три километра сетей, – всё, что мы тут навязали, уложили. Мы их провожали торжественно, как линейные на параде, – как будто бы с ними уходили и все наши глупости, страхи и тревоги. Я-то знаю, что каждый теперь чувствует. Я ведь на всех местах стоял, а теперь вот стою вожаковым, покрикиваю:

– Марка!.. Срост! Ещё марка!..

Я и в кухтыльнике был, кидал на палубу кухтыли – там теперь Алик. Подавал их, как Димка теперь подаёт, помощнику дрифтера – привязывать к верхним поводцам. И, как Васька Буров и Шурка, я расправлял сети, сторожил их, чтоб шли без задева. Только вот вожаковым ещё не был. Крупные перемены в моей жизни, я прямо растроган, не скрою от вас!

Пожалуй, отсюда мне лучше всего всех видно. Они ко мне стоят спиной или боком. Смотрят в ночное море, куда уходят сети. Смотрят, не отрываясь. Стоят, ноги расставив, на кренящейся палубе, воткнув в неё ножи. И, облитые светом, мы сами светимся, как зелёные призраки, – нездешние этому морю, орловские, рязанские, калужские, вологодские мужики. Летим в черноту, над бездонной прорвой, только жёлтые поплавки оставляем за собою.

Однако работа есть работа. Она когда-нибудь кончается. Всё меньше сетей на палубе, и бухта вожаковая всё ниже в трюме.

— Много там? — спросил дрифтер. Совсем он упарился. Почти сотню узлов навязал.

— Сейчас отдохнёшь.

И все зашевелились, забормотали кто о чём. Вот и последняя марка вылетела. И тут уж, кто мог уйти, повалили оравой в кубрик. А мне ещё чуть работы — люковину задраить, сходить на полубак посмотреть, чтоб стояночный трос лежал бы на киповой планке*, не тёрся об планширь. Когда я вернулся, Алик и Димка стояли посреди палубы. И бондарь заливал бочки забортной водой из шланга. Всё стихло, ветер сразу улёгся — уже мы лежали в дрейфе.

— И больше ничего? — спросил Димка.

Они думали — час уйдёт на выметку. А прошло, если хотите, минут десять.

6

И тут стало видно, что и другие все выметали — англичане, норвежцы, французы, фарерцы, наши таллинцы и калининградцы. Все теперь *стояли на порядках*, ни один огонь не двигался. Россыпь стоячих огней — и отовсюду музыка, со всех судов.

Я сбегал переоделся в курточку и вышел — «погулять по проспекту», пока там в кубриках все не улягутся.

Алик пришёл ко мне на полубак, сел рядом на бухту каната. Ещё там были штуки три, принайтовленные по-штормовому, однако сел на мою. Тоже погулять вышел. Гуляем и молчим. Вот это самое лучшее.

— Красиво! — он мне говорит.

— Угу...

Оно действительно было красиво — когда прожектора погасли и стало светлее от звёзд и топовых огней. Но скучно же говорить про это.

Он засмеялся.

— Много лишнего говорится, правда?

— Ой, много!

— Но я не об этом, — он кивнул на море и на огни, — я про выметку. Это правда красиво. Я сверху смотрел, из кухтыльника. Грандиозно, старик! Все прямо как викинги... Свинство, если завтра пустыря потянем.

---

* Кипа — или киповая планка — служит для пропускания троса поверх фальшборта, предохраняет планширь от истирания.

Для него ведь и правда это первая была выметка. Я-то их насмотрелся. Но первая всегда волнует.

— Особенно тоже не рассчитывай на завтра, — сказал я ему. — Сейчас не заловится — потом возьмём, к марту. Когда она в фиорды пойдёт, с икрой. Там только успевай выбирать.

— Зря мы, наверное, ходим зимой? Лучше бы в марте?

— Да. Если только она калянуса не нажрётся. Тогда её придётся шкерить. Потрошить.

— А это трудно?

— Всё не легко. Вообще такого вопроса на пароходе не задавай. Ты её дома-то хоть шкерил?

— Так, штуки по две, к водочке.

— Тонну не пробовал? На холоде, в перчатках без пальчиков? Если палец себе не отшкеришь, считай — повезло.

— А что это — калянус?

— Рачок такой. Когда она его жрёт, у ней кишки соль не принимают. Гнить будет в бочках.

— А летом она его не жрёт?

— Летом она не косякует. Разбегается из фиордов поодиночке.

— Да, это всё равно, что выловить Атлантику. — Он вздохнул отчего-то. — Спасибо.

— Это за что?

— Ну, как... Теперь вот я кое-что знаю. Покурим?

Он мне протянул пачку, зажёг спичку в ладонях. И, когда я прикуривал, вдруг он сказал:

— Между прочим, старик, вода от винта вскипает.

— Вон как?

— Да. Это называется «кавитация». Вредная штука, разрушает винт. Когда число оборотов превосходит критическое, на засасывающей стороне появляются пузырьки воздуха. Пар, конечно, не идёт, но все признаки кипения.

— Знаешь!

Он пожал плечами и опять вздохнул.

— Все мы учились понемногу... Возился с подвесными моторами.

— Зачем же ты в корму пошёл?

— А я не пошёл. Я в гальюн забежал. Но я всё-таки доставил вам удовольствие?

Я поглядел на него — он красивый был, рослый мальчик; девки его, наверное, любили. Отчего же он с Димкой держался за младшего? Но правда, было в нём

что-то — как вам объяснить? — всем его хотелось оберечь, приглядеть за ним — как бы он там подальше был от лебёдки, от натянутого троса, не удалился бы невзначай «в сторону моря». За Димкой же никто и не думал смотреть.

— Тяжело тебе плавать?

— Что ты! — он улыбнулся. — Я себя никогда так не чувствовал. Чем тяжелей, тем лучше.

— Вот это здорово!

— Я правду говорю. Рано или поздно, а нужно же себя когда-нибудь сделать. Изменить лицо.

— Это как?

— Не помнишь — у Грина? Читал когда-нибудь? «Алые паруса», кажется. Или — «Бегущая по волнам»...

— Ну, предположим.

Не читал я этого Грина. Я вообще про моряков не могу читать. Вот только Джека Лондона уважаю, он правду написал: «Человек никогда не привыкнет к холоду». Знал, что пишет.

— Там это сильно сделано. Как у него вырастали мозоли на руках и менялось лицо... Но я, наверное, слишком много читал. А если задуматься, судьба у меня страшная.

— Чем же так?

— Не тем, что ты думаешь. Никто у меня в тюряге не сидел. Все, слава богу, живы. Но всё так благополучно — десять лет по одной и той же дорожке в школу, два квартала туда, два обратно. Потом — одной и той же дорожкой в институт. Потом в другой... Вот так подохнешь от информации и никогда не увидишь — архипелаг Паумоту... остров Пасхи... или как танцуют таитянки. Только в кино. А сам никогда не будешь сидеть с венком на шее. Который тебе сплели дочери вождя.

— Знаешь, я тоже умру и не увижу.

— Э! Не в этом дело! — Он выплюнул окурок за борт. — Ты живёшь. Хоть один день из недели врежется в память. Потому что человек помнит — когда ему было трудно. Как он голодал. Валялся в окопе. Как делили цигарку на троих и ему оставили бычка. А когда он жил в тёплой квартире, с ванной и унитазом, это прекрасно, чёрт дери, а вспомнить нечего...

Хороший мотивчик к нам долетел с какого-то датчанина. Алик его подхватил, стал насвистывать.

— Не надо, — сказал я ему. — Рыбу распугаешь.

— Да, извини. Это одно из ваших уважаемых суеверий. В старое время боцман бы мне линька дал? — Потом забыл, опять засвистал и бросил. — Привязалось... Давай ещё покурим? Рот нужно чем-то занять.

Я спросил:

— Ты потом, после экспедиции, в институт вернёшься?

— Конечно. Куда же ещё? Мы себе взяли академический отпуск — так это называется... Хороший способ крупно побездельничать. Но всё-таки мы кое-что урвали! Хоть поплавали на сейнере.

— Какой сейнер! На СРТ ходишь.

— Ну да, но как-то не звучит.

Он смотрел, улыбаясь, на море, на огни. А я вдруг стал припоминать: где я уже слышал про этот «сейнер»? И не этого ли малого я видел тогда в окне, на Володарской? Не он ли там у Лили сидел на подоконнике, справлял сабантуй? Нет, снизу не разглядеть было, и глаза у меня слезились от холода.

— Слушай, — я спросил, — ты мне чего скажи... Вот у вас, когда девки с ребятами соберутся в компании, они — тоже ругаются?

— В смысле?

— Ну, матерно. Как парни.

Очень я удивил его.

— Бывает. И ещё как.

— А зачем? Если злиться не на кого?

— А это не от злости. Это — как тебе объяснить? В общем, наверное, комплекс. Всё по Фрейду. Ну, она как бы раздевается при всех. Ей это какое-то доставляет удовлетворение, что ли.

— Скажи ты! А парням это нравится?

— Кому как. Мне, например, не очень.

— Лучше бы она вправду разделась?

— Стриптиз? Ну, это совсем другое. Не каждая решится.

— Но ты же её всё равно после этого не уважаешь?

Он улыбнулся смущённо.

— В остальном они вполне порядочны.

— Которые при всех раздеваются?

— Я же говорю — это совсем другое. Но в общем, ты прав, свинство тут некоторое есть. Но — привыкаешь. Даже трудно себе её представить без этого. А если подумать — за что они нас любят? Тоже за какое-нибудь небольшое свинство. Я с тобой согласен.

— А я ничего и не говорю. Иди-ка ты спать.

Ещё больше я его удивил. Но что-то мне так тошно с ним стало! Оттого, что она была с ним в компании — ну, могла быть, — и хотела перед ним раздеться. Я даже себе представил. Нет, она никаких этих слов не говорит, — хоть я от неё и слышал однажды, — а так именно и делает. И он на неё смотрит, смеётся, и всей компании весело, и дотронуться можно, она позволит. Чёрт знает, до чего вот так додумаешься! Ну, может, и не так у них всё, как я представляю, но почему бы ей не любить его? Ведь он красивый, рослый мальчик. Язык хорошо так подвешен. А что судьба у него «страшная», — ей-то он как раз впору со своей судьбой.

— Ты правда иди. Завтра к шести подымут, не выспишься.

— Посижу ещё. Жалко такую красоту упускать.

Господи, я думал — все слова уже в нём кончились.

— Ну, как знаешь.

Я встал и пошёл от него.

7

Я бы сходил к «деду», но у него окно не светилось. Наверное, думаю, ушёл в машину — сейчас там вахта моториста, а моторист у нас — Юрочка, фрукт изрядный, «дед» ему одному не доверял. Тем более машина сейчас подрабатывала, растягивала порядок.

Я заглянул в шахту — Юрочка, голый до пояса, сидел на верстаке и чего-то там вытачивал на шлифовальном станочке, а «дед» расхаживал по пайолам с маслёнкой — работал за этого самого Юрочку.

Я скинулся по трапу, Юрочка меня увидел и сделал ручкой.

— Привет курточке!

— Привет культуристам.

— Посвистим, Сеня?

— Посвистим.

— А за что — за бабу или за политику?

— Вчера — за политику. Сегодня, значит, за бабу.

— Итак, Сеня, затронем половой вопрос. Поставим его со всей прямотой. Почему он жить не даёт и трудиться творчески?

Это у нас с ним вроде приветствия. На том разговор и кончается. Потому что этот Юрочка глуп, как треска мо-

роженая, и свистеть мне с ним не о чем – ни за бабу, ни за политику. А точил он себе ножик. Новая, значит, придурь. В прошлую экспедицию он, говорят, штук двадцать зажигалок выточил – корешам в подарок. Сам-то он не курит, здоровье бережёт. Отрастил чёрт-те какие бицепсы, а бездельник, каких поискать.

А «дед» ходил по пайолам, подливал масла в машину. Не знаю, куда он там подливал, мне и за триста лет в ней не разобраться, столько там всяких крантиков и винтиков. Я просто люблю смотреть, как он это делает. Вот Юрочка – он к ней почти не прикасается, а ходит чумазый, беретик у него в масле – хоть выжми. А «дед» – в пиджаке, в сорочке с галстуком, и ни капли масла на нём нет. Он ходил вокруг машины, а она сопела и плевалась, как скаженная, но только не в «деда». Вот в чём всё дело: таким, как «дед», мне не быть, а таким, как мотыль Юрочка, – охота ли серое вещество тратить?

«Дед» меня заметил, но виду не подал. Ему приятно было, что я смотрю на его машину. Как будто я в ней решил разобраться.

– Алексеич! Поди сюда. – Он уже кончил смазывать и обтирал руки концами. – Послушай-ка.

Ничего я особенного не услышал. Стучала она, как три пулемёта. Клапана подпрыгивали на пружинах и плевались в меня. «Дед» наклонился ко мне, к самому уху.

– Вот так должен стучать нормальный двигатель.

– А!..

Юрочка глядел на нас, точил свой ножичек и усмехался.

«Дед» пошёл по пайолам, вдоль всей машины. Он что-то мне про неё рассказывал, но слышно было плохо. Я и не старался услышать. А потом я знаете что сделал? Повернулся и полез наверх по трапу. Я и не думал его обидеть. Просто мне жарко стало, душно и шумно. Я и забыл, что больше он к своим винтикам не вернётся, с которыми полжизни прожил. Теперь и вспоминать стыдно про свою глупость. Но я так и сделал – повернулся и полез по трапу.

В салоне кандей Вася, в колпаке и в халате, играл с «юношей» в шахматы. Третий штурман, только что с вахты, ел компот вилкой и подсказывал им обоим. И ещё сидел бондарь, читал газеты, которые мы из порта везли. Он все подшивки прочитывает от доски до доски. Всё, что хотите, знает – и про Вьетнам, и про Лаос. А ходит

грязный как собака и спит не раздеваясь. Соседи в кубрике на него жалуются. И злой тоже как собака – на всех на свете. А на меня в особенности. Я только зашёл – он на меня посмотрел, как будто я у него жену отбил. Или наоборот – сплавил ему свою бывшую. И опять уткнулся в газеты.

Кандей Вася спросил, глядя на доску:

– Компоту покушаешь?

– Не хочу.

– А чего хочешь?

– Ничего не хочу.

Третьему надоело подсказывать, на меня переключился:

– Что ходишь, как лунатик? Курточку напялил и ходит. До преступления так можешь довести.

– А может, я тебе её продать хочу подороже.

– Свистишь! – Он сразу оживился, оскалился, шрам у него побелел. – Тогда уж до порта не носи, лучше пусть у меня полежит.

А что, думаю, взять да и отдать ему курточку? Просто так, не за деньги. То-то счастье привалит третьему!

– До порта я ещё подумаю. Может, я тебе её так отдам.

– Катись! Мне так не нужно. Я с тобой по-серьёзному...

– По-серьёзному она мне в тыщу двести обошлась. Правда. Хочешь – расскажу?

– Катись.

Я вышел опять на палубу. Там хоть музыка играла. «Маркони» через трансляцию запустил какую-то эстраду – датскую или норвежскую. Какой-то Макс объяснялся с какой-то Сибиллой. Грустно это, я вам скажу, – слушать, как музыка льётся ночью над морем, даже когда она весёлая. Слышно, как жизнь проходит, и никак её не удержишь. Музыка сама по себе, а море – само по себе, его всё равно не заглушить, даже вот когда крохотная волнишка подхлюпывает у обшивки.

Вот что я вспомнил. Есть у «маркони» на плёнке одна песенка. Даже и не песенка, а так что-то, флейта своё тянет, а барабан тихонько подгромыхивает – даже как будто невпопад. Называется «Ожидание». В горле пощипывает, когда слушаешь.

«Маркони» у нас живёт на самой верхотуре, выше и капитана, и «деда», рядом с ходовой рубкой. Повернуться там негде, сплошь аппаратура, и качает его сильнее, чем нас под палубой, и вечно народ толчётся. Но я б согласился

так жить — ночью ты всё равно один, видишь чьи-нибудь огни в иллюминаторе, а что там штурман мурлычет на вахте или треплется с рулевым, это-то можно музыкой заглушить.

У «маркони» было темно, а сам он спал на одеяле, вниз лицом. В магнитофоне плёнка уже кончалась. Но он, верно, и во сне помнил, где она у него кончается, — полез спросонья менять бобину. И наткнулся на меня.

— Это кто?.. Идём куда-нибудь?

— Нет. В дрейфе валяемся. Просто выравниваем порядок.

Он почесал в затылке.

— Ну правильно, выметали сегодня. Всё забыл начисто. Присаживайся.

Я сел к нему на койку. «Маркони» перевернул бобину и опять залёг. Приёмник в углу шипел тихонько, подсвечивал зелёным глазком.

— Вызова ждёшь? — я спросил.

— Подтверждение дадут насчёт погоды.

— А много обещали?

— Два балла. От двух до трёх.

— Зачем же подтверждение? Не штормовая же погода.

— А низачем. Кеп придёт, спросит. Он пунктуальный — всё ему в журнал запиши: сколько обещали, сколько подтвердили. Ты с радиограммой?

— Нет. Песенку одну хотел поставить.

— Исландскую?

— Не знаю, чья она.

— Ну, я знаю, какая тебе нравится. Тут она будет.

Мы с ним закурили. Лицо у него то красным становилось от затяжки, а то зелёным — от рации. Вдруг он спросил:

— Слушай, мы с тобой плавали или нет?

— Не помню.

— И я не помню.

— Сеня меня зовут, Шалай.

— Я знаю, я твой аттестат передавал на порт. Меня — Андреем. Линьков.

Я до этого как-то мельком его видел. Такой он — большеголовый, лобастенький, быстро улыбается, быстро хмурится, а морщины всё равно не уходят со лба. Уже — где лоб, где темечко, волосы белые редки, залысины далеко продвинулись — к сорока поближе, чем к тридцати пяти. Нет, мои все «маркони» как будто помоложе были.

Спросил меня:

— С Ватагиным-капитаном ты не плавал?

— Одну экспедицию, в Баренцево.

— Н-да, — он вздохнул. — Это нам ничего не даёт. С Ватагиным кто ж не плавал! Зверь был, а? Зверь, не кеп!

— Зверь в лучшем смысле.

— В самом лучшем! А в какую экспедицию? Это не когда он швартовый на берег завозил и сам чуть не утоп?

— Нет, такого при мне не было.

— Представляешь, в Тюву приходим из рейса — и машина застопорилась. Сто метров до пирса не довезла. Так спешили, что всё горючее сожгли. Ну что — на конце подтягивайся к пирсу. Но шлюпку спускать — с ней же час промытаришься. А темнеет уже, к ночи дома не будем. Тут Ватагин раздевается, китель вешает на подстрельник, мичманку на кнехт, бросательный в зубы — и бултых, поплыл. Ну, пока он бросательный тащил, всё ничего, только что холодно в феврале купаться. А когда самый-то швартовый пошёл, тут он его и потащил на дно. Орут ему: «Брось к лешему, душу спасай!» Но ты ж знаешь Ватагина! Хорошо — догадались за этот же конец его обратно на пароход втащить. Из зубов он его не выпускал. Потом всё-таки шлюпкой завезли...

— Нет, — говорю, — при мне другое было.

— Ну-к, потрави!

Такого же сорта и я ему выдал историю. Как у нас на выборке трала палубный один свалился за борт. И никто не заметил, он сразу же под воду ушёл, а когда сапоги скинул и вынырнул, то уже кричать не мог, дыхание зашлось. И как его тот же бравый Ватагин заметил случайно с мостика. Никому ни слова, тревоги не поднял — зачем ему потом в журнале писать: «Человек за бортом»? — а сам быстренько разделся до пояса, обвязался железным тросом и прыгнул. С полчаса они там барахтались втихомолку — Ватагин его один хотел вытащить, команда чтоб и не знала. Но пришлось всё-таки голос подать. Мы их уже полумёртвых вытаскивали. Всё-таки он шалавый был, этот Ватагин — если у нас в башке у каждого в среднем по пятьдесят шариков, то у него, примерно, двух не хватало.

— Не-ет! — сказал «маркони». — Он легендарный был, Ватагин. Шепнули ему: в соседнем отряде картина имеется, австрийская: «Двенадцать девушек и один мужчина», ну сильна комедь! Так он и про рыбу забыл — какая там

рыба, трое суток мы, как пираты, по всему промыслу шастаем, людей пугаем, и он в матюгальник у каждого встречного спрашивает: «А ну отзовись, не у вас “Двенадцать девок”?» Не успокоился, пока не нашли. Дак потом мы её суток трое крутили без передышки. И всё равно он ловил всех больше. Удачливый был, чёрт. Или нюх какой-то имел на рыбу. Что ты! Разве теперь такие кепы?

Мы таким манером ещё минут пять потравили: какие бывают кепы и что за люди когда-то ходили по морю – маринманы, золотая когорта, каждому хоть памятник ставь при жизни, и куда ж это всё ушло, – и сошлись на том, что и кеп у нас так себе, звёзд, наверное, с неба не хватает, и команда какая-то подобралась не дружная, и вообще-то вся экспедиция у нас не заладится...

Рация в углу запищала, «маркони» перекинулся на другой край койки, надел наушники, стал записывать. Потом погасил зелёный глазок.

– Два балла. Легко вам будет выбирать.

– Теперь тебе спать можно?

– Сиди, потравим ещё. Какой спать! Мне ещё радиограммы передавать, вон ваша братия понаписала, целые повести. – Зажёг плафончик над столом. Там ворох лежал тетрадных листочков, исписанных чернильным грифелем. – Хочешь – зачти. Только между нами.

– Не надо.

– Да развлекись! Ну, я те сам зачту.

Ох, эти наши радиограммы! Васька Буров долго-долго кланялся всем кумовьям, жене наказывал беречь Неддочку и Земфирочку, «пусть будут здоровенькие, а папка им с моря-океана гостинцев привезёт и сказку расскажет про всякие морские чудеса». Шурка Чмырёв – тот со своей Валентиной объяснялся сурово: «Ты помни, что я тебе тогда сказал, а если моя ревность и вообще характер тебя не устраивают, то лучше порвать это дело, пока не поздно. А ещё я Гарику задолжал десятку, отдашь ему с аттестата, и пиши мне чаще. Твой супруг Александр». Митрохин своему братану отбивал на другой пароход: «Здравствуй, брат Петя! Знаю, что ты на промысле. У нас тоже начались трудовые будни. Первая выметка!!! Экипаж у нас хороший. Сообщи, как у вас. Петя, приложи все усилия, а я со своей стороны тоже приложу, чтобы нам встретиться в море...»

– Не знаешь, что и сокращать, – сказал «маркони». – Всё вроде существенно. Говори им, не говори, что у меня

больше чем двадцать слов в эфир не принимают. Вот, третий штурман – сразу видно морского человека: «Дорогая Александра! Я вас недостоин. Черпаков».

– Брось, к богу в рай.

Отложил он эти послания, лёг, закинул голые руки за голову. На локтях у него и на груди, где разошлась ковбойка, виднелись наколотые письмена, русалки с якорями, мечи, обвитые змеями.

– Как же всё-таки, Сеня? Плавали мы с тобой или нет?

– Какая разница! Тем же и я дышу, чем и ты.

– Но неужели же мы не выясним? Э, слушай! А ведь ты Ленку должен был знать. Ленку-«юношу»!..

– Слыхал про неё. А плавать с нею – не плавал. Да при мне уже никаких баб на траулерах не было в помине.

Ещё года за три до первого моего рейса рыбацкие жёны начали скопом заявления писать в управление флота, чтобы всех женщин, которые плавали юнгами на СРТ, списали бы начисто: из-за этих женщин у них семейная жизнь разлаживается. И всех их заменили мужиками.

– В помине-то, положим, остались, – «маркони» мне подмигнул. – Ленка, она знаменитая была женщина. Про неё легенды складывали. Как она в кубрик до подъёма приходила к матросам. В первую койку с краю ложится, с последней встаёт. У них это называлось – «утренняя зарядка». А когда в порт приходили и кеп аванс выдавал, она от него по левую руку сидела, а по правую – профорг. Он свои взносы собирал, она – свои.

– Тоже потеха, – говорю. – Ты сам это видел?

– Ну, Сень, всего ж не увидишь. Но – рассказывали. Больше, наверное, трёпу было, чем дела. Но ведь под всяким трёпом что-то ж имеется... Ну, и я тоже кое-чему свидетель. Какая у ней с Ватагиным-то была история – целый роман! При всём пароходе. Бичи прямо к ней подкатывались, если что: «Ленка, похлопочи там, на мостике, чтоб не метали сегодня. Погода сильная и отдохнуть охота». Ну, она к бичам с душой относилась. «Ватагин, сегодня метать не будем, устали бичи». И – не мечут, картины крутят. Ну баба! Не знаю – потом она куда делась. Прямо как в воду канула.

– Она и канула.

– Ты шутишь!

– Нет. Я хоть и не плавал с нею, а знаю.

– Как же так вышло? Ну-к, потрави.

Я ему рассказал, как мне рассказывали. В одну экспедицию, поздним вечером, вышла эта самая Ленка ведро выплеснуть с кормы — и упала. Через полчаса только её кандей хватился. Ну, пока ход застопорили, пока возвращались по курсу, пока нашаривали прожектором, она уже закоченела, её только телогрейка держала на плаву. Говорили мне — вытащили ещё живую, но и десяти минут она не прожила, как её ни грели и спиртом ни отпаивали. Пошли к базе, там рефрижераторы, надо же до порта её довезти да предъявить кому следует, у нас не хоронят в море, как в старину. А волнение было — свыше восьми баллов, и база к себе не подпускала. Две недели этот шторм не кончался, и не могли подчалить, носились по морю, и мёртвая Ленка лежала на рострах, под брезентом в шлюпке. Все они чуть с ума не посходили.

— Слушай-ка, — спросил «маркони». — А с чего это она, не рассказывали?

— С чего за борт сваливаются.

— Нет, Сень, тут не просто. Она же опытная была «юноша», столько рейсов отходила. Вдруг пошла бы ночью с ведром, да в шторм? Она бы как-нибудь кандею это дело передоверила. А может, она в него и правда влюбилась, в этого Ватагина? Это мужик от любви не помрёт, а бабы знаешь, с них станется.

— Не знаю. А может, потому что легенды складывали?

— Думаешь? Кто ж от этого умирает, Сеня? Скорей — тут всё сошлось.

И уже он про эту Ленку по-другому заговорил.

— Если хочешь знать, — говорит, — как она только на траулер пришла, так уже вся её судьба наперёд была расписана. Ты на судне — одна в юбке, а кругом двадцать три мужика с полноценным морским здоровьем, а рейсы же были — по полугоду, ты вспомни. И она же в общем кубрике с механиками жила, её койка только простынкой задёрнута, вот и весь девичий стыд. А тёмных углов сколько, где тебя и полапают, и зажмут, а после все косточки перемоют слюнями. Она и не выдержала. Сначала, наверно, и по рукам давала, и по рылу, а потом сама в загул ударилась, пока её Ватагин не завлёк... Да, Ленка! Сильно ты меня расстроил. Отличная же была девка!

— Не знаю.

— Отличная! Но ты прав — слишком про неё трепали. Корешей же у Ватагина внавал, и каждый, конечно, сча-

стья ему желает. А может, с ней-то и было у него счастье — кто это может судить! Так просто от жены не загуляешь, чтобы во всём отряде про это знали. Да что в отряде, столько людей на флоте участие принимали, отговаривали его, в семью возвращали. А я тебе скажу — когда уже чужой нос лезет... в твои какие-нибудь трепетные отношения, это по-доброму не кончится, не-ет! У меня то же самое было. Ты где служил, на Северном?

— Ну!

— Я-то на Дальнем Востоке, торпедные катера. Ну что — совсем девчонка, ни хитрости у ней, ничего. Насквозь светится. Однажды в субботу нас не уволили, уволили в воскресенье утром — всю ночь она меня на причале ждала, от росы вымокла. Сторожа её гоняли, она в каком-то пакгаузе пряталась. Это ценить надо, Сеня! Я уже о ней по-серьёзному: вот демобилизуюсь и увезу, а почему нет! И чёрт же меня подловил — с корешами посоветоваться. Взяли бутылку, посоветовались. «Ты, Андрюха, нормальный или нет? Что те твоя сахалинка — тебя в России с подмётками оторвут!» Ну, это всё ладно, а тут существенное было выдвинуто: «Это же и подозрительно, чтобы такая верность! У них же так не бывает, Андрюха, это же факт женской природы, литературу надо читать. Ты-то к ней по субботам, а всю неделю она чего делает — знаешь?» — «Ждёт, — говорю, — учится, чего ей ещё делать». — «Не знаешь! А ближе к сроку, гляди, она ещё к начальству прискочит, с телегой*. А потомок от кого — это никто разбираться не будет». И думаешь, я это всё не пережил? Пережил, умный сделался. Когда демобилизовался, и попрощаться не зашёл. Телеграммку только отбил — срочный вызов, больна тётя. А теперь — локти кусай.

— А вернуться к ней? — я спросил.

— Вернись! Когда их у меня трое уже. Старший вот в школу пойдёт. Я даже так мечтал: вот он подрастет, всё ему расскажу. Может, он меня поймёт, отпустит к ней. Мужики же мы с ним, неужели не поймёт?

— Поймёт, да она ждать не будет.

— Ты знаешь — ждёт! Вот до прошлой экспедиции я от неё письма имел, в море. Насчёт потрохов-то я ей не сообщал... Так вроде ничего существенного не писала, про житьё-бытьё, а за строчками чувствуется — приняла бы

* Кляуза, донос.

с дорогой душой. Ну, что-то прервалось – может, на берег послала, да жене в руки.

– Напиши, пускай на почтамт посылает.

«Маркони» засмеялся – почти весело.

– Э, Сеня! Когда ещё на почтамт ходить!

Мы не заметили – машина кончила подрабатывать, и кто стоял на руле, ушёл спать, в рубке стало тихо. Тут началось это самое «Ожидание», а на меня некоторые вещи нехорошо действуют, как первая стопка на запойного. Я так и знал, что всё расскажу этому «маркони»: и про Лилю, и как ездил к Нинке, и про то, как меня ограбили бичи и Клавка, – хотя я впервые с ним говорил и видел, конечно, что он трепло. Но это я потом буду жалеть и ругать себя последними словами, а при случае такую же сделаю глупость.

«Маркони» слушал, ни о чём не спрашивал, только вздыхал и поддакивал. Потом сказал:

– Да, Сеня... Под этот разговор выпить бы следовало, а нечего. Но я тебе скажу, как за столиком, – мы хорошие люди, Сеня! Если бы с нами всегда по-хорошему, мы ж горы бы своротили. А если б кто нас научил, с кем найдёшь, а с кем потеряешь... Мы б же его озолотили, Сеня!

Ну, и всё в том же роде. Потом он спросил:

– Ты после экспедиции куда двинешься?

– Не знаю. В следующую экспедицию.

– Я – всё, завязываю! Меня кореш в грузовую авиацию соблазняет, в лётный состав. Такие же там передатчики. Зарплата, конечно, лимитировать будет. Но думаю – а чёрт с ней, с зарплатой, потрохов бабке сплавим, а жена пусть поработает какое-то время. Зато же там рейсы – часы, а не месяцы. Валяй-ка со мной на пару.

– Что я там буду делать?

– Пристроишься. А то – радистом натаскаю.

– Можно и радистом.

– Нет. – Он вздохнул. – Если «можно», то лучше не надо. Счастлив не будешь. Тебя вон «дед» на механика тянет, я уж слышал, а ты не идёшь. И правильно – душа не лежит. Счастье у человека на чём держится? На трёх китах – работа, кореши, женщина. Это мне ещё лейтенант на катере втолковывал. Если это в порядке, остальное всё приложится. Согласен?

– Мне, значит, только трёх китов не хватает.

«Маркони» призадумался, лоб почесал.

— Худо дело, Сеня. Отчего мы с тобой — моряки, а? Ленточки нас поманили?

— Меня, пожалуй, ленточки.

— С детства небось мечтал?

— С младых ногтей.

— Но ведь поумнеть-то — надо? Нет уж, вот доплаваю рейс, пойду на шофёра сдавать.

— Ты же в авиацию хотел.

Он засмеялся.

— Иди-ка спать, братишка. Завтра вас до света подымут.

В кубрик я пришёл как раз вовремя. Когда уже все угомонились. Дверь была прикрыта, а от камелька жаром несло, как от домны. До чего же мы, северяне, тепло любим. Умираем без него!

Я лежал, не спал — то ли от жары, то ли «маркони» меня расстроил. Как и я его.

А меня ведь и правда ленточки поманили. Хоть я и соврал ему насчёт младых ногтей. Мальчишкой я ни в каких моряков не играл и даже не думал о море. И где там подумать — течёт у нас вшивый Орлик, а по нему до Оки и на дощанике не доберёшься, то и дело тащишься через мели. И когда они появились у нас на Сакко-Ванцетти, эти трое с ленточками, в отпуск приехали, я на них как на чучела смотрел. Хотя они бравые были ребята — подтянутые, наглаженные, клёш не чересчур широкий. Всегда они ходили втроём, занимали весь тротуар — как три эсминца «фронтом» — и по сторонам не глазели, а прямо перед собою суровым взглядом, и понемногу вся наша сакко-ванцеттинская шпана их зауважала. А потом и забеспокоилась — когда они себе отхватили по хорошей кадровой девке и стали вшестером ходить, по паре «в кильватере». Но я не беспокоился — они же не у меня отбили, да и некогда было об этом думать. У меня в то лето отец, паровозный машинист, погиб в крушении, и я должен был мать кормить и сестрёнку. Пришлось мне уйти из школы, после седьмого класса, и поступить в ФЗО, там всё-таки стипендия, а вечерами я ещё в депо подрабатывал — слесарем-башмачником. Ну, попросту, тормозные колодки заменял изношенные. Но тоже, если на то пошло, у меня и чёрная шинель была, и фуражка с козырьком — два пальца от брови, и не меньше я прав имел — смотреть перед собою суровым взглядом и никому не уступать дороги.

А вот однажды они меня удивили. Это на нашей же Сакко-Ванцетти было, в летнее воскресенье. Я вышёл погулять с сестрёнкой и вдруг увидел толпу возле трамвая. Ну, вы знаете, как это бывает, когда что-нибудь такое случается — кого-нибудь сшибло там или затянуло под вагон. Как же это всем интересно, и как приятно, что не с тобой случилось, и какие тут начинаются благородные вопли: «Безобразие, судить надо!.. Хоть бы кто-нибудь «скорую» вызвал...» А я с чего начал, когда подошёл? На кондукторшу разорался — куда смотрит, тетеря, отправление даёт, когда ещё люди не сели. Так я её с песком продраил — она и ответить не могла, сидела на подножке вся белая. Я и вожатому выдал — дорого послушать, на всю жизнь запомнит, как дёргать, в зеркальце не поглядев. Но между прочим, под вагон я не заглянул. Мне как раз перед этим рассказывали в подробностях, как моего батю по частям собирали под откосом. Я это не в оправдание говорю, какие тут оправдания, но не можешь — отойди сразу, а языком трепать — это лишь себе облегчение, не вашему ближнему. А тот между тем лежал себе — невидный и безгласный, прямо как выключенный телевизор. И никто даже толком не знал, что там от него осталось.

Тут они подошли, эти трое. Вернее, они вшестером прогуливались, но девок оставили на тротуаре, — а я там не догадался сестрёнку оставить, — и пошли на толпу «все вдруг», разрезали её, как эсминцы режут волну на повороте. И сразу они смекнули, в чём дело, и двое скинули шинельки, с ними полезли под вагон, а третий держал толпу локтями, чтоб не застила свет. Там они вашего ближнего положили на шинель, а другой прикрыли сверху и выволокли между колёс. Ничего с ним такого не случилось, помяло слегка и колёсной ребордой отрезало подошву от ботинка, вместе с кожей. Правда, кровищи натекло в пыль, но от этого так скоро не умирают, он просто в шоке был, потому и молчал. И пока мы за него стонали и охали, они ему перетянули ногу, — девка одна сердобольная пожертвовала косынку, — похлопали по щекам, подули в рот. А третий уже схватил таксишника и сидел у него на капоте. Ну, правда, шофёр и не артачился, он своего знакомого узнал, с которым вчера выпивали, перекрестился и повёз его с диким ветром в поликлинику. Тогда они почистились, надели шинельки и ушли к своим кралям. И вся музыка... Но отчего мы все сделались красные, как варёные

раки, когда поглядели им вслед, как они уходят спокойненько по Сакко-Ванцетти, – они за всё время не сказали ни слова!

Когда-нибудь поймём же мы, что самые-то добрые дела на свете делаются молча. И что если мы руками ещё можем какое-то добро причинить ближнему, случайно хотя бы, то уж языком – никогда. Но я уже тут проповеди читаю, а мне самому все проповеди и трезвоны давно мозги проели, я уж от них зверею, когда слышу. Почему эти трое и остались для меня самыми лучшими людьми, каких я только знал. Почему же я и на флот напросился, когда мне пришла повестка. Мечтал даже с ними встретиться, думал – вот каких людей делает море. Романтический я был юноша!

Ну, потом я поплавал и таких трепачей повстречал, каких свет не видывал. А самые худшие – которые подобрее. Они вам, видите ли, желают счастья, – так что язык у них не устанет. А если они к тому же всей капеллой споются – лучше сразу бежать куда глаза глядят, кто остался – считай себя покойником. По мне, так этот самый Ватагин, например, такой же покойник, как и Ленка, хотя он-то выжил, не канул. Я с ним плавал в его последнем рейсе – ничего в нём уже не осталось легендарного, одна тревога: что теперь говорят про него, после этой истории? А что могли говорить? Что мне вот этот «маркони» рассказал про Ленку? Хотя бы новую сплетню родил, а то ведь как попугай повторял, что рыбацкие жёны писали в заявлениях: бегают к матросам в кубрик, всем желающим – пожалуйста, потом деньги с аванса дерут. И при всём, она для него – «отличная девка». Значит – своя? Ну, а своему-то мы всего охотнее гадим.

Я думал – ведь она с нами ходила в море, разве это дёшево стоит? Ведь какая-нибудь Клавка Перевощикова не пошла бы, она по-другому устроится. Она тебя встретит, такая Клавка, на причале, повиляет бёдрами, и ты пойдёшь за ней, как бык с кольцом в ноздре. И – не прогадаешь, если не будешь особенно жаться, пошвыряешься заработанными, как душа просит. Она тебе на все береговые, на пятнадцать там или семнадцать дней, лучшую жизнь обеспечит – тепло и уют, и питьё с наилучшей закусью, и телевизор, и верную любовь. В городе водки не будет – она достанет, сбегает к «Полярной стреле», у знакомой буфетчицы перекупит ящик. И рыбы она достанет – какой

в нашем рыбном городе и не купишь. Всё тебе выстирает и выгладит, разобьётся для тебя, выложится до донышка. И только ты успеешь во вкус войти – разбудит однажды утром и скажет: «Миленький, не забыл – сегодня тебе в море? Нá вот, поешь и опохмелись...» За Нордкапом очухаешься – ни гроша в кармане, да они и не нужны в море, зато ведь вспомнить дорого! И светлый образ её маячит над водами. Месяца три маячит, я по опыту говорю, а в это время она себя другому выкладывает до донышка. Вернёшься – можешь её снова встретить, а можешь – другую, она ничем не хуже. Сколько хотите таких в порту ошивается – капитал сколачивают, а потом уезжают в тёплые края, – так и не сходивши в море.

А Ленка – ходила. Не знаю, зачем она себе такую карьеру выбрала, – но на берегу ей любые подвиги сошли бы, а в море сплетни разносятся без задержки, как круги по воде от камня. Тут ведь мы все – «братишки», какая нам корысть языком чесать, если не к корешу сочувствие. И самые трезвые разума лишаются, а Ватагин и без того не слишком трезвый был. Ведь он как будто всё про эту Ленку знал, когда с ней сошёлся, – и что на самом деле было, и что сверх того наплели, – что же переменилось? А то, что круги пошли. Что все его хором из беды выручали. Беседы с ним вели – и с ним, и с Ленкой. А в это время жену его, с которой он уже разводиться собрался, науськивали писать цидули в управление. И он сдался, Ватагин, сам же и вычеркнул Ленку из роли. И уж ей-то, конечно, не преминули про то доложить.

А после, когда это всё случилось, те же добренькие себя и показали. Просто удивительно, как быстро они назад отработали! Вчера спасали, а сегодня – руки ему не подавали, требовали собрание провести, обсудить моральный облик, без скидки на производственные успехи, предложить ему с флота уйти. И кто же спас его тогда – Граков! Буквально он его за уши вытащил и все речи оборвал на полуслове. А как он это сделал – снял его с плавсостава и к себе приблизил, чуть не правой рукой назначил в отделе добычи. Так что все ватагинские радетели к нему же попали в подчинение. Ну, а тут, сами понимаете, не повякаешь...

А дальше, вы спросите, что с ним стало, с этим Ватагиным? А помните того прилипалу, бывшего моего кепа, который к нам подходил в «Арктике», с Граковым? За минеральненькой ещё бегал... Вот он и был Ватагин.

8

С утра, конечно, новости. Старпом наш отличился ночью – курс через берег проложил. Это уж рулевой принёс на хвосте, все новости из рубки – от рулевого. Ночью показалось старпому, что порядок течением сворачивает, и решил он его растянуть. Определился по звёздам, да не по тем, и – рулевому: «Держи столько-то». Ну, дикарь и держит, ему что. Хорошо ещё, кеп вылез в рубку, сунул глаза в компас, а то б ещё полчаса – и мы в запретную зону вошли бы, с сетями за бортом. А там уже на них норвежский крейсер зарился. Плакали бы наши сети, он бы их тут же конфисковал. То-то крику из-за этого было в рубке!

Я думал – какой же он теперь придёт, старпом, нас будить? Ничего, голосу его не убыло:

– Пад-дъём!

Димка с Аликом расшевелились, начали одеваться. Ну, эти – пускай, им кажется – если они первыми начали, то первыми и кончат. Чёрта с два, они на военке не плавали. Наши все старички ещё полёживали.

Старпом сел на лавку, подбадривал нас:

– Веселей, мальчики, веселей. Сегодня рыбы в сетях навалом.

– Не свисти, – это Шурка ему, Чмырёв, из-за занавески. – Десять селёдин там, кошке на завтрак, и тех сглазишь.

Старпом, слышно, повернулся к нему, скрипит дождевиком. Ему, конечно, обидно, когда ему грубят. Шарашит его, но ответить он не смеет. Шурка всё-таки старый матрос, а он старпомом первую экспедицию плавает – какой у него, архангельского, авторитет? И про ночные его подвиги нам уже известно.

– Чего «не свисти»? Поглядел бы, как чайки над порядком кружатся. Они дело знают.

– Они-то знают, – Шурка ему лениво. – Ты не знаешь.

Тут решил Митрохин высказаться:

– А мне, ребята, сон приснился. Глупыш прямо в кубрик залетел. Сел у меня в головах, клюнул плафончик и говорит человечьим голосом: «Бичи!..»

– Прямо так – «бичи»? – Это Васька там, Буров, со спины на живот перевернулся.

— Ага, говорит, «бичи». С первой выметки бочек двадцать возьмёте. А дальше у вас всё наискось пойдёт. Опять же — плафончик клюнул. И улетел.

Салаги захмыкали. А мы помолчали. Сон — дело серьёзное. Потом Шурка спустил ноги.

— Отойди, старпом, а то ушибу.

Тот сразу в двери и завопил уже у соседей:

— Мальчики, пад-дъём!

Тут и я полез одеваться. Я-то знаю — Шурка зря не полезет. Он тоже на военке служил. Салаги ещё только рубахи успели напялить и в штаны влезали, а Шурка уже по трапу сапогами загрохотал. Долго им ещё плавать, пока они нас догонят. Но уж обогнать — нет.

Васька Буров ещё долёживал. Он больше всех плавал. Потому и ленивый, чёрт. Но такой ленивый, что другим тоже лень ему выговаривать.

Я вам не буду рассказывать, какое было море. Хорошее было море. Не штиль, а балла так полтора, в штиль нам тоже не сахар, ветер лица не свежит. А над порядками чайки ходили тучами — доброе знамение. В салоне, за чаем, только и говорили — что вот, мол, первая выметка и не зряшная; пустыря вроде не дёрнем; авось, мол, и дальше так пойдёт; тьфу через левое, чтоб не сглазить.

Но вот стало слышно — шпиль заработал, и мы потянулись потихоньку на палубу. Уже дрифтер с помощником вирали* из моря стояночный трос и все становились по местам.

Я своё делал — открыл люковину, отвалил её, ролик уложил в пазы, но в трюм не лез ещё.

Дрифтер не торопился, и мы не торопились, смотрели на синее, на зелёное, ресницы даже слипались. Стояночный трос уже кончался, за ним выходил из моря вожак — будто из шёлка крученный, вода на нём сверкала радужно. Чайки садились на него, ехали к шпилю, но шпиль дёргался, и вожак звенел, как мандолина, ни одна птаха усидеть не могла. Дрифтер тянул его не спеша, то есть не он тянул, он только шлаги прижимал к барабану, чтоб не скользили, но так казалось, что это он тянет, дрифтер, весь порядок — с кухтылями, поводцами, сетями, рыбой. Ну, рыбу-то мы ещё не видели. И наверное, дрифтер не о ней думал —

---

* Глаголы эти — «вúрать», «майнáть» — происходят от известных команд: «Вира!» — к себе, «Майна!» — от себя.

нельзя же только об этом и думать, — а думал, наверное, про чаек, которых мы зовём глупышами, черномордиками и солдатами: счастливей они нас или несчастнее. А может быть, и вовсе ни о чём, просто глядел на воду, завороженный, млел от непонятной радости.

Я подошёл к нему.

— Погода, Сеня!

— Погода, дриф.

— Так бы всё и стоял на палубе, не уходил бы.

— Нипочём, дриф.

— А работать надо, Сеня.

— Спору нет, дриф.

— Потому что — что?

— Потому что стране нужна рыба.

— Грамотный, Сеня, идейный. Ну, коли так, отцепляй «стоянку»*.

Я, слова больше не говоря, развинтил чеку и — с первым шлагом — полез в трюм. Прощай, палуба!

Пахло тут — старой рыбной вонью, карболкой и «лыжной мазью» от вожака, пахло чернью, которой метили на нём марки, и гнилыми досками — от бочек, они за тоненькой переборкой, мне их отсюда видно сквозь щели.

Но я покуда осматривался и принюхивался, а вожак уже, как удав, наполз на меня сверху, из горловины, навалился пудовыми кольцами, надо бы ко́йлать** его, да повеселее, пока он меня не задушил.

— Вир-рай!

Это мне дрифтер откуда-то, с синего неба.

А вожаковый трюм — метр с чем-нибудь на восемь, особенно не побегаешь. А надо — бегом. Я этого дела ни разу ещё не нюхал, только с палубы видел мельком, как другие делают, которые после этого лежали в койках часами и глядели в подволок. Знал я только, что вожак в трюме ко́йлается по солнцу и снаружи внутрь. Почему не против солнца? Не изнутри наружу? А бог его ведает, — свив, наверное, такой, — да и не моя забота.

Значит, так: семь шагов вперёд, вдоль переборки, поворачиваешь направо, по солнцу, и снова ведёшь-ведёшь-ведёшь по самому плинтусу, утыкаешься в переборку и опять направо по солнцу, опять семь шагов вперёд, опять

---

* Стояночный, стальной трос.

** Происходит от **англ.** «to coil» — складывать трос в бухту.

по солнцу, по солнышку ясному, новый шлаг ложится внутрь, поворачиваешь, опять переборка, и снова ведёшь-ведёшь-ведёшь... Видали, как лошади бегают на молотилке?

— Вир-рай!

А вожак этот чёртов идёт не откуда-нибудь, а из моря. А море — оно мокрое. Оно мне течёт потихоньку за ворот, и варежки брезентовые вмиг промокли, и в глазах, конечно, защемило. Я было пристал дух перевести, глаза вытереть, и вдруг темно — ко мне кто-то в трюм заглядывает. Старпом. Всю горловину широким своим носом застил. Кеп его небось прислал — меня проверить: всё же я первый день с вожаком.

— Веселей, веселей в трюме! Вожака на палубе навалом...

Дал бы я ему самому побегать, то-то бы взвеселился. Я только сплюнул и дальше побежал. Да не побежал — пошкандыбал на полусогнутых. По пайолам бегать ещё куда ни шло, но я уже первый пласт уложил, теперь по вожаку бегать надо, это вам не паркет, тут в два счёта ногу подвернёшь. А что дальше будет — когда я почти весь его выберу и сам на нём чуть не к подволоку поднимусь? Там уже на четвереньках придётся. Лучше не думать. Надо второй пласт укладывать.

— Вир-рай!

Дрифтер уже не по-служебному орёт, а с огнём в голосе. А голос у него — на всех иностранцах, наверное, слышно. Подумают, у нас трансляцию на выборке применили.

А вожака, наверно, и правда много скопилось на палубе — трудно стало тянуть, распутал бы кто.

— Эй, там, на палубе! Распутайте кто-нибудь!

Ну да, услышат, у них там сетевыборка поёт, сапожищи бацают. Нет, подошёл всё же кто-то, стал скидывать ногами, да мне от этого ещё хуже, все шлаги на меня валятся, на голову, на плечи.

— Давай веселей, Сеня! Шевели ушами!

Ага, это дрифтер мне помог. И голос у него чуть поласковее. Всё-таки он человек, дриф. Понимает, каково мне с непривычки. Эх! Я плюнул и побежал. Не на полусогнутых, а прямо как чокнутый. Пусть их, ноги подворачиваются. Пусть из меня сердце выпрыгнет. Я умру, но я ж его распутаю! Я ж его уложу, гадину, сволочь солё-

ную, мокрую.... Вот уже осталось два шлага, ну три, всё, можно и отдышаться. Только не дай бог ему снова там скопиться. Опять я его потянул. А он и на сантиметр не поддаётся. Снова там скопилось, что ли? Кто же это будет мне всё время его распутывать? Я прямо повис на нём.

И тут меня так самого рвануло, что я всей грудью на переборку налетел.

— Хрена ты там тянешь? Сетка подошла! Сетку трясут!

Вон что! Ни черта, значит, не скопилось там. Просто я вожак со шпиля тянул. И это меня на волне рвануло, шлаги по барабану скользнули, он ведь полированный уже, в него смотреться можно. Но дрифтер-то — мог же предупредить: «Постой, не вирай пока». Да кому до вожакового дело!

Я стал к переборке отдышаться, поглядел в люк. И вдруг увидел: звезда качается, голубая, прямо над моей головой. Я просто очумел. Потом лишь дошло, что это не она качается, она себе висит на месте, а нас переваливает с борта на борт. И никто её не видел, только я один — из тёмного трюма. Где же это я читал, что можно в самый ясный полдень увидеть звезду из колодца? Даже не верилось. А теперь я сам в этом колодце оказался.

Я стоял, смотрел на неё. А всё же был настороже, чтоб меня опять не рвануло. Шпиль, я слышал, работает, его на всю выборку не выключают, но дрифтер, поди, там скинул один шлаг с барабана, чтобы проскальзывало. А когда он его снова накинет, это я почувствую, он ведь у меня этот шлаг возьмёт, из моря ему не вытянуть.

А там уже первую сетку трясли — бац, бац! — сыпалась рыба. По звуку не слышно, чтобы уж слишком много взяли, но всё же. Я не утерпел, полез по скобам поглядеть, и вдруг меня чем-то по шее — скользкое, мокрое, бьётся. Здоровенная рыбина скользнула по мне, по рукаву, плюхнулась на вожак. Билась она страшно, сильная была селёдина, всё норовила под шлаги забиться, они ж ещё воду хранят. А когда я её выудил оттуда, себе в варежки, она даже пискнула жабрами, такая бешеная была, что её обманули. И какая же красивая — ведь только что из моря! Не серая, не оловянная, не ржавая, как в магазине. Она, сволочь, вся синяя, зелёная, малиновая, перламутровая, и всё это переливается, каждую секунду — уже другой цвет.

За этой ещё одна шлёпнулась, только безголовая. Оторвали на тряске. Потом ещё одна — с надорванными жаб-

рами, сочилась кровью. Так они и сыпались с палубы, — но все покалеченные. А эта, что я держал, совсем была целенькая, ни жаберки не надорваны, ни плавничок, ни чешуинки не потеряла.

Я её взял покрепче, поднялся по скобам и зашвырнул подальше, за планширь. Глупыш один за ней кинулся, но у моей-то рыбины счастливая была судьба — не далась глупышу, не повезло ему, ушла в море.

На палубе, я слышал, заржали. Дрифтер ко мне заглянул.

— Сень, это ты нашу рыбу выбрасываешь? Как же это? Мы ловим, а ты кидаешь.

— Пускай живёт.

— А думаешь, она жизнью попользуется? Она сейчас опять в сетку пойдёт.

— Не пойдёт, она теперь учёная.

— Так... А ежели она, учёная, теперь неучёную научит мимо сетки ходить? Ведь это мы, Сеня, без коньяка останемся. Жалостный ты, Сеня. Гуманист!

Долго они там ржали. А тех, безголовых, безжаберных, я тоже выловил и выкинул на палубу. Хуже нет, если рыба куда-нибудь забьётся, потом от вони умрёшь. А на палубе — бац да бац! — и нет-нет да какая-нибудь ко мне залетала. Если покалеченная, я им обратно выкидывал, а целенькая — ту в море. Пускай смеются. Опять же, развлечение для палубных.

А про вожак я опять забыл. Не заметил, как дрифтер выбрал у меня шлаг и накинул на барабан. Пополз, родной, а мы-то заждались. Семь шагов вперёд, по солнцу, ещё пласт уложен, а посмотришь в люк — там она всё качается, звёздочка. Совсем у меня рук не стало, а варежки — хоть выжми, и всё тело колет иголками. Это хорошо ещё — рыба куда ни шло, а заловилась, сети приходилось трясти и стопорить вожак, а если б они пустые шли и вожак бы всё полз да полз, тут бы я вполне богу душу отдал.

Дрифтер опять ко мне заглянул.

— Как, Сень, привыкаешь?

— Да привыкаю, — говорю. — А нельзя ли придумать чего-нибудь, чтоб он сам ко́йлался?

— Чего, Сень, придумать?

— А я знаю? Барабан какой-нибудь. С мотором.

— Да как же он в трюме-то поместится? И подешевле, чтоб ты его укладывал.

— Значит, совсем ничего нельзя?

Дрифтер сказал:

— Ты не изобретай, понял? Ты — вирай.

Но неужели ничего нельзя? Конечно, придумают. И до чего же мне тогда обидно будет. Как же это я его руками кóйлал? Я вам скажу, не зазорно гальюн драить, на то ещё машины нет. А вот сети трясти — зазорно, когда есть уже на некоторых судах сететряски. Плохонькие, всего одного матроса заменяют, но есть. Вот, скажем, в трамвае кондуктор билетики отрывает, а потом — бац! — вместо него ящик поставили. Обидно же ему потом, что он вместо ящика стоял.

Но я-то, наверно, попривык к вожаку, если мог уже про чего-то думать. Раньше только и мыслей было — как бы с копыт не сойти, а теперь всё как бы само делалось, а голова была на другом свете. Ничего, думаю, переживём. Вот уже и срост подошёл, толстый такой, надо его специально укладывать, чтоб он мне порядок не нарушил, — бог ты мой, а ведь это я уже первую бухту уложил. Там их ещё штук шесть осталось. Или семь? Надо бы у дрифтера спросить. Только минуты нету, чтоб вылезти.

На палубе опять загорлопанили.

— А этого, — слышу, — Сене-вожаковому неси, он жалостный.

— Сень, а Сень, держи на!

И плюх на меня — серое с белым, с чёрным, пушистое, бьётся оно, кричит, сразу в угол забилось, только глазёнки блестят, как пуговки. Глупыш, кто ж это ещё. Весь сизый, с белой грудкой, концы крыльев чёрные. Одним крылом прижался к переборке, а другое выставил вперёд, как щит, и трепыхал им по вожаку. Я хотел его взять — он ещё пуще забился, затрепыхался, закричал и клюнул меня в варежку. Тогда я снял варежки и просто ладони к нему протянул. И он — пошёл ко мне. Ну, ко мне-то в руки всякая тварь пойдёт. Я его вытащил к свету — одно крыло у него висело, пёрышки маховые сломаны, — и как дотронешься, он сразу кричать и клеваться.

Бичи ко мне заглядывали в люк:

— Сень, ты его рыбой откорми, после кандею отдадим зажарить.

А глупыш притих, только сердчишко стучало. Пожадничал, бродяга, в сети полез, вот и запутался.

В углу, за выгородкой, дрифтер своё хозяйство держал — бухты запасные, пеньку, прядины, — сюда я его и посадил, Фомку. Сразу я его Фомкой окрестил, надо же как-нибудь назвать тварюгу, если она с людьми будет жить. Фомка уже сообразил, что я ему не враг, улёгся, как в гнездо. Я ему кинул селёдину, он поклевал чуть, но заглатывать не стал, а подтянул к себе и накрыл крылом.

Тут снова пополз вожак, а сети пошли победнее, и вытрясали их быстро. Бичам полегче стало на палубе, а мне тяжелей.

Дрифтер опять заорал:

— Вир-р-рай! Заснул там, вожаковый?

И я забыл — не то что про Фомку, про мать родную. Забегал как бешеный. А шлаги всё ползли и ползли. Теперь, конечно, вся злость на вожакового, почему медленно койлает.

— Вир-р-рай, мать твою... Шевели ушами!

Я чуть было прислонился к переборке — лоб вытереть, чтоб глаза не заливало, — как он, сволочь, пополз кольцами, прямо на мои уложенные шлаги. Чтоб его теперь уложить, надо же всё это на палубу обратно выкинуть, иначе запутаешься. Я их откидывал ногами, локтями, головой, а они всё ползли, и весь я опутался этими кольцами.

Дрифтер прибацал ко мне, наклонился.

— Ты будешь вирать или нет?

— А я чего делаю?

— Не знаю, Сень. Не знаю, чего ты там делаешь. А только не вираешь. Поглядел бы, сколько вожака на палубе. Хреново, Сеня. Закипнёмся мы с таким вожаковым.

— Ты лучше умеешь? Ну и валяй, пример покажи.

Дрифтер даже вспотел от моих речей.

— Вылазь!

— Зачем? — Хотя мне, по правде, очень даже хотелось вылезти.

— Вылазь. И свайку захвати.

Я взял у него в хозяйстве свайку и полез. Он стоял, ноги расставив, и глядел, как я лезу. Я высунул голову в люк и зажмурился. Такое светило солнце. Такое было море — хоть вешайся от его синевы. Я сел прямо на палубу и ноги свесил в люк. А вожака и правда до фени скопилось. Но мне уже плевать было, сколько его скопилось. Очень мне хотелось смотреть на море.

— Дай сюда, — сказал дрифтер.

— Чего тебе?

— Свайку, говорю, дай.

— На, отцепись.

Он эту свайку с маху всадил в палубу. Наверное, на два пальца вошла, силёнки ему не занимать.

— Вот, пускай тут и торчит.

— Пускай, — говорю, — мне-то что?

— А то, что не будешь вирать, я тебе этой свайкой по башке засвечу.

И пошёл к своему шпилю. Снизу он мне выше мачты казался. Грабли чуть не до колен. Ну просто медведь в рокане.

Прямо как во сне я эту свайку выдернул и зафингалил ему в спину, прямо в зелёную спину. Я его не хотел убивать. Мне всё равно было. Однако — не попал. В фальшборт она воткнулась, в обшивочную доску. Да сидя разве размахнёшься?

Никто слова не сказал — ни палубные, ни вахтенный штурман, который, конечно, всё видел из рубки. Дрифтер тоже молча к ней подошёл и выдернул. Смерил, на сколько она вошла.

— На полтора пальца, Сеня.

— Мало. Я думал — на два.

— Мало, говоришь? — Подошёл ко мне. — А если б попала? А, Сеня?

— Ничего. Лежал бы и не дрыгался.

Он прямо лиловый был. Присел около меня на корточки.

— Что же мы с ней сделаем, Сеня? В море, что ли, кинуть?

— Зачем? В хозяйстве пригодится.

— А вдруг ты опять?.. Ах ты, гуманист чёртов. Ты что думал, я в самом деле засветить хотел? Я ж только так сказал.

— Ну, и я — только так бросил.

Он поцокал языком. Свайку положил возле люковины.

— Отчего ж мы такие нервные, Сеня? Кто ж нас такими нервными сделал? Не иначе — Хрущёв. Всё чего-нибудь придумает, турист. То кукурузу, понимаешь, то Большую Химию. А при Хозяине-то, вспомни, и порядок был, и каждый год к первому апрелю цены снижали... Ай-яй-яй!.. Но ты вирай всё-таки, Сеня. Помаленьку, а вирай.

Тут в нём опять голос прорезался:

— А что стоим, как балды на паперти? А ну, помогите ему!

Серёга Фирстов с Шуркой кинулись к нам. Я опять полез в трюм. Потихоньку они мне спускали шлаг за шлагом, пока я всё не уложил.

Дрифтер спросил с неба:

— Дома, Сеня, мы за это дело выпьем?

Я не ответил. Он постоял, поцокал языком и ушёл к шпилю. Всё лицо у меня горело и руки тряслись.

Сетки пошли — то быстро, то не спеша, косяк попался неплотный, так что я и набегаться успевал и отдышаться. Если что и скапливалось там, на палубе, дрифтер сам подходил помогать. И приговаривал ласково:

— А вот и опять вожачку накопилось. Повираем его, Сеня?

Или там:

— Заснул чего-то вожаковый наш, как бы это разбудить его? Не осерчает?

Я уж помалкивал. Пласты ложились мне под ноги, и я на них поднимался к подволоку. Сначала шапкой коснулся, потом голову пришлось подвернуть. Последняя бухта всего труднее шла, — их всё-таки восемь оказалось, а не семь, — я её чуть не на четвереньках койлал. Когда последний шлаг упал, отцепленный уже от стояночного троса, я и не поверил, что конец. Подержал его в руках. Нет, ничего уже к нему больше не привязано. Конец.

— Всё, Сень, вылазь на воздушок.

Дрифтер стоял надо мной, лыбился. Я полез наверх и чуть не свалился обратно в трюм. Дрифтер меня под мышки выволок.

Я пошёл на полубак, прислонился там животом к фальшборту, глядел на воду. Теперь-то я понял, почему вожаковые глядели часами в подволок, как скойлают все бухты.

Вода чуть плескалась, и в ней кружились чешуинки. Синее и серебристое — это красиво, чёрт дери. А больше мне ни о чём не думалось.

— Устал? — спросил дрифтер.

Я только вздохнул. Ответить — язык не шевелился.

Чешуинки закружились быстрее, поплыли назад, вода заструилась... Это мы на новый поиск пошли.

Потом я люковину закрывал, завинчивал... Но рано или поздно, а придётся к палубным идти, не хочется же «сачка» заработать, да и нечестно.

Вот и дрифтер напомнил:

— Отдышись минутку и давай — бичам помогать. Есть ещё работа на палубе.

9

Я-то знал, что свайку они мне не забыли. Бондарь по крайней мере. Он только и ждал высказаться.

— Кому помогать? — я спросил. Хотя у меня руки ещё не отошли за что-нибудь взяться.

— А не надо, Сеня, — сказал он мне ласково. Весь раскраснелся от работы. Но больше от злости. — Ты сегодня и так намахался. Свайка — она тяжёлая.

— Это смотря в кого кидать.

Он ухмыльнулся в усы, запечатал тремя ударами бочку, откатил.

— В меня бы — ты б уже на дне лежал.

— Не лежал бы. В тебя-то я бы не промахнулся.

Ну вот, обменялись любезностями, больше из бичей никто ничего не добавил. Исчерпали, значит, тему.

Устали они не меньше моего. А вот вымарались побольше. Я-то хоть чистый там бегаю, в трюме, а они — в чешуе по макушку, в слизи, в крови, на сапогах налипло с полпуда.

— Везёт тебе, Сеня! — Васька Буров мне позавидовал. — Благодари судьбу. А холода настанут — тебе ещё всех теплей будет.

Я не стал спорить. Хорошо бы все хоть день в чужой шкуре побывали, никто бы никому не завидовал.

Я поглядел — вся палуба в работе. Вертится карусель. Сети уже уложены и придавлены жердиной, последнюю рыбу сгребают, подают сачками на рыбодел*, там её боцман с рыбмастером, в резиновых перчатках с нарукавниками, мешают с солью, ссыпают себе под живот, в бочки.

Салаги взялись палубу водой скатить. Один скатывал, другой ему потравливал шланг. Ну, это и один может. Тут же Алика за плечо завернули. Васька Буров завернул — он, как ястреб, сразу видит, кому меньше работы досталось.

Дрифтер с помощником возятся у сетевыборки, что-то она сегодня заедала. А заедает она, потому что на берегу придумана, там не качает, сетку из-под храпцов не рвёт.

* Рыбодел — верстак для разделки или засолки рыбы.

Они её разобрали, посмотрели, да и снова начали собирать. Вроде бы всё в порядке. Ну, а завтра снова она заест – разберут да посмотрят.

А все остальные – конечно, с бочками. Великое дело – бочки! Их надо выбрать из трюма, вышибить донья, обручи осадить и залить водой, чтоб разбухли к утру. И ещё так расставить их, чтоб не мешали ходить и не кренили судно, и чтоб не падали, не катались по всей палубе. Только они всё равно и мешают, и кренят, и катаются, потому что палуба маленькая, а бочек до чёрта, и неизвестно, сколько их назавтра понадобится. Выставляют штук семьдесят, больше всё равно не поместится. Если заловится рыба – значит, будем маневрировать: штук десять пустых достанем, на их место штук десять с рыбой, и так до посинения. А в это время, пока мы с ними возимся, судно идёт, и бочки вырывает из рук, но кеп и минуты не ждёт, он завтрашнюю рыбу ищет.

Так что салаге Алику плохо пришлось – отрядил его Васька подкатывать ему полные, с рыбой. Сам-то он на лебёдке пристроился, там силы никакой, только храпцы надевай на кромки да помахивай варежкой. Самое муторное – подкатывать. Надо её, родную, скантовать в обнимку, вывести из узкости, после уж повалить и катить к трюму. Кое-как салага её скантовал и повалил, а дальше она у него сама поехала. Но прежде она его сбила с ног. Едва-едва я успел её перехватить.

– Ты, – спрашиваю, – из цирка? Или так, жить расхотелось?

Он сидел и глаза таращил. Даже испугаться не успел. Не понял, чем бы это кончилось, если б она к нему вернулась с креном. Вскочил и снова за бочку.

– Подожди, – говорю, – посмотри хоть, как это делается.

– Чего ты с ним нянькаешься? – Шурка Чмырёв мне заорал. – Синяков набьёт – научится. Мне кто показывал?

– Потому ты дураком и остался. Гляди, – говорю я Алику, – я её одними пальчиками покачу. Видишь – сама идёт. Всё понял?

Покивал он, потом сам попробовал – опять она у него вырвалась.

– Алик! – ему Димка кричит. – Не позорь баскетболистов!

— А чёрта ли толку, — говорю, — что он баскетболист? Тут думать надо. Вот, смотри. Ты на пароходе работаешь, тут всё труднее в сто раз. Но можно же эту качку использовать. Ты же не смотришь, катишь её против крена, это себе дороже. А я подожду, и вот она сама пошла, только поддерживай с боков. А теперь крен на меня, сейчас назад покатится, а я её — поперёк. И никуда она, сволочь, не денется. Вот и весь университет.

Понял как будто. Сам попробовал — и получилось. Расцвёл от радости.

— Спасибо, — говорит.

— Не за что. Спасиба мне твоего не надо. Мне б как-нибудь тебя живого домой отпустить.

Вместе мы быстренько их скатали, и он до того разошёлся — ещё чего-то хотел делать на палубе.

— Неужели всё? — спрашивает.

Я удивился — одно дело ему показали, а в другом он опять лопух. Видит, что трюм не закрыт лючинами*, брезент валяется рядом.

— Так и поплывём, — спрашиваю, — с разинутыми трюмами?

Даже уши у него запылали.

Мы положили все лючины, накрыли брезентом. Тут он сам его стал заклинивать.

— Ты, — спрашиваю, — ручник держал когда-нибудь?

— Что это — ручник?

— То, что в руке у тебя.

— А! Молоток?

— Дай сюда. И ступай в кубрик.

Жора-штурман крикнул мне из рубки:

— Гони ты его по шеям, сам сделай!

Алик на меня поглядел, и мне нехорошо сделалось. У него чуть не слёзы были в глазах. И правда, зачем я его мучил?

— Иди умывайся, без тебя управлюсь.

Он встал, руки в карманах, но не уходил. Смотрел, как я брезент заклиниваю. А рядом другой лежал ручник и клинья — он их не догадался взять.

— Ну, что стоишь над душой как столб!

---

* Лючины — толстые доски, перекрывающие люк (обычно — трюмный, когда большие размеры не позволяют накрыть его одной крышкой).

— Послушай, — он мне говорит, — я думал, ты хоть чем-то отличаешься от всех остальных. Так мне казалось. А ты — такой же зверь. Это жалко, шеф. Побереги хоть нервы. Что за удовольствие — орать на человека?

Я встал тоже.

— Удовольствия мало. Но это хорошо, что я кричу. Вот когда ты мне совсем будешь до лампочки, я тебе слова не скажу. Это лучше будет?

— Ты знаешь — пожалуй, лучше.

Он закусил губу и пошёл. Честное слово, мне жалко его было до смерти. И ненавидел я его — со вчерашнего вечера. Ну, хорошо, пусть я — зверь. Но зачем человек не своим делом занимается?

А все уже в кубрик ушли. Один я остался — из-за салаги. А на палубе не дай бог задержаться.

— Эй, как тебя? Шалай? — Жора-штурман мне кричит. — Кто шланг оставил?

— Кто же оставил? Кто бочки заливал.

— У, салага, мешком трёхнутый! Убери-ка его.

Пошёл убирать. За это время он мне ещё работу нашёл.

— Глянь-ка, вон бочка слева стоит, шестая.

— Ну?

— Привяжи-ка её от греха подальше, покатится.

Это уж Васька Буров мне удружил, сачок.

— И рыбодел не привязали.

Уже все на обед пронеслись галопом, а я всё возился. Вот те и Алик! «Неужели всё?» Я взмолился наконец:

— Жора, всей работы на палубе не переделаешь. А мне на руль идти.

Он махнул рукой.

— Иди обедай. Боцмана позови ко мне.

Покамест я рокан скидывал, умывался, уже в салоне битком набилось. Это у нас быстро делается — не хочется же по переборке жаться, за столом только восьмеро помещаются. Да ещё обязательно кто-нибудь из штурманов или механиков рассиживает — не выберут другого времени пообедать.

В данный момент третий штурман рассиживал. Доедал не спеша компот, а косточки сплёвывал на ложечку — в мореходке, поди, научился. Им там, поди, специально лекции читают — как себя в обществе вести.

Так он, значит, рассиживал, а мы по переборочке жались. И он же нам ещё и говорит:

— Вам, — говорит, — обед сегодня не полагается, мало рыбы взяли. Одиннадцать бочек — это разве улов?

— А кто её искал? — спросил Шурка. — Ты же на вахте был.

— Эхолот пишет, не я.

Всё, конечно, шуточки. Только шутить не надо, когда всем обидно из-за тонны уродоваться.

— Это вот точно, — дрифтер ему сказал. — К эхолоту ещё мозги требуются.

Тот застыл с ложечкой, медленно стал бледнеть.

— Не понял. Прошу повторить.

Дрифтер взял да и повторил, ему что. Да ещё прибавил в том смысле, что кое-кто у нас на пароходе чужой хлеб ест.

— Твой, что ли?

— И мой в том числе.

— Прошу — персонально. При свидетелях. Кого имеешь в виду?

Дрифтер смолчал через силу. Его уже и за локти дёргали, и на ноги наступали. Бондарь зато высказался:

— Ты б, Сергеич, не шумел бы, видишь — с выборки люди пришли, устали как собаки. Могут чего и лишнего сказать — про кого, и сами не знают. А ты на себя примешь.

Тоже миротворец. В нём такая змея сидит, на всех яду хватит. И как чуть скандалом запахло, он тут, с добродушной такой ухмылочкой. Третий пошёл к двери, сказал:

— Я лишнего от себя не прибавлю. А то, что тут было сказано, считаю нужным довести до сведения капитана.

— Валяй, доводи, — дрифтер опять не стерпел. — Это ты умеешь.

И только за третьим дверь захлопнулась, Васька Буров поддакнул:

— Да чо с него взять-то, с Шакал Сергеича? С чужим же дипломом плавает.

И пошло на эту тему.

— Как это — с чужим?

— А украл он его, наверно.

— Да не украл, на толчке купил, со всеми печатями.

— Только фио* проставил.

Димка все эти речи слушал, посмеивался, переглядывался с Аликом, потом сказал:

---

* То есть фамилию-имя-отчество.

— Очаровательная вы компания, бичи! Смотрю на вас — не налюбуюсь. Непонятно мне — что вас объединяет? Ни дружбы, ни привязанности, простой привычки даже нет друг к другу — сплошная грызня. И на это вся энергия у вас уходит. А доведись-ка вам сообща против кого-нибудь — хватит ли её?

Я увидел — все на него смотрят злыми глазами. И молчат.

— Будет вам, — кандей Вася вмешался. — Передерётесь ещё в салоне.

Он притащил целый таз с жареной треской и вывалил на стол, на газетку. Нам в этот день четыре трещины попались, и он их всю выборку за бортом держал, на прядине, только сейчас живыми кинул на сковороду. Потому что, как говорил наш старпом из Волоколамска, «её, заразу, нужно есть, когда она в состоянии клинической смерти». И тут, конечно, все споры кончились. А дальше я не знаю, мне на руль было идти.

10

Сменял я помощника дрифтера, Гешу. А у Геши часы золотые на руке, он их и во время выборки не снимает, и всегда ему кажется — он лишнее на вахте стоит.

— Может, ты б ещё через час пришел? — спрашивает. — А то слишком рано.

— Знаю, что рано, — говорю, — да там кандей трески нажарил, мне жалко стало, что тебе не достанется.

— Семьдесят градусов, руль сдан.

— Порядок. Руль принят.

А заступил я минута в минуту, ещё Жору-штурмана не сменили. Как раз вместе со мной третий заступал, а он-то не опоздает, Жору боится. Жору и капитан боится. Ну, не боится, а прислушивается, потому что на самом деле ему бы старпомом плавать, а не плосконосому.

Пришёл третий — нахмуренный, красный лицом, только шрам белел.

— Точны, как бог, Константин Сергеич, — Жора его всегда на «вы» зовёт, хотя тот и младше его и годами, и чином. — Курс семьдесят, селёдка ушла на бал. Увидите акулу — передайте привет. Адьё!

Третий походил по рубке, зашёл в штурманскую — там что-то эхолот пискнул, — спросил оттуда:

— Сколько держишь?
— Да семьдесят.
— Держи семьдесят пять.
— Пожалуйста.
— Не «пожалуйста», а «есть держать семьдесят пять!». Учишь вас, а всё — деревня. Никакой морской чёткости от вас не дождёшься.

Вышел опять в ходовую, опустил окно. Внизу как раз прошёл дрифтер — руки за поясом, штаны сзади блестят, голенища жёлтым вывернуты наружу, за голенищем — нож. Рыбацкий шик.

Третий сплюнул на палубу, повернулся ко мне.
— Как ты относишься, что он на тебя замахивался?
— Кто замахивался?
— Ну, чего виляешь? Свайкой он на тебя замахнулся или нет?
— Я тоже на него замахнулся. Даже вроде бы кинул.
— Ты тоже не на высоте. Но он первый начал. Это все видели.
— Ладно, забыто уже.
— Ха! Думаешь, он тебе забыл?
— Почём я знаю? Я ему — забыл.
— Ну и дурак. Такие вещи нельзя оставлять без последствий.
— У него работа нервная.
— А у тебя — спокойная? Он за свою работу и получает больше тебя.

Мне неохота было лезть в ихнюю склоку. Она у них теперь не кончится. Как у меня с бондарем. Тоже друг друга невзлюбили — значит, нужно на разные пароходы расходиться, а не выяснять.

— Слушай, Сергеич, я жаловаться к кепу не пойду, предпочитаю своим способом.
— Это, знаешь ли, порочный способ. Так ты только руки ему развязываешь. Устанавливаешь, понял, ненормальный стиль отношений на флоте. Слыхал, как он в салоне распоясался?

Я промолчал. Он так всю вахту проспорит.
— Сколько держишь?
— Восемьдесят.
— А я тебе сколько приказал?
— Семьдесят пять.
— Как же так? Точней на курсе!

Следил, как я одерживаю, выравниваю курс. Не всё ему равно? – идём на поиск, море прочёсываем. Потом ему надоело следить. Охота была высказаться.

– У тебя какое образование?

– Семь классов. И ФЗО.

– Видал! А у будки – всего четыре. А он на тебя орёт, замахивается.

Я промолчал.

– Какого же хрена ты в матросах кантуешься? Тебе в мореходку надо идти.

Я кивнул. В мореходку так в мореходку.

– Я серьёзно говорю. Охота тебе в кубрике с семью рылами сидеть? Выслушивать от каждого остолопа безграмотного. Что дрифтер, что боцман – один хрен. А у тебя же голова светлая!

Я засмеялся. С чего это он взял – насчёт моей головы?

– Чего смеёшься? Плакать надо. Так и подохнешь в кубрике. Я тебе точно предсказываю.

– То же мне и «дед» предсказывает. Только – под забором. И в механики зовёт.

– Ты «деда» не слушай. «Дед» твой, знаешь... Хотя, в общем-то, он прав. Но лучше – в штурмана́ иди. У тебя дело будет в руках, понял? Знания какие-то. А когда дело в руках – и делать ничего не надо, понял?

– Нет.

– Чо тут не понимать! Вахту отстоял – и гуляй шестнадцать часов в сутки, плюй на всех с клотика. Купишь себе макен, мичманку наденешь, человеком себя почувствуешь. Есть же у тебя к полноценной жизни стремление, курточку вон какую отхватил. А представь – ты штурман. В макене ходишь, с белым шарфиком, берёшь такси, едешь в ресторан, развлекаешься, как человек. Не «советский», не «хуецкий», а просто человек. Тебе – уважение. И не рассусоливай в жизни, не мямли. Надо быть резким человеком, понял?

– Ага.

– Сколько держишь?

– Семьдесят два.

– Точней на курсе! А все эти рыла – ты их презирай, понял? Они большего не стоят. Их надо на место ставить. Холодно, резко, понял?

– Понял. Надо быть резким человеком.

– Во! Столько и держи.

Опять запищал эхолот. Третий сбегал туда и вернулся, сплюнул вниз, на палубу. Плевался он длинно, это у него хорошо получалось.

— Ты женатый?

— Нет пока.

— Что ты! Цены тебе нет. Свободный, незатраленный. А я одной стерве двадцать пять процентов от сердца отрываю, от другой отбиваюсь, и с третьей раздрай, а там — пацан, понял? Такой пацан — закачаешься. «Папка у меня стулман», понял? Характер — весь в меня, даже не платить жалко. Будет резким человеком. Если она его не испортит. Вот я чего боюсь.

Хлопнула дверь — кеп вошёл, в шапке, в телогрейке, в тонких сапожках, как у кавказских плясунов. На палубе в таких не походишь, — но капитаны, бывает, неделями на палубу не выходят. В шапке у него решительный был вид, не скажешь, что лысина как поднос. Первым делом он на эхолот поглядел, потом в компас. Нахмурился.

— Сколько он у тебя держит? Лодочными зигзагами он у тебя ходит*.

— А ну точней! — сказал третий. — Ты что как бухой?

Спорить тут бесполезно. Они лучше меня знают, что картушка на месте не стоит ни секунды. Держишь — в общем и целом. Но поворчать полагается.

— Не ходи зигзагами, — кеп мне говорит.

— Я не хожу.

— Ты-то не ходишь, пароход ходит.

— Есть не ходить зигзагами!

Слава богу, эхолот заверещал, оба туда кинулись.

— Можно бы и метнуть, — третий сказал.

— А глубина? Сейчас-то погода слабая, она, видишь, по дну идёт. А к ночи — хрен знает, на сколько она поднимется.

Снова вернулись в ходовую.

— Норвежец вон уже на порядке стоит, — третий заметил. — Спросить бы у него, на сколько забрасывали?

— Я те спрошу! Ещё чего придумай.

— А что — не ответят?

— Не положено — и всё.

---

* Капитан, очевидно, имеет в виду «противолодочные зигзаги», которыми ходит миноносец, забрасывающий глубинными бомбами подводную лодку.

Норвежец был весь оранжевый, золотистый, с белоснежной рубкой. Под цвет бортов — шлюпки выкрашены и капы. На палубе, у лееров, стояли двое в чёрных блестящих роканах, смотрели, как мы проходим. Почему бы и не спросить у них? Я сам спрашивал, они всегда ответят. Надо только выйти на мостик, показать пальцем вниз, нарисовать вопросительный знак. И любой норвежец сразу на пальцах покажет, на сколько у них сети заглублены. Жалко им, что ли?

— Давай-ка сами проверим, — сказал кеп.

— Да неудобно, Николаич.

— Неудобно штаны через голову надевать. И пустыря дёргать.

Третий, по телеграфу, сбавил ход до малого и ушёл в ходовую. Справа по ходу качались на зыбях норвежские кухтыли, красная цепочка длиной с полмили. У них порядки покороче наших, да ведь и судёнышки поменьше.

— Правее держи, — сказал кеп. — Пройдёшь между кухтылями?

— Постараюсь.

— Не «постараюсь», а надо не задеть.

Всегда так делают на промыслах, если надо пройти через чужой порядок. Но я так думаю, норвежцы-то поняли, что мы их проверяем. Для чего же мы курс меняли? Те двое, что стояли на палубе, так весело переглянулись. Даже кеп смутился.

Эхолот пискнул и смолк. Это мы прошли над их сетями.

— Восемьдесят, — сказал третий.

— Ну, видишь, — сказал кеп. — И спрашивать не надо.

Норвежцы глядели на нас и скалились.

— Давай-ка полный, — сказал кеп.

Третий перевёл ручку телеграфа. Но справа кто-то уже нас обгонял, быстренько, как стоячих. По синему борту бежали белые буквы. Третий их читал, шевелил губами:

— «Герл Пегги. Скотланд».

— Шотландец, — сказал кеп. — А ты — «Скотланд». Английского не знаешь. То-то и видно, что диплом у тебя не свой.

Лицо у третьего пошло пятнами.

— А ходко идёт, — кеп позавидовал. — И всего-то автомобильный движок у него.

— Обводы зато хорошие.

— Обводы — мечта!

Шотландец нас обошёл — стройный, гордый, как лебедь. Мы смотрели на его корму с подвешенной шлюпкой — такой же синей, лаковой, как его борт. Из камбуза вышел повар, в белом колпаке и фартуке, с ведром. Он на нас посмотрел, что-то кому-то крикнул в дверь и выплеснул с кормы помои. Это было прямо у нас по курсу. Мы через эти плавающие помои должны были пройти.

— Нахалы, — сказал кеп. — Нахалы, больше никто. А ты ещё спрашивать у них хотел.

— Я не у них. Я у норвежцев.

— Все хороши. Аристократы вонючие.

Из радиорубки в ходовую вышел «маркони». Чего-то он улыбался хитро, смотрел вслед шотландцу, потом сказал, как будто между прочим:

— Николаич, радиограммку примите.

Кеп на него уставился грозно.

— От этого, что ли? От «Скотланда»?

— От него.

— А зачем принял?

— Случайно.

Кеп её взял двумя пальцами, как лезвие.

— Детством занимаются. «Иван, селёдки нет, собирай комсомольское собрание». Хоть бы новенького чего придумали.

Скомкал её, кинул за борт, через окно.

— Больше мне таких не подавай. Делать тебе нечего.

— А я чего? — «Маркони» мне подмигнул. — Они на совет капитанов настроились, знают волну.

— Врёшь ты всё. Сам на них настроился.

— Проверьте.

Кеп поглядел на часы. И правда, пять было, как раз совет капитанов. Он ушёл в радиорубку и там, слышно было, забубнил:

— Восемьсот пятнадцатый говорит. Здравствуйте, товарищи. Сегодня первая выборка у нас. Взяли маловато, одиннадцать бочек. Глубина была шестьдесят. Сегодня думаю метнуть на восемьдесят. Есть у меня предположение...

Вышел мрачный, походил по рубке, снова пошёл смотреть эхолот.

— Пишет всё, пишет... Мелочь пузатую. Или планктон. Ладно, пойду к себе. А ты позови, когда что-нибудь дельное

напишет. И следи как полагается, а то ты ему всё лекции читаешь...

Откуда он наш разговор слышал? Наверно, по трубе из своей каюты. Она хоть и заткнута свистком, но услышать можно, если ухо пристроить.

— Ему не я читаю, — сказал третий. — Ему «дед» читает, в механики зовёт.

Кеп себя постучал пальцем по лбу, — мне видно было краем глаза.

— Чем бы дитё ни тешилось...

Пошёл было, потом опять вернулся, поскрёб щеку.

— Между прочим, это он мысль подал, собрание надо бы провести. Есть кой-какие проблемы.

— Значит, не зря я вам радиограмму подал? — спросил «маркони».

Кеп рассердился:

— Делом займись, Линьков. Аппаратуру свою изучай, повышай квалификацию. Тоже детством занимаешься.

Я потом спросил:

— Почему это он «деда» не любит?

— А кто кого любит? — спросил «маркони».

— Точней на курсе, — сказал третий. — Вправо ушёл. Не ходи вправо.

Больше мы не говорили.

Потом я сменился и пошёл глупыша моего проведать. Он уже всю селёдку успел срубать и поднагадил, конечно. Я ему всё почистил, потом надёргал из шпигатов ещё несколько селёдин. Там они всегда застревают, никакой струёй их оттуда не вымыть.

Фомка поглядел на это богатство, одну заглотал сразу, а другие накрыл крылом. Он уже меня совсем не боялся, не зарывался головой в перья, когда я руку подносил. Но с крылом у него плохи были дела, я чуть задел случайно, и он закричал, забился. И потом уже смотрел на меня сердито, только и ждал, когда я уйду. Вся дружба наша полетела прахом...

11

Собрание мы в этот же день и провели. Не комсомольское, правда, а судовое. Рыбу всё не могли найти, и кеп решил даром времени не терять.

Собираемся мы в салоне – где же нам ещё? Ну, летом в погожий день можно и на палубе, а так – в салоне, это у нас самое большое помещение. Почти всё оно занято столом с двумя лавками, на одном торце стоит кинопроектор, а против него на переборке – простыня натянута вместо экрана. В камбузной двери – окошко, оттуда кандей подаёт «юноше» миски и кружки, и в это же окошко они – сбоку – смотрят фильмы.

Набились плотно, все пришли, кроме вахтенных. Кеп нам сделал доклад: рейс у нас – сто пять суток, за это время мы пять раз должны подойти к плавбазе, сдать пять грузов, а шестой – сами повезём в порт. Всего плану у нас – триста тонн, за выполнение – премия двадцать процентов, за каждую тонну сверх плана – по два процента премии... Каждую экспедицию мы это выслушиваем внимательно.

– Ну, высказывайтесь, моряки, сколько берём перевыполнения?

Помолчали. Крепко помолчали. Наконец Шурка высказался – он у кинопроектора сидел и крутил ролик. С другой стороны ролик крутил Серёга.

– Это как заловится, – сказал Шурка.

– Ну, правильно. Но обязательство-то взять – нужно.

Опять помолчали. Васька Буров попросил слова и брякнул, как в воду кинулся:

– Триста одну тонну!

Кеп усмехнулся.

– Ну, Буров, ты даёшь стране рыбы!

– Да я – хоть четыреста, мне для страны не жалко. Только не заловится.

Жора-штурман, которого мы секретарём выбрали, разрешил наши сомнения:

– Об чём спор? В прошлый рейс на триста двадцать взяли обязательство, а выловили – триста пять. И что? Такие же сидим, не похудели.

Так и проголосовали – за триста двадцать. Кеп не стал спорить, записали это в протокол.

– Только прошу заметить, – кеп сказал. – Если мы как сегодня будем брать, этак мы в пролове окажемся, как пить.

Дрифтер только того и ждал.

– А это разве ж от нас зависит? Мы со своей стороны – всё приложим. Но кто её ищет, рыбу? Штурмана́

ищут. А они должны искать по всей современной науке, чтоб зря не метали бы, как вчера.

Третий заёрзал на лавке, шрам у него побелел.

– Сколько нашёл, столько и застолбил. Значит, не было косяка побольше.

Дрифтер на него не глядел.

– Вопрос у меня в связи с этим.

– Давай свой вопрос, – кеп сказал.

Лицо у дрифтера засияло, залоснилось.

– Вот у нас некоторые штурмана без дипломов ходят. Могу я им доверять, когда они на мостике? И жизнь свою доверять, и рыбу?

– Кого имеешь в виду?

– А пусть он сам выступит, собрание послушает.

Все поглядели на третьего. Он встал, красный весь.

– Кто тебе сказал, пошехонец, что у меня диплома нет? Могу показать.

– Мне чужого не надо, я на твой хочу поглядеть.

– Черпаков, – кеп сказал, – что там у тебя с дипломом?

– Да, – сказал дрифтер, – объясни собранию.

– Есть у меня диплом. Только справки нет об экзаменах.

– Где ж ты её потерял? – спросил дрифтер.

– Не потерял, а в порту оставил.

Дрифтер взревел:

– Попрошу в протокольчик! Справки при себе не оказалось.

– Не гоношись, у меня только два экзамена не сдано. Общеобразовательных. А по судовождению – все.

– Попрошу в протокольчик! Два экзамена не сдано. Как же тебе его выписали, если не сдано?

– Ну, выписали. Обещал попозже сдать. В рейс надо было идти, вот и выписали.

– Сколько ж поставил? Литр? Или полтора?

– Вот уж это не твоё пошехонское дело.

– Черпаков, – кеп сказал. – Чтоб ты мне оба экзамена сдал срочно. Какие у тебя там?

– Сочинение по литературе. И морская практика. В порт придём – тут же сдам.

Дрифтер опять вылез:

– Не-ет, не в порт! До порта я ещё с тобой плавать должен, жизнь свою доверять. А экзамены ты можешь на базе сдать, там преподаватели имеются.

— Нужно же подготовиться...

— А вот и готовься. Вахточку отстоял — и готовься. А нечего ухо давить и фильмы по пять раз смотреть. Откажись от кое-каких соблазнов, а сдай, всей команде на радость.

Кеп сказал:

— Придётся, Черпаков. Какой первый сдашь?

— Какой потрудней. Сочинение.

Дрифтер взревел:

— Попрошу в протокольчик! На первой базе он сочинение сдаёт, а на второй — практику.

Занесли и это. Третий сел, как побитый, сказал дрифтеру:

— Добился, пошехонец.

— А я не для себя, я для всей команды стараюсь.

— Добро, — сказал кеп. — Какой у нас там следующий вопрос? Быт на судне? Вот, с бытом... Прямо скажем, хреново у нас с этим бытом. Сегодня в салон вхожу — Чмырёв какую-то историю рассказывает Бурову и матерком перекладывает, как извозчик, понимаешь, дореволюционный. Салон у нас всё-таки, портреты висят, а не сапожная мастерская.

— А что? — сказал Шурка. — Я — с выражением!

— Так вот — без этих выражений. А то мы без женщин плаваем, так сами себя уже не контролируем. Вношу лично предложение — отказаться от нецензурных слов.

Опять помолчали крепко.

— Николаич, — сказал дрифтер, — вы ж сами иногда... на мостике.

— И меня за руку хватайте. И потом — на мостике, не в салоне же.

— Есть предложение, — Васька Буров руку поднял. — Записать в протокол: для оздоровления быта — не ругаться в нерабочее время.

— Почему это только в нерабочее?

— Так всё равно ж не выйдет, Николаич. Зачем же зря обязательство брать?

Кеп махнул рукой.

— В протокол этого записывать не будем. Запишем: «бороться за оздоровление быта на судне». А языки всё же попридержим.

Проголосовали за это единогласно.

— Теперь насчёт стенгазетки, — сказал Жора. — Хоть пару раз, а надо бы выпустить.

Серёга сказал мрачно, не переставая ролик крутить:

— Это салагам поручить. Они у нас хорошо грамотные.

— А что? — сказал кеп. — Это разумно. Только не салаги они, а молодые матросы. Как они, согласны?

— Сляпаем, — сказал Димка. — Алик у нас лозунги хорошо пишет, ровненько.

— Вот, шапочку покрасивей. Только название надо хорошее придумать, звучное.

— Есть, — сказал Шурка. — «За улов!».

Кеп поморщился.

— А пооригинальней чего-нибудь — нельзя? «За улов!», «За рыбу стране!». А что-нибудь этакое?..

— «За улов!» — Шурка настаивал. — За ради чего мы тогда в море ходим?

Проголосовали — «За улов!». На том и разошлись мирно.

12

— Штормит, мальчики, — старпом нас обрадовал утром, — а выбирать надо...

Насчёт «штормит» это мы и в кубрике слышали, полночи нас в койках валяло с боку на бок, а вот выбирать ли — они там, наверно, долго с кепом совещались, что-то не будили нас до света, как обычно.

Салаги мои поинтересовались — сколько же баллов. Семь с половиной оказалось.

— А мне, когда я оформлялся, — вспомнил Алик с улыбкой, — даже какое-то обязательство дали подписать — после шести не выходить на палубу. Прямо-таки запрещается.

— Действительно, — Дима подтвердил. — И к чему, спрашивается, такие строгости?

Все помалкивали да одевались. Что им ответишь? Перед каждым рейсом мы эти обязательства подписываем, а и в девять, бывает, работаем. Кандею не варить можно после шести, только сухим пайком выдавать, а варит. Да и никто про них, про эти бумажки, не вспоминает в море, иначе и плана не наберёшь. Рыба-то их не подписывает, а знай себе ловится в шторм, и ещё как! И подумать, тоже она права: этак у нас не работа будет, а малина. А надо — чтоб каторга.

Горизонт сплошь затянуло струями, как кисеёй, другие суда едва-едва различались, да и наш пароходишко наполовину за водяной завесой. Я выглянул из трюма — стоят зелёные солдатики по местам, как приговорённые, плечи согнули, только роканы блестят. Под зюйдвесткой не каждого и узнаешь, все одинаковые, и у всех на лицах — жить не хочется.

У меня в этот раз работа была полегче, сети шли тяжёлые, и трясли их подолгу, вожак шёл медленно. Я и Ваську Бурова вспомнил: «Тебе там теплее всех, в трюме». Разве что из люка попадало за шиворот. Но уже на четвёртой сетке дрифтер ко мне заглянул:

— Вылазь, Сеня, помоги на тряске.

Это справедливо — когда работаешь на палубе, нет хуже видеть, как кто-то сидит и перекуривает. Хоть он своё дело сделал, звереешь от одного его вида. А тем более тут ещё на подвахту вышли «маркони», старпом и механики. Не много от них помощи — сгребают рыбу гребком, которую мы же им сапогами отшвыриваем, подают не спеша сачками на рыбодел, а на тряску никто из них не становится. А самое трудное — тряска.

Я стал у сетевыборки — сеть шла из моря широкой полосой, вся в рыбе, вся серебряная, вся шевелилась. Серёга и дрифтеров помощник с двух сторон цепляли её под храпцы барабанов — за подбору, которой она окантована, а посередине тащило её рифлёным ролом, и сеть переваливалась через рол, рыбьими головами к небу, прямо к нам в руки.

Значит, так. Берешь сеть за подбору или за край, где свободно от рыбы, обеими горстями и — вверх, выше головы, всё тело напрягается, ноет от её тяжести, а ветер несёт в лицо чешую и слизь, и в глазах щиплет, потом — вниз рывком, и рыба плюхается тебе под ноги, рвёшь ей жабры, головы, брызжет на тебя её кровь. Всю её сразу не вытрясти, но это уже не твоя забота, твоих только два рывка, а третьего не успеваешь сделать, пропускаешь с полметра и снова берёшь обеими горстями — и вверх её, и рывком вниз. Сперва только плечи перестаёшь чувствовать и спина горит, как сожжённая, и ты даже рад, что вода льётся за шиворот. Потом начинают руки отниматься. А рыбы уже по колено, не успевают её отгрести, и как успеешь — мотает её волной от фальшборта до трюмного комингса, и нас мотает с нею, ударяет об сетевыборку,

друг об друга, и ногу не отставишь, стоишь, как в трясине. А если ещё икра — скользишь по ней, как по мылу, а держаться не за что, только за сеть.

Мы все уже до бровей в чешуе, роканы — не зелёные, а серовато-розовые, сапожищи посеребрились и окровавились. И самое удивительное — мы в такие минуты ещё покуривать успеваем в рукав, по одной, по две затяжки, потом «беломорину» кидаешь в варежку и так передаёшь другому, иначе её залепит, — и потравить успеваем, кто о чём. Вот я слышу — Васька Буров сказку рассказывает: «Жил на свете принц распрекрасный, и любил он одну красивую бичиху...» Боцман какой-то анекдот загибает, который я вам тут не перескажу, дрифтеров помощник Гена долго в соль вникает и ржёт, когда уже все оторжались, и все уже над ним ржут.

Потом меня оттолкнули — дальше, *на подтряску*. Это кажется просто раем, такая работа, после тряски, — сеть идёт уже лёгкая, пять-шесть селёдок невытрясенных на метр, и кое-где ещё головы оторванные застряли, это чепуха вытрясти, можно и рукой выбрать, времени хватает. Потом она идёт на подстрельник, переливается и ложится складками на левом борту. Там её трое койлают — один посередине, себе под ноги, двое по краям, за подборы. Но это уже просто отдых, а не работа, и тем, кто поводцы отвязывает и крепит их на вантине, тоже отдых — можно и посидеть на сетях, пока следующую подтягивают. Туда посылают, когда дойдёшь на тряске. Всех, кроме вожакового. Ему — опять в трюм.

До обеда мы только двадцать сеток выбрали. А их девяносто шесть. Или девяносто восемь. Никогда нечётного числа не бывает. Не знаю почему. Говорят, «рыба чёт любит, а от нечета убегает». Суеверие какое-то. Много у нас суеверий. И сотню она не любит, нужно сто две тогда, сто четыре.

А уже всё забито бочками. Сколько же мы возьмём сегодня — триста, четыреста? Мы уже и счёт потеряли, только знай, трясли до одурения, все уже мокрые под роканами, — пока нам кандей не прокричал с камбуза:

— Команде обедать!

Ещё минут пять мы трясли, сгребали, откатывали бочки — пока это до нас дошло.

— Полундра, ребята, — дрифтер нас остановил, — рокана́ не снимать. Обедать в смену будем, в корме. А то и до ночи не разгребёмся.

Да уж, если до подвахты дошло – не разгребёмся. Четверо пошли обедать, а мы ещё остались – солить, запечатывать бочки, в трюм их укладывать. Ни рук мы уже не чувствовали, ни ног и злы были на весь белый свет, до того злы, что уже и молчали. Раз мне только бондарь сказал, когда я ему бочкой на сапог наехал:

– Когда ты уже умрёшь?

Спросил равнодушно, как будто и без злости. Только я ведь знаю – когда так спрашивают, тут самое страшное и случается.

– На второй день, – говорю, – после твоих похорон.

Тем лишь его и успокоил.

Потом эти четверо вернулись и нас сменили. Мы не утерлись даже, не вымыли ни рук, ни сапог, полезли по бочкам в корму. Сели на кнехты – Ванька Обод, салаги и я. Здесь не каплет, не брызжет, только сиди покрепче, чтоб не свалиться. Кандей нам вынес борща в мисках, и мы их поставили себе на колени и ели молча, глядя на море.

В волнах носилась касатка, переваливалась серым брюхом под самой кормой, шумно выдыхала из чёрного своего дыхала. Кандей ей кинул буханку чёрного – улестить, чтоб на селёдку нашу не претендовала. А то, не дай бог, ещё запутается, она ведь, пока не освободится, все сети может изодрать.

Мы глядели на неё и как-то отходили сами. Кандей нам в те же миски насыпал каши с солониной, принёс по кружке компота. И всё, нужно снова на палубу.

Салаги хотели было перекурить, Алик сказал:

– Передохнём хоть.

– У мамы отдохнёшь, – Ванька ему ответил.

– Какая же работа без перекура? Это же святое дело!

– Есть такая работа, – я ему сказал. – Это наша, рыбацкая работа. И в ней ничего святого нет. Запомни это, салага. Чем скорей ты это усвоишь, тем легче жить.

Димка сказал:

– Пошли, Алик, пошли. Есть всё-таки святое. Это слова нашего дорогого шефа.

Этот как будто понял. Можно, конечно, и выгадать время. Но только потом в сто раз труднее будет, из темпа выбьешься. Лучше уж сразу себя загнать до полусмерти, а потом повалиться в койку, чем разбивать себя перекурами.

Рыбу уже всю сгребли и палубу расчистили, ждали только нас.

— Давай по местам, — дрифтер сказал. — Начнём по новой вирать.

А когда он сам успел пообедать, никто не заметил.

После обеда Жора-штурман сменился, на вахту вышел третий. И тут у них с дрифтером начался раздрай.

С акул началось. Пришли к нам, родименькие, штук пять или шесть. Почуяли, что тут рыбки навалом. А они её не просто из сетей выжирают, а вместе с делью — огромными кусками, потом не залатаешь. Сельдяная акула длиной чуть побольше метра, но прожорливые же они, никакого сладу с ними нет.

Третий вышел на мостик и стал в них сажать из ракетницы. Одной прямо в пасть шарахнул — видно было, как вспыхнуло между зубами. А та хоть бы глазом моргнула — погрузилась и снова вынырнула. Живая и здоровая.

Так вот, он, значит, стрелял акул безо всякого толку, а дрифтер смотрел на это дело и накалялся. Накалился и спрашивает:

— Стрелять будем или подработаем?

А подработать машиной и правда не мешало — растянуть порядок, потому что волна и ветер его складывают, это ещё похуже, чем акулы, будешь потом век расцеплять, распутывать.

Но чего-то третий заупрямился.

— Кто вахтенный штурман? Я или ты?

— Я говорю — подработать надо назад.

— А я считаю — не в свою компетенцию суёшься.

Дрифтер вышел на середину, стал против рубки.

— Тебя по-хорошему просят — подработай!

Но орал он уже не по-хорошему, пасть разинул, как у той самой акулы; я думал — тот ему как раз туда ракетой пальнёт.

— А я тебе по-хорошему отвечаю — мелко плаваешь, понял?

— Ты будешь работать или нет? — Дрифтер совсем уже бешено орал. — Сейчас всю команду распускаю к Евгенье Марковне!

— Ты на кого орёшь, пошехонец? Ты с кем это при команде разговариваешь? Ты со штурманом разговариваешь!

— А я штурмана не вижу. Я лодыря вижу. Один шрам тебе сделали — гляди, другой щас сделаю для равновесия.

— Ну, ты у меня запоёшь!

— А я и пою!

— Ты при капитане запоёшь!

— И при капитане запою!

Мы стояли, работу бросив, смотрели, как они лаются на ветру. Брызги их обдавали, мотало штормом, но дело ещё только разгоралось. А нам, палубным, передышка. Ну, и развлечение как-никак. Мы тем временем закурили, из каждого рукава дымок поплыл.

И так бы они ещё долго обменивались, но тут кеп вышел в рубку. И оба враз примолкли, тишь да гладь на пароходе. Дрифтер пошёл к своему шпилю, а третий, конечно, подрабатывать начал. И мы разошлись по местам.

Дрифтер сказал хриплым голосом:

— Поуродуемся, ребята, до чаю. Рыбы на борту — что грязи.

И чай пили тоже по сменам, на кнехте, и выбирали потом до ужина, а она всё шла и шла, сетка за сеткой, сплошная серебристая шуба. Темень наступила, и врубили прожектора, и всё не кончалась она, треклятая, не кончалась...

А кончилась — как-то вдруг, никто и не ждал. Вожак кончился, последняя сетка, бочка последняя ушла в трюм.

Сколько ночи прошло, когда задраивали трюм, не знаю. Я заклинивал брезент и попал себе ручником по пальцам, а боли не услышал, как будто и боль во мне вся кончилась.

Потом ещё, помню, когда шёл в кап, меня прихватило волной, и я стал на одну ногу, взялся за дверную задрайку и выливал воду из сапога. Ведро, наверно, вылил. Потом из другого. А первый у меня подхватило волной, и я за ним бежал босиком. Догнал и зашвырнул оба сапога в кап. Уже не думал, что в кого-нибудь попаду.

В кубрике спали уже, только роканы скинули на пол, и я тоже свой скинул, в телогрейке полез в койку. Но увидел — Димка мучается с Аликом, стаскивает с него, спящего, буксы и сапоги. Я слез помогать Димке, но уж не помню, стащили мы эти буксы или нет.

...А через час подняли нас — на выметку.

Так она шла четыре дня, подлая рыба, — по триста пятьдесят, по четыреста бочек за дрейф. И каждый день штормило, и валяло нас в койках, и снилось плохое. А потом сразу кончилось — не пустыря дёрнули, но и не заловилась она, как в эти четыре дня. Эхолот её нащу-

пывал, большие под килем проходили сигары, а в сети как-то не шла.

Часам к двум я скойлал последнюю бухту и вылез. Палуба была вся мокрая, серая и вдруг зажелтела от солнца. Облака плыли перистые, к ветру, к перемене погоды, и волна шла себе мелким бесом, сине-зелёная, с белыми барашками. Это ещё можно пережить.

И вожак тоже можно пережить. Не то что привык я к нему, нельзя к нему привыкнуть, а просто разобрался — когда нужно «шевелить ушами», а когда и поберечься, что он тебя рванёт со шпиля, когда попридержать, услышать вовремя, что сетку подводят, а когда можно и на палубу вылезти, покурить у всех на глазах, и никто слова не скажет.

— Ну, как, Сень? — спросил дрифтер. — Освоил вожачка?

— Помаленьку.

— Вот, как скойлаешь его от промысла до порта, тогда и домой пойдём.

И правда, я посчитал — как раз за рейс и выберу эти две тысячи миль.

Я сплюнул и пошёл к бочкам. Всё же разнообразие...

13

В этот день к нам почта пришла и картины. Один СРТ доставил, «Медуза», из нашего же отряда. Позже нас на неделю вышел на промысел.

Бондарь приготовил пустую бочку, Серёга достал багор с полатей. Как-то вышло, что он и за киномеханика, и вот если надо, с багром — то почту тащить, то чей-нибудь кухтыль потерянный — в «комсомольскую копилочку»*.

«Медуза» стала от нас метрах в пятнадцати, и кепы начали переговоры:

— Как самочувствие? — это с «Медузы».

— Спасибо, и вам такого же. — Это наш. — Имеем две про шпионов и эту... как её...

Дрифтер сложил ладони рупором:

— «Берегись автомобиля»!

---

* «Комсомольская копилка» — одно из многих в советские годы «движений за экономию».

Там пошло совещание. Потом с «Медузы» ответили:

– Товар берём!

– А вы что имеете?

– Одну про шпионов, но две серии. И заграничную, про карнавал. С песнями.

Кеп поглядел на нас. Я её как будто видел в порту.

– Ничего, весёленькая.

Кеп снова приложился к мегафону.

– Махнёмся!

Они запечатали бочку и кинули за борт, а сами отошли. Мы подошли, подцепили багром, бросили свою. А пока вот так маневрировали, каждый во что горазд перекрикивался с парохода на пароход: кто про какого-то Женьку Сидорова, которого что-то давненько не встречали на морях, и в «Арктику» он не заявляется; кто про Верочку, общую знакомую, которой вдруг счастье подвалило – физика себе оторвала с атомохода «Ленин», скоро свадьба, поди; кто по делу – помногу ли на сетку берём и не собираемся ли менять промысел...

Серёга из бочки вытаскивал коробки с фильмами, газеты за прошлую неделю. И тощенькую пачку писем – ещё не расписались там, на берегу.

Бондарь – около меня – говорил Серёге:

– Хороший пароход, я на нём ходил.

– Кеп там – ничего мужик?

– Такой же.

– А дрифтер?

– То же самое.

– А боцман?

– Разницы нету.

Я взглянул: пароход – ну в точности наш, мы в нём отражались, как в зеркале. Такой же стоял на крыле кеп – в шапке и телогрейке, такой же дрифтер горластый, боцман – с бородкой по-северному, бичи – в зелёном, как лягушки. Такой же я сам там стоял, держался за стойку кухтыльника, высматривал знакомых. Вот, значит, какие мы со стороны...

Кто-то меня толкнул под локоть. Бондарь. Глаза – как будто драться со мной собрался. А на самом деле – письма мне протягивал.

– Держи, нерусский.

А я ни от кого писем не ждал. Мать ещё не знала, на

каком я ушёл пароходе. Но тут и от неё было, переслали из общаги.

– Почему же это я нерусский?

– Чучмек* ты какой-то. И одеваешься не по-русски.

Вот, значит, что мы не поделили. Курточка виновата.

– Надо, – говорит, – сапоги носить и пинжак. А так тебя только шалавы будут любить, Лилички всякие.

Ага, он уже и посмотрел, от кого. Второе было – от Лили. Третье – от какого-то кореша, фамилии я не вспомнил.

«Медуза» дала три гудка, мы ей ответили – и разошлись. Она – дальше, к Оркнейским островам, ей больше суток ещё было ходу. А мы – на поиск.

Я ушёл на полубак, сел там на свою бухту. Первым хотелось мне от Лили прочесть, но я его отложил. А распечатал – от матери:

«Сенечка золотой мой, что же ты не приехал под Новый год, как обещал? Мы со Светой так тебя ждали, наготовили всего-всего, а ты не приехал. С тех пор как я министру писала, чтоб тебе на год службу скостили как единственному кормильцу, вон сколько прошло, а ты всё равно на море остался и к нам заезжал всего два раза, и то всё проездом, проездом. Ну, приезжай хоть в эту весну да побудь подольше.

Света большая стала, невеста уже, и парни её провожают из школы. Тебя каждый день вспоминает, забыл, говорит, нас Сенечка. И пишешь ты редко и всё невпопад: сначала за декабрь от тебя получила, а после уж за ноябрь. Огорчаешь ты своего очкарика. В Рождество я на отцову могилу сходила, поплакала и стёжку протоптала. Пирамидка, что ему от депо установили, вся ржой пошла с-под болтов, весной отчищу. Золотой мой, купили ещё дров на 20 рублей и, наверно, будут стеллажи под книги, ты ж читать любишь, так напиши, как их оставить – просто тесовые, не морить и не крыть лаком, может, это будет поабстрактней?

Встретила я днями Люсю. Она всё не замужем и такая же красивая, тебя помнит, приветы передаёт. И Тамара тебя помнит, хотя она с животом ходит, не знаю от кого, тоже не замужем. Она против нас раньше жила, вы в школу вместе ходили.

---

* Инородец (презрительно), обычно азиат.

В Дворце культуры артисты выступали из Москвы, ой какие талантливые, очень красиво всё преподнесли, я так восхищалась. Сидела я на 40 ряду, и всё было слышно и видно.

Золотой мой, беспокоит меня, что ты деньгам счёту не знаешь, а ведь получаешь хорошо. Я как посмотрела на тебя в последний приезд, неужели больше себе ничего не купил, только костюм и пальто зимнее. Ты бы мне всё присылал, я лишнего на себя не потрачу. Золотой мой, напиши, как живёшь, как нервы и настроение. Очень хочу, чтоб ты был спокоен, не нервничал и был здоров, только этого хочу.

Твоя мама Алевтина Шалай.

Сама я здорова вроде ничего, иногда душит горло, но потом проходит.

А. Ш.»

Хорошо такие письма в море читать. Тут я себе сто клятв даю, что на всё лето заверну в Орёл. И самому не верится, что, когда вернёмся в порт, совсем другие будут планы.

Как же всё получилось? Сошёл я с крейсера — на год раньше других — и дал себе зарок, что больше я в море и пассажиром не выйду. А вышел — через неделю, на траулере. Надо же было, чтоб я на вокзале объявление прочёл — от тюлькиной конторы. Большой набор тогда шёл, и деньги предвиделись немалые. А с чем мне было домой возвращаться — с десяткой армейской в кармане? Вот я и решил — одну экспедицию сплаваю. И не обманулся, пришёл с такими деньгами, каких до этого и в руках не держал. И в поезде, возле Апатитов, чистенько их у меня увели. Со всеми шмотками, с чемоданом. Хорошие мне соседи попались в вагоне-ресторане, и имел я дурость их в своё купе пригласить: зачем же им на жёсткой плацкарте валяться, когда у меня свободно? Один, помню, пел неплохо, другой — на гитаре; в общем, дай бог попутчики... Хорошо — в том же вагоне свои моряки ехали, скинулись мне на обратный путь. Ну, и «деда» я уже встретил, он-то меня и выручил, я хоть в Ялту на две недели смотался, отогрелся после Атлантики. Вот так и пришлось во второй раз идти. Но уж, думал, только раз ещё, больше меня туда не заманишь! Заманили...

А Люсю эту я помнил. Не такая уж она красивая, но я с ней первой целовался, и кажется — любовь была; хотя, когда я из школы ушёл, мы всё реже и реже встречались. И всё же она провожать пришла, когда меня призвали, ждать обещала четыре года. А вот, оказывается, и до сих пор ждёт. А может, и не ждёт, просто судьба не сложилась. И Тамару я помнил, только мы не вместе в школу ходили, а — по разным сторонам улицы, как незнакомые. А потом она ко мне в депо пришла, сказала: «Теперь ты для Люськи ничто, понял? А для меня — всё». Может быть, и здесь любовь была, она тоже на вокзал примчалась провожать, хотя я не звал её, и смотрела издали, как я Люсю целую, — такими злыми глазами, в упор...

Всё это — детство, к нему уже не вернуться. Я стал читать от Лили:

«Милый Сеня!

Пишу на этот раз коротко. Не обижайся, что я не пришла. Я, должно быть, нарушила одну очень важную традицию, не помахала платочком с пирса, и по этому поводу усиленно угрызаюсь совестью. Но ты меня простишь, я знаю. Тем более, что есть надежда увидеться очень скоро. И притом – в море. Вижу твои удивлённые глаза. Правда, правда. Потому что есть такой решительный мужчина, товарищ Граков, начальник отдела добычи, который очень-очень ратует за сближение науки с производством. Говорит, что мы ни черта не стоим, пока не увидим воочию, как она ловится – та самая селёдочка, которая так хороша с лучком и подсолнечным маслом. Это, правда, уже не он говорит, это я порю отсебятину, вкладываю свои слова в уста высокого начальства. А он решил взять с собою нескольких молодых специалистов. Представляешь: не на «Персее», а на самой настоящей плавбазе. Там мы проживём недели две и, конечно, сблизимся с производством на все сто и пять процентов. Не знаю ещё, на какой именно плавбазе, но там же всё это рядом, так что ты сможешь меня разыскать. Если, конечно, захочешь. Послезавтра отход, а у меня ещё ничего не готово. Надо написать уйму всяких писем и как минимум сделать причёску. Посему закругляюсь. Крепко жму твою мужественную руку, добывающую для страны неисчислимые рыбные богатства. До встречи в море!

Лиля».

Число она не проставила, но я так прикинул: «Медуза» шлёпала семь суток, а база-то шла быстрее, уже она там. Только — какая база? Их на промысле бывает и по две, вопрос ещё, к какой мы подойдём. «Там же всё это рядом... Если, конечно, захочешь...»

Ладно, я его отложил, сунул под рокан, в телогрейку. Стал читать третье:

«Добрый день, весёлый час, пишу письмо и жду от вас!

Сеня, а мы про тебя вспомнили. Не знаю, где ты сейчас, где тебя море качает. Может, Северное тебя качает, может, Норвежское, может Баренцево. Но на Жорж-Банке тебя нету, Сеня. А мы как раз там. То есть не там, а тут. Хека серебристого берём и камбалу. Поэтому пишу тебе на общагу, чтоб переслали, где ты кантуешься.

Сеня, слух такой долетел до наших берегов, что на Чёрном море, в Сочи, влажность большая, а это вредно, как врачи установили, и за эту вредность решили платить морякам вроде нашей полярки. Говорят, что совсем разницы нету в оплате, так лучше же в Сочи ловить, чем на Жорж-Банке. Влажность мы как-нибудь переборем! Хотя она и вредная.

Сеня, вот я к тебе и обращаюсь. Ты же у нас землепроходец. Ты же всё разведаешь, как и что. И мне напишешь. Обязательно? Ты же не подведёшь, Сеня, я на тебя вмёртвую полагаюсь...

Сеня, а помнишь, как мы с тобой в «Арктике» гуляли и немножко посудки побили, когда у нас арктические захотели девчат наших отбить. Хорошо мы им врезали, Сеня. А потом ты меня под носом у милиции провёл и в общагу притащил буквально на себе. Есть что вспомнить, Сеня! И в память об этом я тебе посылаю фотографию меня и моих товарищей по экипажу. Остаюсь кореш твой задушевный

Толик».

Что-то никак я не мог этого Толика вспомнить. Вообще-то у меня их четыре было, с каждым у нас что-нибудь такое примерно случалось. На фотографии, на обороте, такая надпись была:

Если встретиться нам не придётся,
если так уж сурова судьба,
пусть на память тебе остаётся
неподвижная личность моя!

А пониже: *«Сеня, узнаёшь меня? Я на этом фото третий».*

А какой третий — справа или слева? Там их шестеро было, «неподвижных личностей», и все в роканах, под зюйдвестками. Кто-то их против солнца снимал да отпечатал — хуже нельзя: как сквозь мутную воду они на меня смотрели.

Нет, сколько я ни копался в памяти, но так я этого Толика и не вспомнил.

14

Лилино письмо я в куртку переложил, в потайной карман. Потом стоял на руле и всё думал про него. Что оно там, в кубрике; вот меня сменят, и я его ещё раз прочту. И может быть, вычитаю что-нибудь между строк, чего сразу не заметил.

Третий мне что-то всю вахту втолковывал — впрочем, то же самое: у тебя, Шалай, голова светлая, иди в мореходку, зачем тебе в кубрике с семью рылами жить, купишь себе макен, надо быть резким человеком. Спрашивал — сколько предметов должно быть в спасательной шлюпке. Это он к экзамену готовился по морской практике. Оказалось — девяносто шесть предметов. Едва я дождался, пока сменили.

Но я не сразу ещё пошёл в кубрик, пересилил себя. Лучше я его после ужина прочту, когда все попадают в ящики. Тогда я его за занавеской прочитаю раз десять на сон грядущий. А пока слазил Фомку покормил, почистил ему гнёздышко.

В салоне за ужином я чокнутый сидел, всё думал про это письмо. Вдруг услышал — смеются. Я не сразу и понял, что надо мною, пока бондарь не сказал:

— Вожаковый-то на шалаве помешался, Лиличкой зовут.

Я поднял голову — он ухмылялся в усы. И с интересом следил — что же я теперь сделаю? И я почувствовал: сейчас это надо с ним решать. Встать, перегнуться через стол и врезать. Пусть он ещё хоть одно слово скажет о ней.

Шурка спросил:

— Поди, хороша Лиличка?

— Хороша ли, не знаю. Да только она у них одна на троих. У него да у салаг. Та же самая Щетинина всем троим пишет.

Я поглядел на Алика и на Димку, они на меня. Но ни слова мы не сказали. Я встал и ушёл из салона.

Я не читал его в тот вечер за занавеской, на сон грядущий.

На другой день мы управились к полудню, и я пошёл стояночный трос для выметки потравить, чтоб потом в темноте не чухаться.

— Не надо, — дрифтер меня остановил. — Метать сегодня не будем.

— Это почему?

— А груз набрали. Сейчас к базе пойдём.

Ну верно, я всё забыл. Вчера же ещё последние бочки запихивали.

— А к какой базе, не знаешь?

— Одна сейчас в Норвежском на промысле — «Фёдор».

— «Достоевский»?

— Ну! Сейчас кеп «добро» запрашивает.

Часам к пяти дали «добро», и мы зашлёпали. Последняя рыба, тонны две, так и осталась на палубе. Потом один СРТ из нашего отряда сжалился, покидал нам в воду бочек двадцать. А мы ему за это два шланга подали — солярки отлили и пресной воды.

Уже вечерело, когда мы всё закончили. Те, кто оставались на промысле, провожали нас гудками, и мы отвечали им. Хоть мы и не в порт уходили, но всё же прощание. Может быть, нас от плавбазы в Северное завернут, к Шетландским островам и Оркнейским, а может быть, и на Джорджес-Банку. Это как где заловится.

У нас ещё оставалось пресной воды, и старпом объявил баню и постирушки. Всё-таки надо к плавбазе чистыми подойти, а у нас всё пропотело, рыбой пропиталось.

Нижнее я постирал, когда мылся, но это одно мучение, а не стирка, — кабинка вроде душегубки, маленькая, и не знаешь, за что раньше хвататься: чтоб тебя самого, голого, о ржавую переборку не било или шайку бы не выплеснуло с постиранным. Так что я с верхним не стал мытариться,

а решил постирать старым морским способом. Штертом обвязал рукав и штанину и кинул с борта. Когда судно хорошо идёт, за ночь ни пятнышка не остаётся. А мы полным шли, узлов до двенадцати, к базе всегда спешат, почти так же, как в порт.

В это время они и подошли ко мне, Алик и Димка. Взялись за леер, смотрели, как я кидаю робу в волну.

– Чудно, – Алик сказал. – И выстирывается?

– Завтра увидишь.

– Тогда уж лучше с кормы бросать?

– Лучше. Но можно и на винт намотать.

– Да, верно.

Я чувствовал – они о другом хотят спросить. Алик постоял и отошёл, а Димка всё наблюдал – как моя роба волочится в струе и штерт похлёстывает по обшивке.

– Шеф, – спросил он, – ты с ней давно знаком?

– С кем?

– Шеф, зачем делать вид, что не понимаешь?

– Ладно, не будем делать вид. Тебе – зачем знать?

– Слушай, – он взял меня за локоть, я отодвинулся. – Ты не дичись, пожалуйста. Дело в том, что я её чуть не с детства знаю. Мы в школе вместе учились.

Ну что ж, в общем-то я правильно догадался. Можно было и про письма всем троим догадаться заранее. Интересно только, из-за кого она тогда не пришла – Алик у неё или Димка?

Он спросил:

– У тебя с ней было что-нибудь? Мне просто хочется знать – далеко ли у вас зашло.

Я пожал плечами. Вот уж о чём не хотелось бы.

– Не было, – сказал Димка. – И скажи спасибо. И ничего не будет.

– Так ты уверен?

– Шеф, речь же идёт не об переспать. С таким парнем ей это будет даже интересно. Ты не подумай, что здесь мужицкая солидарность, я к ней такие же чувства питаю, как и к тебе. Но я знаю – роман у вас всё равно не склеится, только для неё это пройдёт бесследно, а для тебя – нет. Я на тебя посмотрел в салоне и понял – нет.

– Чья она? Твоя или его?

– Ничья, шеф. Отношения исключительно товарищеские. Такая застарелая платоника, что уже неинтересно

по-другому. Шеф... Ты извини, старик, что я тебя так зову. Ну, привязалось... И ничего тут плохого.

— Да хоть горшком.

— Так вот, шеф. Мне жаль тебя огорчать. Ты славный парень. И мне не хочется твоего разочарования.

— Она, ты хочешь сказать, стерва?

Он засмеялся.

— О нет! Это было бы даже прелестно!

— Ну, может, она какая-нибудь...

— Шеф, она — никакая!

Мне смешно стало.

— Ну, это я уж не верю. Какая-нибудь да есть. Просто ты её не знаешь.

— Почему я думаю, что я её всё-таки знаю, шеф? Потому, что сам такой же. Понимаешь, мы, наверное, все серьёзно больны. Я и о себе, и об Алике говорю, и о чудных наших приятелях, которые остались в Питере, считаются нам компанией. Все милые, порядочные люди. Не гадят в своём кругу. Не делают карьеры один за счёт другого. А это уже доблесть, шеф. Но на самом деле положиться на них нельзя. Потому что — никакие. Наверное, когда людям долго говорят одно, а потом — совсем другое, это не проходит безнаказанно. В конце концов рождается поколение, которое уже не знает, что такое хорошо и что такое плохо.

— Что ж *вам* такого говорили?

— Ну, не нам, предкам нашим. Мы ещё не так далеко от них ушли... Это же всё было — отрекись от отца с матерью, если их в чём-то подозреваешь, забудь про гнилые, *так называемые родственные чувства.* Потом — сказали наоборот: нужно было верить своему сердцу, а не верить — ложным наветам. Теперь как будто всё верно? А вот во время войны — мне отец рассказывал — висел на нашем доме такой плакат: «Граждане, не верьте ложным слухам!» И никто не смеялся. А ведь смехотура — как же распознать, где ложные, а где нет? Ну, хорошо, а если наветы были — не ложные? Действительно предкам чего-то там не нравилось. Тогда отречься — можно? Тогда разоблачить их — это доблесть? Скажешь, эта ситуация вроде бы миновала. А не слышал ты, что не нужно нам *ложного чувства товарищества,* а нужно перед всем коллективом выступить против лучшего друга своего? Пожалуй, не совсем

миновала? Вот так, шеф. Сначала одно, потом совсем другое, потом опять то же самое. И всё, чёрт меня дери, с пафосом! Где уж нам разобраться, кто там прав был — отцы или дедушки? Нам бы как-нибудь свой век прожить без подлостей.

— Так всё-таки — насчёт Лили?

— Шеф, вот за что я тебя уважаю! Ты последователен. Дитя природы. Ты всё-таки хочешь знать — хорошая она или плохая. Слышал ты про такую философскую систему — данетизм? Один мой приятель, Вадик Сосницкий, считает себя её основоположником. Он великий человек, Вадик. Может быть, не меньше, чем Аристотель. Это такой философ был в древности, воспитатель Саши Македонского, первого фашиста. Он же, по некоторым сведениям, выдумал диалектику. Так вот, данетизм — это её дальнейшее развитие, высший расцвет, дальше уже развиваться некуда. Понимаешь, в русском языке есть слово «да» и есть слово «нет». А вот слово «данет» катастрофически отсутствует. Вадик Сосницкий считает, что его просто необходимо ввести, с каждым десятилетием человечество будет всё больше в нём нуждаться. Мы с ним затевали такую игру: «Вадик, любишь ты свою Алку?» — «Данет». — «Хочешь на ней жениться?» — «Данет». — «Хочешь, чтоб она ушла и не появлялась?» — «Данет»... Спросишь его, уже для смеха: «Но кирнуть с нами, в смысле выпить — хочешь?» И что думаешь — Вадик и тут себе верен: «Данет»!

— Делать вам больше не хрена!

— Теперь, шеф, я скажу тебе о Лиле. Насколько я понял, это ты её приглашал в «Арктику». Так вот, она весь вечер говорила об этом. Что она должна, должна, должна пойти. Что её мучит совесть, совесть, совесть. Нам с Аликом это просто надоело, мы её уже в шею гнали. А она — каялась и продолжала с нами трепаться. Не знаю, как ты, а по мне — так лучше, если тебя отшивают сразу и посылают подалее, чем вот такие вшивые угрызения. Нравишься ты ей? Данет. Она такая же данетистка, что и Вадик, и все мы. Ну, вот, шеф. Если ты хоть что-нибудь понял — я счастлив. Озадачил я тебя сильно?

— Ничего, переживём.

— Тогда я могу спокойно заснуть. Сном праведника. Чао!

Он ушёл. А я залез повыше, на ростры, сел там под шлюпкой. Там было ветрено, и трансляция ревела джазами над самым ухом, и сажа летела из трубы, но хоть можно было одному побыть и кое о чём подумать. Одно я понял — не нужно мне перечитывать её письма, ничего я там не найду между строчек. А нужно встретиться и посмотреть на неё — пристально, как я никогда, наверно, к ней не приглядывался.

Чёрные облака несло ветром в корму, и уходили назад корабельные огни — топовые, ходовые, гакабортные и лампочки на вантах. Какой-то праздник был у англичан, и все мачты оконтурились огнями.

Глава третья

ГРАКОВ

1

Утром я первое, что увидел, — базу.

Я вышел поглядеть, как там моя роба, и сразу в глаза бросилось — огромный серо-зелёный борт, белые надстройки, жёлтые мачты и стрелы. База от нас стояла к весту, в четверти мили примерно, а за нею плавали в дымке Фареры — белые скалы, как пирамиды, с лиловыми извилинами, с оранжевыми вершинами. Подножья их не было видно, и так казалось — база стоит, а они плывут в воздухе.

Перед нами ещё штук восемь было траулеров, и все, конечно, друг друга стерегли, чтоб никто не сунулся без очереди.

И тихо было вокруг, временами лишь вахтенный штурман с плавбазы покрикивал в микрофон:

— Восемьсот двенадцатый, подходите к моему третьему причалу.

Или там:

— Триста второй, отходите. Отдать шпринговый, отдать продольный!

Я вытянул свою робу, штаны, стал развешивать на подстрельнике. В рубке опустилось стекло — там кеп стоял и старпом.

— Что там в кубрике? — кеп спросил. — Спят?

— Просыпаются.

— Пошевели. Сейчас причал нам дадут, надо бочки выставить.

Бочки — это чтоб крен выровнять перед швартовкой. А отчего крен бывает, это вещь таинственная, на таких калошиках, как наш пароход, он всегда отчего-нибудь да есть. Но я посчитал всю очередь — раньше чем через пару часов причала нам не видать.

В рубке, слышно было, посвистели в переговорную трубу. Кеп подошёл, послушал.

— Чо? — спросил старпом.

— «Дед» напоминает. Чтоб левым бортом не швартовались. Носится со своей заплатой.

— Это уж как дадут!

— Ладно, — сказал кеп. — Попросимся правым.

Бичи вылезали понемножку — на базу поглядеть. Там почти у каждого кореш или зазноба. Много там женщин плавает — буфетчицы, медички, рыбообработчицы, прачки. У меня там Нинка плавала. Да и утро было хорошее — как не вылезешь! Тихое, штилевое, волна лоснилась, как масленая, небо чистое, чуть видные пёрышки неслись по ветру. Ненадолго, конечно, такая погода — колдунчик* на бакштаге показывал норд-вест; ближе к полудню, пожалуй, зыбь разведёт.

По случаю базы кандей Вася пирог сделал с кремом — в базовые дни какая-то чувствуется торжественность, хотя, если честно говорить, торжественного мало, а работы много — и самой хребтовой, суток на двое без передышек, без сна. Поэтому чай пили молча и даже за пирог кандея не похвалили, хотя он всё время у нас над душой стоял, напрашивался на комплимент.

Наконец услышали:

— Восемьсот пятнадцатый, ваш второй причал, подходите!

Кеп попросил в мегафон:

— Нам бы правым, если возможно!

— А что вы такие косорылые?

— Такие уж!

Там подумали и ответили:

— Тогда к седьмому, убогие!

— Спасибо вам!

Непонятно было — за причал он благодарит или за «убогих».

Машина заработала веселее, и боцман сунул голову в дверь, выкликнул швартовных — по четыре на полубак и на корму. И тут уже было не до пирога, уже в иллюминаторе показался борт плавбазы — высоченный, вполнеба. Он придвигался и закрыл всё небо, и мы пошли, не допив.

---

* Флюгер в виде конуса.

В корме я оказался с Ванькой Ободом и салагами. Очистили кнехты — стояла там кадушка с капустой и мешки с углём. Борт плавбазы проплывал над нами — с ржавыми потёками, патрубками, в них что-то сипело, текли помои и старый тузлук. Наконец вахтенный к нам подплыл — в синей телогрейке, в шапке с торчащими ушами.

— Эй, на «Фёдоре»! — крикнул Ванька. — Медицина на месте?

Вахтенный не расслышал, приставил варежку к уху.

— Глухари тут, — Ванька рукой махнул.

Но уже было не до разговоров, пошли команды — и с плавбазы, и с нашего мостика, — и вахтенный нам подал конец.

Потом его снова пришлось отдать, плохо подошли, никак нос не подваливал.

— Пошли чай допивать, — сказал Ванька.

Салаги удивились:

— Сейчас же опять зайдём.

— Щас же! Учи вас, учи. Когда зайдём, уж пить некогда будет.

Они всё же остались у кнехта, а мы с Ванькой пошли в салон.

— На самом деле списываешься? — я спросил.

Он какой-то осовелый был, будто непроспавшийся.

— Что задумал, то сделаю, понял? Только симптом надо придумать. Симптом должен быть. Погляди — ухо у меня хорошо дёргается?

Ухо у него не дёргалось, но двигалось. Ваньку это не устроило.

— Плохо мы психику знаем. Ладно, чего-нибудь потравлю. С ходу оно лучше получается. У меня тогда глаз как-то идёт.

— Я думал, ты всё шутишь — насчёт топорика.

— Хороши шутки! Я уже вот так дошёл. — Он ладонью провёл по горлу. — Рыбу только сдам. Святой морской закон.

Мы успели выпить по кружке чаю и по куску пирога съесть, пока нас опять позвали. На этот раз как будто чисто подошли.

— Эй, на «Фёдоре»! — Ванька опять начал. — Врачиха у вас когда принимает?

— Зубная?

— Нервная!

Вахтенный себя похлопал варежкой по лбу.

— Тут чего-нибудь?

— Есть малость. Сплю плохо. Совсем даже не сплю. Грудь всё время сдавливает. Коленки дрожат. И воду всё пью, никак не напьюсь. Вот уже не хочется, а пью.

— Это у меня тоже бывает, — сказал вахтенный. — Только с водярой. Ну, хошь — запишу тебя на приём.

— Будь ласков. Обод моя фамилия.

— Обод. Ладно. Только там не врачиха, а мужик. Он строгий.

— Володька, что ли?

— Ну!

— Какой же он строгий, когда он Святой? Он-то мне запросто бюллетень выпишет.

Вахтенный нам подал конец. Салаги всё совались нам помочь, да только мешали.

— Сгиньте! — Ванька им сказал. — Бойся тут за вас. Защемит кому-нибудь хвост, а нам переживание. И так у нас полно переживаний.

Конец провисал, мы его потихоньку подтягивали.

— Почему Святой? — я спросил. — Фамилия?

— Что ты! Фамилия у него знаешь какая... Не знаю какая. А это кличка. Про него ж песенку сочинили, сейчас я тебе спою.

Пропел он дурным голосом, без мотива:

А было так — тогда на нашем судне
Служил Володька, лекарь судовой,
Он баб любил и в праздники, и в будни
И заработал прозвище — Святой.

Вахтенный посмеялся:

— А и правда, чокнутый. Есть малость.

— Как раз сколько нужно.

Мы закрепили конец и пошли с кормы.

С базы уже завели стрелу, под ней качалась сетка. Это ещё не грузовой строп, а для людей, хотя он такой же, из стального троса, только поновее — в него руками цепляешься, так чтоб не пораниться жилкой.

А к сетке между тем уже понемногу очередь собиралась. Каждому, конечно, найдётся на базе дело. Радисту — фильмы поменять или аппаратуру сдать в ремонт, рыбмастеру —

следить, чтоб не обидели нас, когда рыбу считают, дрифтеру – сети новые получить, механикам – какие-нибудь запчасти, кандею – продукты. Одним неграм палубным на базе делать нечего, их в последний черёд отпускают, когда выходит какая-нибудь задержка. А она редко случается, вон сколько траулеров очереди ждут, и ещё новые подходят. Никогда не знаешь, попадёшь ты на эту базу или нет.

Пятеро вцеплялись в сетку, продевали ноги в ячею. Старпом из рубки кричал третьему:

– Ты там не задерживайся. Сдашь и сразу майнайсь, мне тоже охота!

– Смотря как сдам. Если на пятёрку, тут же вернусь с бутылочкой. А двойку – ещё переживать буду.

– Договорились же!

– Ладно, не скули, я за тебя на промысле две вахты отстою.

– Что там на промысле!

– Не скули.

Сетка понеслась, взлетела над базовским бортом, там её ухман* перехватил. Третий ещё выглянул:

– Смотри, не шляпь, я тебе доверил!

Со второй сеткой тоже пятеро вознеслись. Потом её снова спустили, и в неё только четверо вцепились. И тут Васька Буров к ней кинулся.

– Куда?! – Серёга ему заорал. – Тебе там чо делать, сачок!

– Бичи, я ж артельный, мне в лавочку – яблоки получить, мандаринчики, «Беломорчик».

– Кандей получит!

Серёга его догнал, но сетка пошла уже, он только за сапог Васькин схватился.

– Артельный же я, за что ж я десятку лишнюю получаю?

– За то, чтоб на палубе веселей работал!..

Сапог так и остался у Серёги. Васька летел кверху и дрыгал ногой, портянка у него размоталась. Потом он из-за планширя выглянул, стал канючить:

– Бичи, ну отдайте ж сапог! Я ногу застужу.

– Майнайсь книзу, получишь.

---

* Ухман (от слова «ухать») командует действиями крановщика, когда тому не виден груз.

— «Майнайсь»! Вы ж меня потом не пустите. Как же вы главного бича на базу без сапога отпустили, позор же для всего парохода.

— Ладно, — сказал Серёга. — Подай штертик.

Васька там куда-то сбегал, потом стравил штерт. Серёга концом обвязал сапог.

— Мотай, сачок.

— Вот спасибо, бичи. Зато уж я вам самых лучших яблочков выберу, мандаринчиков...

С базы крикнули:

— Строп идёт!

На шкентеле*, за один угол зацепленный, спускался строп — стальной, квадратный. Мы его расстелили и пошли катать к нему бочки. Друг за дружкой, каждый другому накатывает на пятку, остановиться нельзя. Бочку валишь, катишь по палубе, вкатываешь на строп и рывком её — на стакан**. И она должна стать точно, как шар в лузу, ни на дюйм левее или правее, потому что их должно стать девять; считают нам рыбу теперь не бочками, а стропами; будет восемь — ухман заметит, заставит перегружать.

Ну, вот их уже и девять, по три в ряд, стоят пузатенькие, стоят родные, кровные. Двое забегают, заносят углы, цепляют угловые петли на гак — и теперь рассыпайсь, кто куда успеет, потому что ухман не ждёт, у него там работа на два борта, с той стороны такой же траулер разгружается. Он махнул варежкой, и нет его, а строп с нашими пузатенькими полетел к небу, мотается между мачтами. Беда, если хоть одна петля как следует не накинута, тогда он весь рассыпается, бочки летят и лопаются, как арбузы.

Но ничего, прошёл первый, сгинул за бортом, и пока его там разгружают, мы вылетаем, кидаемся к трюмам — готовить новые девять. А успеваем — так и в запас, пока не крикнут сверху:

— Строп идёт!

Через час у нас в спинах хорошо заломило, то и дело кто-нибудь остановится, трёт поясницу — прямо как радикулитные. Первым салага Алик начал сдавать. Бочку нака-

---

* Шкентель — грузовой трос.

** Стаканом называется и положение бочки стоя, и целый слой бочек (этаж) в трюме.

тывал долго, ставил кое-как, потом ещё кантовал её, а все его ждали наклонясь – на палубе лежачую бочку нельзя выпускать из рук, она покатится.

Скоро он и вовсе сдох, не мог поставить на стакан, хоть и рвал изо всей силы. Ну, правда, на стропе её потрудней поставить, тут ещё сапогами в тросах путаешься, в стальных калышках*. Мне пришлось сначала свою поставить, а потом уж я подошёл к нему и за него поставил.

– Слабак! – на него орали. – Инвалид!

– Тебя ещё здоровей. Лень ему мослы таскать!

Вообще-то не слабей он был хоть Ваньки Обода. Просто сноровка в нём кончилась от усталости. И маленькой хитрости он не заметил – что нужно её серединой по тросу катить, тогда она идёт как по ролику, а потом наклонить в одну сторону, взять разгон, тогда она сама взлетает, как ванька-встанька. Я ему это показывал, а бондарь кричал:

– Что, так и будет за тебя вожаковый ставить? Ты только подкатываешь?

– Уймись, – я ему сказал, – меня-то тебе чего жалеть?

Алик весь красный сделался. Следующую бочку он уже так рванул, что она чуть не завертелась. И опять зря, тут силы совсем не надо тратить. Димка подошёл, отнял у него бочку.

– Отдохни, Алик. Пропусти свой черёд.

– Да я не устал!..

– А я говорю – отдохни. И посмотри внимательно.

Шурка, ясное дело, тут же стал орать:

– А мне тоже отдохнуть можно?

– Можно.

– Тогда ты и за меня поработай, а я посижу, отдохну.

– И помолчи также, – сказал Димка. – А то я кой-кому могу и отвесить.

Шурке это до того понравилось, что он даже не ответил. Сел на свою бочку и закурил.

Димка несколько раз показал Алику, сам весь строп нагрузил, а тот лишь кивал.

---

* Калы́шка – мелкий виток на плетёном тросе. Его очень трудно «разогнать», и, когда калышек становится слишком много, трос приходится выбрасывать в металлолом.

Шурка опять не стерпел:

— Что ж только один? Теперь за меня строп нагрузи.

Но в общем-то до всех дошло, что Димка не одному Алику дал передохнуть, но и нам тоже. И маленький урок он нам дал...

Не заметили мы, как и погода переменилась, палуба уже не жёлтая была от солнца, а серая, и по волне пошли гребешки. А мы ещё только один стакан выгрузили, верхний. А их в обоих трюмах по четыре.

Не замечали мы, что вокруг делается — кто ещё там подходит к базе, кто отчаливает. Раз только, я помню, вышла какая-то задержка, и я разогнулся, поглядел на море. Там, среди зелёных гребней, шёл куда-то баркасик с подвесным мотором — красненький борт и белая рубка, а в корме сидели двое, молодые, с рыжими бородами, и глядели на нас. Куда они шли? А бог весть куда, в море. И не знал я, на сколько у них горючего хватит для этого моторчика и был ли у них ещё парус с собой, но их-то это не заботило, и я подумал — да уж, наверно, дойдут куда хотят. Главное — идти куда хочется. Может, и мне вот так — смотаться сейчас на базу и на ней вернуться в порт, а оттуда, не задерживаясь ни на час, на поезде в Россию, хотя бы в Орёл к себе поначалу... Что меня держит — неужели вот эта бочка?

Тут же мне про неё напомнили, толкнули в спину.

— Кати, чего стал!

И я забыл про этот баркасик.

Небо темнело понемногу, и ветер свежел. В этих местах погода меняется быстро, в полчаса штиль кончается и разводит мёртвую зыбь.

Со следующим стропом какая-то задержка вышла. Ухман нам крикнул:

— Ступайте отдохните, я покричу.

Шурка с Серёгой в самый кубрик сошли, сели за свои карты. Остальные на трапе устроились, кто повыше, кто пониже. А я — на самой верхней ступеньке, следить, когда ухман появится.

— Не разгрузимся сегодня, — сказал Ванька Обод. — А я к врачу не попаду до вечера.

— Так вали сейчас, — Алик сказал.

— «Вали»! А кто мне тогда эту рыбу засчитает? Вдруг он мне с этого дня бюллетень выпишет.

— Разгрузились бы, — сказал Димка. — За три часа бы разгрузились, если б с «голубятника» на подвахту вышли.

— А кому это надо, — Ванька спросил, — чтоб за три часа? Им трое суток погулять охота на базе. А сразу разгрузишься — тебя и погонят на промысел.

— Но можно же и по-другому, — сказал Алик. — Всем дружно поработать день, а потом всем гулять двое суток. Это было бы справедливо.

Ванька даже закашлялся от смеха.

— Вот ты человека ограбишь, а тебя засудят, и ты тоже будешь говорить — несправедливо?

Алик удивился.

— Что за логика?

— Не понимаешь, салага? Вот ты на СРТ подался. Почему на плавбазу не пошёл, там тоже матросы есть? Или — в берегаши? Потому что дикари вчетверо больше получают. Значит, за рублём погнался? Так чего ж тут несправедливого? Ты и должен уродоваться, как карла. А они там, с «голубятника», гулять в это время будут, водку пить, с бабами спать. Потому что дипломы имеют, а ты — не имеешь. И ты хоть упади на палубе, они тебе руки не подадут. Хотя нет, подадут — вставай и дальше уродуйся. Всё справедливо!

Алик примолк, только усмехался про себя.

Ванька спросил:

— Понял теперь, салага, как она ловится, селёдочка?

— Приблизительно.

— Вот! Когда совсем поймёшь, ты её и жрать не захочешь. Если б все знали, как она ловится, она б у них колом в горле стала!

— Лучше пусть не знают, — сказал Алик.

Ванька согласился:

— Это ты верно, салага. А то её и покупать не станут.

С базы позвали:

— Эй, на «Скакуне»!

Я выглянул. Там стоял Жора-штурман.

— Шалай, позови там салагу.

— У нас их двое.

— Любого.

Димка полез.

— Ну, как там Шакал Сергеич? Горит синим пламенем?

— Голубеньким пока. Тут он мне цидульку выкинул в иллюминатор. Решил на свободную тему писать. Вот... «Радуюсь я, это мой труд вливается в труд моей республики».

— Прелестно! — сказал Димка. — Пускай насчёт вдохновения подзальёт, насчёт творчества.

— Это он подзальёт. Он вот спрашивает — «вдохновение» через «а» пишется или через «о»?

— Вдох! Второе — тоже «о».

— Ясно-ясно!

Жора ушёл. Через минуту опять крикнули с базы:

— Строп идёт!

Небо стало тревожное, тёмное, поднялась зыбь. Ветер её гнал к Фарерам.

Ванька постоял в капе, поёжился.

— Шторм, ребятки, будет.

— Ну и пускай, — сказал Алик, — отдохнём хоть.

— Дурак, это тебе не промысел. Там — пускай, лежи себе в койке. А тут тебя каждый час будут к причалу гнать. Чуть просвет — подходи выгружайся. Ни сна тебе, ни работы. Так неделю поуродуешься, тогда и скажешь — пускай.

Ещё мы нагрузили стропов десять и опять вернулись в кап. На базе уже наши бочки не успевали укладывать, много их на борту скопилось. В обычные дни это не страшно, а теперь и базу качало.

Ванька опять помрачнел:

— И завтра не выгрузимся. И послезавтра.

— Тебе-то куда спешить? — я спросил. — Всё равно в порт уйдёшь.

— Вот и не всё равно. Эта база только три дня простоит. А там жди другой.

Откуда он это выведал? Но уж, наверно, выведал, если заранее думал когти рвать. А мне всё баркасик мой не давал покоя. И то, что я Лилю так и не увижу.

— Неужели три дня? — я спросил. — Да, не успеть нам с тобой на базу...

Ванька ко мне придвинулся.

— Ты чего? Тоже? Может, на пару спишемся? Чего ты тут не видел?

Я поглядел — все сидят на трапе, привалясь к переборке. Митрохин — в самом низу — спит на комингсе. Из

кубрика щелчки по носу доносятся: «сто сорок восемь.. сто сорок девять». И правда, чего я тут не видел?

— А это каждому можно списаться? — спросил Алик.

— Ты сиди, — сказал Ванька. — Каждому, да не всем А то подумают — команда разбегается, чепе. Ты на следующей базе спишешься, никто тебя не держит.

— Я и не думаю.

— Не думаешь, так не спрашивай. Так как? — Ванька меня спросил.

Я не успел ответить. С базы опять крикнули:

— Строп идёт!

Я катал бочки, нагружал стропа, а голова была другим занята. Вообще-то я ни разу не списывался, хотя это можно, никто не держит. Только полагается кепа за неделю предупредить, чтоб из порта прислали замену. Но и на базе её найти можно, найдутся любители поразвлечься — побродить дикарём на СРТ. К тому же деньги я кое-какие заработал — вот за этот груз. И всё же хотелось бы мне сначала *её* увидеть. Тогда бы я наверняка решился — поплыл бы с ней до порта. И может быть, всё бы по дороге выяснилось — в море не то, что на берегу, тут мне, что называется, родные стены помогают.

Но мы опять входили в раж, в злобный какой-то запал, ничего не видели вокруг. Только бочки перед глазами и прутья стропов, и как они нагруженные уходят в небо. Тут-то я снова с бондарем сцепился.

С базы какой-то чудак попросил:

— Ребята, не подкинете селёдочки? Штучки три.

Ну что, жалко, что ли? На траулере рыбки попросить — что снега зимой. Так вот, этот кошмар вытащил их из шпигата и стал ему кидать. Я думал — тот их обратно швырнёт ему в рожу. Потому что эта селёдка валялась в шпигате чёрт-те с какой выборки, может быть с прошлой недели. А тот ещё благодарить стал:

— Спасибо, ребятки. Ах, хороша!

Я тут совсем сбесился. Заорал ему:

— Выкинь сейчас же! Выкинь эту падаль!

— Да зачем же добро выкидывать?

Я схватил ручник и кинулся к бочке, выбил донце, захватил в варежки верхних три и закинул ему, как гранаты. Бондарь смотрел и ухмылялся.

— Чего это с ним? — тот, с базы, спросил.

— Спортом занимается.

Тот покачал головой и ушёл.

— Крохобор ты! — я сказал. — Человеку рыбы хорошей пожалел. Которая тебе и копейки не стоит.

Он расцеплял храпцы и смотрел на меня ласково, чуть насупясь печально. Брови у него какие-то серые, как будто золой присыпанные. Смотрел он вот так и мотал цепью с храпцами.

— Лезь в трюм, — пригласил меня.

— Это почему?

— Так. Снизу будешь подавать.

Я подумал — всегда можно сделать, чтобы храпцы случайно расцепились. Как раз у меня над головой. А в бочке — девяносто кило.

— Я и так каждый день в трюме работаю. А у базы хочу — на палубе.

— Не полезешь?

— Нет.

— А я тебе приказываю.

— А я не слушаю. Ты мне не начальство.

Он чуть прикрыл глаза и спросил:

— Тебе отвесить?

— Оставь при себе.

Он пошёл ко мне. Я стиснул ручник прямо до боли. Он остановился и сказал мне как-то устало:

— Ладно, закрывай бочку. И становись на место.

Тем и кончилось. Никто даже не успел к нам кинуться.

Мы выгрузили второй стакан, начали третий, и тут ухман нам сказал:

— Идите, ребятки, обедать. Перерыв.

В салоне я против бондаря сидел. Он на меня не глядел и жрал, как лошадь, за ушами у него что-то двигалось. Мне сначала противно было смотреть, а потом как-то жалко его стало. Он старше нас всех, даже Васьки Бурова старше. И рассказывают — никто его на берегу трезвым не видит. Он всё с себя может пропить — пиджак, сорочку, ботинки. Сыну его — почти восемь, а он только «папа-мама» выговаривает. Может, из-за сына он такой? Что же дальше-то будет? Вот так сопьётся, ослабеет, в рейсы его перестанут брать.

Таким-то образом я думал, когда пришёл Митрохин и задал нам работу для ума.

– Ребята, – говорит, – отпустите на базу. С того борта братан мой ошвартовался. Хоть часик с ним повидаться, я его полгода не видел.

Мы молча прикидывали. Это не на час, конечно, это только так говорится. А у нас ещё Васька Буров сбежал. Когда одного не хватает на палубе, и то заметно.

Он стоял, ждал нашего приговора. И правда, этого никто ему не мог позволить, только мы.

Первым бондарь высказался:

– А я своего братана год не видал. Он у меня на военке служит.

– Нельзя, значит? – Митрохин вздохнул. – Он же тут рядом... Я, может, ещё год его не увижу. Мы всё в разное время в порт приходим.

– А я своего, – сказал бондарь, – может, ещё три года не увижу.

Митрохин всё ждал. Пока ведь только один высказался. Жалко было на него смотреть, на Митрохина. У него чуть слёзы не выступили.

Я сказал:

– Ступай, о чём говорить. Как-нибудь заменим.

Шурка тоже разрешил:

– Валяй, гадёныш. Привет передай братану.

Потом Серёга и салаги. И Ванька Обод – с некоторой натугой.

– Спасибо, ребята! – Митрохин весь засиял, помчался сетку просить.

Потом все вышли, мы одни остались с бондарем. Он на меня смотрел неотрывно. А я закурил и спокойненько его разглядывал.

Однажды я за него на руле отстоял. Он себе палец поранил ржавым обручем, и загноилось, вся кисть начала опухать. И он на штурвал отказывался идти, а все на него орать начали, что у нас тут не детский сад. Дрифтеров помощник Гена даже потребовал, чтоб он повязку размотал и всем показал, что у него с рукой. Вот это меня взбесило. А может, просто любопытство взяло – как же он отнесётся, если я за него вызовусь. И что вы думаете – он меня ещё больше возненавидел. Если только можно больше.

Я спросил у него – спокойно, с улыбочкой:

– Феликс! За что ты меня ненавидишь, сволочь?

Он сразу ответил, как будто моего вопроса ждал:

— А добрый ты. Умненький. Вот за что. Я б таких добрячков безответственных на мачте подвешивал. По вторникам.

— За шею?

— За ноги. Пусть повисят, посохнут. А то у них всё в башке перевёрнуто. Не видят, на чём земля стоит.

— На чём же она стоит?

— На том, что все суки. Каждый по-разному, но — сука.

— Так. И этот, который рыбки попросил? Что ты про него знаешь?

— То же самое. Он и хотел, чтоб ты свою бочку распечатал. Ему свою на базе лень распечатывать. Он эту падаль всё равно бы выкинул, а пошёл бы клянчить с другого траулера.

— Понятно. А салаг ты всё же не так ненавидишь, как меня.

— Салаги — мне что? Они отплавали да уехали. А ты свой, падло. Всё время перед глазами будешь.

— Не буду. Рейс как-нибудь доплаваем, а больше ты меня в море не увидишь — при всём желании. Ну, приятного аппетита.

— Уматывай.

Стропа всё не было, мы сели на бочки перекурить. Ванька Обод подсел ко мне и зашептал:

— Я чего придумал. Я сразу две справки попрошу. Скажу — у тебя то же самое, в точности. Просто двоих команда не отпускает. Выпишет он.

— Кто выпишет?

— Да Володька же Святой. Ты на голову когда-нибудь жаловался?

— Нет, пока ни разу.

— Вот и зря. На голову никогда не мешает пожаловаться. Когда-нибудь да пригодится. Ушиб какой-нибудь был?

— Что-то не помню.

— Дурак, а кто это проверит? Говори — был, с тех пор не сплю нормально, трудоспособность резко понизилась. Не хочу быть для товарищей лишней обузой.

Честно сказать, не хотелось мне в эти игры пускаться. Списываться, так по одной причине: «Не ваше собачье дело». Зачем мне это враньё, если я уже не вернусь? Он-то вернётся, я знаю, поколобродит и вернётся, больше-то он

делать ни хрена не умеет. А я уж спишусь, так насовсем. Поначалу хоть в депо своё устроюсь. Мне надо по-серьёзному решаться, а не так, с панталыку.

— Ну, как? Рвём на пару?

— Нет.

— Ты ж договаривался?

— Когда это?

Он поглядел на меня с презрением.

— Э, на дураках в рай ездят. Я тебе как умному советовал, пример подавал.

— Да списывайся ты один, для других не старайся.

— И спишусь! Чо думаешь, духу не хватит?

— Да ничего не думаю.

— Оно и видно. Думал бы, дак...

Он не договорил, пошёл от меня. Совесть его, что ли, заела, что он нас покидает?

С базы крикнул ухман:

— Эй, бичи, провизию принимайте!

Кандей Вася вывалил за борт на штерте мешок и коровью ногу. Он уже был хорошо весёлый, наш кандей. Рядом с ним дрифтерова голова появилась и «маркониева». У всех того же цвета рожи, что у коровьей ноги.

Дрифтер взревел:

— Полундра, сети кидаю!

Восемь тюков зелёных покидал, из сизаля, и две белых, капроновых.

— Эти ко мне в каюту несите.

Ясное дело, в порядок он их не поставит. Он их как-нибудь поприжмёт до порта, выгадает на штопке-перештопке, а эти дружкам подарит для перемётов. Да и не к чему их в порядок ставить — капроновые долго не рвутся, но зато рыбу режут до крови, и другая рыба не идёт в ячею, боится.

Кандей Вася смайнал свой груз и предупредил:

— Сухофруктов хоть полмешка оставьте, больше не дадут.

— А нам больше и не надо, — Шурка уже туда руки по локоть запустил. — Ты за нас выпил, мы за тебя хоть закусим.

«Маркони» с фильмами сам пожелал спуститься. Я помог ему дотащить коробки до салона. Вдруг он остановился, хлопнул себя по лбу.

— Сень! Совсем выпало. Тебя ж там одна девка спрашивает. Постой... Лиля её зовут. Ну точно, Лиля! Их там трое при Гракове, молодые специалисты. Хочешь — устрою свидание?

Я укладывал коробки в рундук, читал названия и молчал.

— Слушай! — сказал «маркони». — Я же передатчик аварийный должен сдать на проверку. Барахлит. Ну, скажу, что барахлит. Мне же его одному не стащить, ты поможешь.

— А кто на палубе останется?

— Незаменимых, Сеня, у нас нет!

— Это точно, а шорох всё равно поднимется. У нас уже двое незаменимых сбежали.

— Что ж делать? Надо придумать чего-нибудь.

Пока он придумывал, с базы опять крикнули:

— Строп идёт!

Мы его нагрузили, потом ухман подал сетку для «маркони». Я его подсаживал.

— Что передать? — он спросил.

— Привет. Больше ничего.

— Так мало, Сеня? Не, я всё-таки придумаю.

Он ехал вверх и держался одной рукой, а другой мне помахивал. Ухман его выматерил и втащил за пояс.

Качало уже чувствительно, и строп мотался над всей палубой, от мачты до мачты. Мы ждали, что прекратят разгрузку, — кранец взлетал выше борта. Но успели всё-таки выгрузить один трюм. Половина работы. Шурка подмёл там веничком и вылез.

— Стоп, ребятки, — сказал ухман. — Отдохните пока. Сейчас решают — может, вам отойти.

Ну, пока они там решат, мы в кубрик кинулись. Попадали в ящики, кто даже в сапогах.

Я задремал было, но услышал — меня выкликают с палубы.

2

— Сень! — «маркони» кричал сверху. — Принимай гостей!

Он качался на сетке, ещё с какими-то двумя, не бичами, одеты они были слишком пёстро, — и сетка шла пря-

мо в трюм. Кто-то из них двоих завизжал как резаный, – тут я и понял, что за гости пожаловали. Я принял сетку, отвёл, и они соскочили.

Лиля была в кожанке и в синих брюках, набекрень – ушанка с белым мехом. А в чём её подружка, я сразу не разглядел, – в таком ярком, что в глазах зарябило.

– Вот ты какой!

Лиля смотрела на мои доспехи и улыбалась. Протянула мне руку. Я для чего-то скинул шапку, потом пожал её руку – твёрдую и сухую. Моя-то была посырее. Она это перенесла, даже не заметила.

– Познакомься, это Галя.

«Маркони» тоже подтвердил, что Галя. Была она в красной шапочке с помпоном, беленькая, крашеная, с кудряшками. Всё озиралась, поглядывала вверх, на борт плавбазы, и ужасалась – неужели это она оттуда съехала?

– Ну, как ты тут живёшь? – спросила Лиля.

Я что-то замялся, но Галя меня выручила:

– Ой, как тут интересно! А нам всё-всё покажут?

– Прошу! – «Маркони» ей подал руку кренделем. Он обращение знает, на торпедных катерах служил.

Из рубки старпом выглянул, в сильной задумчивости. Вообще-то самовольство – дамы на корабле, можно и осерчать по такому поводу. Но можно и схлопотать в ответ при этих дамах. Он предпочёл в тень уйти.

– А тут симпатично! – Голос у Лили был чуть хриплый, осевший на ветру. И мне как-то неприятно было, что она с этим голосом под свою Галю подделывается. – А это что, лебёдка?

– Да, – говорю, – она самая.

– А это трюмы?

– А это трюма.

– Учти, мать, – говорит она Гале, – тут всё произносится с ударением на «а». Боцмана, штурмана. А где же у вас кубрик?

Вот, не хватало только, чтоб я её в кубрик повёл, где бичи храпят в ящиках, свесив сапоги через бортик. А кто не спит, тот, значит, с корешем беседует на трёхэтажном уровне и ведь не спустится оттуда при дамах.

– Да что там, в кубрике... Эка невидаль.

Я уже спиной чувствовал: кто-то из капа выглядывает

на такое диво. Так и есть, Шурка выполз, оповещает тех, кто внизу:

— Бичи, каких нам лошадей привели!

Ну, и те, конечно, тоже повыползали, человечка три, тут уже не до сна.

— Ого! — сказала Лиля. — Какие тут красавцы плавают! Вот кого в кино снимать.

— Правда, у вас лошади есть? — спросила Галя.

Мы с «маркони» чуть не упали.

— Мать, не срами меня. Лошади — это мы. Чувствуешь, какая галантность!

Галя вся вспыхнула, стала как её шапочка. А Лиле как будто всё было нипочём, смотрела на бичей спокойно, улыбалась одними губами. Но я-то знал, как сильно она смущается, только виду не подаёт.

— Бичи, — объяснил «маркони», — это наши гости. Из этого... из судкома ВЛКСМ. Попрошу, товарищи моряки.

— А чего ж только двое? — спросил Шурка. — Нам бы весь судком.

Кто-то ещё пропел кошачьим тенором:

У ней такая ма-аленькая грудь,
А губы — губы алые, как ма-аки!..

«Маркони» объяснил гостям:

— Это у нас традиционное приветствие, когда на борту появляются дамы.

— Мы так и поняли, — сказала Лиля.

Мы их быстренько повели в салон, по дороге — через люк — показали машинную шахту. Там полуголый Юрочка сидел на верстаке и чего-то напевал, — хорошо, что слов было не слышно. «Маркони», однако, не задерживался.

— А сейчас мы вам покажем «голубятник». Всякое судно, с вашего разрешения, начинается с «голубятника».

Поднялись в ходовую. Старпом от нас отскочил как ошпаренный, удрал в штурманскую. Молодой он ещё был, архангелогородец наш. «Маркони» его всё-таки вытащил за руку.

— Прошу познакомиться. Старший помощник нашего капитана. Мастер лова и навигации, мой лучший друг и боевой товарищ.

Старпом упирался, как будто его на казнь вели, мычал что-то насчёт вахты. Гости с ним поздоровались за руку. Он сразу взмок, как мышь. «Маркони» его отпустил с богом.

Из окон видна была вся палуба, с разинутыми трюмами. Бичи стояли в капе, пересмеивались. Гале вдруг захотелось перед ними пококетничать.

— А это штурвал? А можно покрутить?

Штурвал положен был влево и застопорен петлёй.

— Нельзя, нельзя! — Старпом закричал из штурманской.

— Почему нельзя, товарищ старший помощник? — спросил «маркони». Старпом не ответил, шелестел какими-то бумагами, как будто он что-то там вычисляет. — Можно, девочки, можно.

Откинул петлю, Галя стала к штурвалу, а он её сзади облапил.

— Ой, какие ручки! — Галя запела.

— Это не ручки, это шпаги.

— Шпаги? Ой, как интересно! Те, которые у мушкетёров?

— Совершенно те же самые. А крутят их вот так, Галочка.

Крутил он её, в основном, у бичей на глазах. В общем, дела у «маркони» с ней были в самом разгаре, а хохоту — вагон с тележкой.

— Получил моё письмо? — спросила Лиля.

— Да.

Мы отошли в угол рубки. В дверное окно видно было открытое море, зыбь с белыми гребнями шла на нас, как полки на штурм, и птицы носились косыми кругами.

— Сердишься, что я тогда не пришла?

— Нет.

— Что-то разговор у нас... «да», «нет»...

А какой он ещё мог быть? Я — в рокане, на нём чешуя налипла и ржавчина с бочек. Старпом бы меня вполне мог выставить из ходовой, и пришлось бы послушаться.

— Я понимаю, — она улыбнулась, — ты тут не на своей территории.

— Вроде этого.

— А вот это картушка, — «маркони» там объяснял.

Чтоб поглядеть на эту картушку, Гале надо было

перегнуться через штурвал, а ему — прижаться к её щеке. Галя его шлёпнула по рукам.

— Вот так ты, значит, живёшь? — Лиля меня спросила. — На берегу я как-то иначе себе представляла... В общем, я кое-что про тебя поняла. Кроме одного: как же получилось — ты с флота хотел уйти, а пошёл в море?

— Это долго объяснять. Как-нибудь потом.

— Ну, зачем... Механизм твоих решений мне приблизительно ясен. Я даже, когда ты мне всё это говорил, почему-то подумала, что будет как раз наоборот. — Говорила она со мной как-то свысока, мне что-то уныло сделалось. — Странный ты всё-таки парень. Неглупый. «С мечтой», как говорят. Почему всё это тебя устраивает?

— Деньги добываю.

— Неправда, я знаю, как ты к ним относишься. Мы с тобой, кажется, три раза были в «Арктике»? Ты их тратил — не как обычно мужчина перед женщиной, когда хочет показать широкую натуру. А как будто они тебе карман жгут и ты от них хочешь скорее освободиться.

— Может, мне просто интересно тут. Хочу что-то главное узнать о людях.

— Ты ещё не всё про эту жизнь знаешь?

— Про себя — и то не знаю.

— Скажи мне, ведь ты мог бы в торговый перейти? Если ты так любишь плавать. Там же всё-таки лучше. Рейсы — короткие, заходы в иностранные порты. Увидел бы весь мир.

— Шмоток бы понавёз...

— И это неплохо. Но главное — мир повидать.

— Да я ходил с ними один рейс, до Рейкьявика. С боцманом поругался. Больше они меня не взяли.

— Из-за чего же вы поругались?

— Не помню. Характерами не сошлись. Взглядами на жизнь.

— Но ты же мог на другое судно оформиться. Где боцман получше характером.

— Он-то получше, да штурман какой-нибудь похуже. Или ещё кто...

— А нельзя с ними как-нибудь ладить? Просто не замечать, и всё. Ну, вот этот боцман, что вы поругались, — какое тебе дело до его взглядов на жизнь?

— Да мне-то чихать. Он сам ко мне прилип. «Будешь, говорит, мне докладывать про настроения экипажа». Тоже, нашёл докладчика! Почему — я?

— В каком смысле — докладывать?

— Ну, может, кто золото вывез, обратно — валюту повезёт. Или какие-нибудь товары запрещённые. Или — книжки. А то — вообще за границей хочет остаться.

— Вон что! И как ты ему ответил?

— Плюнул, да и пошёл от его бесстыжей морды.

— Но можно же было и по-другому. «Настроение экипажа прекрасное, ничего подозрительного не замечаю».

— Ну... это я как-то не догадался.

Она улыбнулась, посмотрела искоса.

— Надо сдерживать свои чувства.

— Вот и учусь. Зато здесь я лаяться могу сколько душе угодно. Никто меня отсюда не погонит.

Она спросила, отведя пряди от щеки:

— Лучше всего — в самом низу общественной лестницы?

Не понял я, что это за лестница. И почему я — в самом низу. Пожал плечами.

Она сказала, задумавшись:

— Наверное, в этом есть своя прелесть. В сущности говоря, живёшь — стерильной жизнью. Чисто и бесхлопотно. Даже позавидовать можно... Но я, кажется, поняла теперь, кто ты. Знаешь, ты — Ихтиандр. Жить можешь только в море, а на берегу — задохнёшься.

Опять я её не понял.

— Ну, хватит! — Галя объявила. — Мне уже надоело, мы всё крутим и крутим. Покажите нам ещё что-нибудь.

— Мы крутим только пять минут. А вот он, — «маркони» на меня показал, — по два часа его крутит на вахте. И не надоедает.

Галя на меня посмотрела с уважением.

— Ему тоже надоедает, — сказала Лиля, — только он у нас такой мужественный, никогда не жалуется.

— Кто, Сеня? Мой лучший друг!

— А вон там чего? — спросила Галя. Показала на дверь радиорубки.

— Моё хозяйство. Дом родной.

Галя потребовала:

— Хочу посмотреть на твой дом.

«Маркони» быстренько свою койку застелил. Простыни у него были серые, наволочка тоже не крахмал. Галя отвернулась деликатно, потрогала пальчиком магнитофон, передатчик.

— Можем завести музычку. Желаете?

— Твист? Ой, здорово!

Он кинулся заправлять бобину и тут же ленту порвал. Пальцы его что-то не слушались.

— Не надо, — сказала Лиля. — Мы же тут мимоходом.

«Маркони» всё заправлял ленту и рвал.

— А это что? — Галя уже на часы показывала — стенные, над его передатчиком.

— Это? Обыкновенные судовые часы.

— А что за полосочки?

— Какие полосочки?

— Вот эти, красненькие.

— Не полосочки, а сектора. По три минуты. В это время «SOS» прослушивается. Все радисты слушают море.

— И музыку?

— Ни боже мой! Никакой музыки. Исключительно сигналы бедствия.

— Ну, мать, — сказала Лиля, — ты у меня совсем оскандалишься. Надо знать святые морские законы. Вот сейчас как раз без шестнадцати, где-то, наверное, пищат. Кто-нибудь терпит бедствие, а ты...

— Да-а? — сказала Галя. — А почему же мы не слышим?

— У базы стоим, — объяснил «маркони». — Ихний радист слушает. А у нас и антенна сейчас снята.

Прилипли они к этим часам крепко. «Маркони» мне подмигнул — чтоб я с ним вышел. Затворил дверь.

— Ключик не требуется?

— Какой ключик?

— От каюты, «какой». Я сейчас с Галкой на базу поднимусь, у ней там отдельная. Старпом не сунется, я предупрежу.

— Иди ты...

Я открыл дверь. Обе стояли в радиорубке как неприкаянные. Слышать они, конечно, не могли — качало, и кранец бился о борт, — но Лиля на меня посмотрела и усмехнулась.

— О чём это вы там? — спросила Галя.

— О том, что нам пора уже и честь знать, загостились.

«Маркони» их выпустил и за спиной у них помахал мне ладошкой около уха.

— Главное, мать, — сказала Лиля, — не загоститься, уйти вовремя.

С базы что-то кричали нам. Старпом выскочил из штурманской, опустил стекло.

— Восемьсот пятнадцатый! — кричали. — Готовьтесь отдать концы!

Мы сошли с «голубятника». Бичи уже успели уйти. Палуба снова была серая, по ней ходили брызги от кормовой волны. Базу, наверно, разворачивало на якорях, и мы поворачивались вместе с ней.

— Шалай! — крикнул старпом. — Зови там швартовных, трансляцию не слышат, черти.

— Зови негров, Шалай, — сказала Лиля.

Я пошёл звать. Они там и правда заспались, долго не отвечали. Потом кто-то вякнул из темноты:

— Выходим, не ори.

Когда я вернулся, сетку ещё не спустили, и лица у обеих были тревожные — спустят ли её вообще, не пришлось бы на траулере задержаться, да с ночёвкой. Я их успокоил — пока их не подымем, концов не отдадим.

— Раз Сеня говорит, — сказала Лиля, — значит, так и будет. У него слова с делом не расходятся.

Я смолчал. Сетка уже пошла. «Маркони» её поймал и отвёл от трюма.

— Ой, я боюсь, — сказала Галя. Она улыбалась, но както бледно.

— Мать, — сказала Лиля, — спускаться же страшнее. Ты вверх смотри.

Но рука у неё у самой подрагивала, когда она мне пожала локоть, — слава богу, молча пожала.

«Маркони» тоже с ними вцепился.

— Ты-то куда? — Я стал его отрывать. Совсем он сомлел и ещё геройствовал перед девками, держался одной рукой.

— Ап-парат-тура, Сень. Чес-слово, у меня там ап-парат-тура, не веришь?

— Восемьсот пятнадцатый! — в «матюгальник» сказано было с приложением. — Что у вас там с сеткой?

Я его отпустил, «маркони». Чёрт с ним, никто ещё из моряков не сваливался. Девки бы только не свалились.

Сетка раскачивалась сильно, я боялся — грохнется об базу. Но обошлось, ухман её попридержал на середине высоты, а потом разом вздёрнул над бортом. Лиля ещё выглянула, чуть бледная, махнула мне и исчезла. Ухман их там отогнал.

Волна ударила нам в корму, и пароход пронесло вперёд. Кранец заскрежетал между бортами.

— Восемьсот пятнадцатый! — крикнули с базы. — Срочно отдавайте концы!

Старпом высунулся из рубки:

— У нас ещё люди на базе!

— Вам сказано — отдавайте концы!.. Отходите немедленно!

Старпом куда-то метнулся от окна, я подумал — трансляцию врубить. Но вдруг взбурлил винт, и нас медленно потащило назад, а бортом навалило на базу. Мостик ударился об её верхний кранец — покрышку от грузовика — и зазвенел.

— Куда?! — с базы орали. — Куда отрабатываете? Глаза у вас на затылке?

Старпом опять появился в окне.

— Отдать кормовой! — чуть он не взвизгнул.

И тут нас качнуло с кормы. Корма задралась, потом пошла вниз — поначалу медленно, потом всё быстрее, быстрее — и опустилась с ударом...

Я не устоял на ногах. А когда поднимался, услышал с базы:

— ...вашу мать, отходите! Мало вам этого?

И увидел старпома — он ко мне бежал, белый, с трясущимися губами. Я не понял, когда он успел выскочить из рубки. И — зачем выскочил.

— Хватай топор! — Он мне кричал. — Руби кормовой!

Я кинулся к дрифтерному ящику, потом — с топором — в корму. Конец натянулся и не звенел уже, а пел. Но рубить его не пришлось, он вдруг ослаб на секунду, и я успел сбросить несколько шлагов. А когда он опять стал натягиваться, корма уже отвалила. Я подождал, когда он снова послабеет, скинул последние шлаги, и конец выхлестнуло из клюза.

Борт плавбазы отодвигался, на ржавых цепях высоко подпрыгивали кранцы — толстенные чёрные сарделины.

И тут я увидел нос того траулера, который стоял за нами. Он тоже теперь отходил. Фальшборт на нём смялся, оборванный штаг болтался в воздухе, а вся кормовая обшивка погнулась внутрь. Я сразу и не заметил всего, занят был концом, а теперь только и понял, как всё вышло, когда этот олух отработал назад. Корма у нас поднялась на волне, а у него нос опустился, а потом они двинулись встречно... Чистый «поцелуй». Но что же там с нашей-то задницей? Я перегнулся через планширь — огромная была вмятина, с трещиной, возле баллера*. Но сам-то руль не заклинило, он работал, я слышал, как гремят штурцепи.

База уже едва виднелась за сетью дождя. Когда он пошёл, я тоже не заметил. Всё скрылось в сизой пелене. Только донеслось, как сквозь вату:

— Восемьсот пятнадцатый, идите в Фугле-фиорд!..

Я пошёл на палубу. Волна катилась по ней и шипела, а трюма были открыты настежь, и только один кто-то, в рокане, возился с лючинами. Я стал ему помогать.

— Ты где шлялся? — повернул ко мне мокрое лицо. С рыжих усов капало. Бондарь.

— Не шлялся. Кормовой отдавал.

— Хорошо ты его отдавал! Вовремя.

— Отдал, когда приказали. И не ори, сволочь.

— Удрали, никому дела нет, что потонем...

— Не тонем ещё, успокойся.

Мы уложили все лючины, стали накрывать брезентом.

— С Лиличкой там ласкался. Жалко, я вас вместе не застал. Убил бы.

— Ну, меня — ладно, а её-то за что?

— А не ходи на траулер, сука! От них всё и происходит.

Брезент мы натянули, теперь заклинивали. Он стучал ручником и матерился по-страшному. И когда он ещё о ней прошёлся, тут я озверел. Я встал над ним с ручником и сказал, что ещё слово — и я ему башку размозжу и выкину его за борт. И никто этого знать не будет. Я и забыл, что мы из рубки-то были как на ладони. Мы были одни на палубе, одни на всём море, и дождь нас хлестал, и делали-то мы одно дело, а злее, чем мы, врагов не было.

---

* Баллер — ось руля.

Он на всё это посмеялся в усы, но притих. Всё-таки я единственный ему помогал.

— Ладно, не трать энергии, нам ещё второй задраивать.

Второй задраили молча и пошли в кап. Там скинули роканы в гальюне.

— Вот и все дела, вожаковый, — он мне сказал. — Больше не предвидится. В порт отзовут.

— Думаешь?

— Ты пробоину-то видал?

— Снаружи.

— Сходи изнутри посмотри.

Мы сошли вниз и разошлись по кубрикам. В нашем — какое-то сонное царство было; не знаю, слышали они удар или нет. Или на всё уже было начхать, до того устали. По столу веером лежали карты и чей-то рокан, на полу — сапоги с портянками. Я пошёл на пробоину посмотреть.

3

На камбузе возился у плиты «юноша», закладывал в неё лучины и газету.

— Полюбоваться пришёл? Есть на что.

Люк в каптёрку был отдраен. Я подошёл заглянуть. Воды было на метр, в ней плавала щепа для растопки, ящики с макаронами, коровья нога, банки с конфитюром, — горестное зрелище, я вам скажу. Но главное-то — сама пробоина. Я всё-таки не думал, что она такая огромная, жуткая, буквально сверху донизу. Сквозь неё было видно море — сизая штормовая волна. Чуть корма опускалась, оно вливалось, как в шлюз, хрипело и пенилось.

— Продукты можно бы выбрать, — сказал я «юноше».

— А на кой? Которые промокли, их уже выкидывать полагается. А банкам чего сделается?

— И то верно.

— Каши насыпать?

— Насыпь немного.

— То-то не хотелось мне в эту экспедицию идти. Как чувствовал!

— Ты здесь был? — я спросил.

— А где ж. С бондарем беседовали. Как раз я в каптёрку собирался лезть, и как меня кто надоумил — дай,

думаю, сперва уголь поштываю, плиту распалю, а уж после за продуктами слазаю. А то б сейчас там и плавал бы, ты подумай!

Он даже развеселился, что так вот вышло. Стал соответствующие случаи вспоминать. Как он, матросом, бочки с рыбой укладывал в трюме и как одну бочку раскачало на цепи и стукнуло ребром об пиллерс*, а он как раз за этот пиллерс рукой держался. «Представляешь – на два сантиметра выше, и пальцев бы как не было. Так бы и остались в варежке!» А то ещё другой случай был, на рефрижераторном траулере, – там у них кладовщик в морозильнике заснул. Жарко было, они сардину промышляли под экватором, так он стянул сапоги и залез в морозильную камеру освежиться. А его не заметили, задраили двери и пустили холод. Через пару часов хватились, а он уже мёрзлый был, хоть ножовкой режь.

Я эту историю, правда, в другом варианте слышал. Будто бы не кладовщик, а кот полез – воровать сардины. Но ведь с кладовщиком-то – могло случиться! Так они, эти истории, и складываются.

– Ну, и как твоё мнение, – я спросил, – отзовут?

– Ты ещё сомневаешься?

Да, если бы такое на крейсере случилось, я бы ещё сомневался. Но то же ведь крейсер. Он с такой дырой не то что плавать обязан, а бой вести. Там бы её даже в программу учений включили. А рыбакам и так мороки хватает. Значит, отплавали рейс. Денежки кой-какие получим – и баста. И привет морю.

Я вышел. Фареры выплыли из дождевой завесы, и скалы нависли над полубаком, закрыли полнеба. Даже казалось – вот сейчас воткнёмся. Но скала расступилась, блеснула спокойная вода, узенькая полоска, но такая голубая, так резко она отличалась от открытого моря. При самом входе в фиорд торчали камни, сплошь обсиженные чайками, кайрами. Эти камни, сколько я помню, лежат у Фуглефиорда, откололись они от скалы лет, наверно, триста назад. Волна набегала на них с грохотом, с урчанием, они шатались заметно, и птицы взмывали, носились кругами и тут же садились опять – когда волна проходила и камень оголялся донизу.

---

* Пиллерс – вертикальная стойка, подкрепляющая палубу, перекрытие каюты и т. п.

Мы прошли под камнями и сбавили ход. Фарватер здесь извилистый, скалы — как стены в колодце; кажется, достанешь рукой или мачтой чиркнешь. По скалам струились ручейки от дождя, а на уступах видимо-невидимо было птиц, крик стоял невообразимый. Морские птицы — те уже привыкли к нам, садятся спокойно на реи, на палубы, иной раз целая стая перелётная отдыхает и ни черта не боится. А береговушек всё тревожит: дым из трубы или гудок, или винт шлёпает в узкости слишком гулко, или человек выйдет выплеснуть ведро — для них уже целое событие.

Мы прошли поворот, другой, и моря совсем не стало слышно, спокойная вода расходилась от форштевня ровными усами и хлюпала под скалами. Только два раза попались нам встречные, повыбегали на палубы рыбаки, смотрели нам вслед. Каждое слово слышно было, как в трубе. Жалко, я по-датски не знаю, мне бы их мнение хотелось услышать насчёт нашей задницы. Фарерцы ведь мореходы первый сорт, здесь по лоции капитану разрешается брать лоцманом любого — с четырнадцати лет, хоть мальчишку, хоть девчонку*.

Бухта открылась — вся сразу, чистая, молочно-голубая. Только если вверх посмотришь и увидишь, как облака проносятся над сопками, почувствуешь, что там творится в Атлантике. Ровными рядами — дома в пять этажей, зелёные, красные, жёлтенькие, все яркие на белом снегу. А поверху — сопки, серые от вереска, снег оттуда ветром сдувает, и как мушиная сыпь — овечьи стада на склонах. Судёнышки у причала стояли не шелохнувшись, мачта к мачте, как осока у реки — яхточки, ботики, сейнера, реюшки, тут почти у каждого своя посудинка.

Мы шли к середине бухты, к нашей стоянке — по конвенции мы к причалу не швартуемся, в крайнем случае раненого можно доставить шлюпкой. Отсюда видно, как ходят люди, собаки бегают, автомобильчики снуют между домами и по склонам сопок, там поверху проложена шоссейка.

Якоря отдавать — все, конечно, вышли. Что значит — стоячая вода, сразу спать расхотелось.

---

* На Фарерских (Овечьих) островах живут датчане, отделившиеся от метрополии. У них свой флаг, свой герб, своя столица — Торсхавн. В основном овцеводы и рыбаки, они торгуют с другими странами рыбой, овечьей шерстью и мясом.

Сгрудились на полубаке, Шурка прибежал с руля с биноклем, и все по очереди стали пялиться на берег. Вон рыбачка вышла – бельё на верёвке развесить, вон две кумы встретились и лясы точат, фарерскими сплетнями обмениваются, а нам всё в диковинку.

– А ножки-то, ножки! Швартануться бы, потом бы всю жизнь вспоминал!

– Давай, плыви, кто тебя держит?

– Старпом! А, старпом? К причалу не подойдём?

Старпом из рубки тоже в бинокль пялился.

– Какой ты умный! – говорит.

– Да хоть на часик, покуда кепа нету. Никто ж не стукнет.

Ну, на это он и отвечать не стал, будто и не слышал. В бинокль всё радужно: пёсик бегает по снегу, фарерский пёсик, ластится к своей фарерской хозяйке, а та фарерскими ботиками притоптывает – ботики модные, а холодно в них. Фарерский пацан своего братишку на фарерских саночках катает, шнурки на ушанке болтаются... Почему так тянет на это смотреть? Неужели диво – люди, как и мы, тоже вверх головами ходят? Глупо же мы устроились на земле – вот море, на всех одно, сопки – такие же, как и у нас, бухта – для всех моряков убежище. А не подойдёшь к ним, конца не подашь, не потравишь с этими фарерцами.

– А всё ж, бичи, – сказал Шурка, – в заграницу приехали! Вроде даже и воздух другой.

– Никуда ты не приехал, – Ванька Обод ему угрюмо. – Всё там же ты, в Расее. И воздух тот же самый. Что ты на эту заграницу в бинокль смотришь, это и в кино можно, в порту. Даже виднее.

Вот всегда такой Ванька Обод найдётся – настроение испортить. А солнышко вышло, стало чуть потеплее, потянуло еле слышно весной. На берегу в такие дни хочется в море. А в море – хочется на берег.

– Скидывай рокана, бичи! – сказал Шурка. – Айда все по-береговому оденемся. Теперь уж до порта – ни метать, ни выбирать. А что груза ещё осталось – так его в порту берегаши выгрузят.

Мы поглядели на старпома. Он всё пялился на берег.

– Старпом, – спросил Шурка, – точно ведь в порт идём?

– Будет команда – пойдёшь.

— Это как понимать? Может, ещё и не будет? Останемся на промысле? Нет уж, хрена!

Да ведь у старпома прямого слова не выжмешь. Молодой-то он молодой, но первую заповедь начальства железно усвоил: чего не знаешь — показывай, будто знаешь, только говорить об том не положено. Да он, плосконосый, оставят ли его старпомом — и то не знал. Но в бинокль, как генерал, смотрел, план сражения вырабатывал.

— Покамест, — говорит, — ремонтироваться будем.

— Это само собой, — сказал Шурка. — С такой дырищей тоже мало радости до порта шлёпать.

Больше всех ему верилось, Шурке, что в порт уйдём. И не стоялось ему, как жеребёнку в стойле. А если подумать, чего мы там не видели, в порту, кроме снега январского и метелей, кроме «Арктики»? Да и этих-то радостей — на неделю, не столько же мы заработали, чтоб куда-нибудь в отпуск поехать. Но великое же слово — «домой»!

Всё-таки пошли переоделись. Я куртку надел. Вышли на палубу, как на набережную.

— Я теперь ни к чему не прикоснусь, — говорит Шурка. Он в пиджаке вышел, при галстуке. — Дрифтер скажет: «Чмырёв, иди подбору шкерить!» А я ему: «Хрена, сам её шкерь, а я больше не матрос, я пассажир на этом чудном пароходе».

— Сигару — не хочешь? — спросил Серёга.

— Отчего же нет, сэр?

Серёга вытащил «Беломор», мы задымили, облокотились на планширь, сплёвывали на воду. Ни дать ни взять — на прогулочном катере в Ялте.

— Слышь, старпом! — позвал Шурка. — А ты не переживай.

Старпом отложил свой бинокль, стоял, как портрет в раме. Невесёлый это был портрет.

— А чего это мне переживать?

— Врёшь, — говорит Шурка. — Переживаешь! И зря. Ну, понизят тебя до второго штурмана, ну там до третьего, годик поплаваешь и опять — в старпомы. Ты же у нас хороший мальчик, дисциплину любишь и начальство тоже.

— Чего это меня понизят? Третьего вахта была, а не моя.

— Ну, чумак, — сказал Серёга. — Он же тебе её передал.

Старпом лоб наморщил. Задумался, как он из этой истории вылезать будет. Решил так:

— Спросят, чья вахта была с двенадцати.

— Не-ет, — Шурка засмеялся, — так не спросят, не рассчитывай. А — «кто на вахте был с двенадцати», вот как. Ты уж на худшее надейся, глядишь — оно и получше обернётся.

— Вахту же передавать не полагается.

— Но ты ж её принял.

— Ну и что? В виде исключения.

— А шляпил — тоже в виде исключения? — но тут же Шурка и смилостивился. — Ну, может, тебя и помилуют, всяко бывает. Но если тебя в матросы разжалуют, тоже не огорчайся. Зато ж какую науку пройдёшь! Сам побичуешь — бичей притеснять не будешь. Ты, первое дело, им спать давай. Не подымай в шесть, подымай в восемь. Никуда рыба из сетей не убежит, а человек — он дороже. Теперь, значит, выходных чтоб было два в неделю. Кто это придумал — в море без выходных? Ты этот порядок отмени, старпом. Не останется страна без рыбки к праздничному столу. Ты к бичам хорошо, и они к тебе хорошо. Усвоил мои советы?

– Ладно.

— Чо он там усвоил? — сказал Ванька. — Оставят его на мостике — так же и будет на тебя орать.

Грустно нам что-то сделалось. И просто так стоять надоело.

— Чего делать будем, бичи? — спросил Шурка. — Старпом! У тебя, может, какие распоряжения будут? В последний раз мне твой голос начальственный охота послушать.

— Будут — позову.

— Нет уж, я спать буду.

Но Шурке и спать было скучно. Такое было весеннее настроение, хоть в самом деле — прыгай с борта, плыви к тому берегу.

— Бичи, — вспомнил Шурка. — А мы же фильмами-то махнулись на базе? Айда покрутим.

Пошли с полубака, покричали в кап:

— Эй, салаги! Кончай ночевать, есть работа на палубе. Фильмы крутить.

Не вылезли. Так устали, что даже на стоячей воде не проснулись.

А фильмы — так себе отхватил «маркони». Один — про какую-то балерину, как ей старая учительница не советует от народа отрываться; погубишь, говорит, свой талант. Мы

даже вторую бобину не стали заправлять. Другой поставили — про сектантов, как они девку одну охмуряют, а комсомольская организация бездействует. Потом, конечно, новый секретарь приезжает, и от этих сектантов только перья летят. Но там одно место можно было посмотреть — как этот новый секретарь влюбляется в эту охмурённую девку, и она, конечно, взаимно, только ужасно боится своих сектантов, и он ей внушает насчёт радостей любви, в таком это симпатичном берёзовом перелеске, и берёзки эти кружатся, и облака над ними вальс танцуют. Мы эту бобину два раза прокрутили. «Юноша», который из камбузного окна смотрел, попросил даже в третий раз поставить, да нам есть захотелось. И пробоина больше нас занимала.

То один, то другой ходили на неё смотреть — не заросла ли? Возвращались довольные, ели с аппетитом.

— Эх, кабы ещё баллер погнуло — это наверняка бы отозвали. Его на промысле не выправишь, в доке надо менять.

— А хорошо б ещё — винт задело.

— Ну и что — винт? Это водолазы сменят. Что, на базе винтов запасных нету? Самое верное — баллер.

Салаги тоже пришли поесть, послушали нас. Димка рассмеялся.

— Энтузиасты вы, ребята! А как же насчёт «море зовёт»?

— А вот оно и зовёт, — ответил Шурка. — В порт идти.

Тут нас позвал старпом по трансляции:

— Выходи, палубные, к нам швартоваться будут.

В бухту ещё один СРТ вошёл, подчаливал к нам. В носу стоял бородач в рокане, поматывал швартовым.

— Ребята, — кричит, — дайте за вас подержаться!

— Подержись, — говорим, — только не за нашу поцелованную.

— Ну, молодцы ребята! Где такую нагуляли?

— А там же, где ты бороду.

— Счастливо вам теперь до порта.

— Спасибо, — отвечаем, — на добром слове.

На этом СРТ все оказались бородачи: кеп — бородач, «дед» — бородач, все дикари — то же самое. Оказывается, они зарок дали не бриться, пока два плана не возьмут. А два плана им накинули, потому что решили они проплавать полгода. Три месяца уже отплавали в Северном,

теперь на Джорджес-Банку намылились идти. Тоже своего рода «летучие голландцы».

Ну, а на палубе у них — все наши прибыли, кто на базу ушёл. Примолкшие все, какие-то пришибленные, хотя их вины не было, что так случилось. Но это я понимаю, всегда отчего-то чувствуешь себя виноватым, когда ты покинул судно, а на нём какое-нибудь чепе.

Кеп перескочил нахмуренный и даже пробоину не пошёл смотреть, скрылся у себя в каюте. Третий, от выпитого розовый, пошёл старпома утешать:

— Чего не бывает? На моей вахте один раз порядок утопили, а всё обошлось.

— А это, считаешь, не на твоей вахте было?

— Ты что, больной? — Третий сразу улыбаться перестал. — Шляпил кто — я или ты? Тебе доверили, а ты прошляпил, понимаешь.

А старпом-то — надеялся. На что надеялся!

«Дед» тоже не стал смотреть пробоину. Ну, а дрифтер и Митрохин и Васька Буров — поскакали, конечно. Воротясь, только головами покачивали и языками цокали.

Бородачи тоже поинтересовались:

— Ну, как, хороша?

— Знаешь, — дрифтер говорит, — просто не ожидал, что так хороша!

— До порта с ней дойдёте?

— До порта, хоть всю корму отруби, дойдём!

Потом кто-то принёс на хвосте:

— Бичи, «дед» в каюте акт составляет. В окошко видать.

Я пошёл к «деду». Чего-то он, и правда, писал за столиком, длинную такую реляцию.

— Пошарь там в рундучке, — сказал мне. — Я сейчас закончу.

Я вытащил коньяк и кружки. «Дед» для меня всегда приносил с базы, если мне не удавалось выбраться. Я стал закидывать насчёт пробоины — вот, мол, и повод есть, за что выпить. «Дед» отмахнулся, даже с какой-то досадой.

— Что вы там паникуете с этой пробоиной? Дать по шеям раззяве, который это допустил, и всего делов. А вы — в порт! С такой дыркой в порт идти — стыдно.

— Ты ж не видел её.

— Видал. Снаружи. Чепуха собачья.

— Изнутри поглядеть — море видно!

— Заварим — не будет видно море.

Я подождал, пока он кончит свою реляцию, разлил по кружкам. Мне даже грустно стало — так мы все настроились на возвращение.

— Что ж, — говорю. — Тогда — за счастливый промысел?

— А вот это не выйдет. — «Дед» взял свою кружку. — В порт всё равно придётся идти.

— Ты ж говоришь — чепуха.

— Та, что в корме. Но у нас ещё в борту заплата.

Я что-то не помнил, чтобы мы ещё и бортом приложились. Но, может, я и не почувствовал — когда такой толчок был с кормы?

— Постой, — сказал я «деду». — Но мы же правым стояли к базе, а заплата — на левом.

— Какая разница? От такого удара весь корпус должен был деформироваться. Когда обшивка прочная — ей ничего, она спружинит, и только. Но если слабина... А у нас там, поди, все листы на бортах перешивать надо.

— Шов пока не разошёлся.

— Ну-ну, — сказал «дед», усмехаясь, — брякнуть-то легко: «не разошёлся», а ты его хоть пощупал? Смотрел на него? А если и не разошёлся, — значит, попозже. Волна хорошая ударит...

— А по новой её заварить?

— В доке. Там всё исследовать хорошенько. Ну, поплыли?

Вечером, когда я шёл от «деда», я всё же посмотрел на неё. Свесился через планширь и ничего не увидел — ровные закрашенные швы. И нигде не сосало, не подхлюпывало.

Шурка Чмырёв подошёл, тоже свесился.

— Ты чо там высматриваешь?

Я ему рассказал, о чём говорил с «дедом».

— Из-за этой в порт? — сказал Шурка. — Да ей чёрта сделалось!

Я тоже подумал, что чёрта.

В кубрике Васька Буров сидел верхом на ящике, помахивал гвоздодёром и проблему решал — открывать или не открывать? Притащил он с базы три ящика — с яблоками, с мандаринами и с шоколадом, — и проблема была такая: если остаёмся, тогда, конечно, открыть; ну, а если в порт? С нас ведь за них вычитать будут. А мы, может, ещё и на аттестат не заработали.

Мы с Шуркой тоже ясности не внесли.

— Не знаю, что и сказать, бичи, — Шурка сразу в койку полез. — Трёхнулся «дед». Не пробоину, говорит, а заплату в док перешивать пойдём.

Ванька Обод приподнялся в койке, выглянул из-за своего голенища.

— Так это он про неё акт составляет?

Я сказал, что да, про неё. Ванька от смеха затряс голенищем.

— Теперь, — говорит, — мне всё ясно, бичи. Почему я матросом плаваю, не «дедом». Разве ж простому дикарю додуматься!

Васька Буров почесал свою лысину.

— Дак как, бичи? Открывать? Я — как все скажут.

— Не мучайся, — Димка ему посоветовал, — открой. Посмотрим на твои яблоки.

— Твоё слово — последнее, салага. Ты вторым классом плаваешь, ты ишо на них не заработал.

— Неужели?

— Вот те «неужели». Весь ящик возьмёшь?

— Весь нет. Нам с Аликом по два кило запиши.

— Пятнадцать — не хочешь? Или весь берите, или я его под койку задвину, пущай до порта лежит.

— Была не была, — Шурка сказал. — Я три кило возьму.

— Кто ещё?

— Ты своим пацанкам — по три.

— Я не возьму, — сказал Митрохин.

— В гробу я их видел, твои яблоки, — сказал Ванька Обод.

Васька Буров ещё постукал по ящику гвоздодёром — может, кто отзовётся, — и стал его задвигать под койку.

— Запиши на меня весь, — сказал я ему. Надоела мне ихняя бухгалтерия. — Всех угощаю.

Тут — только фанера затрещала. Пятнадцать кило в один миг расхватали.

Мы лежали в койках, хрустели этими яблоками, когда «маркони» объявил по трансляции:

— Матрос Шалай, явиться за радиограммой.

Я взял десяток, пошёл к нему. Была уже ночь, и мы одни стояли посреди бухты. Бородачи ушли на свою Джорджес-Банку. Огни в посёлке светились, как в тумане, а поверху, на шоссейке, мелькали красные огоньки и белые конуса от фар.

«Маркони» лежал одетый в койке, руки за головой. Сел, помотал чубчиком, как с перепою. Вся щека у него была расцарапана.

— Выпить хочешь? — спросил.

Я понял, что никакой радиограммы не было; просто хотел меня одного позвать. Он вытащил поллитру «Московской», мы отпили по глотку из горлышка и закусили яблоками.

— Как находишь? — Он показал на щёку. — Всё как полагается?

— Отдельная — не помогла?

— Точно. Но — подошли вплотную. Мне, Сеня, с первого раза и не нужно. Со второго — оно надёжней.

— А думаешь — ещё подойдём к базе?

— Не раз и не два, Сеня. Кеп ни за что в порт не уйдёт. Он воду будет пить солёную, из моря, чтоб только на весь рейс остаться. Мало ещё, он на лишний месяц останется — пока про этот «поцелуй» все забудут.

Мне хотелось про заплату сказать, но я уже как-то и сам в неё не верил. Только сказал:

— В таких случаях команда решает. Ситуация — аварийная.

Он усмехнулся криво.

— А что такое команда, Сеня? Это же я и ты.

— Тоже верно... Значит — за счастливый промысел?

Мы отпили ещё из горлышка.

— Кстати, — сказал я, — чтоб не забыть. Ванька Обод у нас списывается, бабу свою хочет застать. Ты отбей-ка его бабе радиограммку, что он возвращается, — вдруг и правда застанет.

— Отобью.

Он помотал головой, вздохнул, опять потрогал щеку. Ему ещё хотелось про свою Галю потравить, так это я понял.

— Слушай, — я спросил, — на кой она тебе?

— Сам удивляюсь. А в общем, ни на кой.

— Влипнешь ещё.

— Э, куда мне влипать! Меня от любого влипа трое потрохов сберегут, и баба такая, что только в гроб меня из когтей выпустит. Но я ж ей тут, на море, звон сделаю! И пускай до неё дойдёт, я даже рад буду. Хочется мне, Сеня, хоть последнюю молодость от своей бабы отвоевать. — Он поерошил волосы. Очень уж они были редки. — Вот, до темечка доползёт лысина — тут я вполне успокоюсь.

Я ждал, когда он про Лилю хоть мельком вспомнит. Наверняка же он с ней говорил обо мне. Он как будто угадал:

– А твоя-то всё расспрашивала, как ты да что ты. Язык у меня отсох – тебя хвалить.

– Зачем бы это ей?

– Зачем! Замуж ей – пора вроде?

– За меня, что ли?

Он засмеялся.

– Молодой ты ещё, Сеня. Молодой, необученный. Если баба любит, то хуже моряка для неё мужа нету, а если не любит – то нету лучше. Круглый год ты по морям, по волнам, только весточки от тебя и груши. Чувствуешь, какая малина!

– Ну, она про это не думает.

– Смотри-ка, до чего особенная! Не думает, но – прикидывает. Сама себе в этом не признаётся. Ты женился б на ней?

– Не знаю.

– Это опасно, Сеня, когда не знаешь.

– Ну, не для меня она. И я – не для неё.

– Почему бы это, Сеня? Она образованная, да? Институт кончила? Какой же институт, рыбный? И что – она больше твоего про рыбу знает? Книжек больше прочитала?

– Она, наверно, знает, какие читать.

– Этого никто не знает, пока не прочтёт. Ах, Сеня! Нам с тобой совсем другое нужно.

– Что же нам нужно?

– Ну, как минимум, чтоб по нас тосковали, когда мы в море качаемся. А главное – жить бы не мешали, когда мы приходим. Не висели бы гирями какими-то! Сколько мы пороху тратим, а потом сами же в мышеловке сидим. И учти, Сеня, она тебе тоже жить не даст. Знаешь, чем она тебя держать будет? Тем, что она тебя облагодетельствовала. Век ты ей будешь обязан. Такая это девка, я кожей чувствую.

Ну, дальше-то можно было остановить его. Что я хотел про неё знать, я сам выясню.

– Спрашивала она у тебя, что, наверно, «трудный у него характер»? У меня то есть.

– Спрашивала, Сеня.

– Говорила, что ко мне подход нужен особенный?

— Говорила, Сеня.

— И что не всякая, мол, согласилась бы со мной иметь дело?

— И про это, Сеня.

Вот тут мне сразу грустно сделалось. Оттого, наверно, что она не врала, когда говорила: «Я — как все».

— Ну, кончили про это, — я сказал. — Ты спать будешь?

— Хотел бы, да кепа должны запрашивать с базы. Чего-то там про нас решают.

Мы ждали часов до двух, допили всю бутылку и не дождались вызова.

4

Утром причалил к нам катер с плавбазы.

Каждый после чая слонялся как хотел, когда увидели — он режет зеркальную воду в бухте. Зашёл к нам с правого борта, хоть ближе было с левого — начальство, стало быть, пожаловало.

Мы его притянули, наладили трап, и вот кто по нему сошёл — собственной персоной Граков.

С «Арктики» он уже обветриться успел, как-то поздоровел. Спрыгнул на палубу, как молодой, улыбнулся нам по-отечески, зубы показал золотые.

— Что носы повесили, утопленники? Ну, понимаю, понимаю, когда план срывается, это обидно.

Такое, значит, было начало. Кеп вышел его встречать, он с кепом едва-едва поприветствовался и снова к нам, палубным:

— С таким-то капитаном унывать? Ну, Николаич, веди, показывай свои раны.

С Граковым сошли ещё групповой механик, тощеватый, сутулый, в синем плаще с капюшоном, и пара работяг — сварщики, в руках у них ящики были с электродами, молотками, клещами. Повалили все в корму. Граков первый в каптёрку полез. Там уже доски боцман проложил, чтоб начальство ноги не промочило. Граков там походил, доски под ним гнулись, снял перчатку и пальцем пощупал край пробоины.

— Н-да... Обидели вас чувствительно.

Групповой механик тоже спустился, тоже поглядел, но — молча. Вид у него скучный был, наморщенный, как перед первой стопкой.

Граков спросил:

— А что по этому поводу стармех думает?

Кто-то уже позвал «деда», он стоял над люком. Кашлянул в кулак и сказал:

— Думает, что чепуха.

Граков от его голоса вздрогнул, выгнул шею, чтобы увидеть «деда», и чуть потемнел:

— Ну, не совсем чепуха. Но если команда горит желанием...

— Команда-то горит. Пока не зальётся.

— Ну, что за настроение, Сергей Андреич, я тебя не узнаю.

Граков стал вылезать. «Дед» стоял ближе всех и мог бы подать ему руку, но не подал. «Дедов» начищенный штиблет был как раз против его лица. Граков на него поглядел и поморщился. Но «дед» не убрал ногу, пока тот не вылез.

— Не узнаю, — опять сказал Граков. — Сам говоришь: «чепуха», а настроение... Этак ты нам бичей деморализуешь.

— Сходим ко мне в каюту, объясню. И акт покажу.

— У тебя уже и акт составлен? Ну-ну. Группового тоже приглашаешь?

— Конечно, — сказал «дед». И подал групповому руку. — Он-то, надеюсь, и поймёт.

Граков опять потемнел, но смолчал.

Пробыли они у «деда» минут пятнадцать. Вышли, заглянули через планширь. Мы гурьбой стояли поодаль.

— Что-то сомнительно, — Граков поглядел на группового. — Как твоё мнение?

Тот опять заглянул, как будто ему мало было одного раза.

— Не мешает прислушаться к Бабилову.

— А мы что делаем, Иван Кузьмич? — Граков спросил досадливо. — Мы разве не прислушались? Но надо же решать по существу.

Групповой пожал плечами. Решать ему очень не хотелось. Граков подождал и отвернулся от него.

— Что ж, Сергей Андреич. Твои соображения, конечно, весомые. Тем более, ты акт составил. Стал, так сказать, на официальную позицию. Тем самым ты с себя ответственность как бы снимаешь...

«Дед» как будто не слушал его, смотрел на фарерские сопки.

— Ну, естественно, ты о безопасности обязан думать. На то ты и стармех. Никто тебя не осудит, если ты находишь, что судно — аварийное и надо его вести в док. В таких случаях лучше, как говорится, перестраховаться. Никто не осудит, ты прав. Но стране рыба нужна, вот в чём дело. Мы все это помним. Стране нужна рыба.

«Дед» поглядел на него как-то устало.

— Стране тоже и рыбаки нужны.

Граков засмеялся, оценил шутку.

— Метафизик ты, Сергей Андреич. Отделяешь людей от дела. Ну, что ж... Вот они-то пусть и решают. А, рыбаки? Как — уйдём в порт или останемся на промысле, выполним трудовой долг? Тут первое слово — команде. Не возражаешь?

«Дед» чего-то сказать хотел, но повернулся и пошёл прочь. Мы расступились, дали ему пройти.

— Ну, утопленники, — Граков к нам подошёл, — ваше слово! Никто за вас его не скажет. Опасность некоторая, конечно, есть. Бабилов механик знающий. Но и мы с вами тоже кое-что знаем. Как люди плавают. В каких, понимаете, условиях. Когда необходимость велит. Про это ведь в акте не напишешь...

Мы стояли толпой, переминались. Потом Шурка спросил:

— Ну, дак чего? В порт, значит, не идём?

Граков ему улыбнулся.

— Хочешь, чтоб я тебе приказал? А я, наоборот, тебя хочу послушать, твоё мнение.

— А чего меня слушать? На жопу поглядеть, как нам её поцеловали.

— Это ты называешь «поцеловали»? Я думаю, это по-другому называется. Это на вашу жопу только «обратили внимание». Так точнее будет, верно? Да сам же ваш Бабилов — слыхали? — «чепуха» говорит, заварить — раз плюнуть.

Я сказал:

— Он не про это говорит.

Шурка от меня отмахнулся, чуть не со злостью.

— Да будет вам хреновину плести с твоим «дедом»! Помешались на этой заплате.

Граков переглянулся с групповым.

— Я ж говорю, совсем он их деморализовал.

Тот лишь пожал плечами, не ответил. Тут Ванька Обод вперёд выступил.

— Лично я вот списаться хочу... Это как, можно или нет?

Граков поглядел на него строго. Ванька весь ужался.

— Как фамилия?

— Да чо «фамилия»? Вопрос нельзя задать?

— Ну, а всё-таки, фамилия у тебя есть? Или ты её стесняешься? Вот у меня — Граков, все знают. А ты у нас — беспризорный, что ли? Иван, не помнящий родства?

Ванька помялся, выдавил из себя:

— Чо это не помнящий? Иван Обод я...

— Родила, наконец! Значит, списаться хочешь, Иван Обод? Товарищей бросишь?

— К доктору я на приём записан. Ещё раньше.

— Болен, значит? Плохо себя чувствуешь? Это другое дело, прости. Это вопрос не принципиальный. Конечно, держать не будем. Причина вполне уважительная.

Бондарь спросил:

— А другим нельзя? Ребров моя фамилия.

— Можно, Ребров. Представь себе, можно. Каждый, кто хочет списаться, может это сделать. В установленном порядке. Подать заявление капитану, получить у второго штурмана аттестат и так далее. Держать никого не собираемся. Боязливые да робкие нам не нужны. Коллектив у нас здоровый, а от балласта освободится — ещё здоровее будет. Так, орлы?

Он улыбался, всё своё золото выставил, а руку положил на плечо — тому, кто поближе. А ближе всех к нему Митрохин стоял, чокнутый наш, моргал белесыми ресницами. И тут же он встрепенулся весь, покраснел, даже затрясся — от злости, что ли, или знамение ему привиделось.

— Что мы стоим, действительно, лясы точим! Работать надо! Чиниться. А думать — не хрена, ребята. А ну, айда работать!

— О-о! — Граков удивился даже, потрепал его по плечу. — Гляди-ка, Иван Кузьмич. Мы тут насчёт железа беспокоимся, а на этом железе — ещё люди плавают!

Чокнутый наш рванулся — куда-то чего-то вкалывать.

— Ну, ребятки, — Граков нам сказал. — Давайте-ка, действительно, делов у нас хватает, не будем розовым мечтам предаваться.

Мы постояли и разошлись. Тут лишь заметили, что сварщики уже протянули провода к корме, притащили с катера пару стальных листов. А всё — пока мы лясы точили.

— Веселей, веселей на палубе! — Это уже старпом покрикивал из рубки. — Заспались.

Шурка с ним задрался:

— Сиди там. Скажи спасибо, что не разжаловали.

— Ты с кем разговариваешь?

— С кем! С тобой.

— А ты глаза разинь. Ты не со мной с одним.

А за ним, действительно, кеп стоял — хмурый, шапку на брови надвинул. К нему тоже как будто относилось.

— А я вообще говорю. Кой-кого не мешало бы разжаловать!

Кеп там отошёл вглубь. Я Шурку взял за рукав, увёл от греха подальше.

Отдраили трюма, стали бочки катать на полубак. Это — чтоб корма задралась. Всё делали молча, но каждую минуту готовы были сорваться. Так оно вскорости и вышло.

Кепу идея пришла — на полубак ещё и сетей натаскать. Это нужно весь порядок, уложенный для выметки, разрушить, а потом его снова набирать. И много ли толку от сетей — в них, в каждой-то, тридцать кило весу; это чтобы увеличить дифферент на сантиметр, нужно сеток полста, не меньше. Мы их таскали, таскали, потом соображать начали — что же это мы делаем? А вернее — дрифтер обо что-то споткнулся. И озверел.

— Посылают командовать лопухов на нашу голову, так их и так и разэтак!

А тихо было, и кеп, конечно, услышал. Он уж, поди, и сам не рад был, что такая идея ему пришла, но команда отдана, отменить — амбиция не позволяет.

— Скородумов, ты это про кого?

Мы бросили сетки, расселись на них и закурили. Спектакля ждём.

— А я, — говорит дрифтер, — про тех, к кому это относится.

— Скородумов, у меня к тебе давно есть претензия. Не нравишься ты мне, Скородумов.

— А я не затем плаваю и не за то деньги получаю, чтоб кому-то там нравиться.

— Так вот, Скородумов, больше нам с тобой не плавать.

— Да упаси господь! Только до порта дойти, а там расплюёмся. Ну, это уж потерпим недельку.

— Нет, не недельку, Скородумов. Насчёт порта — вопрос решённый.

Дрифтер так и сел. Мы б тоже так и сели, но уж и так сидели.

— Когда это он решённый?

— Извини, с тобой не посоветовались. Так что можешь — в индивидуальном порядке. Мы тебе замену найдём.

Дрифтер молча взял сетку и потащил. Мы за ним. Лицо у него свекольное стало, и все слова в горле застряли.

— Хорош! — Кеп наконец скомандовал. — Больше не таскайте.

А мы всего-то штук двадцать перетаскали.

— Как это «хорош»? Или уж все таскать или не браться было...

Но кеп уже там удалился. Вместо него старпом выглядывал.

— Ладно, Скородумов, покричали и хватит. Тебе сказано — хорош.

— Дак эти-то что — обратно таскать?

Старпом задумался.

— Валяйте, — говорит, — обратно.

Бог ты мой, что тут сделалось! Дрифтер взревел — так что чайки взмыли над Фугле-фиордом, пошёл неверным шагом к полатям*, вытащил багор и кинулся с ним наперевес к рубке. Старпом уже, наверно, с жизнью простился, стоял, как памятник на своей могиле. Впятером мы дрифтера завернули, увели в кубрик. Там он минут через сколько-то успокоился и вышел с помощником — шкерить подбору. Остаёмся мы или уходим, а он её должен срезать со старых сетей, негодных, а в порту сдать — она ценная, сизальская.

А мы всё катали бочки, пока не сказали нам «хорош», задралась корма, можно заваривать пробоину.

Боцман соорудил беседку — два штерта и доска, — на ней мы обоих сварщиков смайнали за борт. Один там дрелью сверлил отверстия в обшивке, другой кувалдой выстукивал края пробоины.

— Эй, сварщики! — Шурка им орал. — Вы там варите как следует. Потонем — вас же совесть замучит.

* Полати — лёгкий дощатый помост, расположенный выше человеческого роста, между мачтой и капом. Используется для самого разнообразного хозяйства.

Нам с Васькой Буровым боцман вручил по лопате — мокрый уголь из каптёрки штывать в пробоину. Его там до чёрта насыпалось — трубу разорвало, по которой он сыплется из бункера, вся вода от него почернела.

— Эй, сварщики, — Васька шептал им в дыру. — Ни хрена не варите, поняли? Одних бичей слушайте. Сварите себе тяп-ляп, чтоб она снова потом бы разошлась.

— Да не поймёшь вас, ребятки, кого слушать.

Они и не слушали, грохали по обшивке. Дрель визжала как зарезанная.

— Давай, Васька, штывай, — сказал я ему.

— Да погоди, вожаковый, посачкуем. Никто ж нас тут не видит.

Я один штывал. Что толку сачковать — когда в дыре сидишь, грохот в ушах, визг. Но Ваську хоть за ноги подвесь — он и так сачковать будет. Сидел на кадушке с капустой и всё перекуривал да перекуривал.

Пришёл старпом — взглянуть на нашу работу.

— Сколько выгребли?

— Сто шидисят три лопаты, — Васька говорит.

— Он, значит, работает, а ты считаешь?

— Как же не считать? Мы ж по очереди. Вдвоём же не развернуться, продуктивность снижается.

Он хороший сачок, образованный. Спросил даже, с большой готовностью:

— До сколька штывать, старпом? До тыщи или до трёх?

— Пока сухой не пойдёт.

— Ясно, это считай — тыща семьсот лопат.

Старпом постоял и ушёл.

— Кури смело, — говорит мне Васька. — Слыхал? «Пока сухой не пойдёт».

— Ну, так нам тут работы суток на трое.

— Что ты! Его, если хочешь знать, вообще штывать не надо. Думаешь, он мокрый не горит? Его специально водой поливают, спроси у кандея.

Я бросил лопату.

— Так чего ж мы с ним возимся?

— А не возись! Я ж те говорю — кури. Ну, шевели полегоньку, а то на палубу выгонят.

Я снова лопату взял.

— Не напрягайся, — сказал Васька. — Это ж мы всегда можем сказать: «сухой пошёл».

— Так они ж увидят.

— А мы сами сухого подсыпем. Из бункера приволокём и затолкаем в трубу. Ты, Сеня, молодой ещё, дак за артельного держись. Я с дураками всю жизнь дела имею, а с ними-то больше научишься, чем с умными.

Но недолго мы блаженствовали. Граков пришёл — я его ботинки увидал, с замшевым верхом. Стоял и стоял у нас над душой, пришлось тут и Ваське включиться в работу.

Вдруг он нас спрашивает, Граков:

— Это кто велел?

Я всё кидаю лопату за лопатой.

— Кто приказал уголь в воду бросать?

— Мало ли, — говорю, — умников на пароходе.

— А у тебя у самого голова на плечах имеется?

Я встал, опершись на лопату, и заглянул вверх.

— Ну, вы потише, меня родная мама с детства не обижала.

— Грубый матрос, — говорит он мне. — Совершаешь двойную бесхозяйственность и грубишь при этом старшему. Уголь надо сушить, а не бросать в воду. А второе — дно засоряешь в бухте. По конвенции мы здесь окурок не имеем права бросить за борт.

Это он всё правильно говорил. Но мне его тоже подколоть захотелось.

— А моё дело маленькое. Обращайтесь к старпому, пускай своё приказание отменит.

— Так вот я тебе приказываю.

— Вы? А кто вы такой на судне, прошу извинения? Я вас просто знать не знаю.

Он постоял, постоял. А я всё кидаю, с таким это даже увлечением.

— Ну, что ж, — говорит. — Формально ты прав.

— И кстати, — говорю, — пожалуйста, со мной на «вы».

Он не ответил, ушёл. Скоро старпом прибежал, весь пылающий.

— Хорош! — говорит. — Сколько перекидали?

— Шешнадцать лопат, — ответил Васька. — Только же начали.

Но вылезти нам тоже не дали. Полез групповой механик в люк — поглядеть, как там выстучали края пробоины.

— Порядок, можно притягивать.

Сварщики завели снаружи стальной лист, приложили его к обшивке, в каптёрке стало темно. В дыры, что они там просверлили, мы им просунули тросы от полиспаста,

зацепили его за пиллерс и все трое потянули дружно. Лист пошёл – с жалобным стоном, со скрежетом. Они его начали приваривать – от электрода по эту сторону пролёг кровавый шов, запахло окалиной и каким-то газом. Мы очумели, пока держали этот чёртов полиспаст. Потом групповой взял второй электрод и начал изнутри заваривать. Мы ещё и ослепли.

Васька заорал благим матом:

– Пустите на волю, бороду спалю!

Отпустил он нас с богом – откашливаться на воздушок.

На палубе Шурка с Серёгой замешивали жидким стеклом цемент, боцман стругал доски для опалубки. Как ни заварят, а надо же ещё зацементировать. Но с таким усердием они это делали, как будто утром не они орали: «В порт! В порт!» Шурка прямо взмок от страсти. Потом побежал к сварщикам, отнял у них электрод, сам заварил верхний шов. И язык при этом высунул, так ему это дело нравилось.

Ну, правда, шовчик он им показал – высший класс! Ровненький, гладкий, а потом мы его зачистили, суриком покрыли, закрасили чернью – и вовсе его не стало видно. Шурка поплевал на него, пошёл гордый, руки в карманах. Я напомнил:

– А говорил – ни к чему не прикоснёшься.

– Так, земеля, это же не рыбацкая работа! Это же себе удовольствие.

– Завтра и рыбацкая начнётся. Груз сдадим и метнём.

– Ну, метать уж хрена! – Подумал и скривился. – Э, земеля! Конечно, метнём, а что нам ещё остаётся? И не лезь ты ко мне, понял? А то как звездану тебя по уху, земеля!..

Вот так, значит. В таком разрезе. Да мне и самому порт уже и мечтой не казался – ни розовой, ни голубой.

К вечеру мы всё заделали, залили раствором. А через час он у нас потёк, цементный ящик. Это уже когда убрали все бочки с полубака, поставили пароход на ровный киль. Что же теперь – опять корму приподнимать?

– А где там наши каптёрочники? – спросил боцман. Это я, значит, и Васька Буров. – Почерпайте, ребятки.

Васька внизу черпал, я на штерте тащил ведро и выплёскивал с кормы. А воды, конечно, прибывало. Васька почерпал и засачковал.

— Пойдём поспим, вожаковый. Скажем — всю вычерпали, а она потом опять набралась.

— Так потом опять и пригонят.

— Главное — сейчас удрать, пока старпом на вахту не вышел.

Но старпом ещё перед вахтой к нам прибежал.

— Там вода, — говорит.

— Она и будет, — сказал Васька. — Её всю не вычерпаешь.

— Половину вычерпайте.

Мы черпали — она всё прибывала. Вот так в детстве, когда мне есть не хотелось, отец мою ложку брал и чертил по тарелке с супом: «Эту половину съешь, а эту оставь».

Старпом почесал в затылке и принял решение:

— А ну её, задраивайте. Каптёркой пользоваться не будем.

Для чего ж мы тогда вообще эту пробоину латали? — хотелось мне спросить. Заваривали, цементировали... Да у кого спросишь?

Покидали мы бухту чуть свет, ещё ночные огни не погасли в посёлке. Фарерцы в этот день не выходили на промысел. И, наверно, глядели на нас, как на диво — идиоты мы, что ли, уходим из фиорда, когда в Атлантике чёрт-те чего творится. Но нам уже и Атлантика была по колено. Мы только вылезли поглядеть на Фугле, попрощаться, а потом завалились в ящики. Проснулись — только когда закачало.

— Шесть баллов, ребята, не меньше, — сказал Митрохин. — Наверно, не подпустят швартоваться.

— Подпустят, — ответил Шурка. — Нас-то — в первую очередь.

Всё мы уже знали наперёд — до апреля, когда нас никто уже на промысле не удержит, никакой Граков.

В динамике щёлкнуло, затрещало. Мы спохватились — сейчас на палубу позовут. Но это «маркони» вызывал базу. А трансляцию не отключил — то ли забыл про неё, то ли нарочно оставил, чтоб мы в кубриках поразвлеклись.

— Граков говорит, — знакомый голос прорезался. Все приподняли головы. Серёга потянулся с койки, подкрутил погромче. — ...Пробоина серьёзная, но заварили, зацементировали. Приняли решение остаться на промысле, выполнить плановое задание. Сама команда решила, и почти единодушно. Были, конечно, отдельные настроения,

но в общем — ребята боевые, коллектив здоровый, одним словом — моряки!

— Добро, — ответила база. — Вас понял. Привет экипажу. Подходите к моему левому борту.

Мы ещё полежали минуту. Потом Жора-штурман басом своим молодецким скомандовал выходить на швартовку.

5

Мы вчетвером опять в корме оказались — Ванька Обод, салаги и я. Корма подвалила, стала биться о кранец, и с базы подали нам конец.

— Вахтенный! — крикнул Ванька. — Ты никак тот самый?

Вахтенный долго приглядывался. Трудненько было Ваньку узнать под его ушанкой.

— Ну что, залатали вас?

— Да залатали, — Ванька сплюнул. — Только веры у меня нету. Ты к доктору меня записал ай нет?

— А-а... — сказал вахтенный.

— Вот те «а»! Обод у меня фамилия.

— Да записал. Примет.

Сверху уже спускался строп. Бочки у нас так и остались по бортам, когда уходили из Фугле-фиорда. И мы их выгрузили часа за четыре, без перекура. А на последний строп даже не хватило одной. Шурка вместо бочки приладил веник.

— Точка, — сказал Ванька Обод. — Морской закон выполнил, рыбу сдал. Расплевался я с вами, ребятки золотые.

Ухман спустил ему сетку. Ванька поехал, даже не оглянулся на нас.

— Трюма отворяйте, ребята, — сказал ухман. — Тару буду майнать.

Мы отдраили оба трюма и разбежались кто куда. Порожних бочек по двадцать пять штук в стропе — это страшное дело. Строп от мачты к мачте носится, пока ухман выждет момент, и тут он летит на трюм и грохается, и бочки раскатываются по всей палубе. Только успевай их рассовывать по трюмам, потому что уже висит и качается новый строп и нужно от него спасаться.

Мы приняли стропов восемь и сели перекурить, на базе какой-то перерыв вышел.

— Капитана просят! — крикнул ухман.

Высунулся Жора-штурман.

– Капитан у себя в каюте. Акт составляет. Что надо?

– Матросик у вас списывается.

– Какой такой матросик?

А с ухманом рядом уже и Ванька Обод показался. Очень смущенный, личико скорбное.

– Ты, что ли, Обод?

– Ну...

– Списываешься, гад? А с какой такой стати?

– Бюллетень мне выписали.

– А что у тебя?

– Боюсь даже сказать.

– Ну что, на винт намотал?

– Хуже.

– Что ж может быть хуже?

Ванька себя похлопал рукавицей по шапке.

– Тут у меня чего-то.

– А, ну валяй тогда, отдохни душой. Нам психов не надо, сами такие.

– Аттестат бы мне... И шмотки там, в кубрике...

Я сходил, достал Ободов чемоданчик, покидал в него мятые рубашки, носки. Жора сложил аттестат самолётиком и пустил вниз. Ванька стравил штерт, мы к нему привязали чемоданчик, аттестат сунули под крышку.

– Извиняйте, ребята, – сказал Ванька. – Не могу больше.

– Валяй, – сказал Шурка. – Сгинь, сукин сын.

Мы завидовали Ваньке, а потому и злились, никто доброго слова не сказал на прощанье. А чему завидовали – что у нас у самих не хватило духу вот так же гнуть своё до конца?

– Принимай строп! – сказал ухман.

Мы с Шуркой полезли в трюм, другие нам подавали сверху. Порожние бочки – после рыбы – как пёрышки, просто летают у нас в руках. И что-то хоть видишь вокруг. Я вдруг увидел – Шурку. Это одну минуту длилось. Западал снежок, побелил ему волосы и брови, и невольно я засмотрелся на Шурку – до того красив он стал. Лицо – героя, ей-богу, и всё на нём – в полную меру: брови – так брови, вразлёт, глазищи – так уж глазищи, рот – так уж рот. И правда, такого в кино снять – он бы там всех красавчиков забил. Только, наверно, талант ещё нужен... Может, мне бы его – я б такую книгу написал о людях, – как я их по-

нимаю. А мы тут – с бочками... Нет, лучше не думать. А то ещё с круга сопьёшься. И минута эта – прошла.

«Маркони» к нам заглянул.

– Сень, со мной на базу? Аппаратуру надо поднести.

Я поглядел на Шурку.

– Вали, земеля, – Шурка разрешил. – Один управлюсь. Бритву мне там купи электрическую.

Мы полетели с «маркони». Когда внизу стоишь – не так себе всё представляешь. Сетка идёт долго-долго, и дух замирает, когда болтаешься между мачтами, а под тобою – крохотная палуба и кранец бьётся между бортами, вот где страх-то – туда угодить. А когда взлетаешь над бортом плавбазы, ветер набрасывается, отдирает тебя от сетки, а вокруг – пустынное море.

Ухман поймал сетку, повёл к палубе, и мы спрыгнули.

– Погуляй пока, – сказал «маркони». – Я Галку пойду искать.

– С аппаратурой – потом?

– Да ещё, наверно, не починили. А твоей-то, если увижу, сказать, что ты тут?

– Не надо.

– Как хочешь, а то могу. Через минут двадцать сюда приходи. Может, и починили. Да хотя я и один донесу. Там чепуха нести.

Я пошёл искать лавочку, а заодно и базу поглядеть, я на этой ни разу не был.

Рыбный трюм был открыт, и там, на разных уровнях, грузчики укладывали бочки с нашей рыбой. Вот она куда идёт. Мы всё говорим – трудней и опасней нашей работы, на СРТ, нету, но и тут не санаторий. Строп уходит вниз и мотается в трюме, пока его с какой-нибудь палубы не притянут багром. Прорва такая, что в ней бы семиэтажный дом поместился. А если силы не хватит строп притянуть? Да его поведёт на волне? Ведь сорвёшься – костей не соберёшь.

Здесь же, над люком, рокотал конвейер, двигались по нему ящики с сельдью – деликатесного, ящичного посола, – женщины черпали ковшиками из чана тузлук, подливали в ящики. Да и не сразу поймёшь, что это женщины, – они в сапогах, в роканах, в буксах, на головах у них шапки, и лаются не хуже мужиков.

Я спросил у одной, как мне найти лавочку.

– А вниз майнайся, на четвёртую палубу, там спросишь.

— Спасибо.

— На здоровье. Закурить — дай.

Я вынул «Беломор», она сунула рукавицы под мышку, понюхала руки и сморщилась.

— Ну к бесу, дай из твоих рук затянусь. А то в рыбе моешься, рыбой дышишь, дак рыбу ещё и курить?

Я закурил, дал ей затянуться.

— Вот спасибо, хороший. А то душа горела.

Так я и не понял — двадцать ей или сорок.

Я походил по шканцам*, знакомых не встретил, — а была такая надежда, — и хотел уже вниз идти. И вдруг я застыл. Как прилип к палубе. Кого же я тут увидел — Клавку Перевощикову!

Вот уж кого не чаял. Стояла она ко мне боком — в тамбуре, за комингсом, — такая же, как тогда, в столовке: платьице серое с коротким рукавом, фартучек белый, кружево на голове, — а напротив какой-то комсоставский стоял, с двумя шевронами на рукаве, затраливал её как будто. Я туда и сюда прошёл мимо двери — Клавка всё-таки или не Клавка? Сейчас я с ней разговор буду иметь, скажу ей пару ласковых, так чтоб не спутать.

В это время он ей говорит:

— Как же всё-таки, Клавочка?

И пошёл ей баки заливать. Неплохо заливал. Так примерно:

— Если наш маленький роман имеет шансы на продолжение, то он должен развиваться либо по гиперболе, либо — по параболе. Если по гиперболе, то восходящая ветвь устремляется вверх стремительно. Если же мы избираем параболический вариант...

— Вы мне вот чего скажите, — она ему отвечает. — Благоверной не боитесь? Я ведь исключительно за вас беспокоюсь.

Я стал против двери, ждал, когда он её кончит тралить. Только бы она с ним на пару не ушла. Ну что ж, придётся догнать, взять за плечо.

О чём я с ней хотел говорить? О деньгах? Да нет, я уж на них крест положил. И что толку их сейчас требовать, если я тогда в милиции про них замял. Но вам, наверно, тоже бывает интересно — поговорить с человеком, который вам зло причинил — просто так, ни за что. Любопытно же —

* Шканцы — серединная часть палубы.

что он при этом думал? Вот, скажем, Вовчик с Аскольдом — я ведь их и кормил, и поил, и немало денег моих к ним перешло, наверно, ещё до драки. За что же они меня ещё и избили, да с такой злобой? Откуда злоба такая берётся? Или вот эту Клавку взять — ей-то я что сделал плохого? Почему она так со мной обошлась? Не напрасно же они меня к ней потащили. Без неё бы они, пожалуй, не справились, она тут душа всего. Она их и в общагу за мной послала, когда я ушёл из «Арктики», и к себе привезти велела, и там ещё завлекала, чтоб я совсем голову потерял. Слова не скажешь, хорошо сработано. Но что же она при этом думала? Просто — как деньги выманить? Но ведь не до сорока же копеек грабить человека, когда такие берёшь. Тут ещё и злоба была! Так вот — откуда злоба?

— Ценю ваше беспокойство, Клавочка, — он ей заливал. — Но ведь она ж далеко, благоверная, в голубой дымке. Я даже не знаю, существует ли она.

— А глаз-то кругом сколько! —она ему. — Не смущает?

И тут они оба ко мне повернулись.

И что думаете — испугалась она? Смутилась хоть? Заулыбалась во всё лицо, как будто милого встретила.

— Простите, — говорит, — ко мне братик мой пришёл. Я с братиком давно не виделась.

Это я, значит, братик. Тот на меня зыркнул так выразительно: а не смоешься ли ты, братик, туда-то и туда-то? Нет, я ему тем же отвечаю, есть дела поважней ваших тралей-валей. Он ей козырнул и пошёл.

Клавка ко мне шагнула через комингс.

— Здравствуй, сестричка! — говорю. — Не ждала, не ведала? Есть о чём поговорить. Только накинула б что-нибудь, холодно на палубе.

— Ну, что ты! Как же мне может быть холодно, если я тебя встретила! — Протянула мне руку. — Как же не ждала? Третий день тебя высматриваю.

Я руки её не взял. Держал свои в карманах куртки. Клавка себя обняла за голые локти, поёжилась. «Ну что ж, — я подумал, — не хочется тебе в помещении говорить, где свидетели есть, так терпи». Мы с ней отошли подальше от тамбура.

— Как здесь очутилась? Тоже поплавать решила?

— Да рейса на три только, в замену. Тут у них одна в декрет ушла, Анечка Феоктистова. Знаешь её?

— Никого я тут не знаю.

Клавка улыбнулась — так искоса, ехидно.

— Совсем никого? А с какой же я тебя видела? Которая к тебе на пароход лазила.

— А... И как, понравилась она тебе?

Клавка поморщилась.

— Зачем она штаны носит? Скажи, чтоб сняла. А то все думают — у неё ноги кривые.

— Прямые у ней ноги.

— А ты их видал?

— Сколько надо, столько видал.

— Ничего-то ты про её ноги не знаешь.

— Ладно. Тебе-то о чём беспокоиться?

— Да не о чем. У меня ж они не кривые. Просто мне тебя жалко стало.

— Вон чего! Ты и пожалеть умеешь?

Чуть-чуть она только смутилась. Но намёк не приняла.

— Я серьёзно говорю. Неужели ты себя так мало ценишь? Большего не стоишь, да?

На палубе ветрено было, и скулы у меня обтянуло солью, и в глазах было синё от моря, и я себя здесь неуверенно чувствовал, хоть и в куртке был, — и меня понемногу злость начала разбирать: ведь ничем я её не пройму, кошку эту полусонную. Она же меня хитрее. Вот и не накинула на себя ничего, чтоб я весь её вырез наблюдал на груди, до той самой ложбинки.

Крановщик ей покричал сверху:

— Клавка, что пепельницу выставила? Прикрой, я ж так людей могу покалечить!

Так она к нему нарочно ещё повернулась и вырез расправила пошире.

— Быть этого не может, — говорит. — Из-за меня ещё никто не покалечился. Только лишь по своей глупости.

Вот так. И я, наверно, по своей. Я её взял за локоть, повернул к себе.

— Может, поговорим всё же?

— Да, миленький! — Вся подалась ко мне, и глаза прямо влюблённые. — Да! А зачем же я за тобой в море пустилась? Расскажи хоть, как плавается тебе. Меня-то вспоминал или совсем забыл?

— Только тебя и вспоминаю, — говорю. — Днём вспоминаю, а по ночам снишься.

— Что ты говоришь! — Вся просто рассиялась.

— Клавка, — я сказал. — Давай-ка шутки в сторону.

Опять она мне улыбнулась искоса.

— А я думала, когда ты мне руки не подал, она у тебя — в рыбе. А она сухая. Ах ты, рыженький!..

— Какой я тебе рыженький? Какой миленький? У тебя своих там экипаж наберется, меня к ним не приплетай.

— Зачем же приплетать, ты у меня отдельно. Ты к этому, что ли, заревновал — с которым я в тамбуре стояла? Зачем? Такой заливщик типичный, а поговорить-то с ним не о чем. И руки — как у лягушки, бррр! Да мне и смотреть ни на кого не хочется, с тех пор как я тебя увидела.

— Вот именно. Не считая Аскольда твоего.

— Аско-ольда?!

— Ну да, с которым ты осталась.

— Да какой же он мой? Ты что! Он, во-первых, и не остался. И не так-то просто со мной остаться. Меня, знаешь, ещё повалить нужно.

Стояла она передо мной — крепкая, ноги такие сильные, что можно в шторм стоять и ни за что не держаться, плечи — как у солдата развёрнуты, вся подобранная, как будто вот сейчас кинется. И никакой же ветер её не брал, лицо лишь слегка залубенело, грубо так зарумянилось, а руки и грудь — и кожей гусиной не покрылись. Ну, чем такую проймёшь? И я чувствовал — разговор у нас в песок уходит. С ней же нельзя про эти трали-вали, она здесь трёх собак съела, а нужно прямо спрашивать. И я прямо спросил:

— Клавка, зачем ты всё же в море-то пошла? Или денег моих мало показалось? Могла бы и пожить на них...

Вот тут наконец она смутилась. Вся красная стала, даже вырез порозовел.

— Миленький, про деньги я всё скажу. Обязательно, а как же! Я тебе их все верну. Наверно, с этого надо было начать... Ну, прости. Я так обрадовалась, когда тебя встретила. Но ты — неужели только из-за них про меня вспоминал?

— Сколько ж ты мне вернёшь?

Опять она поёжилась, обняла себя за локти.

— Всё, что там было. Триста с чем-то...

Так. Решили они, значит, со мной поделиться. Моим же собственным поделиться. Испугались, вдруг я скандал затею. Ведь я от них прямиком в милицию попал, а что, если я заявил там, и милиция свой розыск начала, ждёт лишь, когда я с моря вернусь, вспомню каких-нибудь

свидетелей... Торгаша, гардеробщика в «Арктике». Таксишника, что нас вёз, — их на весь город человек двадцать и наберётся. Так лучше ж меня опередить, вернуть мне какую-то долю, и с нас взятки гладки, остальное — ты у своей Нинки на Абрам-мысу посеял, пусть там и поищут. Не для того ли ты за мной «в море пустилась»? Бог ты мой, сколько мороки! Знали б вы, что я на них крест поставил...

— Ну, мы всё кончили про деньги? — она спросила.

— Да, всё.

Она помолчала.

— Может быть, там больше было?

— Не было.

— Вот, слава богу... А другого разговора у нас не будет? Не приготовил, да?

Так и спросила — «не приготовил»?

— Вот здорово, ещё я специально готовиться должен!

— А как же! Разве я не думала, какие тебе слова скажу, если встречу? Просто не вышло... из-за этих денег. Никак я не могу к тебе пробиться. То так жить без меня не мог... Обиделся, что тогда тебя побили?

— Ну, за это я отдельно как-нибудь посчитаюсь.

— А так тебе и надо, если хочешь знать. Ты вспомни, как ты себя вёл. Или совсем ничего не помнишь?

— Ладно, — я сказал. — Кончили об этом. Никакого разговора у нас и быть не должно. Кто я тебе? И ты мне — кто? Поняла?

Она кивнула молча.

— Эти ты мне вернёшь, а всё остальное, что вы из меня вытрясли... Пользуйтесь, никуда я заявлять не буду.

— Там, значит, больше было?

— А то не знаешь?

— Сколько же?

— Тысяча. Ну, почти тысяча.

— Ой, много! — Она вздохнула чуть не горестно. — Где же ты столько растерял? Может, когда на Абрам-мыс ездил?..

— Клавка, — я сказал, — ну, что ты финтишь? Насквозь же я тебя вижу!

— Господи, ну не знаю я, где твои деньги! Пропили они, наверно...

— Пропили?!

Отчего меня так поразило, что именно пропили? Ну, ясное дело, не дворцы же они строили с хрустальными

палатами на мои шиши! Но я так представил себе – вот я сегодня с этими бочками... а они там, на берегу, в каком-нибудь шалмане; может, даже в тот самый час... Хорошо ли им пилось? Хорошо ли вспоминалось обо мне? Может, даже пропустили по одной за моё драгоценное. Вот так. Пропили... Я их – убью. Ну, я же их убью, другой же кары у меня нету для них. Пусть меня судят. В суде, в зале, свои же будут сидеть, такие же моряки или их жёны, они-то знают, как я эти шиши заработал. И вот пришли подлые лодыри, нелюди, сволочь подзаборная, и накололи меня на эту девку, и ограбили. И добро бы ещё, употребили эти деньги на что путное. Так нет же. Промотали. Пропили.

– Уйди, – сказал я Клавке. – Уйди, пока я тебя не пришил тут же. Никогда мне не попадайся на глаза.

Она себя взяла за плечи, как будто ей тут-то и стало холодно. Прикрыла наконец свой вырез.

– Что ты на меня кричишь? – спросила чуть не со слезой в голосе. Хотя вовсе я не кричал, я тихо ей сказал, сквозь зубы. – Думаешь, я боюсь тебя, бич несчастный? Что ты можешь мне сделать? Чем ты мне грозишь? Я, знаешь ли, криканная. Мужиками битая. Родителями проклятая. Ревизорами пуганная. Мне за себя уже ничего не страшно. А ты вот – жизни не понимаешь, рыженький! С тобой по-хорошему, а ты на людей кидаешься.

– Я ещё на тебя не кинулся. Я ещё всех слов тебе не сказал.

– Да уж, какие ты там слова для меня приберёг... Слышала. И сама умею.

Она пошла от меня, застучала каблучками по палубе. С полдороги повернулась, спросила:

– Говорят, вы на промысле остаётесь?

– Тебе-то что?

– Теперь – ничего. Вам счастливо, с пробоиной. Авось не потонете. Значит, до апреля?

– Значит, так.

– Ну вот, в апреле и получишь свои деньги. Скажи хоть спасибо, я эти-то у них отняла. Когда они в коридоре их подбирали.

– Постой...

– Да нет уж, я всё сказала, что тебя мучило. А стоять мне больше некогда. Я тоже, знаешь, тут не пассажирка...

Она ушла в тамбур и прикрыла броневую дверь с задрайками.

Лицо у меня горело как ошпаренное. Так, значит? Не понимаю я жизни? Я закурил, глядел на траулеры, которые внизу шарахались и бились об кранцы. Может быть, и не понимаю... Вообще, всё так гнусно вышло, и ведь вовсе я не собирался скандалить. Но почему я верить ей должен — когда уж так погорел хорошо? И ещё спасибо ей скажи. А зайди за этими деньгами в апреле, так, может, без шмоток последних останешься, там такая шарага. Надо бы кореша взять с собою, он и свидетелем будет, и поможет в случае чего. Главное — этой кошке не верить, никому не верить, когда дело грошей касается. Это дело вонючее, тут каждый сам не свой делается...

Ладно, закрыли пока тему, пошёл я эту лавочку искать. Спустился на четвёртую палубу — и сразу в другую жизнь попал: ковры по всему коридору, стеклянные двери, переборки пластиком обшиты «под малахит», в салонах телевизоры, читальные столы, ребята в бобочках играют в пинг-понг. То-то сюда дикарей неохотно пускают: поди, приглянется им здесь — так и с траулеров посбегают. От нас же только отдача требуется, а живут — другие. Ну, правда, они наших денег не получают, да хорошо б нам их как-то попридержать, наши деньги, тоже не выходит.

И Клавка эта запутанная всё-таки не шла у меня из головы. Отчего-то мне и жалко её вдруг стало. Ну, прибилась она к этой роскошной жизни, кому-то небось и в лапу сунула, чтоб её сюда взяли, да может, как раз мои кровные и пригодились, — так ведь какая цена вшивым этим деньгам: сколько ещё юлить приходится перед «бичом несчастным», страхом душу уродовать, любовь, видите, изображать! В общем, я так решил — не пойду я за ними в апреле. Разве что она сама захочет меня разыскать. Не понимаю я жизни — так лучше от всего от этого подальше.

Вломился я в лавочку — в сапожищах, как бегемот, заорал с порога:

— Бритвы электрические есть?

А там — тишина, как в церкви, тихонько вентилятор жужжал, и два парня в бобочках чинненько беседовали с продавцом, отрез выбирали на костюм. Все только покосились на меня и головами покачали: видали дурня с мороза?

А и в самом деле — чего спрашивать? Да тут всего, что душа пожелает, навалом: и костюмы, какие хочешь, из

шевиота, из бостона, и бритвы эти пяти сортов, и лезвия «Блю Матадор», и транзисторы, и магнитофоны стерео. А платить – ничего не надо. Вот просто не надо – и всё. Только предъяви матросскую книжку, чтоб тебя в ведомости отметили, и пальцем ткни: «Вот это мне заверните». Тоже великое слово – «потом»! Оттого ты себя и впрямь Рокфеллером чувствуешь, хватаешь чего ни попадя, а потом-то и окажется при расчёте, что всего на какой-нибудь месяц и заработано – пожить. А то ещё, бывает, и в долгу окажешься: ведь по аттестату, покуда плаваешь, тоже капает – жене, детишкам, родителям. Спалил бы я эту лавочку – сколько биографий спас бы! И свою, между прочим: как минимум я из-за этого «потом» лишних две экспедиции отплавал.

Лично я ничего не стал покупать, только бритву взял по Шуркиной книжке – самую, конечно, дорогую, Шурка же мне не простит, если дешёвую. Продавец мне чего-то мурлыкал – как она включается на 127, на 220, как ножи менять, а я думал – ещё повезло Шурке, что он до этой лавочки не дорвался, он бы не бритву, он бы сейчас два костюма отхватил, которые потом в шкафу будут висеть ненадёванные, покуда жена не загонит в комиссионке за полцены. Когда ему костюмы носить? Удивительно – каким горбом, какими мозолями мы эти деньги зашибаем и как стараемся побыстрее размотать! Но может быть, если таким горбом, если такими мозолями, такой каторгой, так это уже – и не деньги? Может, они уже как-то по-другому должны называться? Неужели же я за деньги – жизнь отдаю? Не согласен. А вот для Клавки-то этой – они, пожалуй, деньги. Она их, как я, не размотает, всё в дело пойдёт. Так чего ж я на неё кидаюсь? Бог с ней, пусть пользуется, всё справедливо. И мне сразу легче стало.

А больше на всей этой базе мне делать было нечего. Если даже и знакомые плавали, где их найдёшь в этом муравейнике.

У главного трапа дрифтер меня завернул. С каким-то он дружком беседовал – сам в телогрейке, в шапке на глазах, а дружок – причёсанный, брюки в складочку, ковбойка с коротким рукавом. Но весёлые одинаково, прямо лоснились.

– Погоди, Сеня, сейчас сети доберём, поможешь мне.

Разговор у них с дружком был серьёзный:

– Сатаны меня занесли на этот пароход! – дрифтер говорит.

— Да, не повезло тебе, — дружок отвечает.

— Перейду на другой, при первой возможности перейду, вот те крест!

— Конечно, себя ценить надо.

— Хоть на «Сирену» перейду.

— А что, «Сирена» — это пароход!

— Или же — на «Шаляпина».

— А что, «Шаляпин» — тоже пароход!

— А «Скакун» этот — ну его к бесу, это не пароход.

Этак они ещё долго могли травить, пароходов у нас много, но тут чьи-то каблучки застучали и юбка зашелестела, так что внимание у них переключилось.

Прошла мимо нас Клавка, стала всходить по трапу, но приостановилась. Скользнула взглядом по мне, как будто знакомого хотела вспомнить, но не вспомнила.

— Смелей, смелей, Клавочка, — дружок ей сказал. — Мы на тебя снизу смотреть не будем.

— А хоть и смотрите, бельё у меня в порядке.

Дрифтер заржал от удовольствия.

— Ох, Клавочка! — дружок говорит. — За что мы тебя все так любим?

Хотел было руками её достать, но она высоко стояла.

— Если бы все! А то вот этот злодей, в курточке, зверем на меня смотрит. Убить меня хочет.

— Кто, Сеня?! — Дрифтер взревел. — Да какой же он злодей? Да он у нас — душа парохода! Весь экипаж в нём силы черпает в трудные минуты жизни!

— Вот вы его и заездили. Может, и была у него душа когда-то, да вы из него вынули.

— Сень! — Дрифтер ко мне стал приглядываться. — А у тебя и правда взгляд какой-то неродной. Сень, смягчись. Ведь на такую королеву смотришь!

— Правда, — сказала Клавка, — что ты против меня имеешь?

Ты не кошка, я подумал, ты змея. Тебе ещё надо, чтоб я при этих двоих сказал, что я против тебя ничего не имею. Нет уж, что я решил про тебя — то сам решил. А ты от меня слова не дождёшься.

— Да ничо он не имеет, — сказал дрифтер. — Правда ж, Сеня?

— Почему ж молчит? Рыженький, почему молчишь?

— Знак согласия, — сказал дружок.

— Так пойдём тогда, захмелиться дам. Хочется же перед отходом?

— А мне — можно? — спросил дрифтер.

— Вы и так весёлые. А вот он — грустный. А я грустных прямо ненавижу. Вся жизнь от них колесом идёт...

Я всё молчал. Клавка засмеялась, махнула рукой и пошла.

— Чо ты? — сказал дрифтер. — Баба ж тебе авансы выдаёт.

— Ничо не значит, — сказал дружок. — Он правильно держится. Ты правильно держишься, кореш. Она тут не тебе одному авансы выдавала. Вот-вот уже — до дела дошло. А в последнюю минуту — вывёртывается!

Дрифтер отчего-то вздохнул. И опять они за своё принялись:

— А «Боцман Андреев» — это, скажи, не пароход?

— Ещё какой пароход!

Насилу я его оторвал от дружка. Пошли в сетевой трюм. Я спросил по дороге:

— Больше к этой базе не подойдём?

— Нет, Сеня, она нынче в порт уходит, полный груз. Так что упускаешь ты шанс. Если надо — беги, я сетки один донесу.

— Не надо...

В сетевом трюме мы ещё полежали на сетях, — у дрифтера и там дружок обнаружился, — покурили втихаря. И когда выехали на лифте на верхнюю палубу, уже смеркалось. Ветер посвежел, и базу сильно раскачивало, срочно нужно было отходить.

Сетки мы покидали к себе на палубу. Пароход ходуном ходил, и одна в воду угодила, Серёга её багром вытаскивал — с матушкиной помощью. В это-то время я и увидел Лилю — в брезентовом дождевике с капюшоном. Смотрела через планширь на наш пароход. Может быть, слышала, как я ругался, когда Серёге наставления давал.

Подошла, подала руку. Рука у неё всё та же была — теплая, сухая и крепкая. И та же улыбка — милая, немного смущённая. Но что-то переменилось у нас с нею. Не знаю даже что. Как будто и нечему было меняться.

— А я уже ваш СРТ отличаю. У него на мачте самолётик с пропеллером.

— Это не только у нашего, многие делают.

— Для чего?

— Так, игрушка. Пропеллер вертится — всё веселее.

— Но я всё-таки различила!

Дрифтер увидел, что я задержался, и тоже решил куда-то сбегать.

— Сень, ты меня дожди, вместе спустимся.

Она спросила:

— Пробоина у вас — серьёзная?

— Авось не потонем.

— Почему — авось?

— Всё в море случается.

— Так просто, само по себе? А мне говорили — серьёзная.

— Чепуха, дело не в ней.

— А в чём же?

Я хотел рассказать ей про «дедовы» опасения, но раздумал. Долго рассказывать, да и не к чему ей.

— Тоже чепуха...

— А у вас, я слышала, списался кто-то. Я думала — ты.

— Нет, не я.

— Я знаю. Просто, подумала — как было бы славно, если бы ты. Поплыли бы вместе. Мы ведь сейчас уходим, ты знаешь? Гракова только дождёмся, он там у вашего кепа в каюте.

А ведь и правда, всё можно было переиграть. Позвать Жору-штурмана, наврать ему что-нибудь, он же у Ваньки Обода бюллетень не спрашивал. Кто-нибудь мне подаст шмотки, а я Шурке смайнаю бритву. Не забыть бы только сказать, чтоб Фомку выпустили. И мы поплывём на этом чудном лайнере. Вместе, вдвоём. Ах, синее море, белый пароход!

— Не решаешься? Знаешь, тут даже все удивились, когда вы решили остаться, я многих расспрашивала. Вы просто дети! Какое-то дикое легкомыслие. «Авось обойдётся». Ты же понимаешь, что это глупо? Разве мужество в том, чтобы лезть очертя голову?

В первый раз ей не всё равно было, что со мной будет. В первый раз она меня просила о чём-то, предлагала. Это понимать надо!

— Что же я, сбегу, как крыса, а другие останутся?

— Вот чего ты боишься! Лучше, конечно, утонуть за компанию.

— Ну, не обязательно утонуть...

— Ты же сам сказал — в море всё случается. Боишься быть не как все?

Это правда, я этого боялся. Но вот «дед» не боялся «быть не как все», а тоже оставался.

– Насмешек боишься? Неужели это всего страшнее?

Я когда-то мечтал о такой минуте, когда она обо мне озаботится. А теперь она не то что заботилась, она за меня боялась. Но радостно мне не стало. Если б даже я и списался, так с «дедом» могло без меня случиться, и я бы себя всю жизнь за это казнил.

– Ну, решайся.

Нашего «Скакуна» подкинуло на волне, приложило бортом о кранец. Она вздрогнула.

– Если б меня четвертовали, я бы и то не согласилась!

И так она это сказала испуганно, что я вдруг её притянул к себе и поцеловал – в губы. Они у неё были холодные и чуть потресканные. Я сам от себя этого не ожидал, и она не ждала, отшатнулась. И от этого ещё больше смутилась.

– Ну вот, здрасьте... Какая лирика.

Сверху послышалось из динамиков:

– Восемьсот пятнадцатый, поторапливайтесь с отходом!

Внизу Жора-штурман высунулся из рубки:

– Ясно-ясно, закругляемся!

Ухман подал сетку. Я подошёл и взялся за неё. По палубе к ней бежали «маркони» и дрифтер.

– Так что же? – спросила Лиля.

– То же самое. Всё обойдётся.

Она сказала, улыбаясь чуть насмешливо:

– Кажется, я всё про тебя поняла.

– И как?

– Такой, как я и думала. Но убедиться всегда ценно.

– Напишешь мне в море?

– А думаешь – это нужно? Ты же для меня чужим мнением не пожертвуешь. А знаешь – был момент, когда мне вдруг так захотелось с тобой... пообщаться, как говорят. Но раз тебе это не нужно, то письма, прости меня...

Мне показалось, она это не только с грустью говорит, но и с каким-то облегчением.

«Маркони» с дрифтером добежали, вцепились в сетку.

– Ну, ни пуха! – Лиля нам всем помахала рукой. – К чертям! Сто футов вам под килем!

– Вот это да! – Дрифтер заревел восторженно. – Вот это женщина!

Сетка взлетела над бортом, над Лилей, и стала опускаться. Вдруг резко остановилась – нас прямо на мачту несло, ухман вовремя углядел. Я поднял голову – Лиля на нас смотрела, приставив ладонь ко лбу. Снизу ей бил в глаза прожектор.

– Что-то у вас не слава богу, – сказал «маркони». – Зря я тебя на базу провёл?

– Я ж говорил – не надо.

Он ей хотел помахать, но сетка пошла круто вниз, на трюма, и Серёга нас принял. Они сразу разбежались. А я остался. Пустая сетка раскачивалась между мачтами и здорово меня соблазняла.

– Восемьсот пятнадцатый! – крикнули с базы. – Отдавайте концы!

Нас подкидывало и с грохотом наваливало на базу. А в рубке никого не было; наверно, и Жора убежал в кепову каюту. Акт же дело суровое, нужно же и расписаться всем, и обмыть его.

А дальше – вот что произошло. Я был на палубе один, смотрел на Лилю. Не знаю, видела она меня или нет, глаза у неё сощурились от прожектора, и казалось – она глядит как-то презрительно. Потом – её тоже не стало. Ровный планширь, ни одной головы над ним.

Тогда я пошёл за роканом, чтоб зря куртку не пачкать, – концы-то, по-видимому, мне отдавать придётся, все уже спать залегли, – а когда вышел, сверху мне крикнули:

– Вахтенный!

Там стоял ухман.

– Ваших людей всех смайнали?

– Всех!

– А наших – всех вывирали?

– Всех!

Я сперва сказал, а потом вспомнил про Гракова. Он же там ещё посиживал у кепа, подписывал акт, или выпивал уже по этому поводу, или чёрт его знает что делал, а в это время его ждали, и волна била траулер о базу.

– Тогда я сетку уберу? – крикнул ухман.

– Валяй!

Вот так-то лучше, я подумал. Ты тоже останешься. Что бы там ни случилось, но и тебя не минует.

Ухман мне помахал варежкой, спросил:

– А бичи ваши где?

— Попадали в ящики.

Он заржал.

— Уже? Ну, счастливо, вахтенный!

Я хотел ответить, что никакой я не вахтенный, а после решил — а пусть думает. Пусть меня потом узнает, зелёного!

— На «Скакуне»! — С плавбазы крикнули в «матюгальник». — Отдать концы!

Жоры в рубке не было. Сердце у меня стучало как бешеное, когда я пошёл в корму и скинул все шлаги. Конец выпал из клюза и поволочился по воде, и корму сразу начало отжимать течением. Я правду вам скажу, ничего страшного не могло случиться. Просто на конце уже нельзя было подтянуться, для швартовки пришлось бы по новой заходить, вот и всё.

Когда Жора появился в рубке, я уже в капе стоял, в темноте. Он сразу увидел, что корма отвалила.

— Кто конец отдал? Так и так тому туда-то и туда-то! — Потом он включил трансляцию. — Выходи отдать носовой!

Я вышел не сразу и не спеша, как будто услышал команду в кубрике. Жора на меня посветил прожектором.

— Э, кто там? Шалай? Отдай носовой!

Вахтенный с плавбазы принял у меня конец и пожелал всего лучшего. Я вернулся и стал под рубкой.

— Шалай! — крикнул Жора.

— Чисто полубак.

— Ясно. Не ходи никуда, сейчас опять придётся причаливать.

Машина заработала, и мы отходили. Потом они выскочили в рубку — Граков и кеп.

— Кто велел отходить?

— Я велел, — сказал Жора.

Он был настоящий штурман, Жора. Не мог он ответить: «Не знаю, конец сам, наверно, отдался». Он сказал:

— Я велел. Ситуация — аварийная.

— Как же теперь со мной? — спросил Граков.

Не знаю, что там ответил Жора. Они врубили динамик, и Граков сам закричал в микрофон:

— Плавбаза, восемьсот пятнадцатый говорит! Мне — вахтенного штурмана!

База уходила всё дальше, огни её расплывались.

— Вахтенный штурман слушает...

— Прошу разрешить швартовку. Остался человек с плавбазы...

— Швартовку не разрешаю.

— Это Граков говорит. Требую капитана.

Там, на базе, помолчали и ответили:

— Капитана не требуют, а просят. Даю капитана.

Другой голос врубился — по радиотрансляции:

— Капитан слушает!

— Граков говорит. Прошу разрешить швартовку. Мне необходимо пересесть к вам.

— Волна семь баллов, какая может быть швартовка? Оставайтесь на восемьсот пятнадцатом.

— Попросил бы капитана не указывать моё местопребывание. Восемьсот пятнадцатый уходит на промысел.

— Желаю восемьсот пятнадцатому хорошего улова! — сказал капитан плавбазы. Мне послышалось — он там смеётся. — Завтра снимается с промысла восемьсот шестой, вернётесь на нём в порт. Дмитрий Родионович, вы находитесь в здоровом коллективе наших славных моряков. Как-нибудь сутки с ними скоротаете.

— Но мне акт нужно передать!..

— Зачем он мне? Я вам верю на слово.

— Вас понял, — сказал Граков. — Считаю долгом сообщить об инциденте капитан-директору флота.

— Счастливо на промысле. Прекращаю приём.

Всё утихло, кеп с Граковым ушли из рубки. Я стал против окна и сказал Жоре:

— Жора, это я отдал кормовой.

Он даже высунулся по пояс, чтоб на меня поглядеть.

— Ты? Вот сукин сын! Ты соображаешь, что делаешь?

— Всё соображаю.

— И что авария могла быть?

— Не могла, Жора.

Он подумал.

— Скажешь боцману, пусть пошлёт тебя гальюн драить.

— Два.

— Чего «два»?

— Оба гальюна. Ваш и наш.

— Иди спать. Пошли там на руль, кто по списку.

— Есть!

— Сукин ты сын!

База уже едва была видна. В самый сильный бинокль я бы не разглядел человека на борту. Да её там и не было, разве что в иллюминатор откуда-нибудь смотрела.

Погода стала усиливаться, волна брызгами обдавала всё судно. Потом повалил снежный заряд, и пока я шёл к капу, мне всё лицо искололо иглами, и глаз нельзя было открыть. Так я и шёл, как слепой, ощупью.

Всё как в романсе вышло. Мы разошлись, как в море корабли...

Глава четвёртая

«ДЕД»

1

Никто из нас и подумать не мог, что в эту же ночь мы ещё будем метать. Если и пишется хороший косяк — его пропускают, дают команде выспаться после базы. Это святое дело, и всякий кеп это соблюдает, пусть там хоть вся рыба Атлантики проходит под килем. И после отхода мы все легли, только Серёга ушёл на руль. Но тут всё законно: на ходу, да в такую погоду, штурману одному трудно. Хотя я знал и таких штурманов, которые после базы матроса не вызывают — сами и штурвал крутят, и гудят, если туман или снежный заряд.

И вот, когда мы уже все заснули, скатывается рулевой по трапу, вламывается в кубрик и орёт:

— Подымайсь — метать!

Ни одна занавеска не шелохнулась. Тогда он полез по всем койкам — задирать одеяла и дёргать за ноги.

— Ты, Серёга, в своём уме?

— Вставайте, ребята, по-хорошему, всё равно спать не дадут. Сейчас старпом прибежит.

Шурка спросил:

— Может, ещё передумают?

— Ага, долго думали, чтоб передумывать. Кеп-то и сам не хотел: пускай, говорит, отдохнут моряки. Это ему плосконосый в трубу нашептал: косяк мировейший, ни разу так не писалось, а мы к тому же двое суток потеряли промысловых. И Родионыч его поддержал: действительно, говорит, с чего это разнеживаться? Полгруза только сдали и бочки порожние приняли... Подумаешь, устали!

Васька Буров сказал:

— Всё понятно, бичи. Мало что они на промысле остались, теперь им ещё выслужиться надо.

– Ну, дак чего? – спросил Серёга.

– Иди, подымемся.

В капе, слышно было, старпом ему встретился.

– Что так долго чухаются?

– Уйдём-ка лучше, старпом. Невзначай, гляди, сапогом заденут.

Поднимались мы по трапу – как на эшафот, под виселицу. Кругом выло, свистело, мы за снегом друг друга не видели, когда разошлись по местам. Кеп кричал – из белого мрака:

– Скородумов, какие поводцы готовили?

– Никаких не готовили!

– И не надо! Нулевые ставьте!..

«Нулевые» – это значит, совсем без верхних поводцов. Сети прямо к кухтылям привязываются и стоят в полметре от поверхности. Вообще-то редкий случай. Но значит, и правда косяк попался хороший и шёл неглубоко.

– Поехали!

Куда сети уходили, мы тоже не видели – во мглу, в пену. И я не кричал: «Марка! Срост!», а просто рядом с дрифтером присел на корточки и чуть не в ухо ему говорил. Да он и не к маркам привязывал, а как бог на душу положит. Раз мне почудилось – он с закрытыми глазами вяжет. Так оно и было, они то и дело у него слипались, и я держал нож наготове – вдруг у него пальцы попадут под узел. Всё равно бы я, наверно, не успел.

Вернулись, сбросили с себя мокрое на пол, места ж для всех не хватит на батарее, и завалились. Чёрта нас кто теперь к шести разбудит!

Нас и не будили. Мы сами проснулись. И поняли, почему не будят, – шторм.

Серая с рыжиною волна надвигалась горою, нависала, вот-вот накроет с мачтами, вот уже полубак накрыла, окатывает до самой рубки и шипит, пенится, как молодое пиво. Взбираемся потихоньку на гору и с вершины катимся в овраг и уже никогда из него не выберемся. Но выбираемся чудом каким-то.

Всё море изрыто этими оврагами, и мы из одного выползали, чтоб тут же – в другой, в десятый, и всю душу ознобом схватывало, как посмотришь на воду – такая она тяжёлая, как ртуть, так блестит ледяным блеском. Стараешься смотреть на рубку, ждёшь, когда нос задерётся и она окажется внизу, и бежишь по палубе, как с горы, а кто

не успел или споткнулся, тут же его отбрасывает назад, и палуба перед ним встаёт горой.

В салоне набились — по шести на лавку, чтоб не валиться друг на дружку. В иллюминаторе — то небо, то море, то белесое, то тёмно-сизое, как чаячье крыло. Даже фильмы крутить не хотелось, пошли обратно, досыпать.

Васька Буров сказал весело:

— Задул, родной, моряку выходной.

Шурка с Серёгой сыграли кон, пощёлкались нехотя и тоже залегли. Кажется, у них там за сотню перевалило. А может, по новой начали после «поцелуя».

Я лежал, задёрнув занавеску, качало с ног на голову, и ни о чём не хотелось думать. В шторм просто ни о чём не думается. Сколько этот выходной протянется — неделю, две, — это в счёт жизни не идёт. И отдыхом тоже это не назовёшь.

Пришёл Митрохин с руля, ввалился — сапоги чавкают, с телогрейки течёт. Стал новеллу рассказывать — как его прихватило волной. И представьте, у самого капа — ну надо же! Вот это единственное приятно в шторм послушать — как там кого-то прихватило. В особенности когда тебе самому тепло и сухо. Главное ведь — посочувствовать приятно; сам знаешь, каково оно — всю палубу пройти, от десяти волн уберечься, а одиннадцатая тебя персонально у самого капа ждёт. Всё-таки есть в ней что-то живое — и сволочное притом. Не просто так, бессмысленная природа.

А перед тем как заснуть, он сказал:

— Похоже, ребята, что выбирать сегодня придётся.

Машина чуть подработала, выровняла порядок. В соседнем кубрике сменщик Митрохина — бондарь, кажись? ну да, бондарь — натягивал сапоги, слышно было, что мокрые. Стукнул дверью, захлюпал по трапу. Выматерил всю Атлантику — с глубин её до поверхности и от поверхности до глубин небесных, — так ему, верно, теплее было выходить. И опять всё утихло, только шторм не утих.

Шурка первый не выдержал, отдёрнул занавеску.

— Ты чего сказал там?

Митрохин, конечно, с открытыми глазами лежал. Поди пойми — спит он или мечтает.

— Это он сказал — выбирать придётся? Или же мне померещилось?

— Лежи ты, — говорю, — никто ничего не слышал.

— Бичи, кто из нас псих?

Васька Буров закряхтел внизу.

— Кто ж, как не ты. Какого беса выбирать? Девять баллов!

Шурка ещё полежал, послушал.

— Слабеет погода, бичи.

— Умишко у тебя слабеет, — сказал Васька. — Поспи, оно лучшее лечение.

— Да разбудите вы чокнутого! Пусть скажет толком, а то мне не заснуть.

— Вот будешь шуметь, — Васька ему погрозил, — и правда позовут.

С полчаса мы ещё полежали, и вдруг захрипело в динамике и сказали, что да, выбирать.

Я насилу дождался, пока этот чёртов вожак придёт ко мне из моря — так брызги секли лицо. Откатил люковину, нырнул в трюм. А им-то там каково было, на палубе!

Фомка мне обрадовался, придвинулся поближе. А клюв-то какой раззявил! Поди, чувствовал, какая там рыба сидела в сетях. Самый точный был эхолот, я бы ему жалованье платил — наравне со штурманами.

Вот — слышно, как она бацает, тяжёлая, частая. И как в икре оскользаются сапоги, как сетевыборка стонет и шпиль завывает от тяжести. Я было выглянул, но тут мне с ведро примерно пролилось на голову. Это уж я знаю, какой признак, когда волна ко мне залетает в трюм, — не меньше девяти, выбирать нельзя.

Там что-то начали орать, потом дрифтер ко мне прихлюпал:

— Сень, вылазь на фиг!

— Чего там? Обрезаемся?

Но он уже дальше пошёл, ругаясь на чём свет стоит.

Я вылез — вся палуба в рыбе, ребята в ней по колено мотаются, бьются об фальшборт, все икрой измазанные, в розовом снегу. Сеть шла на рол — вся серебряная, вся шевелилась. Я всё это видел с минуту, потом повалил заряд, только чья-нибудь зюйдвестка мелькала или локоть или спина.

Я пробрался к дрифтеру — он у шпиля стоял, смотрел в море. Не знаю, что он там видел — кроме белого снега и чёрной волны. У него самого всё лицо залепило, на зюйдвестке налипли сосульки. Стоял и шептал себе под нос:

— ...мать вашу олухи мозги нам пилят по-страшному сами не ведают что творят и в рыло их и в дыхало...

— Дриф, ты чего?

Обернулся ко мне, с закрытыми глазами, и рявкнул:

— Вир-рай из трюма! Вирай до сроста и обрезаемся!.. А пусть чего хотят делают.

Я выбрал полбухты, закрепил, и он тогда прядины обрезал на сросте.

— Закрывай люковину, ещё кто провалится...

Ощупью я до неё добрался, кинул обрезанный конец и задраил люк. Потом — к сетевыборке, сменил кого-то на тряске. И тряс, ничего уже не видя, не чувствуя ни рук, ни плеч, ни ног, на которых, наверно, по тонне навалилось; не выдрать сапоги из рыбы, разве что ноги из сапог, пока меня дальше не отодвинули — на подтряску.

Потом и трясти уже стало некуда. Из рубки скомандовали:

— Трюма не открывать! Оставить рыбу на борту!

Загородили её рыбоделом, бочками с солью и так оставили — авось не смоет. Всей капеллой повалили в кубрик, роканы и сапоги побросали на трапе. Телогрейки свалили в кучу на пол.

— Всё, бичи, — сказал Шурка. — Последний день живу!

Слышно было, как шёл к себе дрифтер и сказал кому-то, может, и себе самому:

— Списываюсь на первой базе. Хоть в гальюнщики. Нет больше дураков!

Васька Буров лежал, лежал и засмеялся.

— Ты чо там? — спросил Шурка.

— Есть дураки! Не перевелись ещё. Сейчас опять позовут, и что — не выйдем?

— Ну да, позовут...

— А вы кухтыли видали?

— И что — кухтыли? — Шурка свесился через бортик. — Я тебя, главбич, не понимаю. Потрави лучше божественное про волков.

— А чего тут не понимать? Кухтыли наполовину в воду ушли. Там рыба сидит — вы, щенки, такой и не видели! Кило по четыреста на сетку. У меня такая только раз на памяти была.

— Ну, ладно, по четыреста. А как её выберешь, когда трюма не открыть?

Васька вздохнул.

— Вот я и говорю — не перевелись. Разве им, на «голубятнике», рыба теперь нужна? Они сдуру-то выметали,

а теперь порядок боятся утопить. Не хватает кепу теперь ещё сети потерять – его тогда не то что в третьи, его в боцмана разжалуют. Порядок – он деньги стоит. Это слёзки наши ничего не стоят.

Кто-то захлюпал сверху. Мы сжались в койках, нету нас, умерли. А пришёл – кандей Вася.

Мы ему обрадовались, как родному.

– Вась, ты чо ж по палубе-то бежал? Не мог по трансляции объявить?

– У меня ж на камбузе микрофона нету. Ну что, ребятки, кеп велел команду как следует накормить.

А это плохое начало, я вам скажу, когда велят команду накормить «как следует».

– Жалко вас, ребятки. До ночи не расхлебаете.

Вот он почему и бежал по палубе, кандей. Хотелось – нам посочувствовать.

В салоне сидели нахохленные, лицо у каждого и руки – как кирпичом натёрты. Жора-штурман поглядел на нас с усмешечкой:

– Что нерадостные? Такую рыбу берём!

– Где ж мы её берём? – спросил Васька Буров. – Мы её только щупаем да назад отдаём.

Жора плечами пожал. Его вахта ещё не наступила, рано голове болеть.

– Позовёшь выбирать? – спросил Шурка.

– А что думаете – пожалею? – Жора вдруг поглядел на меня. – Это вот кого благодарите.

Все на меня уставились. Жора поднялся и вышел. Я-то понял, что он имел в виду – как я отдал кормовой и оставил Гракова на пароходе. Да, пожалуй, не будь его, кеп бы нас не поднял. Ну что ж, придётся рассказать, рано или поздно узнают. Но тут сам Граков пришёл, сел у двери с краю, где всегда кеп садится.

Кандей ему подал то же, что и нам, только не в миске, а на тарелке, как он штурманам подаёт и «деду». Граков это заметил, вернул ему тарелку в руки.

– Что за иерархия? Ты меня за равноправного члена команды не считаешь?

Вася пошёл за миской. Тоже кандею мороки прибавилось. А Граков глядел на нас, откинувшись, улыбался, вертел ложку в ладонях, как будто прядину сучил.

– Приуныли, носы повесили. А ведь слабая же погода, моряки!

Шурка сказал, не подняв головы:

– Это она в каютке слабая.

– Намёк – поняла. А на палубу попробуй выйди? Это хочешь сказать? А вот пообедаю с тобой – и выйду. Тогда что?

Шурка удивился.

– Ничего. Выйдете, и всё тут.

Пришёл «дед». Мы подвинулись, он тоже сел с краю, против Гракова.

– Как думаешь, Сергей Андреич, – спросил Граков, – поможем палубным? Все вместе на подвахту, дружно? Животы протрясём, я даже капитана думаю сагитировать. А то ведь у этой молодёжи руки опускаются перед таким уловом.

«Дед» молча принял тарелку, молча стал есть.

– Ну, тебе-то, впрочем, не обязательно. С движком, поди, забот хватает?

«Дед» будто не слышал. Нам тоже не по себе стало. Хоть бы он поморщился, что ли. Граков всё улыбался ему, но как-то уже через силу. Потом повернулся к нам – лицо подобрело, лоб посветлел от улыбки.

– Бука он у вас немножко, «дед» ваш. Все мы помалу в тираж выходим. Так не замечаешь, а посмотришь вот на такие молодые рыла, на такую нахальную молодость – грустно, признаться... Да-а. Но вы такими не будете, каким он был. Ах, какой лихой!.. Ты ведь с лопатки начинал, кочегаром, не так, Сергей Андреич?.. С кочегаров, я помню. Так вот, однажды колосники засорились, а топка-то ещё горячая, но полез, представьте, полез там штыковочкой* шуровать, только рогожкой мокрой прикрылся. И никто не приказывал, сам. Говорят, там подмётки у тебя на штиблетах трещали, а?.. Скажете, глупо, зачем в пекло лезть, неужели нельзя лишний час подождать, пока остынет? Да вот нельзя было. Вся страна такое переживала, что лишнюю минуту дорого казалось потерять. Вы-то, пожалуй, этого не поймёте. Да и нам самим иной раз не верится – неужели такое было?.. А – было! Вот так, молодёжь. А вы – чуть закачало: «Ах, штормяга!.. Лучше переждём, перекурим это дело...»

«Дед» лишь раз на него взглянул – быстро, из-под бровей, тусклыми какими-то глазами, – но что-то в них всё

* Штыковая лопата с плоским лезвием.

же затеплилось как будто. Точно бы они там оба чем-то повязаны были, в свои молодые, чего и вправду нам не понять.

Ввалился мотыль Юрочка – в одних штанах, в шлёпанцах, с платком замасленным на шее. Граков к нему повернулся – с добрым таким, мечтательным лицом – и только руками развёл и засмеялся: уж такая это была нахальная молодость, рыло такое смурное, взгляд котиный.

– Вот, поговори с таким... энтузиастом. Про юность мятежную. Поймёт он что-нибудь? Когда в таком виде в салон считает возможным явиться. Ох, распустил вас Сергей Андреич...

– А чо? С вахты... – Юрочка побурел весь, заморгал.

«Дед» ему сказал угрюмо:

– Масла не подливай больше. Я замерял перед пуском, там на ладонь лишку.

Юрочка вытянулся – с большой готовностью.

– Щас отольём немедленно.

– На работающем двигателе не отливают. Масло – в работе. Сегодня, я думаю, дрейфовать придётся, тогда и остановим.

– А может, и не придётся дрейфовать? – Граков уже не «деда» спрашивал, а всех нас. – Выберем и снова – на поиск?

«Дед» отставил тарелку, выпил единым духом компот и пошёл. Граков ему вслед глядел – то ли с печалью, то вроде бы жалостно.

– Как всё ж Бабилов-то сдал. Слышит, наверно, плохо. Ну, и мнение, конечно, трудно переменить, раз оно сложилось и высказано. – Опять он к нам повернулся с улыбкой. – Так как, моряки? Выйдем или перекурим это дело?

– Я – как прикажут, – сказал Шурка.

– Всё ты мне: «Как прикажут»! А сам?

Мы вставали по одному и вылезали – через его колени. Встать да пропустить нас – это он не догадался.

– Так ты меня жди на палубе, – сказал он Шурке. – Ты меня там увидишь, матрос.

Мы его увидели на палубе. С «маркони» он вышел, с механиками, со старпомом, только доспехи ему подобрали новые, ненадёванные. Предложили на выбор – гребок или сачок: не сети же начальству трясти. Он взял – сачок. Сдуру как будто – на гребок нет-нет да обопрёшься в качку, а сачком надо без задержки вкалывать, по пуду забирать

в один замах, тут в два счёта сдохнешь. Да он-то не затем вышел, чтобы сдыхать, — так размахался, что мы только очи вылупили. И ещё покрикивать успевал, хоть и с хрипом:

— Веселей, молодёжь, веселей! Неужто старичков поперёд себя пустим? И-эх, молодё-ожь!..

Уже ему чешуя налипла на брови, и всего залепило снегом, уже кто вышел с ним — понемногу сдохли, только чуть для виду гребками ворочали, — а у него замах такой же и оставался широченный, как будто он вилами сено копнил, и никакая же одышка его не брала. Честное слово, даже нам это передалось, хоть мы и с утра были на палубе. Васька Буров и то сказал с восхищением:

— Вона, как мясо-то размотал! Первый раз такого бзикованного вижу.

Потом не стало его видно, Гракова, заряд повалил стеной, и хрипенья его за волной не слышно. И Жора-штурман скомандовал:

— Обрезайсь!

Но это ещё не конец был, ещё мы два раза выходили и пробовали выбирать. И он исправно с нами выходил и всё нам доказывал, что погода слабая и что он бы за нас, нынешних, за сто двоих бы не отдал — тех, прежних. И мы себе знай трясли, вязли в рыбе, мокрые, мёрзлые до костей, и всё понапрасну — всё равно её смывало в шпигаты, не успевали её отгребать у нас из-под ног, а подбора то и дело застревала в барабане и рвала сети — одну за другой.

— Утиль производим, ребята, — сказал нам дрифтер. Он держал в руках сетку: сплошные дыры, не залатать. Вытащил её из порядка и надёл себе на плечи, как рясу. — Сейчас вот так вот к кепу пойду, покажу ему, чего мы спасаем.

Когда вернулся, на нём лица не было, из глотки только хриплый лай слышался:

— Кончился я, ребята.

— Да кеп-то, кеп чо говорит?

— Обрезайсь! Крепи все предметы по-штормовому. Больше десяти обещают.

Крепили в темноте уже, при прожекторах. Пальцы не гнулись от холода, а ведь узел голой рукой вяжешь, в варежках это не получается, когда они сами колом стоят. Да и не греют они, брезентовые, лучший способ — пальцы во

рту подержать. А мне ещё пришлось стояночный трос волочить да скреплять с вожаком... Когда добрались до коек, уже и согреться не могли, хоть навалили сверху всё, что было.

Пришли кандей Вася с «юношей», притащили чайник ведерный, поили нас, лежачих, из двух кружек. И мы понемножку начали оживать. Наверное, лучше этого нет на свете – когда горячее льётся в тебя после снега, после ветра и стужи, и понемногу ты отходишь, уже руки и ноги – твои, всё тело к тебе возвращается из далёкого далека, уже говорить можешь и улыбаться, уже подумываешь – не встать ли? Не сползать ли куда? Ну, хоть в салон, фильмы покрутить...

Первый Шурка вспомнил:

– А что у нас там за картину «маркони» притащил?

– Спи давай, – сказал Митрохин. – Какое теперь кино? Теперь бы сон хороший увидеть.

Васька Буров пообещал:

– Я тебе сказку расскажу, только не шебуршись.

– Про чего?

– Про то, как король жил. В древнее время. И было у него два верных бича.

– Это как они царевну сватали? – Шурка полез из койки. – Травил уже.

– И вовсе не про то. А как они рыбу-кит поймали и живого ко дворцу доставили.

– Быть этого не может. У меня их братан в Индийском океане каждый день по штуке ловит. Дак он, как вытащат его, тут же от своего веса гибнет. Айда в картину, бичи!

Шурка уже портянки наматывал на столе. Двужильные мы, что ли? Ведь только что помирали!

Из соседнего кубрика тоже пошли, представьте. На палубе ужас что делалось – выглянуть страшно. Но побежали, нырнули в снег и ветер...

А я – задержался. Про Фомку я вспомнил – что надо ему на ночь еды оставить. Не знаю, едят они по ночам или нет, но ведь в трюме сидит, для него там все сутки – ночь. Рыбу всю смыло, но я в шпигатах нашарил ему пару селёдин. Потом отдраил люковину, откатил её. В трюме черно было, глупыша я не увидел.

– Фомка! Рыбки хочешь?

Я хотел кинуть ему, да побоялся – ещё по больному крылу попаду, лучше слазить.

И я сел на комингс, опустил ноги в люк. А рыбу переложил под мышку и прижал локтем. Волна меня ударила в спину и прокатилась дальше, вторая ударила, а я всё не мог нащупать ногой скобу. Тогда я решил спрыгнуть. Оно высоко, конечно, но я-то помнил — там всё-таки бухта вожака уложена, ноги не отобьёшь, лишь бы на лету за скобу не задеть. Я лёг животом на палубу и сполз пониже, пока не протиснулись локти, потом оттолкнулся и полетел.

Я ни за что не задел и не стукнулся, не отбил ног. Потому что упал — в воду.

2

Я рванулся и заорал с испугу, но тут же сообразил, что всего-то мне — по пояс. Ну, может, чуть повыше, дальше-то была куртка, я же в ней пошёл. Но сердце чуть не выпрыгнуло. Я и про люковину забыл — что надо её задраить сперва, а сразу полез искать, откуда просачивается.

Одна переборка была — с грузовым трюмом, лёгкая, дощатая, сквозь неё и просачивалось. Я полез по скобам, ухватился за верхнюю доску и подтянулся. А протиснуться не смог, пришлось две доски вынимать из пазов.

Дальше шли бочки. Они утряслись уже, и я полез прямо по ним по-пластунски. Темень была хоть глаз выколи, и бочки подо мной разъезжались, я больше всего боялся, что руку зажмёт или ногу. А бояться-то нужно было другого — если в трюм хорошо натекло, то ведь бочки всплывут, они ж пустые, и так меня прижмут, что я вздохнуть не смогу. Но этого я как-то не сообразил, иначе б, конечно, не полез.

Наконец я добрался-таки до борта, то есть просто башкой в него стукнулся. Примерно я знал, где может быть шов, я как раз полтрюма прополз. Раздвинул две бочки, лёг между ними, пошарил рукою внизу — руку обожгло струёй. Так и есть, шов разъехался, не знаю — повыше или пониже ватерлинии. Но уж какая тут, к чертям, ватерлиния, когда пароход переваливает с борта на борт и при каждом крене вливается чистых три ведра в трюм.

Те две бочки, между которыми я лежал, я понемногу оттиснул назад, сполз пониже. Вода просачивалась с шипением, с хлюпом, и мне жутко сделалось: влезть-то я влез, а как теперь выберусь? Бочки мои опять сошлись и

наползли на меня. Ну, это вообще-то можно было и предвидеть, но я же сначала делаю, а потом думаю.

И зачем, собственно, я сюда лез? Ну, нашёл я эту дыру, а чем её заткнёшь? Хотя бы подушек натащил из кубрика. Я ещё пониже опустился и прижался к щели спиной, а ногою нашарил пиллерс и упёрся. Хлюпать как будто перестало, но холодило здорово сквозь куртку. А про штаны и говорить нечего. Но всё-таки я неплохо устроился, жить можно, и вливалось по полведра, не больше.

Только я успел это подумать, как меня бочкой шарахнуло по лбу. Хорошо ещё — донышком, не ребром, но гул пошёл будь здоров! Вот это дела, думаю. Так и менингит можно заработать, психом на всю жизнь заделаешься.

Я уже локти выставил, пускай по ним бьёт, рукава всё же на меху. А бочки — только и ждали. Тут же мне руки зажали, не вытащишь. И пока одни держат, другие — лупят. Всё стратегически правильно.

В общем, я хорошо вляпался. И что же, так я и буду всю картину сидеть? Жди, покуда хватятся. Ну, хватятся-то скоро, на судне, если человека в шторм полчаса не видно, его уже ищут. По трансляции вызывают, в гальюны стучатся. Но ведь подумают — меня за борт смыло, станут прожекторами нашаривать. Это на час история, а потом, конечно, в скорбь ударятся по поводу безвременной моей кончины. Кто ж догадается, что я под палубой сижу, с бочками воюю?

Вдруг слышу: пробежал кто-то — по брезенту, по трюмному. Как будто по голове у меня пробацали. Мимо люка пробежал — и не заметил, что он отдраен, вот олух! — скатился в кубрик. За ним ещё один. А первый уже вернулся и говорит ему — как раз над люком:

— Ни в кубрике, ни в гальюне.

— Где ж ещё? За бортом?

А я вам что говорил? Сперва в гальюне поискали, теперь — за бортом.

Позвали унылыми голосами:

— Сень, ты где прячешься? Сень, мать твою, отзовись!..

Я и хотел отозваться, но тут проклятая бочка меня снова шарахнула по лбу. А эти двое куда-то ушли, не слышно их, только ветер воет и волна заливает вожаковый трюм.

Но тут опять чьи-то шаги над головой, медленные, грузные, и вдруг звон — споткнулся обо что-то.

— Кто люковину оставил?

По голосу — «дед».

— Какую?

— Такую, от вожакового... Судить вас мало!

— Да она задраена была.

— Я, значит, отдраил?

Поволокли люковину. Вот те раз, думаю, только я и ждал, когда вы меня закупорите.

Я заорал что было сил:

— Эй, на палубе! Здесь я, живой!

«Дед» наклонился над люком.

— В трюме! Кто там есть?

— Я!

— Кто «я»?

— Да я же, «дед»!

— Ты чего там делаешь? Вылазь.

— Не могу, бочками придавило.

— Черти тебя туда занесли?

«Дед» полез в трюм, сапоги его застучали по скобам.

— «Дед», не лезь дальше!

Но он уже плюхнулся в воду. Выругался, полез ко мне, стал раздвигать бочки.

— Сильно льёт, Алексеич?

— Сейчас помалу. Я спиной держу.

— Так, — сказал «дед». — Затычку изображаешь? Ну, потерпи, милый. Да поберегись — шов дышит, может тебя защемить.

— Ага, спасибо. Буду знать.

«Дед» вылез и закрыл люковину. Опять мне стало страшно. Но там уже какая-то беготня пошла. Пробили водяную тревогу — протяжными гудками и колоколом. Вся палуба загремела от беготни. А я уже совсем закоченел, уже под куртку просочилось до плеч, и локти сплошь избило.

Кто-то опять люковину отдраил:

— Сень, жив там?

Шурка Чмырёв.

— Жив, но бедствую.

— Хреново, значит, тебе живётся? Курить небось охота?

Вот, самый верный вопрос задал человек. А я и не знал, отчего мне так хреново.

— Сейчас покуришь. Смена тебе идёт.

Шурка спрыгнул в воду и охнул. За ним ещё кто-то. Вытащили несколько бочек из-за переборки, пошвыряли в воду. Кто-то начал ко мне протискиваться.

— Сень, ты там особо не расстраивайся, ладно? Всё починим, всё наладим... — Это Серёга Фирстов. —Э, ты там не молчи. Нам твой голос очень даже необходим, Сеня.

— Ладно, ползи давай.

У меня уже язык к зубам примёрз. А он всё полз и расспрашивал:

— И чего это ты сюда забрался? Удивляюсь я, как ты только такие места находишь?

Сто лет он ко мне полз. Но, правда, ему тоже нелегко приходилось. Он языком-то молол, а сам бочки из-под себя выбирал и подавал назад Шурке.

Дополз наконец, ткнулся мне головой в зубы.

— Извини, Сень. Как твоё мнение, полчаса выдержу?

— Я час сидел, не умер.

— Какой час! Полбобины только успели прокрутить.

Ещё одно столетие он бочки раздвигал. Потом закурить решил, сделал пару затяжек и сунул мне в рот «беломорину».

— Давай отвались.

Борт поднялся, и вода схлынула, и я тогда отодвинулся от дыры. Серёга упал на неё спиной. Потом борт пошёл вниз.

— Ой, — говорит он, — холодно!

— А ты думал.

— Рокан прожигает. Ну, Сень, ты озверел! Придумал чего — дыры задницей затыкать. Это же нам никаких задниц не хватит, придётся из-за границы выписывать. Ты б мне подстелил чего-нибудь...

— Что я тебе подстелю?

— А в чём ты сидел? — Он протянул руку и нашарил куртку. — Во, курта своего подстели...

Тут-то я и призадумался.

Мне не куртки было жалко, с ней-то чего могло случиться. Но в ней ещё письма были, от Лили. И последнее, и те, что она мне в прошлые рейсы присылала. Письма она любила писать, это просто редкость в наше время, и — большие, подробные. Я их каждое по двадцать раз читал, все протёр на сгибах. И даже сейчас я их помню, когда от них ничего не осталось. Вот, например,

такое место: «Ты гораздо больше предполагаешь во мне, чем есть на самом деле. Я обыкновенная, душой давно очерствевшая, пошлая, с одной мечтой – как-нибудь сносно выйти замуж, нарожать детей и успокоиться. Почему я тебе кажусь загадкой – это так просто объясняется!.. Мы все – дети тревоги, что-то в нас всё время мечется, стонет, меняется. Но больше всего нам хочется успокоиться, на чём-то остановиться душой, и мы не знаем, что, как только мы этого достигнем, прибьёмся к какому-то берегу, нас уже не будет, а будут довольно-таки твердолобые обыватели. Ты – совсем другое...» Ну, и дальше – про то, что она во мне увидела, чем я её поразил в первую нашу встречу. Может, на самом деле ничего этого и не было во мне, я во всяком случае не замечал, но читать интересно было, никто до неё со мной так не говорил. И может быть, никто никогда так не напишет мне. И даже когда почувствовалось, что расходимся в общем и целом, – там, на «Фёдоре», – я всё же решил эти письма сохранить. Где ж было знать, что теперь придётся их в кулаке переть через залитый трюм. А не вынуть их, оставить в куртке... Не в том дело, что Серёга мог их там нащупать, а просто – суеверие, понимаете? Как будто что-то случилось бы с ними, вот я такой толчок почувствовал в душе.

– Чего ты? – спросил Серёга. – Куртку жалеешь? Не жалей. Мы, может, вообще отсюда не выберемся.

– Брось, не паникуй.

– Да я-то чувствую.

Я снял куртку, сложил её внутрь подкладкой. Серёга отодвинулся, и мы её уложили на шов.

– Теперь порядок, иди грейся. Шурку через полчасика пришли.

Я выполз – и тут вспомнил про Фомку. Нельзя птицу в мокром трюме оставлять, мало ли что дальше будет.

Фомка сидел тихо в гнёздышке, совсем сухой, но в руки сразу пошёл, как я только позвал его: «Фомка, Фомка». И пока я лез по скобам, он весь распластался у меня на ладони, свесил больное крыло. Я хотел его в кубрик отнести, но вдруг он спрыгнул и побежал от меня, вскочил на планширь. Сидел на нём нахохленный, отставив крыло.

– Ну что, Фомка, – сказал я ему, – иди, штормуйся, как можешь.

Волна накатила, захлестнула планширь, а когда схлынула — Фомки уже не было. Я испугался, пробрался к фальшборту. Фомка лежал на крутой волне, сложив крылышки, клювом и грудкой к ветру — как настоящий моряк. Всё-таки он выбрал штормящее море, а не трюм, где ему и сытно было, и тепло. Плохи, должно быть, наши дела, я подумал. Потом заряд налетел, и больше я Фомки не видел.

Под кухтыльником кто-то отвязывал помпу, тащили шланги. Я в гальюне напялил чей-то рокан, выскочил им помогать. Шурка тут был, Васька Буров и Алик.

— А где ж другие?

— Где надо, — сказал Шурка. — В кубрике у механиков натекло. По колено, шмотки плавают. Вот до чего картины доводят. Ещё не дай бог в машину просочится.

— Не дай бог, — сказал я.

— А чего особенного? Вполне могло и в машину.

— Погибаем, но не сдаёмся, — сказал Алик.

Васька на него заорал:

— Плюнь три раза, салага. Плюнь сейчас же!

Алик плюнул.

— Не соображаешь, так помалкивай.

Потащили помпу к вожаковому трюму. Под ногами елозили доски, рыбодел, каталась пустая бочка. Мы спотыкались, падали и снова тащили. Потом опустили шланг и стали качать прямо на палубу — двое на одном плече, двое на другом.

Васька покачал, покачал и спросил:

— Бичи, а бочки-то — со шкантами*?

— Это к чему ты? — спросил Шурка.

— Дак если они заткнутые, они и держать будут, воду не пустят.

Мы бросили качать.

— Это у бондаря надо спросить, — сказал Шурка. — А где он, бондарь? У механиков там качает. Хрен знает. Которые со шкантами, а которые и без шкантов.

— Они же все равно немочёные, — сказал Алик.

И верно, немочёная бочка, хоть и заткнутая, всё равно пропускает.

— Немочёные, дак теперь намочились, — сказал Васька. — Зря качаем.

---

* Шкант — пробка в днище.

Шурка подумал и заорал на него:

— А ну тя в болото, сачок! Я лично тонуть не собираюсь. — И сам закачал как бешеный.

В это время из рубки крикнули:

— Помпу — к машине!

До нас это как-то не сразу дошло.

— А трюма?

— Сказано вам — к машине!

— Дождались, — сказал Васька. — Доехали. А всё ты, салага, накаркал: «Погибаем, погибаем...»

Шурка уже тащил помпу от люка. Я выбрал шланг, крикнул туда, в темень:

— Серёга, жив там?

Ответа никакого. Я испугался до смерти — захлебнулся он там? Или бочками задавило?

— Серёга, гад полосатый!

— Ау! — как из могилы донеслось. — Скоро вы там?

У меня от сердца отлегло.

— Какой скоро! — сказал я ему радостно. — Только начинается.

— Мне сидеть?

— Вылазь.

— Пластырь не будете заводить?

— Вылазь, в машине вода.

Он загромыхал там бочками.

— Зачем же мы с тобой сидели, Сеня?

— Выберешься один?

— Да выберусь... Но сидели, спрашивается, зачем?

— Ладно тебе... Люковину задраишь?

— Да уж задраю. Но учти, Сеня, так ты мне и не ответил.

Я побежал помогать с помпой. Мы её протащили в узкости, между фальшбортом и рубкой, отдраили дверь в коридор. Комингс тут — чуть не до колена, и пока мы эту дуру перетаскивали, все руки себе пооборвали. Но сразу же и забыли про них.

Из шахтной двери пар валил, а сквозь пар мы увидели воду — чёрную, в мазутных разводах. Пайолы кое-где всплыли и носились с волной. Именно с волной — море разливанное бушевало в шахте: то кидалось на переборку, а то накатывало на фундамент, и тогда из-под машины пыхало паром. Даже дико было, что она ещё работает, стучит...

Выходной шланг вывели за дверь, на палубу, а входной опустили в шахту. До воды он не доставал.

Из пара выплыл Юрочка – по колено в воде, но, как всегда, полуголый.

– Олухи, шланг нарóстить не сообразили?

– Чем его нарóстишь? – спросил Шурка. – У тебя запасные есть?

– А нечем – так на хрена тащили? От главного покачаем.

– А что ж не качаете?

– Как это не качаем? Сразу и начали, как потекло.

«Где же ты был, сволочь? – хотелось мне его спросить. – Где ты был, когда «потекло»? Сидел небось на верстаке, вытачивал какую-нибудь зажигалку, пока тебе уже пятку не подмочило. А когда спохватился, так «деда» позвать духу не хватило, сам решил откачать, а сам ты толком не знаешь, как водоотлив включается».

– Чего ж теперь с помпой-то? – спросил Васька. – Опять двадцать пять, назад волоки?

– А кто вам её велел сюда переть?

– Бичи, – сказал Васька, – лучше я спать пойду.

Из-за машины вышел «дед» – тоже весь в пару, но в пиджаке, с галстуком.

– Куда помпу отсылаешь? – сказал он Юрочке. – Прошляпили мы с тобой, так пусть хоть вручную помогут.

Это он потому сказал «мы с тобой», что на вахте моториста «деду» тоже полагается быть – не всю вахту, но заходить, поглядывать. А «дед» сначала кино смотрел, а потом бегал меня искать. Но шляпил-то, конечно, он, Юрочка.

– Так шланг же у них не достаёт, Сергей Андреич.

– Вёдрами пусть почерпают.

– Гуляйте с вашей техникой, – сказал Юрочка.

Опять мы эту дуру перетаскивали через комингс. Но уже до места не тащили, затолкали в угол, лишь бы проходу не мешала. Стали вёдрами черпать – один внизу набирал, двое на трапе передавали, четвёртый с ним бегал к двери, выплескивал на палубу.

Потом Шурку позвали на руль. Вместо него Серёга пришёл – рокан зачем-то скинул, телогрейка в снегу.

– Ты б хоть куртку мою надел, – говорю ему.

– А ничего, Сень, я так. – Он выплеснул ведра три, потом сказал: – Да и нету её, куртки-то.

— Как нету?

— А высосало к чертям в дыру.

Я прямо обалдел.

— А ты куда смотрел?

— А я не смотрел, Сеня. Там же темно, в трюме-то. Я чувствую — жгёт. Пощупал — а куртки и нету. То-то я тебя спрашивал: зачем мы там сидели?

— Чёртов ты хмырь!

— Будет вам лаяться, — сказал Васька Буров. — Нам бы пароход спасти, а по курточке ты после поплачешь. Думаешь, мне твоей курточки не жалко?

— Мне тоже прямо плакать хотелось, — сказал Серёга. — Ты уж прости, Сеня.

Я бы озлился по-настоящему, но сил не было. Мы уже вёдер тридцать вылили. Или сорок, я не считал. Васька Буров, который считал, сказал, что шестьдесят восемь. А воды и на дюйм не убавилось. И паром уже всю шахту застлало, только мелькали чьи-то головы, руки, и показывалось, ехало наверх ведро — наполовину, конечно, расплесканное...

Сменили нас кандей с «юношей» и бондарь.

— Сходите покушайте, ребята, — сказал нам кандей. — Час вам даём. Я там борща наварил.

Он всё же настоящий был повар, всегда у себя на камбузе хозяин. Да нам-то сейчас меньше всего есть хотелось.

— Лучше покемарю я этот час, — сказал Васька Буров. — И вам советую.

Я всё же пошёл вдоль планширя, хотел поглядеть на волну — может, там и волочится моя куртка? — но что увидишь, заряд совсем озверел.

В кубрике повалились в койки, и Васька захрапел тут же. Серёга ещё поворочался, постонал, но тоже затих. А мне вдруг и спать расхотелось — всё я за эти письма переживал. Ну, и за куртку тоже. Вы же помните, чего она мне стоила. Но главное — вот что меня стало мучить: ветер переменится, и она же непременно в Гольфстрим выплывет, а там пароходов — яблоку негде упасть, и кто-нибудь мою куртку подберёт, и будут читать эти письма, не совсем же они размокнут. И как я тогда перед Лилей буду выглядеть? Ведь это по всему флоту пойдёт, какие мы «дети тревоги», они же только четыре тревоги и знают: пожарную, водяную, шлюпочную и «человек за бортом», — вот и сострить повод: «В какую ж тревогу вас

делали, ребятки?» И чем я там её поразил в первую встречу — тоже легендами обрастёт, и никто даже не вспомнит, как их нашли, эти письма, и выйдет — будто я сам их пустил читать. Зачем? А чтоб девку ославить, которая взаимностью не ответила. Я прямо похолодел, как представил себе её лицо. «Ну что ж, я этого, в общем-то, должна была ждать». Уж лучше бы она утонула, проклятая куртка. Но ведь не утонет сразу, шмотки долго носятся по морю, пока из них воздух не выйдет.

Вдруг я услышал — машина сбавила обороты. И сразу начало в борт ударять — не выгребаем, значит, против волны, и лагом нас развернуло.

Я не улежал, пошёл из кубрика. Навстречу Шурка бежал с руля.

— Что там делается?

— Бардак полнейший. Кеп с «дедом» схлестнулись.

— Из-за чего?

— Сходи, послушай. Я — мослы в ящик кидаю.

В коридоре, у шахты, я увидел кепа — в расстёгнутом кителе, шапка на затылке, с ним рядом — Жора-штурман. «Дед» стоял на трапе, весь обрызганный маслом, руки заголены до локтя и тоже все чёрные, в масле.

— Ты понимаешь, что делаешь? — кричал кеп. — Почему обороты сбавил?

— Потому что трещина в картере, масло хлещет.

— Откуда трещина? Почему раньше не было?

«Дед» объяснял терпеливо:

— Была, только не обнаружили сразу. Вода холодная накатила, а он раскалённый, вот и треснул.

— Пусть хлещет, а ты подливай. Заткни её чем хочешь. Ветошью, тряпками.

— Николаич, — сказал «дед». — Не дури, мне тебя слушать стыдно.

Жора-штурман вылез вперёд кепа.

— Ты с кем разговариваешь? — заорал на «деда». — Ты с капитаном разговариваешь. «Не дури»!..

— Правильно, Ножов, — сказал «дед». — С капитаном, не с тобой. Так что помолчи, молодой, шустрый. Капитан же обязан понимать, что, если всё масло вытечет, двигатель заклинит, а хуже того — поршни прогорят, тогда уж его не починишь.

— Ты ещё чинить собираешься?! — кеп прямо взвизгнул.

— Не знаю ещё. Но остановить придётся. От шенибека* будем качать.

— Ты в уме? — спросил кеп. — Нас же на Фареры тащит!

И я почувствовал, как у меня ноги сразу ослабли и холод где-то под ложечкой. Ну, правильно, ветер же обещали остовый, это значит — к Фарерам, на скалы. Сколько ж до них, до этих скал?

— Тебя сети тащат, — сказал «дед». — Ладно, выметал перед штормом, но хоть бы заглубил их. Так ты ещё нулевые поводцы поставил. Вот теперь и подумай — не обрезаться ли от сетей?

— Прибавь обороты! Я знать ничего не хочу!

«Дед» поморщился, как будто у него зуб заболел, поднялся на ступеньку выше и закрыл дверь. Жора её толкнул, но «дед» успел повернуть задрайку.

В шахту ещё одна есть дверь, за углом коридора, против «дедовой» каюты; они туда кинулись. Навстречу вылез второй механик, развёл руками — мол, рад бы вам подчиниться, но выгнал меня Бабилов. Жора его оттолкнул. Но из двери ещё Юрочкин беретик показался, Юрочкина мощнейшая грудь. И уж он вылезал, вылезал — так что «дед» и по этому трапу успел подняться и звякнуть задрайкой.

— Да вы не волнуйтесь, — сказал Юрочка. — Он там один управится.

Кеп замолотил в дверь кулаком. Жора ещё ботинком добавил. Но это уже совсем было глупо, мы б эту дверь всей командой не высадили. Побежали наверх, на ростры — туда окна шахты выходят, стеклянные створки, как у парников. Из створок валил пар, мешался со снегом, с брызгами. «Дед» внизу еле различался у машины.

— Бабилов! — кричал кеп. — Ты под суд пойдёшь!

«Дед» поднял голову:

— Ты лучше с сетями решай. Останавливаю главный.

— Не смей, Бабилов!

Машина ещё поворчала и смолкла. Теперь лишь вспомогач работал на откачку.

Кеп выпрямился. Где-то уж он свою ушанку потерял, и снег ему падал на лысину, ветер раздраивал китель — он ничего не замечал.

---

* Вспомогательный движок, работающий на откачку, подзарядку аккумуляторов и т. п. Некогда в Россию эти двигатели поставляла иностранная фирма с таким названием.

— Тащит на Фареры, — сказал уныло. — Ну что, стрелять в него?

А стрелять у нас было из чего — три боевых винтаря в запломбированной каптёрке: нельзя же судно совсем безоружным выпускать в море. И я уже подумал: что мне-то делать? Тут с ними драку затеять, на рострах? Или ребят позвать на помощь?

— Только это не поможет, — сказал кеп. — Ну что, придётся «SOS» давать...

— Что ж остаётся, — сказал Жора.

Они сошли в рубку. Пар внизу, в шахте, понемногу рассеивался, и я увидел — «дед» согнулся возле машины, сливает масло в огромный противень, и оно хлещет и пенится, брызжет ему на голые руки, в лицо.

— «Дед»! Тебе помочь?

Он поднял голову, сощурился.

— Ты, Алексеич?

— Могу я тебе помочь?

— Ничего, сам попробую. Я двери не хочу отпирать.

— «Дед», это надолго?

— Да если бы раньше! Заварили бы и горя не знали.

— А я тебе сварщика пришлю, первостатейного. Чмырёва Шурку. Он тебе трещину заварит — потом не найдёшь, где и была.

— Давай, пусть постучит три раза.

— Зачем? Я тебе его на штерте смайнаю.

«Дед» сказал весело:

— Это мысль!

Шурку я долго расталкивал, он мычал, брыкался, никак не мог вспомнить, что такое с нами случилось. Я напомнил. Потом мы Серёгу подняли. С полатей стащили поводец и пробрались осторожно на ростры. Шурка всё ещё сонный был, когда мы его сажали в беседочный узел и просовывали между створок.

— Бичи, вы куда это меня, в ад? Я ж вам не прощу!

— В рай, — сказал Серёга. — Где тепло и мухи не кусают.

Мы упёрлись в комингс и потравливали, а Шурка даже, кажется, успел заснуть. «Дед» его поймал и отвёл от машины.

— Штерт закинем, — сказал Серёга. — На всякий случай.

Мы его закинули в море и пошли с ростр. Серёга вдруг стал, схватил меня за рукав. Кто-то маячил на верхнем мостике — без шапки, в раздраенном кителе.

— Кеп, — сказал Серёга.

Мы притаились за трубой. Кеп поднял руку и пальнул из ракетницы. Мы только красную вспышку увидели на миг, над самым стволом, и тут же её как срезало. Он перезарядил и опять пальнул. Опять только вспышка и шипение.

— Доигрались мы, Сеня. Я те говорю, не выберемся.

Мы уже на палубу сошли, а кеп всё палил и палил. Отсюда только выстрел было слышно, а вспышки уже и не видно.

3

Мы вошли в кап. Снизу боцман грохотал, наткнулся на нас.

— Ты и ты, айда якорь стащим.

Втроём, держась друг за дружку, мы добрались до брашпиля, потащили с него брезент. Он там за что-то зацепился, никак не лез. Серёга тащил его за угол и рычал от натуги, а боцман орал на него, чтоб дал сперва распутать.

Волна перехлестнула фальшборт, окатила нас вместе с брашпилем, и вдруг брезент сам взлетел, как живой, его подхватило и понесло. Ну, пёс с ним, с брезентом, но боцман куда делся? Как не было боцмана. Уж не за борт ли смыло? Ну, тут одна надежда — что его второй волной зашвырнёт обратно. Бывают такие от судьбы подарки. Нет, приполз откуда-то на карачках.

— Жив, только руку убил. Брезент хотел догнать.

Серёга на него накинулся:

— Всё скаредничаешь, душу лучше спасай!

— Боцман! — из рубки донеслось. — Шевелись там с якорями!

Мы переждали ещё волну и отдали стопор. Якорь пошёл, плюхнулся, цепь загрохотала в клюзе. Мы ждали, когда он «заберёт». Это всегда чувствуешь по толчку. Иногда и с ног сбивает. Но нас не сбило.

— Не достал, — сказал Серёга. — Глубина там.

— Какая? — сказал боцман. — Эхолот сорок показывает. Давай второй.

Опять мы ждали толчка и не дождались.

— Ползут, — сказал боцман уныло. — Дно не якорное. Чистый камушек тут. Плита.

— А мослов-то сколько! — сказал Серёга.

— Мослов до феньки. Только за них не зацепишься. Пошли, что мы тут выстоим.

Здоровенная волна догнала нас, ударила в спину. Как будто мешком ударило — с мокрым песком, — и я полетел на кап грудью. Там я присел, скорчился, в глазах померкло от боли. Кто-то меня потянул за ворот. Серега мне что-то кричал, я не слышал что. Он меня взял под мышки и рванул.

— Стой вот так, боком! Держись за поручень!

Ага, вот и поручень нашёлся. Я и забыл, что он приварен к переборке. Серёга меня отодрал от него, потащил за собой, втолкнул в дверь.

Мы стояли в капе, прижавшись друг к дружке, зуб на зуб у нас не попадал. А я ещё отдышаться не мог после удара.

Боцман сказал:

— Не работают якоря.

— Не ворожи, — сказал Серёга. — Я вроде бы рывок слышал.

— Цепь-то звякает. Не натянулась.

Что уж он там слышал? Мы только ветер слышали и как волна ухает в борт.

Из рубки Жора-штурман крикнул:

— Страшной, что там у тебя с якорями?

Боцман сложил у рта ладони, крикнул:

— Отдали якоря!

— А сносит!

— Не забрали. Ползут.

— Утильные они у тебя!

— Какие есть.

Жора не ответил, поднял стекло в рубке.

Я вспоминал, как нависали над нами эти скалы, гладкие, как будто их полировали, покрытые льдистым снегом. Все мы, конечно, окажемся в воде, без этого не обойдётся, да на нас и сейчас сухой нитки нет, а до ближайшего селения там десять миль идти в лучшем случае, оледенеем на ветру, не дойдём. Да и не придётся нам идти, сперва ещё нужно на скалы взобраться. На них ещё никто не взобрался. А ведь все жить хотели.

— Утильные! — вдруг сказал боцман. — А ведь у меня ещё якоришко есть. Вот он-то — правда, что утильный.

— Свистишь, — сказал Серёга. — Где он у тебя?

— Махонький, килограмм на сто. Где? В боцманской. Запрятал я его. Мне в порту ревизию делали по металлолому и как раз про этот якоришко спрашивали. А я сказал: утопили его. Вдруг понадобится...

— Ух ты, вологодский! — сказал Серёга. — Учётистый.

Первым боцман шагнул из капа, за ним Серёга и я. Пошли, согнувшись, держались за стояночный трос. За него вообще-то не то что держаться, а близко нельзя подходить в шторм. Но больше-то за что ещё держаться?

Навстречу по тросу двое шли. Васька Буров с Митрохиным. Мы их завернули.

— Ещё б двоих, — сказал боцман.

— А салаги где? — спросил Серёга.

— Качают у механиков в кубрике. Не надо салаг. Кандея возьмём и «юношу».

Мы дошли до кормы и через заднюю дверь вломились в камбуз. Плита топилась, на ней ездила и попыхивала кастрюля, а кандей спал, сидя на табуретке, голова у него моталась по оцинкованному столу.

Мы его растолкали — он схватил черпак, кинулся к своей кастрюле.

— После, — сказал боцман. — Сейчас помоги нам с якорем. «Юноша» где?

— Спит в салоне. — Кандей скинул передник и напялил телогрейку. Она у него сохла над плитой, и теперь от неё пар валил. — А может, не надо «юношу»? Он хуже меня умаялся.

— А справимся вшестером?

— Не справимся — разбудим.

И вот мы вшестером взлезли на крыло мостика, отперли дверь в каптёрку. Понесло оттуда олифой, плесенью, чёрт-те чем ещё — боцман великий был барахольщик. Мы откидывали какие-то банки, обрывки тросов, цепные звенья, мешки, досочки, а боцман светил фонарём и причитал:

— Осторожно, ребятки, тут добра на три парохода хватит.

— Слушай, — спросил Васька Буров, — а может, его и нету, якоря? Ну, померещилось тебе.

Боцман даже обиделся.

— Если хочешь знать, так у боцмана всё, что тебе, дураку, померещится, и то должно быть.

Долго мы ещё копались в этой каше. Вдруг Васька Буров заорал:

— Есть! Держу его за лапу!

— Держи! — боцман тоже заорал. — Таш-ши веселей!

Но не так-то просто было его тащить. Он второй лапой так застрял, что мы впятером не могли выволочь.

— Вот так бы в грунте держал, — сказал Серёга.

Боцман обрадовался:

— Сурово держит? А что думаешь, а может, и в грунте подержит. Только б забрал, родной!

Наконец выволокли его на крыло. Не знаю уж, сколько в нём было весу — может быть, сто, а может, и триста. Упарились мы с ним на все пятьсот. Двое за лапы тащили, трое за веретено, боцман шестым взялся — за скобу.

Потом спускали его по трапу... Как нас тут до смерти не зашибло? Двое внизу подставляли плечи, а другие на них опускали эту тяжесть смертную, да ещё одной рукой каждый, другой-то за поручень держались. Потом тащили в узкости, потом по открытой палубе, и он цеплялся за леера, за бакштаг, на прощанье ещё за кнехт ухитрился.

— Вот вам и утиль! — боцман всё радовался. — Погоди, ребятки, сейчас мы его привяжем. На него вся надёжа!

«Надёжа» лежал на полубаке — самый простой адмиралтейский якорь, лёгонький, как для прогулочной яхты, теперь-то это видно было, а мы лежали вповалку под фальшбортом, нас тут не било волной, а только окатывало сверху, и ждали, пока он привяжет трос, проведёт через швартовный клюз. Он никому не дал помогать, сам мудрил.

— Ну, ребятки, поплюём на него.

От всей души мы на него поплевали, на нашу «надёжу».

— Боже поможи. Теперь вываливай потихоньку.

Всплеска мы почему-то не услышали. Кто-то даже через планширь заглянул — куда он там делся.

— От троса! — боцман наш взревел.

Он посветил фонарём, и мы увидели, как трос летит в клюз и бухта разматывается как бешеная. Но вот перестала, и у нас дыхание захватило. Трос дёрнулся, зазвенел, пошёл царапать клюз.

— Забрал, утильный, — боцман это чуть не шёпотом сказал, погладил трос варежкой.

В капе мы постояли, опять прижавшись друг к дружке, и слушали, слушали. Нет, не лопнул трос. И било уже в другую скулу, нос поворачивался вокруг троса.

— Знать бы, — сказал боцман, — взяли б его на цепь.

— А у тебя и цепь есть утильная? — спросил Серёга.

— У меня всё есть.

Окно в рубке опустилось, Жора закричал весело:

— Страшной, якоря-то — держат!

— Покамест держат.

— А что ж не докладываешь?

— Вот и доложил. — Он всё прислушивался. — Шелестит, — сказал уныло. — Кто слышит? Трос в клюзу шелестит. Трётся.

— Не перетрётся, — сказал Васька Буров. — Может, мешковину подложить?

— Пойду погляжу на него.

Вернулся он весь белый от сосулек, они звенели у него на рокане, как кольчуга.

— Лопнет, — сказал безнадёжно. — Немного подержит, конечно. А потом, конечно, лопнет.

— Что ж делать? — спросил Серёга. — Мы уже всё сделали, что могли.

— Сети надо отдать. Только они там, на «голубятнике», ни за что на это не пойдут.

— Может, сказать им? Они ж не знают, что мы утильный отдали. Всех наших похождений не знают.

— Знают, — сказал Васька Буров. — Когда мы его с мостика спихивали, кто-то из рубки выглядывал. Я видел.

— А всё же... — сказал Серёга. — Что они, жить не хотят?

Боцман первый пошёл, мы за ним. Из рубки нас увидали, опустили стекло. Там видно было Жору-штурмана, а за спиной у него — кепа.

— Что тебе, Страшной? — спросил Жора.

Боцман взлез на трюм, взялся рукой за подстрельник. А мы держались за его рокан.

— Сети надо отдать, Николаич.

Кеп высунулся — в ушанке на бровях, — спросил:

— Ты думаешь, чего говоришь?

— Не выдержит трос. Одна хорошая волна — и лопнет.

— А эти? — спросил Жора. — Чем тебе не хороши?

— Я, Ножов, не тебе говорю. Ты ещё не видал, поди, как гибнут. А вот так и гибнут.

— Знаем, что делаем, — сказал кеп. — Тут люди тоже с головами.

Боцман ещё что-то хотел сказать, подошёл к самой рубке. Но Жора поднял стекло.

— Не ведают, что творят, — боцман затряс головой.

Мы повернули назад, к капу.

— За имущество дрожат, а головы своей не жалко. И на что надеются? А, пусть их, как хотят. Я спать иду.

Он шёл вниз по трапу и всё тряс головой. Кто-то ему врубил свет, лампочка горела вполнакала, и в тусклом свете боцман наш был совсем горбатый.

— Пошли и мы, — сказал кандей Вася. — Неужели никто борща не покушает?

Мы потащились опять в корму.

4

В салоне на лавке спал «юноша» — в тельняшке, в застиранных штанах и босой. Голова у него свесилась, и его всего возило по лавке, тельняшка задиралась на животе, но не просыпался.

Кандей нам налил борща, а сам присел с краю, курил, морщил страдальческое лицо. Миски были горячие зверски, Васька Буров скинул шапку и поставил миску в неё и так штормовал у груди. Мы тоже так сделали. А кандей всё подливал нам, пока мы ему не сказали: «Хорош». Потом попросили у него курева, наше всё вымокло, и задымили. Плафон светил тускло, и мы качались в дыму, как привидения — на щеках зелёные тени, глаза у всех запали.

— Бичи, — сказал Васька Буров, — когда эта вся мура кончится, я знаете чего сделаю? Я на юг поеду, в Крым.

— В отпуск? — спросил Митрохин. — Рано ещё, это бы — в мае.

— Насовсем. Хватит с меня этой холодины, разве ж люди рождаются, чтоб холод терпеть? Никогда мы к нему не привыкнем. Пацанок брошу, бабу брошу. Первое время только греться буду. Даже насчёт жратвы не буду беспокоиться.

— Там тоже зима бывает, — сказал Митрохин.

— Какая? У нас такого лета не бывает, какая там зима. Везёт же людям там жить! А как обогреюсь немножко, я, бичи, халабудку себе построю. Прямо на пляже. Ну, поближе к морю. В Гурзуфе.

Серега сказал:

– Алушта ещё есть, получше твоего Гурзуфа.

– Не знаю. Я в Алуште не был. А Гурзуф – это хорошо, я там целый месяц прожил. Только я там с бабой был и с пацанками, вот что хреново. Хату снимать, харч готовить на четырёх. А одному – ничего мне не надо. Валяйся день целый брюхом к солнышку. И был бы я – Вася Буров из Гурзуфа.

– Так и писать тебе будем, – сказал Серёга. – Васе Бурову в Гурзуф.

– Не надо писать. Вы лучше в гости ко мне приезжайте. Я всех приму, пляж-то большой. Я вам, так и быть, сообщу по-тихому, как меня там найти. Только бабе моей не сообщайте. А то она приедет и опять меня в Атлантику загонит. А в Гурзуфе я прямо затаюсь, как мыша, нипочём она меня не разыщет. И будем мы там жить, бичи, без баб, без семей. А рыбу ловить – исключительно удочкой. Я там таких лобанов ловил закидушкой, на хлебушек. А барабулька, а? Сколько выловим, столько и съедим. Здесь же, у костерочка.

– Это ты самую лучшую сказку сочинил, – сказал Митрохин.

Васька удивился:

– Почему же это сказка? Думаешь, люди так не живут?

– А разве не сказка? – спросил Серёга. – Это как же, без баб? Без них не обойдётся.

– А тогда всё пропало. Нет, бичи. Уж как-нибудь своей малиной, одни мужики.

– Нет, – сказал Серёга. – Всё-таки нельзя, чтоб без баб. Баба – она самая главная ловушка, никуда от неё не убежишь. И все мы это знаем. И всё равно не минуем.

– Уж так ты без них не можешь?

– Я-то? Да хоть год! Это они без нас не могут. Так что – разыщут, не волнуйся. Разобьют малину.

Васька вздохнул.

– Это точно. Поэтому-то, бичи, жизни у нас не получится. Ну, дней десять продержимся, а ради них ехать не стоит, лучше уж сразу и бабу с собой брать, и пацанок.

Мы помолчали, закурили ещё по одной.

– Кого-то несёт, – сказал Серёга.

Старпома к нам принесло. Как раз его вахта кончилась вечерняя. А может, и пораньше его прогнали кеп с Жорой – всё равно они там сейчас заправляли, в рубке. Но пришёл

он – как будто большие дела с себя сложил, и теперь отдохнуть можно заслуженно – уже и безрукавку свою меховую надел, и волосы примочил, и зачесал набок. Кандей пошёл на камбуз за борщом. Старпом сидел, постукивал ложкой по столу и глядел на нас насмешливо. Отчего – непонятно.

– Ишь, расселись, курцы!

– А тебе-то что? – спросил Васька. – Мы своё дело сделали. Теперь ты нам не мешай, мы тебя не тронем.

– Да по мне хоть спите, хоть песни пойте.

Опять же – всё с каким-то презрением, как будто это мы загубили пароход, а он его только спасал.

– Ну, как там, на мостике? – спросил Митрохин. – Что слышно?

– Всё хотите знать?

– Я нет, – сказал Васька. – Я и так всё знаю. «SOS» дали, теперь подождём, чего мы из него высосем.

– Ну да, у тебя забота маленькая.

– А у тебя – большая?

Старпом хмыкнул, принялся было за борщ. Но при этом ещё такую рожу состроил – таинственную, значительную.

– Идёт к нам кто-нибудь? – спросил Серёга. – Хоть один пароходишко? Только ты не кривляйся, мы тебя как человека спрашиваем.

Старпом покраснел до самых волос. Серёга смотрел на него спокойно, даже как будто с жалостью.

– А какой бы ты хотел пароходишко?

– Опять ты кривляешься, – сказал Серёга.

– Ну, база к нам повернула. Доволен? Только ей, базе, знаешь, сколько до нас идти?

– А поближе никого нету?

– Ну, есть один. Из рижского отряда. Это уж сам думай – поближе он или подальше, если ему лагом переть*.

– Понимаю. Лагом бы и я не пошёл при такой погоде. Да уж, как не повезёт, так на всё причины есть.

– А думаешь, мы одни такие невезучие? Иностранец вон ещё бедствует, шотландец. Ему ещё хуже, под самыми Фарерами болтается.

– Помоги ему бог, – сказал Васька. – Чего ж он, дурак, промышлял, в фиорде не спрятался?

– Вот не спрятался.

* То есть бортом к волне.

— А сколько ж всё-таки ей идти, базе-то? — спросил Митрохин.

— Сколько, сколько! Семь вёрст — и всё лесом.

— Опять ты за своё, — сказал Серёга. — И что ты за пустырь, ей-богу! Человек тебя спрашивает, потому что жизнь от этого зависит. Он у тебя любую глупость может спросить, а ты ему обязан ответить, понял?

Старпом кинул ложку.

— Ну что привязались? Пожрать не дадут. Подите всё у кепа спросите.

— А тебе он не отвечает? — спросил Васька.

Старпом, уже около двери, повернулся было огрызнуться — и застыл с открытым ртом. Толчок был еле слышный, только зазвякали миски. И «юноша», который на лавке спал, вздрогнул и проснулся.

— А?.. Куда идти?

— Никуда, — сказал Васька. — Теперь уж всё. Оборвали трос...

Старпом бухнул дверью, побежал.

— Да он и ненадёжный был, — сказал Серёга. — Трос-то.

Наверху затопали, заорали, и мы только успели докурить, как послышалась тревога. Уже не водяная, а шлюпочная — один длинный гудок, шесть коротких.

«Юноша» спросонья кинулся к двери — как был, в тельняшке, в берете, — потом спохватился, стал напяливать белую свою куртку, полотняную.

— Очухайся, — сказал Серёга. — Так в шлюпку и сядешь? Рокан твой вспомни где. И телогрейка.

— А успею? Ребята, вы не спешите, я — мигом.

— Чего нам спешить, — сказал Васька Буров. — Уж посидим перед дорожкой.

Хотелось нам в последнем тепле ещё побыть, побольше его захватить с собою, так вот и повод был — покуда «юноша» одевался, а кандей мешок собирал с аварийным питанием — галеты, консервы, сухофрукты. Вздумал ещё термос взять с борщом, да мы отсоветовали, как его там похлебаешь — из ладоней, что ли?

Телогрейка у «юноши» ссохлась над плитой, теперь на груди не сходилась, а на рокане половины пуговиц не было, да хоть догадался он — посудным полотенцем опоясался. Так, под белым кушаком с кистями, и пошёл за нами на ростры.

Уже кто-то возился около шлюпки, человек пять или шесть, стаскивали с неё брезент. Старпом в рокане бегал вокруг них и орал:

— Не ту! Другую! Кто же наветренную вываливает? Надо — подветренную!..

Из-за шлюпки фигура высунулась, по голосу — дрифтер.

— Сам-то ты смыслишь — какая щас на ветру будет? Пароход-то — рыскает.

— Ты на колдунчик посмотри!

— Сам ты колдунчик. Уйди, без тебя тошно!

— Скородумов, я на тебя управу найду!

— Вот, найди сперва. А покамест я буду командовать.

Снежный заряд перестал, луна блеснула в сизых лохмотьях, и море открылось до горизонта — чёрные валы с оловянными гребнями. Ветром их разбивало в пылищу. Пароход обрывался вниз, катился по ледяному склону, и новый вал вырастал над мачтами. Не приведи бог видеть такое море. Лучше не смотреть, а делать хоть какое-то дело, пока ещё душа жива, хоть что-то в ней теплится.

А шлюпку всё же вот эту и нужно было вываливать первой. Только подгадать бы точно, спустить её как раз, когда ветер с другого борта зайдёт. Шарахался он ужасно, бедный наш пароход. Сети его опять развернули — кормою к волне, это не то, что носом, удары куда сильнее.

Мы налегли на шлюпбалки. Дрифтер с размаху наваливался плечом, хрипел:

— Повело, ребята, повело!

Шлюпбалки скрипели, не поддавались, потом сами пошли с креном. Шлюпка вывалилась и закачалась. Волна прошла гребнем под нею и лизнула в днище.

— Стой! — кричал дрифтер. — Садись трое! Фалинь* трави, фалинь!

— А где он, фалинь?

Трое уже пересели в шлюпку и разбирали вёсла, а фалинь всё не могли найти. Вдруг я увидел — Димка стоит спокойненько, держит его в руках.

— Он же у тебя, салага!

— Это и есть фалинь?

— Да он у него не сро́щенный! — Серёга в темноте разглядел.

---

* Трос, связывающий шлюпку с покидаемым судном, пока в неё не сядут и не оттолкнутся.

Я в это время держал шлюпталь, обе руки у меня были заняты.

— Сращивай! — сказал я Димке. — Учили тебя.

— А чем?

— В боцманском ящике штерт возьми. Знаешь где?

Он метнулся куда-то. Я уже пожалел, что послал его. Но он тут же вернулся с бухточкой.

— Брамшкотом вяжи.

Он скинул варежки, заложил под мышку.

— Брамшкот — это двойной шкот?

— Двойной. Только не спеши.

— Быстрей! — орал дрифтер.

Димка его не слушал. И правильно, фалинь наспех не сро́стишь, так всю шлюпку можно загробить. И мне понравилось, что руки у него не дрожат. И он не торопится в шлюпку.

— Хорош! — сказал я ему. — Я сам потравлю. Иди вниз.

— Зачем?

— Садиться, «зачем».

— Вот так, как есть, без шмоток? — Он поглядел кругом. — Алик, ты где?

— Садись иди, Алик уже там небось.

На рострах осталось нас четверо, по двое на каждую шлюпталь. Эту, я знал, мы не для себя спускаем. Пока сойдём, там уже будет полно. А нам вторую вываливать — для «голубятника». И хорошо, подумал я, как раз будем с «дедом». Если что случится с нашей шлюпкой, мы всё-таки вместе.

Дрифтер кричал снизу:

— Трави помалу, майнай!

Вот тут мы замешкались, одну шлюпталь отчего-то заело, а когда пошла она — то не вовремя, тут бы её, наоборот, попридержать. Как раз пароход вышел из крена и начал заваливаться на другой борт. И шлюпка с размаху стукнулась. Те, кто в ней был, попадали на дно. Но как будто никого не зашибло, никто не крикнул.

— Трави веселей! — орал дрифтер. — Ничего! Не соломенная!

Вдруг я почувствовал, как ослабли лопаря. Это волна подхватила шлюпку. Теперь уже поздно было в неё садиться, а нужно скорее отпихиваться — багром или веслом. А кто-то ещё лез через планширь и не мог перелезть... Шлюпку приподняло и ударило об фальшборт с треском.

Мы навалились на шлюпталь, повели обратно. Шлюпка приподнялась, мы чувствовали её тяжесть.

— Вылазь! — орал дрифтер. — Я удержу!

И правда, удержал её у планширя, пока все не вылезли, потом перескочил сам и отпихнул.

— Вир-рай!

Пока мы её поднимали, она ещё два раза треснулась. Весь борт у неё раскололся, от штевня до штевня, и сквозь трещины ливмя лило. А сверху её и не успело залить, я видел, это она набрала днищем.

Мы её поставили опять в кильблок и закрепили концами лопарей. Но с таким же успехом её можно было и выкинуть.

Пошли вниз. Старпом стал у нас на дороге:

— Куда? Почему шлюпку оставили?

Я шёл первым. Я ему сказал:

— Успокоили шлюпку. Можно кандею отдать на растопку.

— Мореходы, сволочи! А ну — назад, вторую вываливать! Эту — чинить!

Я прошёл мимо.

— Кому говорю? Назад!

Кто-то ему сказал:

— Вот и займись ремонтом. Починишь — тогда позовёшь.

Мы уже до капа добрались, а тифон всё ревел, звал на ростры.

В кубрике Шурка укладывал чемоданчик. Я сразу както почувствовал, что не вышло у них с машиной. И он тоже понял, что у нас не вышло со шлюпкой.

— Заварили? — спросил Серёга.

Шурка закрыл чемоданчик и закинул его на койку.

— Трещина-то что, а вот три поршня прогорело, «дед» через форсунки прощупывал. Это не заваришь.

— Сколько там, девять осталось? — сказал Серёга. — На них можно идти.

— Далёко ли?

Тифон в кубрике всё надрывался.

— Выруби его, — сказал Шурка. — Только расстраивает.

Я подошёл и сорвал провод.

— Так лучше. — Шурка почесал в затылке, опять потянул чемоданчик, достал из него карты.

Серёга сел против него за стол.

— Какой у нас счёт? — спросил Шурка. — И в чью пользу, я что-то забыл?

— Сдавай!

Пришёл Димка и сел в дверях на комингс. Смотрел, как они играют, приглаживал мокрую чёлку, и скулы у него темнели. Вдруг он сказал:

— Всё-таки вы — подонки. Не обижайтесь... Я думал — вы хоть побарахтаетесь до конца. Ещё что-то можно сделать, а вы уже кончились, на лопатках лежите.

Серёга сказал, глядя в карты:

— Плотик есть, на полатях. С вёслами. Хочешь, мы тебе с Аликом его стащим? Может, вы, такие резвые, выгребете?

— Я разве о себе? Мне за вас обидно. Хоть бы вы паниковали, я уж не знаю...

— Это зачем? — спросил Шурка. Он поглядел на Ваську Бурова. — Мы с тобой плавали, когда сто пятый тонул?

— Ну!

— Так у них же лучше было. И нахлебали поменьше нас, и движок хоть не совсем скис. А всё равно не выгребли. Так об чём же нам беспокоиться?

— Не об чем, так ходи, — сказал Серёга.

— Отыграться надеешься? — Шурка спросил злорадно. — Не отыграешься.

— Просто слушать вас противно! — сказал Димка.

— А не слушай, — ответил Шурка.

Васька Буров вздохнул — долгим, горестным вздохом, — встал посреди кубрика, ни за что не держась, стащил промокший свитер, нижнюю рубаху. Он, верно, был когда-то силён, а теперь плечи у него обвисли, мускулы сделались как верёвки, когда они много раз порвались, а их снова сплеснивали. Васька обтёрся полотенцем — с наслаждением, как будто из речки вылез в июльский день, — потом из чемодана вынул рубаху — сухую, глаженую, — примерил на себя.

Димка на него глядел сощурясь и скалился.

— Пардон, кажется, состоится обряд надевания белых рубах?

— Ох, — сказал Васька. — Белая, серая... лишь бы сухая. А у тебя что — своей нету чистой? А то могу дать.

— О нет, спасибо.

Васька надел рубаху — она ему была чуть не до колен, — откинул одеяло и лёг. Вытянулся блаженно. Димка встал с комингса, глядел на него, держась за косяк.

Васька сложил руки на груди, сплёл пальцы.

— Бичи, кто закурить даст?

Шурка ему кинул пачку.

— Ох, бичи, до чего ж сладко! — Васька глотнул дыма и выдохнул медленно в подволок. — Я так думаю, мы носом приложимся. Оно и лучше, если носом. Никуда бежать не надо, ни на какую палубу.

Димка сплюнул, пошёл из кубрика, грохнул дверью.

А я смотрел на Васькино лицо, такое успокоенное, на Шурку с Серёгой, на четыре переборки, где всё это с нами произойдёт. Вон та, носовая, сразу разойдётся — и хлынет в трещину. Из двери ещё можно выскочить, но это если у двери и сидеть, — из койки не успеешь. Нет, нам не очень долго мучиться. Может быть, мы и подумать ни о чём не успеем. У берега волна швыряет сильнее, скала в обшивку входит, как в яичную скорлупу...

Так, — я подумал, — ну, а зачем всё это? За что? В чём мы таком провинились?

Я даже засмеялся — со злости. Шурка с Серёгой взглянули на меня — и снова в карты.

А разве не за что? — я подумал. — Разве уж совсем не за что? А может быть, так и следует нам? Потому что мы и есть подонки, салага правду сказал. Мы — шваль, сброд, сарынь, труха на ветру. И это нам — за всё, в чём мы на самом деле виноваты. Не перед кем-нибудь — перед самими собой. За то, что мы звери друг другу — да хуже, чем они, те — если стаей живут — своим не грызут глотки. За то, что делаем работу, а — не любим её и не бросаем. За то, что живём не с теми бабами, с какими нам хочется. За то, что слушаемся дураков, хоть и видим снизу, что они — дураки.

В кубрике всё темнее становилось — уже, наверно, садились там аккумуляторы, — а Шурка с Серёгой всё играли, хотя уже и масть было трудно различить.

— Ничего, — сказал Шурка. — Сейчас у тебя нос будет свечой, хоть совсем плафон вырубай.

Он скинул карту и спросил:

– Васька, тебе кого жалко? Кроме матери, конечно.

Васька, с закрытыми глазами, ответил:

— Матери нет у меня. Пацанок жалко.

— Бабу не жалко?

— Не так. Да она-то мне не родная. Маялась со мной, так теперь облегчится. А пацанки мне родные и любят

меня. Вот с ними-то что будет?.. Но вы не спрашивайте меня, бичи. Я молча полежу.

— А мне бабу жалко, — сказал Шурка. — Что она от меня видела? Только же расписались — и уже лаемся. Перед отходом — и то поругались.

Серёга скинул карту и сказал:

— Ну, это по-доброму. Это ревность.

— Да и не по-доброму тоже хватало... А тебе — кого?

— Многих, — Серёга ответил мрачно. — Всех не упомнишь.

— А тебе, земеля?

Кого же мне было жалко? Если мать не считать и сестрёнку. Корешей я особенных не нажил... Нинка, наверно, заплачет, когда узнает. Хоть у нас и всё кончилось с Нинкой, и, может быть, ей с тем скуластеньким больше повезло — всё равно заплачет, это она умеет. Вот Лиля ещё погрустит. Но утешится быстро: я ведь ей ничего не сделал — ни хорошего, ни плохого. Лишь бы эти письма не всплыли, в куртке. Ну, простит она мне, раз такое дело, да и ничего там не было особенного, в этих письмах, не о чем беспокоиться. Клавке — и то я больше сделал: нахамил, как мог... Чего-то мне вдруг вспомнилась Клавкина комната — шкаф там стоял с зеркалом, полстены занимал — и высоченный, чуть не до потолка, и ещё картинка была из журнала — как раз над кушеткой, где она этой Лидке Нечуевой постелила. Что ж там было, на этой картинке? Женщина какая-то на лошади — вся в чёрном, и лошадь тоже чёрная, глазом горячим косит, слегка на дыбы привстала, даже чувствовалось, что храпит. А к этой женщине тянет руки девчушка, — с балкончика или с крыльца, но в общем через каменные перила, — славная девчушка, и вся она в белом, а волосы — чёрные, как у матери. Да, скорее всего это мать и дочка — уж очень похожи. Вот всё, что вспомнилось, — больше-то сама Клавка меня тогда занимала. Такая она уютная была в халатике, милая, всё так и загорелось у ней в руках, когда мы к ней вломились. Другая б выставила, а она — Лидкину постель тут же скатала, быстро закусь сообразила и выпить, и ещё мне стопку поднесла персонально, когда я на пол сел у батареи... Бог ты мой, а ведь эта комнатёшка, где мы гудели, одна и была — её, она ж ещё шипела на нас: «Тише, черти, соседей перебудите!» — и всё, что я видел, вот это она и нажила. Экая же, подумаешь, хищница, гра-

бительница!.. Да, неладно всё как получилось с Клавкой! Мне вдруг стыдно стало, так горячо стыдно, когда вспомнил, как она стояла передо мной на холоде с голыми локтями, грудью. Что, если она и вправду не виновата ни в чём? А если и виновата – никакие деньги не стоили, чтобы я так с нею говорил. Что же она про меня запомнит?..

– Девку мне одну жалко, – я сказал. – Обидел её ни за что.

– Сильно обидел? – спросил Шурка.

– Да хуже нельзя.

– Не простит она тебе?

– Не знаю... Может, и простит. Но забыть – не забудет.

– А хорошая девка?

– И этого не знаю...

Я встал, пошёл из кубрика.

У соседей дверь была полуоткрыта, и там тоже лежали в койках, под одеялами, одетые в чистое, и курили. Ко мне головы никто не повернул.

5

Наверху, в капе, Алик выливал воду из сапога. Димка его держал за локоть. Я к ним поднялся. Димка взглянул на меня и оскалился.

– Тоже деятели, а? Комики!

– Не надо, – попросил Алик. – Кончай.

– Что, у самого коленки дрожат?

– Ну, дальше? Что из этого?

– Ничего, – сказал Димка. – Как раз ничего, друг мой Алик. Всё естественно. Когда есть личность – ей и должно быть страшно. У неё есть что терять. Вот китайцам, наверное, не страшно. Они – хоть пачками, и ни слова упрёка.

– Кончай, говорю.

– Нет, но где же всё-таки волки? Я думал, они будут спасаться на последнем обломке мачты.

– Ты погоди, – сказал я ему, – до обломков ещё не дошло.

– Ах, ещё нужно этого дожидаться!

Что мне было ему ответить? Я и сам так же думал, как он.

– С тобой это было уже? – спросил Алик меня.

– Ни разу.

— Поэтому ты и спокоен. Не веришь, да?

— Какая разница — верю я или нет? Чему быть, то и будет.

— А я всё-таки до конца не верю.

— Счастливый ты. Так оно легче.

Его будто судорогой передёрнуло. Я пожалел, что сказал ему это. Ведь такое дитя ещё, в смерть никак не поверит. Я-то вот — верю уже. Меня однажды в драке, в Североморске, пряжкой звезданули по голове — я только в госпитале и очнулся. И понял: вот так оно всё и происходит. Мог бы и не проснуться. Смерть — это не когда засыпаешь, смерть — это когда не просыпаешься. Вот с тех пор я и верю.

— Идите в кубрик, ребята, — сказал я им. — Пока вас на палубу не выгнали, мой вам совет: падайте в камыши.

— Эту философию мы тоже знаем, — сказал Димка. — Лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть. А всё само собой образуется?

— Конечно, — говорю. — Само собой.

Алик улыбнулся.

— Шеф, твои слова вселяют в нас уверенность.

— А для чего ж я стараюсь.

Пошли. Вот как просто, думаю, людей успокоить. Начни им доказывать, что мы потому-то и потому-то погибнуть не можем, они расспросами замучают — как да что. А скажи: «Авось пронесёт» — и есть на чём душе успокоиться.

В капе вдруг посветлело — это, я понял, кто-то из рубки к нам идёт, и ему светят прожектором. Так и есть — в дождевике кто-то, в штурманском. Увидел меня, откинул капюшон. Жора-штурман.

— Выходить думаете?

— Выходили. Шлюпку одну успокоили. Теперь-то зачем?

Но он был настроен решительно. Ещё не намок. А сухой мокрого тоже не разумеет.

— А ну, пошли.

Шурка с Серёгой в самый раж вошли, даже не посмотрели на Жору. Салаги только начали разуваться. А Васька всё так и лежал с закрытыми глазами, пальцы сплетя на груди, но — не спал, что-то нашёптывал.

Жора к нему первому подошёл.

— Вставай.

Васька поглядел на него равнодушно, как сквозь него, и уставился в переборку.

– Тревогу для кого играли?

– Не знаю. Не для меня. Меня-то уже ничего не тревожит.

Тут Жора и увидел этот провод, который я сорвал.

– Хари ленивые! Себя уже спасать неохота! В могилу легче, чем на палубу?

Глаза у него и без того красные, как у кролика. А тут дикой кровью налились.

– Тебе бы автомат, – сказал Серёга. – Ты б нас всех тут очередями, да?

Жора шагнул к нему, замахнулся. Серёга начал бледнеть, но глаз не отвёл. Жора его оставил, опять взялся за Ваську.

– Встанешь или нет?

Взял его обеими руками и посадил в койке. А вернее, держал его на весу. Он сильный, Жора. Он бы мог его и к подволоку вздёрнуть, одной левой. Васька захрипел, ворот ему стиснул горло.

Димка и Алик застыли молча. Вдруг Димка стал матовый, сказал, зубы сжав:

– Ну, если б мне так...

Жора поглядел на него и кинул Ваську опять на койку.

– Можно и тебе.

Димка мотнул головой и весь сжался, стал в стойку – левую выставил вперёд, а правой прикрыл челюсть. Но я-то чувствовал, чем это кончится. Жора на ринге не обучался. Но он обучался стоять на палубе в качку. И ни за что не держаться. Он не шатнулся, когда кубрик накренило. А Димка упал спиной на переборку, и от его стойки ничего не осталось.

Кинулся вперёд Алик, выставил руку.

– Вы что? Опомнитесь!..

Я увидел – сейчас он будет бить их обоих. Он их будет бить страшно, в кровь, зубы полетят. И мы все вместе этого бугая не одолеем. Я шагнул Жоре наперерез и обеими руками толкнул в живот. Он не устоял и сел в койку. А я наклонился и взял в руку что потяжелее – сапог.

– С битьём ничего не выйдет, – сказал я Жоре.

Он сидел в койке глубоко – коленями чуть не к подбородку. Пока бы он встал, я бы успел ему всю рожу разбить сапогом. Да просто пальцем повалил бы обратно.

— Ладно, — сказал Жора. — Пусти.

Я бросил сапог. Он выбрался, пошёл к двери.

— Через пять минут не выйдете к шлюпкам — всем, кто тут есть, по тридцать процентов срежу.

— Что так мало? — сказал Шурка. — Валяй все сто.

Васька вдруг всхлипнул. Глаза у него полны были слёз. Шурка повернулся к нему.

— Ты чего, Вась? Не надо...

Васька утёр слёзы кулаком, а они от этого полились ещё сильнее. Это невыносимо смотреть, как бородатый мужик плачет навзрыд. Тут и Жора смутился:

— Не скули, хрена ли я тебе сделал?

— Уйди. В гробу я тебя видел, палач!

— Хватит, — сказал Жора. — Кончай, а то...

— Ну, бей, сволочь! Ударь лежачего!

— Ты встань, — Жора усмехнулся, — будешь стоячим.

— Не встану! Подохну здесь, а не встану! Зачем мне жить, когда такие твари живут, как ты...

Слёзы Ваську совсем задушили.

— Уйди же, — сказал Серёга. — Уйди по-доброму.

Жора нас оглядел и перестал усмехаться. Наверное, дошло до него, что мы кончились, не поднять нас никакой силой.

Он вышиб кулаком дверь, пошёл. Прошел половину трапа и крикнул:

— Шалай! Ну-к, выйди.

Я к нему поднялся.

— Ты всё про свою судьбу понял? Тебе ж не плавать после этого, кончилась твоя карьера. После того, как ты на штурмана руку поднял. Не руку, а сапог...

— На штурмана нельзя, — я сказал. — На матроса можно.

— Дурак, я жаловаться не пойду. Я тебя своими мерами калекой сделаю на всю жизнь. В порту сочтёмся, согласен?

— Хорошо б ещё доплыть до него.

— Что за плешь? Что вы все сопли распустили?

Он повернулся, чтобы идти, и снова стал.

— А не думаешь, Шалай, что вся эта плешь — с тебя началась? Своей вины тут не чувствуешь? Я, между прочим, не доложил никому, как ты кормовой отдал. Так ты бы, дурак, благодарность поимел. А ты мне не даёшь людей поднять по тревоге. За такие вещи знаешь что полагается? Шлёпают — и будь здоров.

— Жора, что же мы делаем! Помощи у других просим, в шлюпки садимся, свой пароход покидаем, а сети — не отдаём.

— Прекрати! Ты за них не ответчик. — Вдруг он наклонился ко мне, к самому лицу. — А хочешь собой, так сказать, пожертвовать — валяй, руби вожак.

Я не ответил.

— Но не советую, — сказал Жора.

Он вынырнул, побежал по палубе, и свет в капе померк. Я сел на ступеньку. Да, так оно и выходит, что с меня началось. Если Фугле-фиорда не считать, где все решали. Вот в этом всё дело, что все. Не на кого пальцем показать. Ну, ладно, пусть на меня. Тогда чего ж я сижу, ведь топор — тут, за капом, в ящике лежит. Раза четыре стукнуть по вожаку — вот и вся жертва. Должен же я что-то для людей сделать, если я же их, оказывается, погубил.

Вдруг я увидел — Димка стоит внизу, тусклый свет падает на него из кубрика. Не знаю, сколько он там стоял. Может быть, слышал наш разговор с Жорой.

Димка прикрыл аккуратно дверь, поднялся ко мне, сел рядом.

— Нужно что-то делать, шеф.

— Вот и я думаю. Только, наверно, поздно.

— Шеф... Правда, что плотик есть на полатях?

— А ты не видел? Ну, он всегда поводцами завален. Белый такой, с красным.

— Он надувной?

— Плотик-то? Нет, железный. Пустотелый.

— Там двое смогут?

— Ну... Вообще-то он тузик.

— Ну и что — тузик?

— Одноместный, значит. Но двое тоже смогут. Хотя опасно.

— Утонет?

— Тесно в нём, трудно грести. Ну, когда жить охота... А что, решились вы с Аликом?

Он придвинулся ко мне.

— Шеф, послушай. Это не так безумно, как кажется... Два дня мы продержимся, а там нас подберут. Здесь же промысел, проезжая дорога. Ведь глупо же, пойми, ехать в открытый гроб. Ведь все уже лежат, лапами кверху. Только мы двое... Я это сейчас понял... Шеф, мы не умрём. Это я точно говорю, умирают же не от шторма, не от голода.

Только – от страха. Это доказано, шеф. Об этом книги написаны. Но мы-то не трусы! Мы хоть побарахтаемся – для очистки совести.

Говорил он прямо как проповедник. Даже глаза у него светились. И я подумал: конечно же, можно. Можно и шлюпку вывалить вторую. Можно плотики сплести из кухтылей, плоты из бочек.

– Да если бы все, как вы! – сказал я ему.

– Шеф, пошли!

Он встал, потащил меня за рукав.

– Куда?

– Пошли сядем в плотик. Пока не поздно.

– Да там же только двое сядут.

– Шеф... Все умерли от страха. А человек жив, пока он хочет жить. Ведь ты хочешь? Если сейчас не рискнём...

– Понимаешь, я ещё «деда» хочу вытащить. Я «деда» не брошу. И Шурку... И Серёгу... И кого ещё?... «Маркони»...

– Им легче будет – с тобой заодно здесь погибнуть?

– Ну, как тебе объяснить? Да что объяснять, ты же Алика не бросишь?

Он не глядел на меня.

– Алика я спросил. Он не рискнёт. Шеф, тут закон простой. В плотик садится, кто хочет. Двое – значит, двое. Иначе не спасётся никто.

Он так печально это сказал, безнадёжно. Мне даже жалко его стало, вот чёрт какой...

– Ну, послушай, – я его посадил рядом. – Ну, я тебе скину плотик. И ящик притащу шлюпочный. Там галеты, вода пресная, бинты. Попробуй один. Одному же легче в тузике. Два свитера наденешь под рокан, от холода ещё умирают, не только от страха. Может быть, выгребешь. И кто тебя упрекнёт, что ты жить хотел?

– Нет, – он замотал головой. – Один умирает. Это я знаю точно. Какие мы все кретины! Какой я кретин!

– Да не убивайся ты, ей-богу. Если б ты по-настоящему хотел, поплыл бы и один.

– А ты?

– Ну, и я бы... Если б меня ничто не держало.

Он вздохнул.

– Нет. Ничего не выйдет.

Вышел из кубрика Алик – в одних носках. Поднялся к нам.

— Ну, что? — спросил беспечным голосом. — Не решаетесь, викинги?

— Ты береги тепло, — я ему посоветовал. — Без сапог не ходи, с ног всё и начинается.

— Иди спать, Алик, — сказал Димка. — Пойдём и мы ляжем. Лапами кверху.

Алик его проводил глазами и сказал мне:

— Шеф, если тут дело во мне, то я — пас. Это действительно так. Мы договорились.

Я взялся за голову.

— Не могу я вас понять. Не могу, и всё. Как это так можно договариваться?

— Тут простой расчёт, шеф. Простой и трезвый.

— Иди к богу в рай! Уйди. Я вас обоих знать не хочу.

— Зачем же злиться? На кого, шеф?

— На себя одного.

— А мы тут при чём?

— Оба вы такие хорошие — сил моих нет!

Я взялся за поручень, поднялся, пошёл вверх. Вдруг сорвался, полетел назад затылком, но чудом вывернулся, звериным каким-то рывком. Сердце у меня чуть не выпрыгивало.

Дрифтерский ящик я легко нашарил, но пока топор искал в темноте, среди всякого барахла, мне всё лицо искололо снегом. Я прижал топор к груди, вытер лицо, а всё не решался идти дальше, на полубак. Его и не видно было, полубака, — сплошная белая мгла и рёв. Но я-то должен был его рубить, мой вожак. То есть не самый вожак, пеньку-то что стоит перерубить, а — плетёный стояночный трос, из стальной жилы. Он и убить может. Ну, ладно, я подумал, это всё-таки моё дело вожаковое, никто за меня его не сделает. Вот разве помог бы кто...

Я увидел — Алик выглядывает, жмётся от холода.

— Пойди, — говорю ему, — к лебёдке, ты всё равно уже намок. Стопор ты знаешь, как отдать. Потравишь немного, а я его рубану на кипе.

— А кто это приказал?

— Э, кто приказал!

Я пошёл как слепой, нашарил трос и потом — по нему, плечом вперёд. Натянут он был, как штанга, и когда я добрался до киповой планки и ударил, топор отскочил, как резиновый. А на тросе — я пощупал — и следа не осталось от удара.

— Давай помогу...

Я оглянулся — Алик стоял у меня за спиной, весь облепленный, лицо в снегу.

— Отвались!

— Ну, что злишься? Давай вместе. Чем тебе помочь?

— Иди в кап, убьёт же концом!

— А тебя?

— Ты смоешься?

Волна накрыла нас обоих, но я успел пригнуться под планширь, а его потащило, только носки его замелькали. И, представьте, он вскочил и снова начал ко мне подбираться. Ладно, мне не до него было.

По две, по три жилки рвались после каждого удара, и трос звенел, как мандолина, отбрасывал топор, будто живой. А часто и по планширю попадало или по кипе. Но я озверел уже, рубил как заведённый. Он делался всё тоньше, готов был уже лопнуть, и я оглянулся — нет ли кого на палубе. Алик стоял у капа, прижавшись.

— Полундра от вожака!

Одной рукой я подобрал полу телогрейки и накрыл голову, а другой рубил.

Полубак пошёл вверх, и трос заскрежетал на кипе — я поостерёгся его рубить, — но тут-то он и лопнул сам. Я не видел, как он хлестнул в воздухе, но по капу удар был, как будто клепальным молотом. А от капа уже — меня по плечу! Я завалился и поехал к трюму. Там только вскочил на ноги. А топора как не было.

Алик стоял на том же месте, держался за поручень. Как его только не задело? Счастливая же у салаги судьба!

— Вот и вся любовь! — сказал я ему почти весело.

Он смотрел на меня молча.

— Пошли.

Я его потащил за собой в кап. Он всё смотрел на меня. А я смотрел на рубку, хотел разглядеть стёкла.

— Там ничего не слышали, — сказал Алик. — Никто не выглянул.

— Услышат ещё. Почувствуют.

— И что тебе за это?

— Как что? Сознательная порча судового имущества. Годков десять, наверно. Ты бы мне сколько дал?

— Никто же не видел.

— А ты?

— Я тоже не видел.

Ах, какой хороший был мальчик! Как он мне нравился!

— Что же ты хочешь, — я спросил, — чтоб кепа за эти сети разжаловали? Или у всей команды бы вычитали?

— А сколько они стоят?

— Сто тысяч. Хоть видал когда-нибудь столько?

— Новыми?

— Настоящими. Золотом.

— Но он же сам мог порваться.

— Мог бы. Но не порвался. И на планшире от топора след.

— Что ж теперь делать?

— Спать. Или жизнь спасать. Только я думаю — всё равно поздно.

В кубрике все почему-то посмотрели на меня. Но никто слова не сказал. Я скинул телогрейку и увидел — всё плечо у неё располосовано, вата торчит наружу. Я её кинул на пол, сел на неё, прислонился к переборке. Плечо ещё только начинало разгораться, хоть первая боль и схлынула.

— Знобит, земеля? — Шурка поднялся, своей телогрейкой, такой же вымокшей, укрыл мне спину. — Ну-ка, уберём тут.

Он скинул всё с камелька, чтоб я мог прислониться, но трубы были чуть тёплые. Но, может, даже лучше к холодному прижаться? Я закрыл глаза, стал уговаривать плечо, чтобы утихло. Иногда помогает. Шурка опять отсел к Серёге — играть.

Не знаю, какое дело я сделал — доброе или злое. Но я его сделал.

Вдруг Митрохин — он рядом со мной сидел на полу — спросил испуганно:

— Что это, ребята?

Я открыл глаза. Свет начал меркнуть. Волосок в лампочке был чуть розовым.

— Ребята, — сказал Митрохин. — Это же конец!

— Не блажи, — сказал Шурка. — «Дед» всю энергию на откачку пустил. Или на стартёр копит.

— Нет, — Митрохин головой замотал. — Я тоже всё верил, что не конец. Нет, нет! Всё уже, ребята, гибнем!

Он забился, как в припадке. А может, это и был при-

падок, он ведь какой-то чокнутый. Шурка с Серёгой кинулись к нему, схватили за руки. Он с такой силой вырывался, что они вдвоём не могли удержать.

— Ребята, я же во всём виноват! Я вас тогда всех погубил. Из-за меня же вы в порт не пошли. Ребята, простите! Можете вы меня простить?

Он мне попал по больному плечу, я чуть не взвыл, толкнул его ногой.

— Молчал бы теперь, сволочь...

Он ещё сильней забился. Кричал что-то через слёзы, слов нельзя было разобрать.

— Свяжите его, ребята, — попросил Васька. — А то я с ума сойду.

Шурка зажал Митрохину рот, и он вдруг присмирел, только мычал тихонько. Они его подняли, перенесли на койку.

— Глаза ему закройте, — сказал Васька. — Он же не спит никогда.

— Спит, — сказал Серёга. — С открытыми-то он и спит.

А свет совсем погас. И слышно было только волну и жалобный стон всего судна.

Я опять прислонился спиной к батарее и закрыл глаза.

6

Не рассказывал я вам про китёнка?

Всё-таки я, наверно, заснул, а в шторм всегда плохое снится. Я многих расспрашивал — на одного дома валятся, и кругом разбитые головы, сломанные руки торчат из-под камней, кровь вперемешку со щебнем; другой — от змей не может избавиться, они по всей комнате ползают, некуда ступить; ещё кто-нибудь голым себя видит — на улице, где полно людей. А мне снится — снежное поле.

Я по нему бреду один, а вокруг намело сугробов, и меня самого заметает снегом. И вдруг мне кажется, что ведь эти сугробы — засыпанные люди, я только что с ними рядом шёл через метель, мы из одной фляжки отпивали по очереди, отогревались спиртом. И вот они все замёрзли, только я один бреду ещё, но и меня сейчас заметёт. И хочу я их всех отрыть, разгребаю снег — вот уже чью-то руку нащупал, холодную, вот чью-то голову. А меня всего леденит, и снег набивается в глаза, в рот и опять

засыпает тех, кого я отрыл. Я уже из сил выбился, и наваливается сон — такой, что я веки приподнять не могу. На минуту мне даже хорошо делается, тепло, но я-то знаю — вот так и замерзают в степи, надо себя пересилить, выбиться из-под снега. И сколько я ни рвусь — всё попадаю то локтем, то коленкой в мёртвые животы, в мёртвые лица, как будто в мешки с камнями.

Вот тут я просыпаюсь, и я думаю: о чём бы вспомнить мне, чтоб страшный этот сон развеялся? Хоть бы о какой-нибудь твари живой, которая только радость доставила и ничего другого. Вот про китёнка, например, это самое лучшее. Я бы хотел его увидеть во сне. Но ни разу он мне не приснился.

Не знаю уж, как это вышло, что он к нам в сети попал; киты ведь у нас селёдку не выедают, как акулы. А этот-то совсем был молочный. Может быть, он мамашу свою потерял, обезумел со страху и носился туда-сюда по морю — пока не напоролся на наш порядок. Запутался, рваться стал и ещё больше намотал на себя сетей. Да не одних сетей, а поводцов и вожака.

И вот под утро вахтенный штурман прибегает в кубрик: «Ребята, сети выбирать. Срочно!» — «А что за срочность такая, что час покемарить не даёшь?» — «Да нечисть какая-то попалась, пароход шатает!» Мы прислушались — и правда, дёргается пароход. Ну что — пошли, вытрясли сколько-то там сетей, подвирали эту нечисть к борту. Оказалось — синий китёнок попался, вот какая нечисть. Но правда — редкость большая, их уже всех почти выбили. Ну, ладно, а что же с ним делать? Обрезаться от него, выкинуть метров двести порядка? Но жалко всем, то есть не порядка жалко, а что погибнет китёнок, он же весь спелёнутый, плавником не пошевелит. А на нём тоже не разрежешь путы, это водолазов нужно звать, да к нему и подплыть опасно, убьёт и не заметит. «Давай на палубу вывирывать, — кеп приказал. — Что ещё остаётся?»

Один шпиль не справился, врубили ещё стояночную лебёдку и ещё «сушилку», которая между мачтами растянута, на ней мы сети сушим, и сетевыборка его тащила.

В общем, все машинки, какие есть на пароходе. Кто-то даже якорный брашпиль предложил приспособить, но побоялись цепью китёнка покалечить. Да мы и так его вытащили — и машинками, и руками тащили за подбору —

сперва хвост, потом всё остальное. Молочный-то он молочный, но зверь будь здоров, хвост у него с одного борта свешивается, а головой он лежал на другом. Сети мы на нём обрезали, растащили, а он себе полёживал, иногда лишь подрагивал кожей. Да мало сказать — подрагивал, от этого все лючины скрипели на трюме. Кто-то догадался — поливать его забортной водой, чтоб шкура не сохла, специально вахтенного к нему приставили. И китёнок совсем успокоился, только посвистывал дыхалом. Красивых он был цветов — сверху чёрно-синий, а к брюху постепенно светлел. И что удивительно — все твари в море холодные, а к нему прикоснёшься — как будто лошадь гладишь по морде, возле ноздрей.

Но что ж теперь делать с ним? Распеленали, а как обратно стащить в море? Это надо стрелу иметь с вылетом за борт, а такой на СРТ нет. Все работы на пароходе прекратились, рыбу не ищем, сетей не мечем: палуба китёнком занята. И не пройти через него, не перепрыгнуть. Пытались через него лазить, но он от этого начинал беситься, сбрасывал с себя людей. Пришлось боцману из досок трап сколотить, и мы по нему бегали через китёнка — из кубрика в салон, из салона в кубрик. Тут кто-то мысль подал: «А давайте его на базу вместо селёдки сдадим, в нём же тонн восемь будет весу. Он нам план порушил, он же нам его и выполнит. Всё равно без базы мы его не смайнаем».

А уже на всех судах заметили, что мы китёнка везём, то и дело нашего «маркони» запрашивают: «Куда тащите кита? В этом возрасте охота на них запрещена, конвенции не знаете?» Насчёт конвенции мы как-то не учли. Ну, мы же не китобои, дела с ней не имели. Кеп расстроился: «Выловил кита на свою голову!» Но делать-то нечего, всё равно к базе идти — у неё машины, у неё стрелы. Чем ближе к базе, тем больше вокруг нас собиралось народу — французов, норвежцев, англичан, фарерцев. Штук восемьдесят судов за нами увязалось, все про свою селёдку забыли, один китёнок и беспокоит. А он — полеживает и посвистывает, не знает ни про какую конвенцию. Когда уже подходили к базе, наперерез нам вышел норвежский крейсер и три вертолёта висели в небе — наверно, фотографировали нас с воздуха.

С крейсера приказали нам:

— Немедленно выпустите кита в море.
— Только об этом и мечтаем. Да снять не можем.
— Как же он оказался на борту?
— Сами удивляемся!

Я помню то утро, когда мы пришвартовались. Штиль был полнейший, ветер едва шевелил флажки на мачтах; синее небо, синяя вода, солнце — как в июле в Крыму. И всё море — в судах, всех флагов суда, и в небе ещё висели вертолёты. С базы нам подали шкентель, и мы китёнка рифовым узлом обвязали за хвост. Крейсер нам ещё посоветовал мешковину подложить, чтоб не поранить ему шкурку. И стрела его потащила в небо.

Тут он проснулся, китёнок, стал рваться, весь извивался в петле. А мы под ним быстренько отшвартовывались и отходили, очищали море. Потом с базы отдали риф, узел развязался, и китёнок наш сиганул в воду. Тут же он вынырнул, взметнул хвостом, всплеск нам устроил — выше клотика. И ушёл на глубину. И что тут такое сделалось — «ура» на всех пароходах, гудки, ракеты полетели в небо!

Этот день был как праздник, честно вам говорю. Он и сам был хороший — такой синий и солнечный. И китёнок был хороший. И мы все тогда были людьми.

7

Фонарь мне светил в лицо. Я зажмурился, отвёл его рукой от себя. Может, и этот мне приснился — маленький, в дождевике, в островерхом капюшоне.

— Мёртвый час! — говорит он. — А кто вахту стоять будет?

Я по голосу узнал — третий.

— Буров у вас где спит?
— Зачем он тебе?
— «Зачем»! Вопросики задаёшь. На руль!

Я протёр глаза кулаком.

— Какой может быть руль? У нас хода нет.
— Ты что, спишь? Или ушки болят?

Я прислушался — и вправду что-то переменилось. Мелко стучит брошенная дверь. Чей-то сапог от вибрации ползает по полу.

— Починил «дед» машину?

— Кашляет. Всё равно не выгребает. Так где артельный ваш?

— Зачем же его будить, если я не сплю?

— А он что, больной?

— Не всё тебе равно? — Я встал на ноги.

— Список есть, понял? Дисциплинка должна быть. Тогда всё нормально, таких бардаков не бывает. Ну, хочешь — иди.

Из капа стало слышнее: машина стучит с перебоями, как будто вот-вот смолкнет. Чуф, чуф, чшш... Чуф, чуф, чшш...

— Тоже мне работа! — сказал третий. — Смех!

Он вынырнул в темноту и тут же вернулся.

— Э, ты не заснул? Мне за тобой второй раз идти охоты мало.

— Иду.

— Так и пойдёшь в телогрейке? А курточка где?

— Пропала.

— Ну и дурак. Я говорил: махнёмся. У меня б не пропала.

Я пошёл за ним. Спросонья на его дождевик ориентировался. Мы добрались до кухтыльника, вскарабкались по сетке на крыло мостика. Дверь меня толкнула в спину — я полрубки пролетел и повис на штурвале. Потом огляделся — здесь ещё кеп был, Жора-штурман и Граков. В радиорубке сидел «маркони» с наушниками, бормотал в микрофон:

— База, я восемьсот пятнадцатый... Как слышите, база?

Я взялся за шпаги и навалился на штурвал грудью, а ноги расставил пошире. И тогда уже доложился по форме:

— Матрос Шалай. Разрешите заступить?

— Заступил уже, — сказал кеп. — Почему не Буров? Заболел, что ли?

Жора-штурман вместо меня ответил:

— Знаю я, чем он болен. И чем это лечат, тоже знаю. Ну стой, раз вызвался.

Кеп стал у телеграфа, подвигал рукояткой.

— Руль вправо клади, — сказал он мне. — Право на борт. Не стой лагом.

— Есть. — Я положил руля до отказа. Без хода он совсем легко перекладывался. — Право на борту!

Кеп хмыкнул:

— Не разучился!

— Удивительно, — сказал Граков, — как они у тебя вообще не разучились на вахту ходить.

Кеп не ответил, вынул свисток из переговорной трубы, которая в машину, и дунул. Там, внизу, свистнуло. Но никто не подошёл. Кеп заткнул трубу.

— Вымерли они там, что ли?..

Дверь распахнулась, кто-то ввалился и стал у крайнего окна, расставив ноги. Я покосился — «дед» обтирал руки ветошью и смотрел в окно, заляпанное снегом и пеной.

— Что скажешь? — спросил кеп.

«Дед» ответил, не повернув головы:

— Твоё теперь слово.

— А ход где?

— Пожалуйста.

«Дед» взялся за трубу, свистнул в неё. Там подошли:

— Второй механик слушает.

«Дед» снова стал у окна.

— Алё! — сказали внизу. — Слушаю!

— Скажи на милость! — Кеп подошёл к трубе. — Ну, давай там, подкинь оборотиков. Средним хоть можешь?

«Дед» сказал, не поворачиваясь:

— Средним я ему запретил. Малым может.

— Зачем чинили, спрашивается? Если б ты его не остановил тогда, мы бы уже с базой встретились. Скажешь, опять глупости говорю?

— Опять говоришь.

Кеп вздохнул.

— Ты хоть перед матросом меня не порочь. — И сказал в трубу: — Малым давай назад.

Шпаги мне надавили на ладони. Качка переменилась, пароход приводился кормой к волне.

— За малый тоже тебе спасибо, Сергей Андреич, — сказал Граков. — Теперь хоть шлюпку можно вывести с-наветра.

— Шлюпка-то одна теперь? — спросил «дед».

Кеп ответил — не очень уверенно:

— Вторую — починить можно... Брезентом обтянуть.

— Ну, это когда починим, тогда вторую считать будем. А пока — одна. Так... А кто ж в неё сядет? Граков, кого посадишь в неё?

— Не понимаю вопроса. Есть инструкция, кому в первую очередь.

— Положено — пассажиров.

Граков сказал, усмехаясь:

— Ну, пассажиров-то, собственно, я один. Могу свою очередь уступить.

— Очередь или шлюпку?

— Сергей Андреич, по-моему, ясней ясного: в первую очередь люди постарше. Ну, а помоложе — используют другие плавсредства. Уже какие найдутся. Что тут можно возразить?

— Ничего, — сказал «дед». — Кроме того, что и молодым жить охота.

Граков развёл руками. Вернее — одной, другой-то он за петлю на окне держался.

— Ну, не будем заранее умирать. Опыт нам говорит другое. Люди по несколько суток держались, не говоря уже — часов. И на чём только! Кстати, и твой собственный опыт, Сергей Андреич. Он разве не поучителен?

Я ещё успел подумать — зачем он на рожон лезет, а «дед» только того и ждал.

— Ну, мне-то полегче было. Мне всё-таки немцы помогли, ты же знаешь.

— Бросьте вы, — тут кеп вмешался. — Нашли время счёты сводить.

— Какие счёты, Пётр Николаич? Просто Сергею Андреичу угодно подозревать меня, так сказать, в личной трусости.

— А я не подозреваю, — сказал «дед». — Я это просто наблюдаю визуально.

Граков помолчал и сказал с грустью:

— Николаич, ты, прости меня, хозяин в рубке. Так что попрошу вмешаться. И, может быть, кое-кого удалить. В данном случае мою власть можешь не учитывать. Одного из нас. Это уже на твой выбор.

— Да бросьте вы... Тут без вас голова пухнет!

— Нет уж, Николаич, решай.

Кеп засопел, заходил по рубке от двери к двери.

— Так что? — спросил Граков.

— А ну вас... — Кеп взялся за голову. — Ну, Сергей Андреич, ну будь ты посмирнее, ей-богу.

— Так, — сказал Граков. — Одному из нас предложено

быть посмирнее. Следовательно, удалиться нужно другому. Именно мне. Спасибо, Николаич, добро.

И пошёл из рубки. Но дверью не хлопнул, как я ожидал. Наоборот, очень даже вежливо прикрыл.

«Дед» повернулся от окна.

— Николаич, можно ли так себя терять, как ты потерял? Зачем ты шлюпочную пробил, когда судно ещё на плаву и его спасать нужно и на нём спасаться?

— Что хочешь сказать? Я людям губитель?

— Себе прежде. Ну, и людям тоже. Ты не подумал, что тебя с ними захлестнуть может в такую погоду. А ты подумал, что тебе выгоднее всё судно потерять вместе с сетями, чем одни сети. Тогда бы тебя не судили — ты команду спасал. А так, поди, и засудят — за то, что выметал перед штормом. Не знаю, сам ты до этого додумался или кто посоветовал... Я твоё положение понимаю. Но коли попал ты между двумя страхами, так хоть выбирай, который побольше! И уж его одного бойся.

Кеп походил молча по рубке, стал у меня за спиной.

— Так и будешь держать право на борту? Одерживай.

Я отпустил штурвал, и он сам раскрутился. Я не удержал его локтем, навалился грудью, едва поймал его за шпаги.

— Поберегись, рулевой, — сказал «дед». — При заднем ходе и руки поломать может... Оно, конечно, лучше бы носом пойти, как люди ходят, да сети жалко бросить.

— Насчёт сетей, — сказал кеп, — дебатов не будем разводить.

Опять он заходил от двери к двери. Прямо как тигр по клетке. Нервировал он меня здорово.

В переговорной трубе свистнуло — из его каюты. Кеп вынул свисток, приложился к раструбу ухом. Труба ему что-то вещала раскатисто, с дребезгом.

— Добро, — кеп заткнул трубу. — Напоминает глубину смерить. Нужны мне его напоминания. Ну-к, смерь-ка там.

Третий зашёл в штурманскую. Запищал эхолот.

— Тридцать пять. Даже чуть меньше.

— Скоро вожак начнёт задевать, — сказал кеп. — Может, он задержит?

— Такого ещё в мировой практике не было, — сказал «дед». — Так мы, глядишь, в новаторы выйдем.

Мы смотрели молча в чёрные окна. Колко звенел об них снег, потом его смывало пеной. Вдруг запищал передатчик, и «маркони» быстренько забормотал:

— База, база, я восемьсот пятнадцатый, слушаю вас.

— Как себя чувствуете, восемьсот пятнадцатый? — спросила база.

Кеп кинулся в радиорубку, схватил микрофон.

— На вас надеемся. Куда вы там девались?

— С буксирами тут поговорили. Два буксира спасательных к вам идут из Северного моря. «Отчаянный» и «Молодой». Не исключено, что они раньше нас подойдут.

— Исключено, — сказал кеп. — Знаю я эти калоши: и «Отчаянного», и «Молодого». Мы всё же больше на вас надеемся.

— Идём полным ходом. Вы тоже там двигайтесь веселее. Как слышите?

— Слышим-то хорошо. Двигаться не можем.

— Что с машиной? Не удалось починить?

— Да починили. Только не выгребаем.

— Не понимаю...

— Ну, чуть только тормозимся. Что тут не понимать?

— Дайте максимальные обороты. Как слышите?

— Нет у нас максимальных. Малым идём.

— Ясно, — сказала база. — Ясно.

— Тут ещё сети, — сказал кеп. — Сети нас тащат.

Там помолчали.

— При чём тут сети? Они у вас за бортом?

— В том-то и дело. И поводцы нулевые.

— Почему метали? Было же штормовое предупреждение.

Кеп вздохнул.

— Слышали предупреждение. Да не всегда же они сбываются... Ну, рискнули. Пожадничали. Теперь-то что делать?

— Двигайтесь встречным курсом. Как слышите?

— А сети? — спросил кеп.

— Двигайтесь встречным курсом. Насчёт сетей решайте.

Послышался треск, всё в нём пропало, слов не различить. Кеп подождал и вышел в ходовую.

Но база опять к нам пробилась:

— ...сот пятнадцатый! ...ая глубина под килем? Глубину сообщите.

«Маркони» ей ответил.

— Ясно, — сказала база. — Ясно. Да, с сетями надо решать. — И пропала.

— Вот и решай, — сказал кеп. — Сами-то и совета не дадут.

«Дед» к нему повернулся от окна.

— Не это тебе надо решать. И база не о сетях твоих думает. Сейчас у тебя под килем тридцать пять. Скоро двадцать будет. База туда не пойдёт.

— На двадцать — пойдёт.

— Не уверен. Учти ещё волну.

Кеп стал у меня за спиной.

— Рыскает он у тебя. Точней на курсе.

— Есть.

Он отошёл. В рации у «маркони» завывало, попискивало, и вдруг прорезалось:

— ...сот пятнадцатый ...ак слышите? — и пропало, запищала чья-то морзянка. Кеп даже не успел добежать.

— Что там у тебя?

— Да этот же плачет, — сказал «маркони». — Шотландец.

— Опять? Вот уж не вовремя.

— Почему? Как раз время.

Я повернул голову, посмотрел на часы — у него над столом. Было без четверти три, большая стрелка пришла в красный сектор.

Началась первая минута молчания.

8

— Ну, послушай, если охота, — сказал кеп. — Нам тоже поведай.

Морзянка еле-еле прослушивалась.

— Не удалось ему движок запустить, — сказал «маркони». — Сносит его.

Кеп повернулся ко мне. Я думал — он опять придерётся, и завертел штурвалом.

— Помнишь его? «Герл Пегги».

Я удивился – не забыл он, кто тогда на руле стоял. Я думал – он лиц наших не различает.

– Помню.

Я-то помнил, как он прошёл справа, синенький и белоснежный, чистенький, как со стапеля, и обошёл нас, как стоячих, и как вышел из камбуза повар, выплеснул ведро помоев – у нас перед носом.

– Грубиян, – сказал кеп. – Ну... ему тоже хреново. Какие его-то координаты?

«Маркони» ему сказал. Третий ушёл в штурманскую поглядеть на карте.

– Ух ты! Совсем труба кораблю. Небось килем чешет по грунту.

– Он уж, наверно, и скалы видит, – сказал кеп.

– Пока не видит. Скоро увидит. – Третий вышел в ходовую, сказал «маркони»: – Спроси его, видит он Фареры?

– Не вздумай, – сказал кеп. – Не вступай с ним.

– Да я и не могу, – ответил «маркони». – Это надо шибко грамотным быть, английский знать. Я только на жаргоне.

– И на жаргоне не нужно. Да, хорош у нас радист, английского не знает.

– Вы мне подскажете.

– Ладно, – кеп вздохнул. – Слезай с этой волны, с шестисот. Базу поищи. Всё равно мы ему не поможем.

– Сейчас... Ещё две минуты.

Я опять посмотрел на часы – стрелка ещё была в красном секторе. Пошла вторая минута молчания.

– Да что толку, – сказал кеп.

«Маркони» не ответил, работал ключом.

– Что ты ему передаёшь? Я тебе сказал: не вступай с ним!

– Я не с ним, я с берегашами. Может, они его не услышали. У нас-то помощней передатчик.

– Ну, валяй... Поможем, чем можем.

– Тише, – попросил «маркони».

Кто-то заговорил в эфире. Прямо изумительный был голос – бархатный, рокочущий:

– Понимаешь хоть что-нибудь? – спросил кеп.

– Так... С пятого на десятое. Он сейчас по-русски скажет.

Но по-русски уже не мужик говорил, а женщина. С чуть заметным акцентом говорила, только сильно картавила. Но слышно было, как будто она тут с нами стояла, в рубке:

— Всем, всем! Береговая радиостанция Ютландского полуострова просит слушать море. Всем судам, плавающим в Северной Атлантике и стоящим на приколе в портах континента и островов. Вертолётам береговой охраны и патрульной службы спасения. Двое просят о помощи — русский и шотландец. Их несет течением и ветром на Фарерские скалы. Примите их координаты...

Третий вдруг сказал:

— Правильный бабец. Эмигрантка, наверно.

— Всё б тебе про бабцов, — сказал Жора. — Нашёл время.

— Это я так. Про себя.

— И держи при себе.

Дикторша умолкла. Я опять посмотрел на часы. Пошла третья минута молчания.

— Что-то не откликаются, — сказал кеп.

— А что откликаться? — сказал Жора. — У всех карты есть.

— Да, — сказал кеп. — И забрался же он... Где никого нету. Одни мы болтаемся.

Стрелка на часах вышла из красного сектора.

— Слезай, — сказал кеп. — Ищи базу.

«Маркони» опять нащупал базу, послышалось:

— Восемьсот пятнадцатый, как дела?..

Но тут же её морзянка стала забивать. Зацокала, рассыпалась, как соловьиная трель.

— Во чудик, — сказал «маркони». — И сюда всунулся.

— Кто?

— Да он же, «Герл Пегги».

Кеп удивился:

— Как же он эту волну нашёл? Скажи, какой шустрый.

— Жить хочется, — сказал Жора.

Слов за морзянкой нельзя было различить. Потом и база начала переговариваться с шотландцем — тоже ключом.

— Что они там ему? — спросил кеп.

— Да то же самое, что и нам. Просят идти навстречу.

Свистнуло в переговорной трубе — из кеповой каюты. Кеп приложился ухом.

— Нет пока связи, — сказал в трубу. — Тут ещё один нам сигнал забивает, любитель морских ванн. С базой ему удалось связаться. Подождём, пока наговорится... — И заткнул трубу свистком.

«Дед» вдруг повернулся к нему.

— А что, Николаич? Самое время теперь обрезаться.

— Ты всё про одно. Заладил. Может, мы их ещё и выручим, сети. Что-то у меня надежда появилась.

— С чего бы? Оттого, что другим хуже?.. — «Дед» вдруг рассердился. — Не понимаю я! Который час он тебе сóсит, а у тебя только за сети голова болит!

Кеп стал посреди рубки, ни за что не держась.

— Кто из нас не в уме? Скажи мне, Бабилов.

«Дед» не отвечал, только смотрел на него.

— Капитан этого судна, — сказал кеп торжественно, — если надо было, всегда помогал. Но когда у него ход был! И корпус не дырявый! А сейчас меня никто не осудит.

— Николаич, — сказал «дед». — Ты же позора не оберёшься. Если ты сети выручишь, а людей оставишь. На всю жизнь позора. Зачем тебе такая жизнь?

Кеп вдруг заорал на него:

— Ну где у меня ход? Ты мне его дал?

— Ход у тебя есть. Спуститься нужно по волне. Тебя к нему ветром принесёт.

— А потом что? Тем же ветром — да об скалу? В фиорды же теперь не пробьёшься.

— Николаич, об этом потом и думают. А сначала — спасают.

— «Позора не оберёшься»! — опять заорал кеп. Он стащил шапку и стал перед «дедом», на голову ниже его. — Да у меня лысина во какая, видал? К ней уже ничего не пристанет.

— Что же ты кричишь? Я вижу плохо, но не глухой ещё.

— Я не кричу!

— Кричишь. Ты себя не слышишь. А в рубке не кричат. А командуют.

Кеп спросил тихо:

— Что я, по-твоему, должен скомандовать? Что я скажу экипажу? Идём за компанию погибать?

«Дед» молча на него смотрел.

Кеп себя постучал по лысине. Потом надел шапку.

— А чего? — вдруг сказал третий. — Парус поставим — и рванём! Надо — резко! Моряки мы или не моряки?

— Ты помолчи, — сказал кеп. — Если на то пошло, «поцелуй» на твоей вахте случился. Ты это помни.

— Где ж на моей?

— Помолчи, — сказал Жора.

Третий закутался в доху выше носа и затих.

— Семеро их, — сказал «маркони». — Роковое, говорят, число. Мотоботик, поди. С автомобильным движком.

Кеп подошёл к радиорубке.

— Ты что там с ним перестукиваешься? А базу не ищешь.

— Он же с ней на одной волне работает.

— Ты тоже ему чего-то стучишь, я слышу.

— Уже не стучу.

— Позывные свои небось сообщил ему?

— А как же не назваться? — спросил «маркони». — Он бы мне и координаты не сообщил.

— Вот он теперь в журнале и запишет: «Восемьсот пятнадцатый от меня «SOS» принял. А не пришёл». На кой ты с ним связался? Мог же ты его не услышать?

«Маркони» к нему повернулся вместе со стулом.

— Но мы же его услышали.

— Сами полные штаны нахлебали. Имеем право никаких сигналов не принимать.

— Но мы же его приняли!

Кеп не ответил, отошёл. В трубе опять свистнуло.

— Нету, нету связи, — сказал кеп в трубу. — Да и чего людям надоедать. Делают что могут... Да я не нервничаю. Это тут некоторые... Шотландцу вот хотят помогать... Я и говорю, ополоумели.

«Дед» вдруг шагнул к нему, отодвинул, сграбастал трубу обеими руками.

— Слушай-ка, Родионыч. Это Бабилов с тобой... Не гнети человека. Я с тобой не собирался говорить, нам не о чем. Но приходится. Не гнети ты его. Он себя потерял — с тех пор как ты на судне. Зачем ты из него дерьмо делаешь? Я тебя прошу и все тебя просят...

Труба не дослушала, заверещала. «Дед» поморщился, взял у кепа свисток и заткнул её. Труба тут же свистнула.

Тогда «дед» вынул свисток и вместо него затолкал ветошь, которой он руки обтирал.

— Грубый ты, — сказал кеп жалобно. — Ты хоть кого-нибудь уважаешь?

Я вспомнил про компас — картушка у меня сильно залезла вправо — и завертел штурвалом.

— Ты что, матрос? — спросил кеп. — Ты лево не ходи. Так и вожак порвать недолго.

— Есть не порвать.

«Маркони» опять искал базу: «Я восемьсот пятнадцатый, как слышите?» — а когда она откликалась, и мы все замирали, и кеп кидался в радиорубку, вдруг снова влезал шотландец со своей морзянкой и щебетал, выстукивал. Три точки — три тире — три точки. Спасите наши души*. Три точки — три тире — три точки. Мне страшно, несёт на скалы, глубина под килем... координаты мои такие... Я зову вас, а вы не откликаетесь!

Они, наверно, тысячу раз проходили под этими скалами, знали, что их ждёт. И, наверно, все надежды уже потеряли. Тут ничего не поделаешь. И ангел не явится, и чайка не прилетит. Просто рука у ихнего «маркони» сама выстукивала. Три точки — три тире — три точки.

Потом всё смолкло. Но это не шотландец умолк, это наш «маркони» перешёл на волну шестьсот метров, потому что было уже четверть четвёртого и стрелка опять пришла в красный сектор.

Там он опять защебетал. Его слушали целую минуту. Потом заговорила береговая:

— Примите радио шотландского траулера. «Всем, кто пытался нас спасти. Вы сделали всё, что могли. Мы понимаем. Мы всем вам желаем счастья. Передайте приветы нашим близким...»

И никто на это не откликнулся. Это правда, у всех были карты.

---

* Сочетание «SOS» не содержит никакого шифра. Все расшифровки, как английская «Save Our Souls» («Спасите наши души»), так и русская «Спешите Оказать Содействие», придуманы позднее, чем был установлен этот сигнал, выбранный лишь потому, что он легко распознаваем среди других и достаточно несложен, чтобы его мог отстучать любой член экипажа, даже не знающий азбуки Морзе, — разумеется, его координаты в этом случае устанавливаются только пеленгованием.

Кеп стал против окна, заложил руки за спину. По стёклам ляпало пеной, потом снегом и снова пеной.

Я сказал:

— Их там уже нету, сетей.

И почувствовал, как у меня задрожали ладони на шпагах. Все, кто был в рубке, уставились на меня.

Кеп спросил:

— Почему думаешь?

— Он вожаковый, — сказал Жора. — Ему видней.

Кеп смотрел на меня.

— Ты что, трос пощупал?

— Да.

— А чем ты его щупал? — спросил Жора. — Не топориком?

Я сказал:

— Да.

— То-то слышно было, — сказал Жора, — по капу звездануло.

Кеп снял шапку, вытер ею лицо. Он даже вспотеть успел в один миг.

— Почему же молчал?

«Дед» за меня ответил:

— Николаич, он тоже страху подвержен.

— Ты знаешь, — спросил кеп, — что ты под суд пойдёшь?

— Знаю.

— И что я с тобой вместе?

— Когда рубил — не знал.

«Дед» сказал:

— Он правду говорит.

— Ну что, вместе посидим. На одной скамейке. Как думаешь, веселей нам вдвоём будет? — Кеп снова надел шапку. — Поверни пароход носом по курсу. Пойдём, как люди. Клади лево руля.

Я положил. «Дед» переключил телеграф на передний ход. Рубка накренилась почти отвесно — когда мы повернулись лагом, — потом выровнялась.

— Одержи, — сказал кеп. — Вот так. Спасибо, рулевой. А теперь выйди к собачьим чертям из рубки. И чтоб я тебя больше никогда в ней не видел.

— Выйди, — сказал «дед».

Жора-штурман принял у меня штурвал.

— Разбуди там Фирстова.

Когда я выходил, кеп сказал «деду»:

— Ты ещё про шотландца заикаешься. А мы и без сетей, оказывается, не выгребали.

Я шёл напрямик, от волны уже не спасался. Даже подумалось: а пусть смоет к чертям. Вот именно, к чертям собачьим. Меня ещё с вахты не выгоняли.

В кубрике еле светился плафон. Карты валялись на полу. Не знаю, чем они там кончили, Шурка с Серёгой, кто кого.

Я растолкал Серёгу, он сказал: «Ага, иду уже» — и опять заснул. Я его стащил с верхней полки на стол. Он покачался, спросил с закрытыми глазами:

— Идём куда-нибудь?

— К чертям собачьим.

Он кивнул. Я сунул ему в зубы папиросу и зажёг. Он затянулся и совсем очухался, стал одеваться. Я его выпроводил и полез к себе в койку.

— Сень, — вдруг позвал Митрохин, — что там на мостике говорят? Потонем?

Тут я немножко взбесился.

— А что на мостике, больше твоего знают? Свой «голубятник» не работает?

Он не обиделся. Сказал мне печально:

— А я, знаешь, письмо нашёл в телогрейке. Своё, домой. Хотел на базе отдать и забыл.

— Ну, братана ты хоть встретил.

— Да. С ним-то я попрощался. А баба письма не получит.

— Ты спи давай. Хочешь — я свет вырублю?

— Не надо.

— Ты ж не заснёшь со светом.

— Я и так не засну. А со светом все-таки легче как-то.

Я лёг в койку и вытянулся. Устал я, как ни разу в жизни.

— Слушай, — я вдруг спросил, сам от себя не ждал. — А ты почему с открытыми глазами спишь? Ты про это знаешь?

— Знаю. Это давно у меня. Я уже раз тонул. И так же вот свет погас. Потом даже в психическую больницу попал.

— Ну, ведь тогда же всё-таки выплыл. Может, и теперь...

— Сколько же верёвочке виться, Сеня?

Он что-то начал рассказывать мне, про какие-то свои предчувствия, но я уже не слушал, дремал. И не мешало мне, что перекатывает в койке.

Сколько я проспал? Мне показалось — минуту. Так оно, верно, и было.

Я услышал — кто-то бежит, врывается в кап. И сапоги бацают по трапу — наши, полуболотные. Двадцать ступенек трапа — двадцать ударов мне в уши. И крик:

— Бичи, подымайсь! Есть работа на палубе! — Это Серёга орал, как будто мёртвых будил на кладбище. — Шотландец тонет! Шотландца идём спасать!

Глава пятая

КЛАВКА

> Пусть жалок раб в селении глухом,
> Далёком от тебя, как своды неба эти,
> Но если женщина грустит о нём,
> Я вижу в этом знак, что стоит жить на свете.
>
> *Японская танка*

1

Я лез по трапу и видел — оба прожектора врублены, но светят, что называется, один другому: заряд валил, какого я не видывал. Снизу его хоть смывало волной, а на мачтах, на вантах нарастали бороды, как на соснах в тайге.

Сколько прошло, как Серёга обратно побежал на руль, а в кубриках не шевельнулись. Один я вышел сдуру. Вдруг из снега вынырнула фигура — огромная, лица не видно под капюшоном. Надвинулась на меня, и я узнал «деда».

— Ты, Алексеич? — потащил меня вниз. — Почему же не выходят? Работа есть на палубе.

На комингсе кто-то сидел. «Дед» об него споткнулся, выругался и посветил фонарём. Это Митрохин сидел, таращил глаза.

— Совсем хорошо. Ещё один пробудился.

Но я-то знал, что он спит, хотя оделся и пересел сюда из койки. Я его взял под мышки и отсадил, чтоб можно было пройти в кубрик.

— Подымайсь!

Не шевельнулись.

— Да, — сказал «дед». — Так не выйдет.

Он перешагнул в середину кубрика, раскидал сапоги, роканы, телогрейки, стал отдёргивать занавески.

— Сварщик! — «Дед» узнал Шурку, стал его трясти. — Замлел, сварщик? Ну, встанем, подымемся...

Шурка замычал, но глаз не открыл. «Дед» его вытащил из койки, пересадил на стол. Шуркино лицо запрокинулось — совсем неживое.

— Ты подержи его, — сказал «дед». — Этот-то наш, в активе. Я за другого примусь.

Другой был Васька Буров. Лежал он такой успокоенный, руки на груди, бородёнка выставилась в подволок. Хоть медяки ему клади на глаза. «Дед» к нему присел на койку, взял за плечи и посадил.

— Вставай, артельный! Не спишь ведь.

— Ну, не сплю, — сказал Васька с закрытыми глазами.

— Людям надо помочь, такое положение. Я-то думал — артельный наш, главный бич, первым на палубу вышел, как политрук в атаку, другим пример показал. А он тут лежит. В белой рубашоночке, хорошенький такой... Помирать, что ли, собрался?

— Тебе-то что?

— Да зачем же торопиться, это от нас не уйдёт. А люди без нас погибнут, если ты не встанешь.

— Какой там ещё шотландец! Никуда я не выйду.

— Выйдешь. Я не шутя говорю.

Я сказал «деду»:

— Ты только не бей его.

— Зачем? Он сам встанет.

Шуркина голова перевалилась ко мне на плечо. Он мычал и понемногу очухивался. А «дед» встряхнул Ваську, и Васька открыл глаза. Лицо у него сморщилось, вот-вот он заплачет.

— Сами-то уже пузыри пускаем...

— Но у нас-то хоть надежда есть, а у них — никакой. Ну, артельный! О чём ты думаешь, мне хоть скажи...

— Мало ли о чём... Чего ты с меня начал? Молодые есть, а я — старый.

— Сколько же тебе?

— Сорок два.

— Вот это здорово! Что ж про меня-то говорить? Совсем, значит, песочница? Нет, это неинтересный разговор.

«Дед» его вытащил из койки. Васька стал на ноги и всхлипнул.

— Где его шапка? Ты, сварщик!

Шурка наклонился молча и поднял Васькину шапку.

— На! — сказал «дед». — Лысину прикрой, молодой будешь.

Васька, под нахлобученной шапкой, опять закрыл глаза и всхлипнул.

— Всё равно ж я опять лягу.

— Ложись, чёрт с тобой, — «дед» рассердился. — Смотреть на тебя, чучело!..

Васька наклонился за своей телогрейкой. «Дед» подошёл к салагам.

— Ну, а как романтики наши? Сами встанут или помочь?

— Встали уже. — Димка с запухшими глазами покачался сидя и спустил ноги. — Алик, не спишь?

Алик молча полез из койки. «Дед» пошёл в соседний кубрик. Там дверь была на крючке, он подёргал, потом навалился плечом и вломился в темноту.

— Почему лежим, когда артельный встал?

— Иди ты... — бондарь ему ответил. И сказал, куда идти. В такое жуткое и далёкое, что и не представишь себе.

«Дед» ему не дал закончить. Смачно ударил кулак, и рёв раздался, дикое какое-то рычание, и чьё-то тело шмякнулось. Там свалка началась, сапоги стучали, хриплая ругань доносилась. Я вмиг озверел и кинулся за «дедом». Я до смерти испугался, что они там его забьют — ударят чем-нибудь по голове спросонья. Но «дед» вышел мне навстречу.

— Ступай на палубу. Ты у меня первым должен выходить!

Я пошёл и оглянулся — «дед» вламывался в боцманскую каюту. Оттуда метнулся свет, а в луче вылетел дрифтер — босоногий, в исподнем. Затем дрифтеровы сапоги вылетели и дрифтерова телогрейка, а после боцманское хозяйство полетело и напоследок — сам боцман.

— Встаём, чего шуметь-то?

Боцман держался за скулу и сплёвывал. «Дед» вышел, толкнул его обратно в каюту и поднялся ко мне. Лицо у него было белое, страшное, на лбу выступили крупные капли. Он дышал хрипло и вдруг закрыл глаза, навалился на меня — тяжёлый и вялый. Я хотел его посадить на трап. Но он отдышался.

— Ничего, — сказал он, — подымутся, не могут не подняться. Повезло нам с этим шотландцем.

— Как ты? Стоять можешь? Плохо тебе?

— Стою... Проследить надо, чтоб все вышли.

Он опять спустился. Там шла уже мирная возня, хотя кто-то ещё поругивался, отводил душу, — но поднимались, как на выметку.

В кап вылез дрифтер — с помятой рожей. Стоял, ёжился, грел руки под мышками, а варежки зажал между колен.

— Всё, дриф, — сказал я ему. — Труба твоему сизалю.

Он спросил равнодушно:

— Сети обрубил? И дурак. Такая рыба сидела. Ты буй-то хоть привязал, горящий?

— А что он их — удержит?

— Подобрали бы... Если живы будем.

— Где? На скалах?

Вылез в кап бондарь.

— Слыхал? — дрифтер его спросил. — Отличился наш Сеня-вожаковый, порядок угробил. Всю команду без коньяка оставил.

Бондарь покосился на меня со злобой. Ещё он после свалки не остыл.

— Допрыгался, падло? Один за всех решил? Валяй, только я тебе в тюрягу передачки не понесу, не жди. — Потом увидел моё растерзанное плечо и сказал, глядя в сторону: — Растирай, а то рука онемеет. Будешь ты нам помощник!

Боцман тоже поднялся, покачался с ноги на ногу.

— Вот дьявол-то паршивый, — сказал с удивлением, — нашёл же время тонуть! Ну, чо стоим? Раз уж не спим, работать будем.

— Сейчас «дед» цэу даст, — сказал дрифтер.

— А что нам «дед», сами не сладим? — Боцман приложил ладони ко рту. — Эй, на мостике! Питание на брашпиль!

Из рубки донеслось:

— Получи питание...

И сразу прожектора потускнели. Вот тебе и питание.

Брашпиль еле тянул, двух якорей не потянул сразу, да и по одному едва-едва.

— Скисла машинёнка, — сказал дрифтер. — Так только кота тащить. Ох, до чего ж надоел мне этот пароход! — Взял багор с полатей, зацеплял и подтягивал якорную цепь за звенья, вроде бы помогал машине.

— Боцман! — позвал «дед». — Ты парус-то — помнишь, где у тебя?

— В форпике*, где ж ему быть.

«Дед» заснеженной глыбой пробрался к нам на полубак, нашарил форпиковый люк сапогом, зазвякал задрайкой.

— Погоди ты, — боцман не вынес. — Ты в моё-то хозяйство не лазий. В форпик нахлебаем, так это нам в кубрик натечёт.

Он сам его отдраил, а мы — кто присел на корточки, кто лёг на палубу, чтоб хоть защитить немного форпик от носовой волны. Боцман там долго возился в темноте, чем-то гремел, звякал.

— Где ж он тут есть, мой хороший? Где ж я его сложил? Да посветите хоть, черти!

«Дед» просунул в люк руку с фонарём. Боцман сидел на каких-то канистрах, с парусом на коленях.

— Да он же у тебя!

— Ну! Так ты думаешь — я его ищу? Я фаловый угол ищу. Специально я его сложил, кверху дощечкой, а вот не нахожу. Нет, это шкотовый...

Дрифтер заорал:

— Да тащи! Тут разберёмся!

— Разберешься ты... Вот, нашёл! — Протиснул сложенную парусину в люк. — Руку-то не оборвите, я за фаловый угол держусь.

Он его не отпускал, ухитрился одной рукой задраить люк, а потом бежал с нами по палубе, спотыкался и всё-таки держал. Парусина развернулась у нас, углы волочились по воде и набухали, тяжелели, дрифтер в них запутался и упал. К нам ещё несколько кинулись навстречу, подхватили, поволокли. А боцман всё держался за свой угол.

— Держу, держу, ребятки! Главное — фаловый не потерять.

Парусину свалили на трюмный брезент. Она уже почти вся распеленалась, разлезлась тяжёлыми складками и покрывалась снегом, пока он её привязывал к грота-фалу.

Из рубки кричали:

— Боцман! Что там с парусом? Есть парус?

— Щас будет!

---

* Форпик — объем в судовом корпусе между носовой оконечностью и первой переборкой, т.н. «таранной», обязательно водонепроницаемой. Используется для хранения судового хозяйства. Доступ — через палубный люк.

Он подпрыгнул и повис на фале, с ним ещё двое повисли, и парусина — намокшая, тяжёлая тряпища — дёрнулась, поползла вверх по мачте, а книзу спадала серыми складками, почти даже не гнущимися. А мы, времени не теряя, разносили нижнюю шкаторину* по стреле, которая теперь стала гиком, и привязывали гика-шкот за утку на фальшборте. Те трое ещё и ещё перехватывали фал, передняя шкаторина ползла, ползла, вытягивалась вдоль мачты, и постепенно складки расправлялись, уже начали набиваться ветром, уже и гик начал дёргаться. И тут парусина ожила, первый хлопок был — как будто кувалдой по бревну, потом заполоскала, и разом выперлось пузо — косой дугой, латы на нём затрещали, с них посыпались сосульки. Холод палил нам лица, сжигал брови и губы, но мы стояли, задравши головы, и что-то в эту минуту в нас самих переменилось: ведь это была уже не тряпка, а — парус, парус, белое крыло над чёрной погибелью; такой же он был, как триста лет назад, когда мы по свету бродили героями и не знали ещё этих вонючих машин, которые и отказывают в неподходящую минуту. И даже поверилось, что раз мы это чудо сделали — ещё, быть может, не всё потеряно, ещё мы выберемся, увидим берег.

«Дед» послюнил палец — хотя зачем его было слюнить? — поднял кверху, сказал:

— Полный бакштаг левого галса!

Я увидел его лицо под капюшоном — всё в морщинах и молодое.

— Боцман! Спасибо тебе за парус!

— Да кой-чего смыслим! — боцман ему ответил. — Не совсем по жопу деревянные.

— Молодец! Давай мне теперь четверых на откачку.

2

Помпа была там же, где мы её и бросили, — в узкости, под фальшбортом, — только ещё снегом засыпана и завалена брезентом — с брашпиля. Вон его куда занесло.

Вчетвером — Шурка ещё, Алик и Васька Буров — мы эту дуру опять перевалили через комингс. Опустили шланг и тут лишь вспомнили, что он же не достаёт до воды!

---

* Край, кромка паруса.

— А хрен с ним, не достаёт! — сказал Шурка. — Сейчас сделаем, чтоб доставал. Вниз её, сволочь, смайнаем. — Он уже лез по трапу и помпу рвал на себя.

— Нелогично, — сказал Алик. — Он тогда доверху не достанет. Что от носа до хвоста, что от хвоста до носа — тот же крокодил.

— Тащи, крокодил!

— Да чего ты хочешь? — я спросил.

— Чего, чего! На верстак поставим, всё же повыше. А ты, салага, вниз не ходи, шланг будешь держать.

Стащили на верстак. Я на одном плече стал, Шурка на другом, а Васька Буров внизу, в воде, нажимал то на мой рычаг, то на Шуркин. Шланг зашевелился, помпа пошла тяжело.

— Качаем! — Шурка обрадовался. — Ну, как там, салага, не достаёт?

— Прелестно! — Алик ответил сверху. — Только его держать не надо. Я его просто дверью прижал. А сам буду ведром помалу. — Спустил ведро на штертике, зачерпнул и потащил кверху.

Очень это нам понравилось. Хоть и расплескивалась половина. Алик смеялся:

— Малая механизация!

— Растёт салага, — сказал Шурка. — Такой умный стал — прямо дельфин.

— Дельфины — интеллектуалы моря. Нам до них далеко.

— Ты качай, качай! Не откачаешь — близко будем.

— Скажи мне, Шура, почему же мы раньше до этого не додумались?

— До чего?

— Помпу на верстак.

— Не всё ж сразу. Ты качай!

— А всё-таки, Шура?

— Уймись ты, салага. Там люди погибают, а ты разговоры разговариваешь. Качай!

Салага, однако ж, не унимался.

— Бедные мои бичи, — сказал он, — вот сейчас вы мне нравитесь.

— Ну? — спросил Васька. — Чем же?

— Вы мне сильно нравитесь, бичи.

Шурка спросил:

— Ты, часом, не рехнулся? А то скажи, сменят тебя.

— Не исключено. Все мы немножко рехнулись. Но я запомню эту минуту, бичи. Тут есть момент истины!

— Чего? — Шурка даже качать бросил.

Славное лицо было у салаги, но и правда — как у малость свихнутого.

— Как вам объяснить, что такое момент истины? Ну, это... когда матадор хорошо убивает быка. Красиво, по всем правилам.

— И чего тут хорошего? — спросил Васька. — Животную убить!

Алик призадумался.

— Да, это не совсем то... Но я остаюсь при своём мнении.

— Ничо, салага. — Шурка опять стал качать. — Мы тебя всё равно любим. Но ты качай всё-таки.

— Между прочим, — спросил Алик, — до каких пор я буду салага?

Мы опять бросили качать.

— Действительно, — сказал Шурка. — Оморячим его? Понимаешь, мы б тебя сейчас на штертике окунули, да ты и так мокрый. Считай — на берег ступишь, бич будешь промысловый по всей форме.

— Я это сделаю символически. Ну, вместо себя — окуну ведро.

— Во! — сказал Шурка. — Это самое лучшее. Качай, несалага! Качай!

Мы качали, как начисто свихнутые. Потом начали выдыхаться. Васька меня сменил на верстаке, а я стал в воду. Во всякой работе должен же быть где-то отдых. Так он у нас был в воде.

Васька поплевал на руки и сказал:

— Семьдесят качков сделаю и помру.

Он и правда стал считать, да сбился. Потом Шурка стал в воду, а я полез на верстак. Целый век мы качали, все паром окутанные, и двигатель нам уши забивал стуком, и дыхание заходилось в груди — такой воздух был в шахте. Странное появилось чувство — будто кто-то другой, не я, качал этой дурацкой помпой — вверх, вниз, вверх, вниз, — только б не упасть с верстака, когда он ходуном ходит под ногами. Всё это с кем-то другим происходило, а я со стороны наблюдал, когда же у него всё внутри оборвётся? Очень близко было к этому...

— Алексеич, — позвал «дед» сверху. — Поди ко мне.

По трапу нам смена спускалась — дрифтер с бондарем и Митрохин.

«Дед» меня вытащил за руку и наклонился над шахтой.

— Шепилов! Ты там, что ли, мерцаешь?

Мотыль Юрочка выплыл из пара, как из облака.

— Давай-ка, подкинь оборотиков.

— Сергей Андреич, опять перекалим движок.

— Ничего не поделаешь, — сказал «дед». — Теперь уж давай на износ.

«Дед» пошёл наверх, на крыло рубки. Я за ним.

— Зачем звал, «дед»?

— К шотландцу подходим. Стыкнуться надо.

— Это как?

— Вот вместе и подумаем.

Всю дорогу — когда поднимали парус и когда тащили помпу и качали, — всё это время я думал: как же мы с ним стыкнёмся? На такой волне подойти — смерть. Ну, а на что другое мы шли? Вот уж действительно — все мы рехнулись.

Мы вышли на крыло. Иллюминатор в радиорубке светился. Я припал к нему — «маркони» сидел за столом, упёршись локтями, в ладонях зажал голову с наушниками. Губы у него шевелились, как у припадочного. Кеп расхаживал мимо его двери, заложив руки за спину. Вошёл, что-то сказал «маркони». Старенький он стал, наш кеп, сгорбился весь. Снял шапку и вытер лысину платком.

— Где ты там? — спросил «дед».

Он полез выше, на ростры. Там ветер с ног валил. И ни зги не видно. «Дед» светил фонарём — на полметра, не дальше.

— Что ты ему сказал? — спросил я «деда».

— Кому?

— Кепу. Почему он вдруг повернул?

— Так, ничего особенного. Сказал: «С тобой в „Арктике" за один столик никто не сядет».

Смешно мне стало — чем можно человека напугать, чтоб он все другие страхи забыл.

— Ты не смейся над ним, — сказал «дед». — Он ещё за твои подвиги ответит. Тебя-то легче выручить... Где он тут его держит?

— Чего?

— Да линемёт.

«Дед» стоял над боцманским ящиком, светил туда, шарил среди штертов, гачков, талрепов, чекилей.

— Вот он, — вытащил линемёт с самого дна. — Смотрика, и пиропатронов комплект. Ну, боцман!

— Леерное сообщение будем налаживать?

— Попробуем. Только гильзы к чертям просырели, мнутся.

— Крышка была открыта?

— Была. Ох, найти бы, кто... Ладно, все глупостей наделали. А я первый. Ну что, пальнём один, для смеха?

«Дед» заложил патрон, выставил линемёт в корму и нажал на спуск. Только курок щёлкнул.

— Осрамимся, — сказал «дед». — Осрамимся перед иностранцами.

— Может, подсушим?

— Это надолго. Это — не подмочить; там, поди, и пяти минут хватило.

— Больше. Он знаешь сколько стоял открытый? Как шлюпку вываливали.

Я теперь точно знал, кто ящик не закрыл. Димка, кто же ещё. Когда сплеснивал фалинь. Ну, чёрт с ним, все глупостей наделали.

— Придётся руками, — сказал «дед».

— А добросим?

— Я — нет. Ты добросишь. Ты молодой, зоркий.

Мы вытащили бухту манильского троса, скойлали её на две вольными шлагами, к середине я пиратским узлом привязал блок и бросательный конец — тоже из манилы, но тоненький, с грузиком.

— Отдохни, — сказал «дед».

Я сел прямо на палубу, спиной к ящику, а грузик держал в руке. Тут я опять вспомнил про своё плечо. На помпе я ещё натрудил его, а как же бросать теперь: ведь оно у меня правое. Может, сказать «деду», тут ничего стыдного. И вдруг я услышал шотландца. Мы ему погудели, и вот он откликнулся — слабеньким гудком.

«Дед» отвёл капюшон, приставил к уху ладонь. Значит, и он слышал, не померещилось мне.

— Ну, здрасьте, — сказал «дед». — Вот и мы.

Загудело откуда-то сбоку. Едва мы не проскочили.

— Парус! — закричал «дед». — Парус зарифили?

С палубы ответили:

— Убрали уже, сами не глухие.

«Дед» кинулся на верхний мостик, к переговорной трубе.

— Справа по курсу — предмет. Чьё-то судно. Питание на прожектора!

Он сам взялся за прожектор, направил его, и я увидел — сквозь брызги, сквозь заряд — зыбкую тень на волне.

— Видишь его, Николаич? — спросил «дед».

Пароход весь содрогнулся от реверса. Медленно-медленно мы подваливали к шотландцу.

Теперь уже ясно было видно — он к нам стоял кормой. Ох, если б стоял! А то ведь взлетал выше нас, к небу, а после проваливался к чертям в преисподнюю.

— Поближе не можешь? — кричал «дед». — Ну-ну, Николаич, и за это спасибо.

Там в корме показались люди — в чёрных роканах с белой опушкой. Я ещё отдыхал пока, с грузиком в руке, прислонясь плечом к ящику. А наши уже там высыпали, сгрудились по правому борту.

— На «Пегги»! — боцмана глас прорезался. — Концы ваши где? Концами я, что ли, должен запасаться? Салаги, синбабы-мореходы, олухи царя небесного!..

«Дед» перегнулся через поручень.

— Потише, Страшной! Здесь конец. Мы будем подавать.

— Это почему же — мы?

— Потому что они — бедствующее судно.

— А мы что, не бедствующие? Я-то помолчу. Только почему всегда рус-Ивану должно быть хуже?

— Это много ты хочешь знать, Страшной, — кричал «дед» весело. — Слишком даже!

Корма шотландца ещё приблизилась.

— Бросай, Алексеич!

Я пошёл с грузиком к поручням. «Дед» мне поднёс обе бухты к ногам, и я их пощупал сапогом для верности. «Дед» на меня направил прожектор, чтоб шотландцы меня увидели с бросательным, другим прожектором повёл к ним на корму.

— Бросай, не медли!

Там их стояло трое. В середине — вроде повыше. Кто же из них поймает? Бросательный был почти весь у меня в руке, скойлан меленькими шлагами, а обе бухты под сапогом, я их ещё раз пощупал. Животом прижался к поручням и кинул.

Бросательный с грузиком мелькнул в луче, как змейка, и упал к ним на поручни. Они засуетились там, захлопали рукавицами. И помешали друг другу. Или не разглядели как следует конца. Я почувствовал, как он ослаб у меня в руке.

Я вытянул его и снова скойлал себе в левую руку, а грузик взял в правую. Зато уж я точно теперь знал, сколько мне надо длины.

Из рубки уже орать начали:

– Что там с концом?

– Ты не слушай, – сказал «дед». – И не торопись.

Может быть, просто рука у меня поехала, из-за проклятого плеча. Он упал у них под самой кормой. Тут и багром не достанешь.

– Торопишься! – сказал «дед».

Я теперь койлал его, сжав зубы, чтобы не дать себе заспешить. И кинул я хорошо. Размахнулся не спеша, а кинул рывком, с подхлёстом, чтоб грузик завертелся в воздухе.

Он упал длинному на плечо, я это преотлично видел. А он захлопал себя рукавицами по плечу, как будто комаров бил... И пропал из луча. Корма у них взлетела, а мы стали проваливаться, и у меня сердце провалилось, когда почувствовал, как он опять ослаб у меня в руке.

– Сволочь ты косорукая! – я ему крикнул, долгому. Мне плакать хотелось, что он такой конец упустил. – Убить тебя мало!

– Что тебя так развезло? – «дед» на меня заорал. – Истерику закатил, как девушка в положении. Бросай!

– Сколько ж я буду бросать – раз они не ловят?

– Будешь бросать, пока не словят!

Я его опять вытянул, взял в правую, сколько нужно по весу. И ждал, когда мы сравняемся.

Грузик ему полетел в лицо. Это я очень даже прекрасно рассчитал. Он увидел, что грузик летит ему в рожу, и отпрянул, и грузик перелетел через поручень. Как словили, я уже не видел, корма у них снова пошла вверх и пропала. Но конец полетел у меня из руки, ожёг ладонь.

– Есть! – заорал я «деду». – Работает кончик!

Обе бухты стали разматываться. «Дед» кинулся ко мне, сграбастал одну в охапку и понёс к поручням, швырнул вниз.

– Держи, Страшной! Это тебе ходовой. – Потом вторую. – Это тебе коренной. Плотик приготовили?

— Плотик? Это сейчас, это у нас быстренько!..

— Мать вашу!.. Сами вы синбабы. Нет чтобы дело сделать...

Я только следил, чтобы леер прошёл по всем поручням без задева.

— Пошли, — сказал «дед». — Или ты сомлел?

— Немного.

— Всё равно вниз иди, не стой на ветру. Мы ещё жить собираемся!

Я сошёл за ним на палубу. Кто-то там на полатях возился, скидывал поводцы с плотика, и боцман причитал, чтоб добром не раскидывались, аккуратно бы складывали в капе. Наконец стащили плотик, привязали к ходовому концу штертом, вывалили за борт. И плотик исчез из глаз, ребята лишь потихоньку подвирывали к себе коренной конец. Потихоньку — это так только говорится, с каждой волной его рвало из рук, и весь он обвис примёрзшими варежками.

А я ничего не делал. Вот просто сел на трюм, держался за какую-то скобу и смотрел. И никто не орал на меня, что я сижу, ничего не делаю. Бондарь и то не орал. Ну, я своё дело сделал. А теперь посижу, на других посмотрю.

Леера у них рвались из рук, возили их по палубе, били животами об фальшборт.

— Васька! — орал дрифтер. — Буров, ты где там сачкуешь? У тя брюхо-то моего потолще, давай вперёд, амортизируй!

Васька, конечно, сзади сачковал. Но вылез самоотверженно.

— Ох, бичи, что ж от моего брюха-то останется? Шибает!

— Стой там, ничего, амортизируй!

Дрифтер с «дедом» над всеми высились. Похоже было, они-то и держали концы, остальные только «амортизировали». Вдруг Васька закричал:

— Стой! Стой, бичи, дёргают! Сигнал дают — плотик назад тащить. Вирай теперь ходовой!

Потащили. Кто-то спросил:

— Пустой идёт?

— Вроде нет, потяжелее стал.

— Сидит в нём какая-то личность!

Боцман выскочил из этой оравы, сложил ладони у рта:

— Мостике! Прожектор — на плотик!

В рубке грохнула дверь, кто-то забацал сапогами — к верхнему мостику.

Луч побежал — по вспененной злой воде, по чёрным оврагам — и в секучих брызгах нашарил плотик. Как будто схватил его рукою — крохотный плотик, белый с красным... И человека в плотике.

3

Весь он был чёрный, только мех белел вокруг лица и на манжетах. Уже видно было, что руки у него без варежек и как он вцепился в петли и жмурится от прожектора.

— Полундра, ребята! — сказал «дед». — Человека не разбить. Натяни оба конца.

Плотик уже был под бортом и снова отошёл. Выжидали волну. А несчастный шотландец болтался — то вверх, то вниз, — выпадал из луча, и снова его нашаривали.

— Дриф, — позвал «дед». — Давай-ка мы с тобой, они концы подержат.

Они вдвоем стали к фальшборту, перегнулись. Остальные назад отошли, упёрлись ногами в палубу, спружинивали концы. «Дед» командовал:

— Левый потрави... Теперь правый помалу.

— Держу! — дрифтер взревел.

— Держи, не упусти! Вот и я держу...

Они рванули разом, и шотландец прямо-таки взлетел над планширем.

— Скользкие рокана у них, — сказал дрифтер. — Как маслом облитые.

«Дед» перехватил шотландца под мышки, рванул на себя и повалился с ним на палубу. Бичи кинулись поднимать.

— Куда! — заорал «дед». — Концы держать, сами встанем.

«Дед»-то поднялся, а шотландец так и остался сидеть под фальшбортом, только ноги поджал, чтоб не отдавили.

— Алексеич, — позвал «дед». — Сведи человека в салон. Вишь, он мослы не волочит.

Шотландец мне улыбнулся — как-то виновато, замученно. Лицо у него было как мел. Поднял руку — всю в крови, содранная кожа висела клочьями. Что-то сказал мне, я не понял. Что я там по-английски знаю?

— Хелло! Плыз ин салон.

Он помотал головой: нет, не пойдёт никуда. Волна его залила по пояс, он в ней пополоскал руку и показал мне — самое лучшее лечение. Ну что с ним сделаешь?

— Да пусть сидит, — сказал дрифтер.

Второй ещё как-то благополучно прошёл, а с третьим пришлось-таки поуродоваться. Он сам два раза прыгал на борт и срывался, пока его дрифтер не поймал за локоть. Так он его и кинул, за локоть, лицом в палубу. Мы с Аликом растормошили шотландца, подтащили к фальшборту, усадили с тем, первым, рядышком. Понемногу он очухался, стал помогать ребятам.

Последним тащили ихнего кепа. Он маленький был и цепкий, как обезьяна. И смелый. Как подвели плотик, он весь подобрался, переждал волну и прыгнул. Просто снайперский был прыжок — руками и животом на планширь. Он бы, пожалуй, и через планширь сам перелез, да Васька Буров ему помог некстати — схватил за штаны сзади и перевалил головой книзу. Как-то не учли, что кеп.

Васька потом вспоминал:

— Не склеилась у меня на флоте карьера. Голова-то лысая, а до боцмана так и не дослужился. Но есть достижение: кепа за кормовой свес держал! Правда, не нашего, заграничного...

Кеп привёл себя в божеский вид и подал знак рукою: всё, мол, никого там не осталось. Дрифтер вытащил нож — обрезать концы.

Кеп что-то сказал своим. Они встали, держась друг за друга, смотрели на свою «Герл Пегги». Она уже отплывала от нас. Прожектор иногда её ловил и снова упускал. Кеп расстегнул капюшон, откинул на спину. Голова у него была лысейшая, как шар. Как у нашего кепа. И все они тоже откинули капюшоны, постояли молча, крестились.

— «Герл Пегги» — карашо? — дрифтер спросил жалостно.

Кеп-шотландец кивнул и снова перекрестился.

Потом пошёл в салон. Сам, никто его не повёл. Он наши СРТ знал, поди, где чего находится. Остальные шотландцы за ним. Самого первого, который на ногах едва держался, двое вели под руки.

Я поглядел — «Герл Пегги» уже пропала из виду. Только гудок ещё доносился прерывисто. Это они нарочно оставили, чтоб никто на неё в темноте не навалился. Как будто живая тварь жаловалась на свою погибель.

В салон, конечно, все наши набились – стояли в дверях, жались по переборкам. Шотландцы сидели все в ряд, на одной лавке – с красными лицами, такими же, как у нас, только вот глаза были другие. И чем-то у всех у них одинаковые – хотя кто помоложе был, кто постарше, а кеп так совсем пожилой, лет за полста наверняка. Я даже сказать вам не берусь, что у них было в глазах. Как у молочных телят, когда у них ещё плёнка голубая не сошла. Как будто они чего-то не знали и не хотели даже знать. Прожитой жизни не чувствовалось. Как говорил наш старпом из Волоколамска – правда, про норвежцев: «Лица их не облагорожены страданием».

Кандей с «юношей» обносили их мисками с борщом. Они улыбались, кивали, но есть не спешили – показывали на своего раненого. Кто-то за третьим штурманом сбегал, и он из рубки приволок свою наволочку.

– Волосан ты, – сказал Васька Буров. – На кой ты всю наволочку тащил? Чем ты его лечить собираешься, зелёнкой? Так и принёс бы в пузырьке, с этикеточкой, оно и красиво.

Раненый шотландец взял пузырёк, разглядел этикетку и кивнул. Третий ему стал прижигать руку ваткой, а они все внимательно смотрели. Тот морщился, вскрикивал, но как будто даже понарошку:

– Оу! Ау! Ой-ой! – и улыбался.

Третий ему кое-как намотал бинтов, и он, конечно, всем показал, какая прекрасная бинтовка, какая толстая, сенк ю вэри мач.

Тогда они стали есть. Совсем как и мы, штормовали миски у груди. Только раненый не мог, его товарищ кормил из своей миски. А тот дурачился – набрасывался всей пастью на ложку, и нам подмигивал, и языком цокал, – оу, вкуснотища какая, только мало ему достаётся, жадничает, мол, кореш, себе ложку полнее набирает.

Димка что-то сказал ихнему кепу. Тот слушал его, наклонив голову, потом ответил – длинно-длинно. Димка уже с середины стал отмахиваться – не понял.

– Такой английский я первый раз слышу.

Шурка сообразил:

– «Маркони» надо позвать. Он с ихним «маркони» как-нибудь договорятся.

Побежали за «маркони». А мы пока глядели на них и лыбились. Что ещё прикажете делать?

«Маркони» пришёл – уже заранее красный. А как его вытолкнули к шотландцам, он совсем вспотел, как мышь.

– Кто у них радист? – спросил. – Ху из «маркони»?

Радист у них этот маленький оказался, раненый.

– А! – сказал «маркони». – Так это ты мне, подлец, радиограммку отбил: «Иван, селёдки нет, собирай комсомольское собрание»?

Тот закивал радостно, попробовал даже отбить рукой на столе. И тут они оба затараторили. На таком английском, что Димка только плечьми пожимал. У того какой-то там шотландский акцент, а у нашего вообще никакого акцента, он прямо так и молол, как пишется: «оур», «тиме», «саве».

Кеп-шотландец что-то спросил у своего «маркони», тот «перевёл» нашему.

– Чо он там? – спросил Шурка.

– Спрашивает, что у нас тут происходит. Он так понял, что мы сами терпим бедствие.

– Глупости, – сказал Шурка. – Ты ему ответь: мы этого терпеть не можем.

– А «SOS» тогда кто давал?

– Другой там какой-то «сóсил», не из нашего даже отряда. А мы это... тренируемся в спасательных работах.

– Они что, дураки? – сказал «маркони». – Они ж воду видели в шахте.

– Ну, правильно, – сказал Шурка. – Налили через кингстон. Теперь откачиваем. А как ещё тренироваться?

– Всё им знать обязательно? – спросил Васька. – И так они страху натерпелись.

Шотландцы слушали, даже есть перестали. «Маркони» им перевёл, как мы просили. Они переглянулись между собой, и кеп что-то спросил, улыбаясь. Долго что-то говорил, а «маркони» ихний втолковывал нашему.

– Спрашивает, почему не взяли на буксир. Если всё у нас так хорошо, что мы себе в шторм ещё холодную баню устраиваем в шахте. Так вроде? Ну да, могли бы, говорит, потренироваться в буксирной практике в штормовых условиях. Я вам говорю, врать не стоит, всё понимают, черти.

– Скажи ему, – попросил Шурка, – у нас по программе воду откачивать. И леерное сообщение. А буксировка – это в следующее занятие.

«Маркони» им сказал. Кеп ихний послушал, покивал, потом встал, потянулся через стол и пожал ему руку.

– Как сказать? Ви – моряки!

«Маркони» совсем от смущения взмок.

— Да ну их к бесу. И в рубку мне пора.

Другие тоже вскочили, потянулись к нам. Мне этот пожал, длинный, которому я конец бросал. Он, оказывается, совсем юный был парнишка, с пушком на губе — наверно, и не брился ещё ни разу. Все-таки запомнил он меня, разглядел под прожектором — изображал теперь наглядно, как оно всё было.

Старпом явился — с приглашением от нашего кепа шотландскому: расположиться в его каюте. Сам он, к сожалению, прийти не может, занят на мостике. Шотландец поблагодарил и отказался.

— Я, — говорит, — очень уважаю вашего капитана и благодарю за оказанное нам спасение, но я знаю, какая у него тесная каюта. Кроме того, мне очень интересно пообщаться с экипажем.

Вот так. И всех как током ударило, когда включилась трансляция. Мы как-то съежились и притихли. Шотландцы — тоже. Ну, для них-то уже никакой тайны не было.

Жора-штурман пробасил в динамике:

— «Маркони» — в рубку! «Маркони» — в рубку!

«Маркони» заизвинялся перед шотландцами, приложил руку к сердцу.

— Ай эм сори, джаб*.

Шотландцы опять вскакивали, пожимали ему руку, улыбались — всё понятно, джаб.

Я вышел за ним, спросил:

— С базой говорить?

— Определяться, наверно. По радиомаякам. Что ты, Сеня, какая база нам теперь поможет! Мы уже, наверно, в миле от Фарер.

— Куда же теперь?

Он пошёл вверх по трапу.

— Ох, Сеня, спроси чего полегче. Осталось нам только на скалу выброситься. — И побежал.

Через наружную дверь ввалились боцман с Аликом — тащили нагрудники. Как я понял, они их из шлюпки приволокли — для шотландцев.

Опять включилась трансляция, и Жора-штурман сказал:

— Команде — приготовиться! По местам стоять!

---

* Извините, работа *(англ.)*.

К чему приготовиться? И где теперь наши места? Никто ничего не спросил. Но все пошли из салона. Все, кроме шотландцев и кандея.

4

> И раз навсегда я скажу тебе, юноша, и ты можешь мне поверить, что лучше плавать с хорошим угрюмым капитаном, чем с капитаном шутливым и плохим.
>
> *Герман Мелвилл. «Моби Дик»*

Рассвет ещё не брезжил — хотя до него, наверно, рукой было подать, — и оба прожектора зажглись, посветили вперёд. Вокруг была чернота, из неё сыпался снег, и брызги сверкали в луче.

Над палубой раскатилось из динамиков:

— Всем покинуть носовые кубрики! Боцману — проверить!

Но мы-то все были здесь, друг перед другом, в кубриках никого не осталось, только шмотки наши. И все как раз и кинулись за ними. Каждому что-нибудь хотелось же взять.

Мне-то ничего не хотелось, раз куртка погибла. Чемоданчик — что в нём толку, пара сорочек да носки, я решил не морочиться. Взял только нагрудник, надел сразу и завязал тесёмки. Шурка взял карты, затиснул под рокан. Васька Буров потащил из-под койки ящик с мандаринами, да Шурка ему отсоветовал:

— Разобьются на палубе, а тут, может, и уцелеют, если не приложимся...

Мы выскочили, стали на трюме, каждый держался за что мог. И друг за друга.

Из рубки кричали:

— Кто в носовых остался?

— Никого! — Шурка ответил. — Вышли все!

И в ту же буквально секунду Серёга на нас налетел — бежал с руля.

— Я ещё не вышел!

И убежал в кап. Минута прошла, другая, а его всё не было. Мы с Шуркой кинулись.

И что же он там делал, в кубрике? А он, прохиндей, коллекцию свою отдирал с переборки — Валечек, Надечек,

Зиночек и Зоечек, — да не отдирал, а откнопывал аккуратненько и прикладывал к пачке. Только ещё половину успел собрать.

— Серёга, ты озверел?

Шурка на него напялил нагрудник, мы его схватили за рукава, и он всю пачку выронил на трапе.

Про что мы ещё забыли, про кого?

— У рулевого нагрудник есть? — Шурка спросил у Серёги. — Тебя кто сменял?

— Кеп.

— Сам кеп?

Мы поглядели на стёкла рубки: в слабеньком свете из компаса — кепово лицо над штурвалом. Чёрные ямы вместо глаз, подбородок светится. Рядом с ним Жора стоял и третий.

— А «дед»? — я спросил.

— В машине, у реверса.

— У него есть?

— Дурак ты, — сказал Васька Буров. — Помогут нам всем нагрудники!

Я опять кинулся в кубрик. И пока они добежали, схватил один лишний — с Ваньки-Ободовой койки — и выскочил.

...«Дед» стоял у реверса по колено в масленой чёрной воде, руку держал на рычаге. А глазами прилип к телеграфу. На верстаке качали помпой полуголый Юрочка и какой-то шотландец в чёрном рокане. Снизу их окутывало паром.

— «Дед»! — я крикнул в шахту. — Нагрудник возьми!

Не услышал он меня, наверно. Машина стучала с большими перебоями, и он, верно, к ней больше прислушивался.

— «Дед»!

Он ответил, не оборачиваясь:

— Ступай на палубу, Алексеич. Наплавался я с нагрудником.

Мне хотелось, чтоб он хоть посмотрел на меня в последний раз. А «дед» всё смотрел на шкалу телеграфа и держал руку на реверсе. Я снова его позвал, и он не обернулся.

Кому же мне было отдать этот нагрудник? Может, Юрочка возьмёт. Я ему показал — не кинуть ли? Юрочка мне подмигнул и спросил:

— Посвистим, Сеня?

Видали идиотов?

— Посвистим, — говорю.

— А за что — за бабу или за политику?

— В прошлый раз — за бабу. Теперь уж давай — за политику.

— Как мы решим с Кубой?

— Мнение наше непреклонно. Куба — си, янки — ноу!

Вдруг этот шотландец обернулся ко мне и заржал, засверкал зубами. А ну их!

И тут я увидел — в полутёмном коридоре кто-то толкается в наружную дверь, звякает задрайкой.

— Куда! — я ему заорал. — Куда отдраиваешь? С этого ж борта кренит, мало мы в шахту нахлебали!

Он мычал что-то и толкался в дверь. Я подумал — не обезумел ли кто?..

— Смоет же тебя к такой матери! — Я подошёл, рванул его за плечо.

Граков это был. В расстёгнутом кителе, волосы спутаны... Он мне дышал тяжело в лицо, и я вдруг почуял: он же пьяный в усмерть. Я прямо обалдел — неужели ж напился? В такую минуту напился! Когда мы все валились с ног и опять вставали — спасать наши жизни и его драгоценную тоже...

— Ступайте в каюту! — я ему сказал. — Надо будет — придут за вами, не оставят.

— Плохо, матрос? — Глаза у него были мутны, лицо набрякло багрово.

— Да уж куда хуже.

— Гибнем? Скажи честно.

Я ему протянул нагрудник.

— Авось выплывем.

— Кто это приказал?

— Что?

— Нагрудник... мне...

— Капитан.

— Врёшь, матрос...

— Сказал бы я вам!..

Я на него надел нагрудник и завязал тесёмки.

— Зря всё это, матрос...

Я подумал — действительно зря. Ты-то ведь каким-то дуриком, а выплывешь, а вот «деда» никто не спасёт, разве что Юрочка. Да пока он на свои бицепсы хоть фуфайку

напялит, всю шахту зальёт. Я бы остался здесь, но моё место – палуба. Может быть, там я понадоблюсь. Но я всё-таки постараюсь. Я добегу. Вытащу «деда».

Я довёл Гракова до каюты, втолкнул в дверь.

– Матрос, так ты забежишь за мной? Ты обещал...

Я побежал на палубу, стал на трюме, рядом с Серёгой и Шуркой. Палубу трясло – от машины, и зубы у меня стучали. Нагрудник трясся и бил по животу. Снег и брызги хлестали в лицо, но глаза я не мог закрыть, не смел – потому что увидел камни. Мы все их увидели.

Прожектора их нащупывали во тьме. Волна приливала к ним, взлетала пенистыми фонтанами, и было видно, как шатаются эти камни – чёрные, осклизлые. Вдруг они ушли из виду, ушли вниз, полубак высоко задрался и пошёл прямо на них, на скалу. Машина взревела, как будто пошла вразнос, и винт провернулся в воздухе, а потом ударился об воду. «Дед», наверно, дал реверс, потому что, когда мы снова увидели камни, они уже были подальше. Я оглянулся – стекло в рубке опустили, кеп стоял у штурвала без шапки, в раздраенной телогрейке. Шпаги завертелись, он прислонился к штурвалу грудью и не мог его удержать. Жора и третий кинулись на помощь.

Нос опять подался на камни. Я стоял как раз за мачтой и видел, как она приводилась к середине между камнями. И разглядел чёрную щель фиорда – прямо против нас; волна на неё накатывала косо и закручивалась по стене; от этого нас стало заносить и развернуло, и мачта прошла мимо щели. Двигатель снова зачастил, сотряс всю палубу, и мы отошли. Прожектора заметались – то в небо, то упирались в камни. Грунт под камнями был изрыт водоворотами, из воронок летел гравий, барабанил нам в скулу.

Мы опять развернулись – медленно-медленно – и снова стояли против чёрной щели, ни назад, ни вперёд. И вдруг нас рвануло, приподняло – всё выше, выше – и понесло на гребне. Камни промелькнули с обеих сторон, а потом волна их накрыла с рёвом. Я только успел подумать: «пронесло!» – и увидел скалу – чёрную, пропадающую в небе. По ней ручьями текло, и она была совсем рядом, да просто тут же, на палубе. Те, кто стояли у фальшборта, отпрянули к середине. А нос опять стало заносить, и скала пошла прямо на мачту, на нас, на наши головы...

Я зажмурился и стал на колени. И как-то я чувствовал — все тоже присели и скорчились. И у меня губы сами зашевелились — что я такое шептал? Молился я, что ли? Если Ты только есть, спаси нас! Спаси, не ударь! Мы же не взберёмся на эти скалы, на них ещё никто не взобрался. Спаси — и я в Тебя навсегда поверю, я буду жить, как Ты скажешь, как Ты научишь меня жить... Спаси «деда». Шурку спаси. Спаси «маркони» и Серёгу. Бондаря тоже спаси, хоть он мне и враг. Спаси шотландцев — им-то за что второй раз умирать сегодня! Но Ты и так всё сделаешь. Ты — есть, я в это верю, я всегда буду верить. Но — не ударь!..

Над головой у меня затрещало, сверху упало что-то, скользнуло по руке, какая-то проволока... Ох, это же антенна, «маркониева» антенна!.. И что-то тяжкое, железное упало на трюмный брезент рядом с нами — как будто верхушка мачты. Но ещё ж не конец, не смерть! И я открыл глаза.

Грохотало уже позади, и двигатель урчал и покашливал в узкости. Прожектора шарили между нависшими скалами, отыскивали поворот. Море храпело за кормой, а мы прошли поворот, и теперь только хлюпало под скалами. Это от нас расходились волны — от носа и от винта, а шторм для нас — кончился.

Я встал на ноги. Колени у меня дрожали, нагрудник тянул книзу пудовой тяжестью. Я развязал тесёмки и скинул его. Шурка тоже скинул. И Серёга. И все.

Потом открылась бухта — стоячая вода, без морщинки. В маленьком посёлке светились два-три окошка, и тишина была такая, что в ушах звенело.

Мы вышли на середину, и двигатель смолк. Прожектора сразу начали тускнеть, и стало видно, что рассвет уже недалеко, уже посерели сопки, домишки в посёлке, судёнышки у короткого причала. На трюме валялся обломок мачты, и проволока вилась кольцами. Кто-то её зачем-то сматывал.

Потом боцман ушёл к брашпилю. Пошёл молча, с собой никого не звал. Слышен был всплеск и как зазвякала цепь. В рубке опустили все стёкла, кто-то высунулся, смотрел на посёлок.

А пароход покачивался ещё, по инерции. Сутки простоим — успокоится.

Вот тут я и сплоховал. Никогда этого со мной не случалось, с первого дня, как я пришёл на море. Едва я успел дойти и свеситься через планширь. «Дед» подошёл ко мне,

весь дымящийся, в пару, подержал за плечо. Потом дал платок — вытереть рот — и кинул его в воду.

— Ничего, — сказал «дед». — Всё, Алексеич, нормально. Моряк, на стоячей воде травишь.

До чего же мне было плохо! И стыдно же до чего — хотя никто как будто на меня не смотрел.

Стукнула дверь — шотландцы выходили на палубу в чёрных своих роканах-комбинезонах, по двое, по трое, обнявшись, как братья.

Люди как люди. И я ушёл с палубы.

5

Почему-то меня не трогали. Я сквозь сон слышал — кого-то ещё вызывали на откачку, кто-то возвращался, хлопал дверью, скидывал сапоги. Потом ещё, помню, кричали: «“Молодой” пришёл!.. Примите кончики...» — и я никак понять не мог, какой там ещё молодой... И стук помню машины, только не нашей, и где-то под бортом хлюпало, а потом всё стихло, и я провалился в черноту.

А проснулся, когда совсем светло было в кубрике. Ну, совсем-то светло у нас не бывает — иллюминатор в подволоке крохотный, — но всё можно было различить. Ребята лежали, все почти в телогрейках, поверх одеял. В Ваньки-Ободовой койке спал какой-то шотландец в рокане, лицом вниз, даже капюшон не откинул.

А я отчего проснулся? От холода, наверно. Или оттого, что где-то сопело, хлюпало, и я подумал: снова там нахлебали.

Я вышел — увидел бухту, молочно-голубую, всю залитую солнцем. Редкие-редкие неслись облака по голубому небу. Посёлок уже проснулся, чернели человечки на снегу, домишки были уже не серые, а ярко-красные, зелёные, жёлтые, и от причала отходили судёнышки.

Вот что, оказывается, сопело — у нашего борта буксир стоял, «Молодой». От одного названия мне весело стало — только поглядеть на эту калошу, на трубу́ её высоченную. Трюма у нас были открыты, валялись на палубе вынутые бочки, а с «Молодого» тянулись к нам толстые шланги — в оба трюма и в шахту, через дверь.

В трюме двое мужиков заделывали шов. Один в беседке висел, другой ходил по пайолам. Воды там уже осталось по щиколотку.

Я присел на комингс, закурил.

— Смотри-ка, — этот сказал, в беседке, — один живой обнаружился!

— Живой, — говорю. — Только не вашей милостью. Вы-то чего там в Северном оказались, где никто не тонул?

— Да кто ж вас знал, ребятки, что вы с курса уйдёте? Мы-то поспели, а вас и во всём квадрате нету. И связи нету. Мы уж подумали: на дно ушли.

— Поспели вы! На нашу панихиду.

Тот, снизу, с пайол, сказал угрюмо:

— Да мы такие, знаешь, спасатели: как никто не тонет, так мы хороши.

— Ничего, — сказал этот, в беседке, — зато долго жить будете, ребята.

— Да, — говорю. — Это нам не помешает.

Я курил, смотрел на их работу. Они уже закончили опалубку, теперь ляпали в неё цементным раствором.

— Нас, — я спросил, — не позовёте помогать?

— Что ты! — сказал этот, в беседке. — Мы вам теперь и пальчиком не дадим пошевелить. Спите, орлы боевые.

Что-то я ещё хотел у них спросить?

— Курточку я тут потерял. Не находили?

— Которую? — спросил в беседке.

Я вздохнул.

— Да что ж рассказывать, если не нашли. Хорошая была, душу грела.

— Да если б нашли — не заначили, какая б ни была. — Что-то он вспомнил. Лицо сделалось такое мечтательное. — Слышь-ка, тут шотландец один — рокан снимал. Такой свитер у него под роканом! Мечта моей жизни. Ты похвали — может, подарит.

— Так он же мне подарит, не тебе.

— Всё равно приятно. А я бы с тобой на чего-нибудь обменялся.

— Нет уж, просить не буду.

— Зря, момент упускаешь.

Снизу угрюмый спросил:

— Как же ты её потерял? Шов небось курткой затыкали?

— Да вроде того.

Он покачал головой.

— Это бы вам, ребятки, много курточек понадобилось. В трёх местах текли. В трюма набирали, в машину и через ахтерпик.

— Это, значит, к механикам в кубрик с кормы текло?

— Ну!

— Скажи пожалуйста! А мы и не знали.

В беседке ещё спросил:

— Ну, а этот-то, Родионыч — ничо себя вёл? Зверствовал небось, когда поволноваться пришлось?

— Ничего. Когда тонули, смирный был.

— Смирный! — сказал угрюмый. — Волки в паводок тоже смирные бывают, зайчиков не трогают. А как ступят на бережок, так сразу про свои зубы-то вспоминают.

— Может, и так, — говорю. — Всё же он урок получил.

— На таких, знаешь, уроки не действуют.

Я не спорил. Вот уж про кого мне меньше всего хотелось думать, так про этого Родионыча. И отчего-то я всё никак не мог согреться. Хотя вроде на солнышке сидел. Ну да какое уж тут солнышко! Этот, в беседке, и то заметил, что я зубами стучу.

— Ты, парень, прямо как в лихорадке. Ну, натерпелись вы! Сходи на камбуз, там плита топится.

— Кандей неужто встал?

— Ну!

Я уже хотел сходить, но тут к нам катер стал причаливать, с плавбазы. Я от него принял концы.

— Вахтенный! — покричали мне с катера. — Позови-ка там Гракова.

Вот я уже и вахтенным заделался. Но звать не пришлось: Граков мне сам навстречу вышел из «голубятника» — побритый, китель на все пуговки, лицо только чуть помятое с перепоя. За ним вышли кеп, тоже в кителе, и штурмана — Жора и третий. Старпом их провожал — в меховой своей безрукавке — до самого трапа.

И ещё с ними боцман вышел — хмурый, с пятнышком зелёнки на скуле, и чокнутый наш, Митрохин. Оба в пальто, в шапках. Эти-то зачем отчаливали, я так и не понял.

— Как с гостями-то? — старпом спрашивал у Гракова. — С шотландцами...

— Да уж не буди, пока спят. И своим дай выспаться. Вечером их сами на базу свезёте. Только ты приглядывай всё-таки, понял? Не нужно, знаешь ли, этого неорганизованного общения.

Третий помахал старпому с катера.

— Ты теперь-то хоть не шляпь, когда на буксире.

— Оправдывай доверие, — крикнул Жора.

Кеп ничего не сказал, только сплюнул в воду. Катер отчалил. Меня Граков так и не заметил.

Старпом ко мне повернулся сияющий:

— Слышь, вожаковый? Может, всё и обойдётся. — И зашлёпал к себе вприпрыжку.

Отчего же нет? — я подумал. — Конечно, обойдётся, дураков же мы до отчаянья любим. Такой же ты старпом, как я — заслуженный композитор. Политинформации толкать — это ты научился: чего нам империалисты готовят и их пособники, — а поставь тебя на мостик — то курс через берег проложишь, то назад отработаешь не глядя, то даже шлюпку не различишь, какую прежде вываливать. Ещё, глядишь, в кепы выйдешь. Не дай мне, конечно, бог с таким кепом плавать. А другие, кто поспособнее, будут под тобой ходить — вот хотя бы Жора или даже третий. Не понять мне этого никогда.

И холодно мне было зверски. Не так чтобы от воздуха, день-то намечался не морозный, а как-то внутри холодно. Я пошёл на камбуз.

А кандей, оказывается, пирог затеял. Поставил тесто, в кастрюльке крем сбивал — из масла и сахара.

— Для гостей? — я спросил.

— Зачем? Для вас. Ну, и для гостей тоже. Для меня-то вы все одинаковые.

Постепенно бичи повылезали в салон. Потом пришли шотландцы. И мы этот пирог умяли вместе, на радость кандею, с чаем. Жаль только, выпить было нечего, а то б совсем стали родные. Кандей всё печалился:

— Раньше б знать — наливку сотворил бы из конфитюра. И рецепт у меня есть, и конфитюр есть, а вот времени не было — для закваски.

Но мы и так пообщались. Каждый себе по шотландцу отхватил — и общались, не знаю уж на каком языке. Васька Буров — тот себя пальцем тыкал в грудь и говорил:

— Вот я — да? — Васька Буров. Такое у меня формнáме и нáме. А по должности — так я на этом шипе главный бич, по-русски сказать: артельный. Теперь говори, ты кто? У тебя какое наме и форнаме? Джаб у тебя на шипе какой?

И между прочим, он-то больше всех и выяснил про этих шотландцев.

— Бичи, — говорит, — тут, считайте, одно семейство плавает. Кеп у них — всеобщий папаша. Вот этот, долгий, которому Сеня-вожаковый конец бросал, так он — млад-

ший потрох. Вон те два рыжанчика — Арчи и Фил — старшенький и средний. А те — зятья, у кепа ещё две дочки имеются. Один у них только чужой — «маркони», они ему денежками платят, а себе весь улов берут. А судно у них — не своё, владельцу ещё пятьдесят процентов улова отдают как штык.

— Что ж они ему теперь-то отдадут? — спросил Шурка. Очень ему жалко стало семейства.

— А ни шиша. Всё ж застраховано. Они ещё за свою «Пегушку» компенсацию получат. — «Пегушкой» он «Герл Пегги» называл. — И с фирмы ещё штраф возьмут, которая им двигатель поставила дефектный.

Нам сразу легче стало, что не совсем они пропащие, наши шотландцы.

— А нам, бичи, знаете, сколько бы премии отвалили, если бы мы ихний пароход спасли? Пятьдесят тыщ фунтов, не меньше.

— Ладно, — сказал Серёга. — Нашёл, чего спрашивать.

— А я разве спрашиваю? Сами говорят.

Старпом всё тёрся около нас, прямо как тигр на мягких лапах, чуть себе ухо не вывихивал, — да мы вроде политики не касались, всё больше по экономическим вопросам.

— А вот вы мне чего скажите, бичи, — Васька Буров говорит. — Как же это получается: за пароход или там за имущество какое — дак деньги платят, а за людей — ни шиша?!

— А ты б чего, взял бы? — спросил кандей.

— Я-то? Нипочём. Я бы и за пароход не взял. А за людей — это уж просто грех. Но ведь другой-то — он бы, может, и взял. Ему не посули заранее — он и пальцем не пошевелит выручить кого.

— Что ж он, хуже тебя? — опять кандей спросил.

— Хуже не хуже, а должно что-то за людей полагаться. Неуж душа живая дешевле имущества?

— Полагается, да не нам, — сказал Серёга. — Просто ихний министр нашему задолжал. А сколько — это ты никогда не узнаешь.

Шурка сказал:

— Ни хрена не полагается. Одно моральное удовлетворение. Это вроде как субботник.

— Дак на него и ходят-то так, знаешь... пошуметь да посачковать. Опять же — зовут, попробуй не выйди.

Не-ет, — Васька Буров всё не соглашался. — Материальный стимул — он большой рычаг. Верно ж, старпом?

Старпом насчёт этого рычага не нашёл чего возразить.

— Вот я и говорю — чего-то ж всё-таки стоит человек. Должен стоить!

— А ничо он не стоит, — сказал Серёга мрачно. — За тебя кто-нибудь поллитру даст? И усохни.

— Башка! Ни о чём с тобой по-серьёзному нельзя...

— Ну, так ведь... — Шурка поразмыслил. — Смотря же — какой человек.

— А! Так, стало быть, цена-то ему всё ж таки есть! Только вот — какая?

Салага Алик прислушивался, голову склонив набок, улыбался, потом сказал, зарумянясь:

— Наверное, надо так считать — во что человека другие ценят... Я так думаю.

Васька подумал и не согласился.

— Вот этот жмот — слыхал? — за меня бы и поллитры не дал, а пацанок моих спроси — им за папку любимого и десять мильонов мало будет.

— Ты ж им не просто человек, — сказал Шурка, — ты ж им родитель. Да об чём спор? Кто сколько получает — столько он и стоит.

— У! — Васька сказал. — Ежели так, то старпом у нас четырёх салаг перетянет.

Поглядели мы на старпома нашего, потом — на салагу Алика. Нет, решили молча, так тоже нельзя считать. Салагу мы как-то больше теперь ценили.

— И опять же, — Васька добавил, — вот нам за сегодняшний день одна гарантийка идёт: рыбы стране ж не даём, бичуем, а позавчера ещё — давали. Что же мы, позавчера и стоили больше? Так это же, если разобраться, рыбе цена, не человеку.

Старпом всё же вмешаться решил, предложил разграничить чётко, какой человек имеется в виду — советский или не советский. Ну, это мы его оборжали всем хором. Попросили хоть при шотландских товарищах воздержаться, вдруг — поймут. К тому же, Серёга ему намекнул, если иностранец — его же в наших рублях нельзя считать, его же надо — в валюте, так это, может, и подороже выйдет. Старпом своё предложение снял.

— Ай, мужики! — Васька засмеялся. — Ну, не ожидал... Бородатые, детные, а не знаем — сколько ж стоит человек!..

— Может, и не надо нам этого знать, — сказал кандей. — Господь знает — и ладно.

— Это — которого нет? — старпом подхихикнул.

— Ещё не выяснено, — Алик заметил.

— Как это — «не выяснено»?

— Да так. Великие умы спорили — к единому выводу не пришли.

— Интересно — что за такие «великие»!

— Да уж какие б ни были, — кандей наш спор закончил, — а раз они не пришли, так мы — и подавно. Кому ещё чаю налить?

Вот на чём все и сошлись — что не нам это знать, сколько человек стоит*. Шотландцам, которые только глаза таращили, попробовали растолковать, об чём мы здесь травим, — не поняли они, плечами пожали. Но всё же высказались — за расширение контактов. Стали нас к себе в Шотландию приглашать, в гости. Из-под роканов вынули шариковые ручки и записали свои адреса, а ручки нам подарили. Адреса мы взяли, на всякий случай. Их тоже пригласили — кто во Мценск, кто в Вологду, кто в село Макарьево Пензенской области.

А дело там, на палубе, само делалось. Слесаря с «Молодого» и правда не дали нам и пальцем пошевелить. Сами и парус убрали в форпик, и бочки убрали, и обломок мачты к месту приварили — это рей оказался, мачта чуть только погнулась. Даже антенну «маркониеву» натянули. «Дед» сходил поглядеть и рукой махнул.

— Как-нибудь дошлёпаем.

Потом мы опять спали. И мы, и шотландцы. Проснулись только под вечер, когда «Молодой» нас потащил через фиорд. В Атлантике шторм уже послабел, я это по птицам видел — опять они усеяли скалы и горлопанили, когда мы под ними проходили. В шторм они прячутся куда-то.

Когда вышли, солнце светило косо и океан темнел грозно, поблескивал невысокой волной. Но скалы уже припорошило снегом, и были они снова белые, с лиловыми извилинами, с оранжевыми верхушками, и даже не верилось, что мы-то их видели чёрными, и не так давно. В миле примерно от фиорда мотались в прибое чьи-то об-

* Международное морское право тоже не знает цены человеческой жизни, считает её — бесценной, поэтому и не устанавливает вознаграждения за спасение людей.

ломки. От «Герл Пегги», наверно, или чьи-нибудь другие. Шотландцы наши помрачнели и снова стали креститься.

База нас ожидала на горизонте — вся в огнях. На мачтах, на такелаже — огни, и в десять рядов иллюминаторы. Целый город стоял посреди моря, а в воде его отражение. Когда подошли поближе, стало видно, как светится голубым светом вода вокруг её днища, как будто его подсвечивали из глубины. Весь борт усеян был людьми, вдоль всего планширя торчали головы и на верхних палубах, в надстройках. Между мачт висел флажный сигнал по международному коду, снизу его подсвечивали прожектора: «Привет спасённым отважным морякам Шотландии!» Я на крейсере сигнальщиком служил, так я бичам и перевёл. «Молодой» нас притёр аккуратно к базе, матросы с него перескочили к нам и закрепили концы. Они же и сетку приняли от ухмана. Мы ни к чему не прикасались. Прямо как пассажиры.

Шотландцы стояли уже наготове. Мы вышли с ними попрощаться.

— По пятеро пускай цепляются! — крикнул ухман. — Вы уж им объясните, ребятки.

Кто-то с базы по-английски в мегафон прокричал. Наверно, то же самое.

— А ты штормтрап не мог подать? — спросил дрифтер. — Э, грамотей!

Ухман себя только рукавицами похлопал. Оплошал, мол, бывает.

Двое шотландцев подсадили маленького своего, помогли ему ноги продеть в ячею. Он вцепился одной рукой, а другой, забинтованной, помахал нам на прощанье. Вдруг они о чём-то перекинулись, и один соскочил, показал нам на сетку. Они нас приглашали с собой.

— Да нам-то чего там делать? — спросил Васька Буров.

— Э, чего делать! — сказал Шурка. — Ехать, и всё!..

Он первый вцепился в сетку и меня потянул за собой.

— Земеля, поехали, раз приглашают.

Пятым вскочил Васька. И сетка понеслась. Была не была!

Ухман кинулся к нам:

— А вы-то куда? Впереди гостей...

— Ай лав ю, мистер ухман! — Шурка ему сказал.

Маленький шотландец тоже чего-то подвякнул. Очень, наверно, толковое. Нас и этот, с мегафоном, не стал задерживать.

Со второй сеткой поднялись из наших Серёга с дрифтером и «маркони». Потом салаги и дрифтеров помощник Геша. А последним — с ихним кепом, представьте, — мотыль Юрочка. И так мы всей капеллой и пошли по живому коридору. Тут, конечно, все высыпали на шотландцев поглядеть — и комсоставские, и матросы, и девчата-тузлучницы, и прачки, и медики. Ну, и мы, конечно, пользовались успехом.

Мы сошли — по главному трапу — вниз куда-то, палубы на три, и тут вахтенный — в кителе с двумя шевронами — распахнул перед нами стеклянные двери и показал, куда идти — по длинному-длинному коридору, по красным коврам, прямо к кают-компании. А там-то уже двери были настежь и стол накрыт для банкета — не соврать вам, персон на сто двадцать, — весь сверкающий, уставленный бутылками, графинчиками, тортами, ещё чёрт-те какой закусью, утыканный флажками — нашими и шотландскими.

Тут-то мы и заробели. Шотландцы — во всём чёрном, лоснящемся — прошли, а мы поотстали, чтоб их пропустить вперёд. И вахтенный, с двумя шевронами, нас и узрел.

— Что вы, ребятки, куда в таком виде? Вы б хоть почистились, прибрались...

Дрифтер чего-то ему промямлил, но очень неубедительно. Это он на палубе горластый, а тут заалел, как майская роза, и сник. Один мотыль Юрочка проскочил дуриком. Но он-то в куртке был и в ботинках. Не такая курточка, как моя, но всё же приличная. А мы-то все в телогрейках, кто даже в сапогах полуболотных, под ними хлюпало, а у меня ещё и вата повылезла из плеча. Мы же про этот банкет и духом не ведали, ну каждый и пошел в чём был.

Мы стали тесной кучкой у переборки, смотрели на всю эту толкотню и уж как чувствовали себя, даже говорить не хочется. И уйти нельзя — как попрёшь против толпы, во всём сыром?

— Бичи, — сказал «маркони». — Я так понимаю ситуацию. Теперь, если только девки нас не проведут, топать нам домой, бичи.

Это он верную мысль подал. Вахтенный всё же моряк был, и очень даже галантный. И ведь почти у каждого кто-нибудь тут есть знакомая — то ли медичка, то ли рыбообработчица.

Первым Васька Буров высмотрел.

— А вон, — говорит он, — Ирочка идёт.

Ирочка не шла, а прямо летела на шпильках, юбка чёрная колоколом, блузка белая с кружевом, в ушах красненькие клипсы. Если только на руки поглядеть и на шею, видно было, что работает она на ветру, на палубе. Может быть, тузлук разливает по ящикам.

Ирочка нам понравилась.

— Надёжная? — спросили мы Ваську.

— По квартире соседка. Ирочка, ты меня не узнаёшь?

Ирочка взмахнула накрашенными ресницами.

— Васенька! Вот встреча неожиданная!..

Но тут она на Шурку посмотрела, и Васенькиных надежд сильно поубавилось. На Шурку же не могут они не засмотреться. И она как прилипла к нему — всё забыла.

— Кстати, Василий. Очень бы я хотела с твоими товарищами познакомиться.

Шурка поглядел на Ваську, тот на Шурку. Всё тут было ясно.

— Пошли, — Шурка взял Ирочку под локоток. — Там познакомимся.

Вахтенный поморщился, но пропустил их...

Дальше всё парами шли, чистый убыток. Наконец, ещё одна пава выплыла, одиночная. Под газовым шарфиком. Вся такая, что мы чуть не ослепли. На голове было наворочено — как только шея не подламывалась!

Дрифтер на неё нацелился.

— Это же Юля-парикмахерша. Она же мне чёлочку подстригала. В прошлую экспедицию.

И что-то нам эта «прошлая экспедиция» сомнения заронила.

— Как жизнь, Юля? — он её спросил. Таким палубным голосом.

Юля даже вздрогнула. Посмотрела на него холодно — голубыми-голубыми.

— Это ты меня зовёшь?

— Тебя, Юля. Кого же ещё.

— Какая я тебе Юля? Я не Юля, а Верочка.

— Ах, Верочка!..

— Вот именно. Ты свою Юлю и окликай.

И прошла Верочка. Дрифтер себя хлопнул по лбу и уж начисто сник.

— Бичи, — сказал Васька, — потопали? В этом вопросе нам не светит.

— Всем по-разному, — сказал «маркони». — Я все же надеюсь.

Это он ещё двоих углядел, которые из каюты вышли, от нас неподалёку.

— Минные аппараты — товьсь! Ну, если эти нас не затралят, двоих как минимум...

Бичи слегка вперёд подались. Но я-то уже разглядел, кто это, и стал подальше, за их спинами. Одна — Галя была, а другая — Лиля, неспетая песня моя.

По походке я её узнал, Лилю. Ну, и по цвету, конечно, зелёному, неизменному. А походка у неё была занятная — не прямая, а чуть синусоидой, какая-то неуверенная. Ах, как мне это нравилось когда-то — как она ко мне идёт! Как будто не хочет идти и всё-таки что-то тянет её. И всё же она красива была, это я должен сознаться. Ну, не такая, как Клавка, на которую таксишник засмотрится и в столб при этом врежется. У ней — своё было, что и не всякий заметит. Но мне и не нужно, чтоб всякий.

Она вдруг улыбнулась, сразу как-то вспыхнуло у неё лицо, и пошла к нам с протянутой рукой.

— Мальчики! — Это она салаг узнала. — Ну, знаете... Теперь-то, надеюсь, вам для биографии достаточно?

— Подробности потом, — сказал Димка. — Сейчас, старуха, вся надежда на тебя. Проведи уж нас, по старой памяти.

— Туда? Почему же нет? А он вас пустит, вахтенный?

— Что за вопросы, старуха. Чего хочет женщина, того хочет бог. Ну, и вахтенный, естественно.

— Ой, ну я так рада за вас!..

Она ещё посмотрела на нас, скользнула взглядом по моему лицу — тут я не мог ошибиться — и не узнала меня... Ну, вообще-то она немножко близорукая. И немножко стеснялась — столько тут мужиков стояло.

Алик обернулся ко мне. Я помотал головой. Тоже тут всё было ясно.

Вахтенный их с большой неохотой пропустил — двоих с одной дамой. Ей пришлось улыбнуться ему — так мило, смущённо, — и, конечно, она его убила.

А «маркони», ясное дело, Галя провела.

— Галочка, — он ей сказал, — память о вас не умирает в моём сердце!

— Больше на щеке, — сказала Галочка. — Пошли, трепло несчастное.

«Маркони» к нам повернулся, развёл руками.

— Желаю вам, бичи, всего того же самого.

— Валяй, — сказал дрифтер. А нам он сказал: — Потопали, нечего тут по переборочке жаться.

И правда, нечего было. Толкотня эта уже поредела слегка, и вполне мы могли отвалить. А больше всего мне этого хотелось. Знобило меня отчаянно. Самое милое сейчас — в койку забраться, все одеяла накинуть, какие есть.

Оттуда, из зала, вышла Клавка, бросила весёлый взор на вахтенного, и он ей чуть поклонился, слегка заалел. Я уже рад был, что за чужими спинами стою, не хотелось бы, чтоб она меня сейчас видела. А мне даже приятно было её видеть — такую живую, раскрасневшуюся, нарядную, в синем платье с кружевом каким-то на груди или с воланом, я в этих штуках слабо разбираюсь, в ушах серёжки золотые покачивались. Даже в лице у ней что-то переменилось — оно как-то ясней стало. Может быть, оттого, что она волосы зачесала назад и лоб у неё весь открылся...

Клавка нас увидела и подошла.

— Бичи, вы не со «Скакуна»?

— Королева моя! — сказал дрифтер. Опять же палубным голосом. — Да мы же с эфтого самого парохода!

— Где ж этот рыженький, что с вами плавал, сердитый такой? Что-то я не вижу его. Он, часом, не утоп?

— Сердитых у нас много. А рыженьких — нету. Может, я его заменю?

Клавка ему улыбнулась.

— Да нет, тебя мне слишком много... Ну, это я его рыженьким зову, а он светленький такой, шалавый. В курточке ещё красивой ходил.

— Так это Сеня, что ли?

— Ну-ну, Сеня.

Дрифтер махнул своей лапищей, сказал мрачно:

— По волнам его курточка плавает.

Клавка взглянула испуганно — и меня как по сердцу резануло: так она быстро побледнела, вскинула руки к груди.

— Да не сообщали же... Типун тебе на язык!

Дрифтер уже не рад был, что так сказал.

— Погоди, груди-то не сминай, никто у нас не утоп. Сень, ты где? Ну-ка, выходи там. Выходи, когда баба требует!

Бичи меня вытолкнули вперёд.

Клавка смотрела на меня и молчала. Клавкино лицо, такое ясное, опять порозовело, но отчего-то она вдруг поёжилась и обняла себя за локти — как в тот раз, на палубе.

— А чего же вы тут стоите? — она спросила. — Вахтенный, ты почему их здесь томишь? Они же со «Скакуна» ребята.

— Ну, Клавочка, — вахтенный малость подрастерялся, — это ж на них не написано... Представители от команды должны быть, безусловно. Но не в таком же виде.

— А какой ты ещё хотел — от героев моря? Да пропусти, я их в уголке посажу.

— Ну, Клавочка... На твою ответственность.

— На мою, конечно, на чью же ещё... Ступайте, ребята, — она их подталкивала в плечи, — вон туда идите.

Бичи повалили в зал. Но меня он всё-таки задержал, вахтенный.

— А вата-то, — говорит, — зачем? — Выдернул из меня клок и показал ей. — Зашить нельзя? И был бы герой как герой.

— Да, это не годится, — Клавка кинула руку к груди, поискала иголку, но не нашла, потянула меня за рукав. — Пойдём, зашью тебя.

Навстречу нам уже какое-то начальство шло, с четырьмя шевронами. Граков прошёл — опять меня не заметил, за ним кеп и штурмана. Третий всю Клавку обсосал глазами снизу доверху и покачал мне головой. Ещё второй механик наш прошёл и боцман с Митрохиным — все прикостюмленные. Вот, значит, наши представители...

Мы сошли вниз — ещё на несколько палуб, пошли по такому же коридору, только с зелёным ковром. Клавка выпустила мой рукав и взяла за руку.

— Холодная! — Она вдруг остановилась. — Слушай, ты, может, в душ хочешь? Я тебя сведу. Погреешься, пока зашью. Что-то ты у меня совсем холодный.

— Да хорошо бы.

— Ну, чего же лучше!

Из душа какое-то ржанье доносилось. Клавка постучала в дверь туфлей — ответа никакого, сплошное ржанье.

— Ну да, — сказала Клавка, — жеребцы парятся, ничего не слышат. Это надолго. Лучше я тебя в женский устрою, там сейчас никого.

— Да ну его, в женский...

— Пойдём! — опять она меня тащила. — Держись за Клавку, не пропадёшь.

По дороге споткнулась, стала поправлять чулок. Я её поддерживал за локоть.

— Ну, и когда ты меня держишь, — улыбнулась, — тоже, представь себе, приятно.

В женском и правда никого не оказалось. Клавка — опять же туфлей — откинула дверь, втолкнула меня.

— Мойся тут смело, никто не сунется. Успеешь ещё к самому интересному.

— Как я тебя потом найду?

— Я сама тебя найду. Телогрейку скидывай.

Сама мне её расстёгивала и морщилась. Потом стащила с плеч.

— Надоело — в соли-то ходить?

— Да уж надоело...

— Ну вот, как я хорошо-то придумала. Ну, я — живенько.

Клавка убежала с телогрейкой, и я тогда скинул с себя всё, бросил шмотки в угол у двери. Там для них и было настоящее место. Кабинка была просторная, не то что наша на СРТ, и с зеркальцем. Я себя увидел — волосы слиплись от солёной воды, щёки запали, глаза как-то дико блестят. Тут поёжишься! И куда ещё такого пускать в приличную кают-компанию?

Я стал под душ. Но пошла какая-то тёпленькая, сколько я ни крутил, — я всё не мог согреться. Или такой уж холод во мне сидел — в костях, наверное. Или там, где душа помещается. Я всё зубами дробь выбивал и дрожал, как на морозе.

Кто-то ко мне постучался. Я и вспомнить не успел, задвинул я там щеколду или нет, как дверь откинулась. И Клавка сказала:

— Я не смотрю. Вот я тебе зашила. И полотенце тут возьмёшь.

— Спасибо.

Я к ней стоял спиной. Клавка спросила:

— Что у тебя с плечом?

— Ничего.

— Вот именно — «ничего»! Оно же у тебя всё синее. Просто чёрное. Господи, что там с вами было?

— Да всё прошло. Вода вот — еле тёплая.

Клавка подошла, завернула рукав и попробовала воду, потом выкрутила кран, постучала кулаком по смесителю. И там заклокотал пар. Пробку, наверно, прорвало — из ржавчины.

— Видишь, тут всё с хитростью. Ну, теперь хорошо?

— Ещё погорячеё нельзя?

— Что ты! Я бы и минуты не вытерпела. Вон как ты намёрзся! — Она помолчала и вдруг припала к моему плечу, к больной лопатке. Я её волосы почувствовал и как покалывает серёжка. — Такой красивый, а плечо — синее. Зачем же так жить глупо!

— Намокнешь, — я сказал.

— Намокну — высушусь. Дай я тебе разотру.

Но не потёрла, а только гладила мокрой ладонью, и это-то, наверно, и нужно было, боль понемногу проходила. И холод тоже.

Она сказала:

— Ты дождись меня. Ладно?

— Куда ты?

— Ну... надо мне. Посидишь, отдохнёшь... Запрись только. А то тебя ещё кто-нибудь увидит.

Опять она куда-то умчалась. А я посидел на скамейке, пока меня снова не зазнобило. И я даже заплакал — от слабости, что ли. И опять стал под душ. Я решил стоять, пока она не придёт. Целый век её не было. И я вдруг увидел, что мне всё равно без неё не уйти — она всё моё барахло куда-то унесла.

Наконец она пришла.

— Хватит, миленький, ты уж багровый весь, сердцу же вредно.

— Куда унесла? — я спросил.

— В прачечную, в барабан кинула. Всё тебе живенько и постирают, и высушат, я попросила. Ты не спеши, там ещё долго речи будут говорить. Халат мой пока накинешь.

— Тот самый? С тюльпанами?

— Тот самый. Какая разница? Девка ты, что ли?

Я попросил:

— Ты отвернись всё-таки.

— Да уж отвернулась. В халате ты мне совсем, совсем неинтересен. Не то что в курточке. Правда она утонула?

— Да.

— Ну, приходи давай. Четвёртая дверь у меня налево, по этой же стороне.

Коридор весь как вымер, и я до четвёртой двери дошлёпал спокойно. В каюте горел ночник на столике, и чуть из коридора пробивался свет — сквозь матовое стекло над дверью. Иллюминатор заплёскивало волной, и она тоже светилась — голубым светом.

Клавка стояла у столика спиной ко мне.

— С кем ты тут? — Я две койки увидел.

— Вот на эту садись. Валечка ещё тут, прачка. Которая как раз тебе стирает. Как говорится, две свободные с отдельным входом.

— Две — это уже не с отдельным.

— На то, миленький, существуют вахты. Шучу, конечно. Ну, согрелся хоть?

— Как будто.

— Поешь теперь? Мне тебя покормить хочется.

Клавка повернулась ко мне. На столике у неё поднос стоял, накрытый салфеткой.

— Спасибо. Да мне-то не хочется.

— Ну, попозже. Просто ты перенервничал. Ну, а что ты хочешь? Выпить — хочешь? Совсем захорошеешь.

— Это вот — да.

— Водки тебе? Или розового?

— У тебя и то, и то есть?

— А зачем же Клавка живёт на свете!

Я засмеялся. Я уже пьян был заранее.

— Налей розового.

Клавка быстро ввинтила штопор, бутылку зажала в коленях, чуть покривилась и выдернула пробку. Я смотрел, как она наливает в фужеры.

— Себе тоже полный.

— Конечно, полный. За то, что ты жив остался. Ну, дай я тебя поцелую. — Клавка ко мне нагнулась, голой рукой обняла за шею, поцеловала сильно и долго-долго. Даже задохнулась. — Ну, живи теперь. Меня хоть переживи.

Она смотрела, прикусив губы. И я себя снова чувствовал молодым и крепким, жизнь ко мне вернулась. Я уже пьян был по-настоящему — и вином, и теплом, и Клавкой.

— Клавка, тебе идти надо?

— Конечно, надо. Но ты же меня дождёшься?

— Дождусь.

— Не умри, пожалуйста. Не умрёшь?

Она подошла к двери — без туфель, в чулках — задвинула замок.

— Клавка, тебя же там хватятся...

— Ну, хватятся. Разве это важно?

— Что же важно, Клавка?

Она мне не ответила. А важно было — как женщина повернула голову. Ничего важнее на свете не было. Как она повернула голову и вынула колючие серёжки, положила на столик; как вскинула руки и посыпались шпильки, а она и не взглянула на них, и весь узел распался у неё по плечам; как она смотрела на иллюминатор и улыбалась — наверно, что-то ещё там видела, кроме голубой воды, — как завернула руку за спину, а другой наклонила ночник, и как быстро сбросила с себя всё на пол и переступила...

6

— Понравилась я тебе? Скажи...

Она ко мне прильнула, вытянулась, положила голову мне на плечо.

— Ты же знаешь.

— Но услышать-то — хочется! Сильно понравилась?

— Да.

— Ну вот, — она вздохнула. — Ты выпил и Клавку ещё получил, теперь тебе хорошо. Я знаю. За это мне всё простится.

Всё хорошо было, только вот плечо у меня дрожало. Намахался я с этими шотландцами треклятыми, чёрт бы их драл.

— Болит всё? Какая ж я дура, с этой стороны легла. Надо было с той. Нехорошо я устроилась?

— Ничего, так лучше... Клавка, за что тебя прокляли?

— Кто?

— Родители. Ты говорила тогда.

— Ну вот... Зачем ты сейчас про это?

— Скажи.

Она помолчала.

— Да я такая шалава была, теперь вспомнить страшно... Ну, я уж помирилась с ними. Это ты потому спросил, что я сказала: «Мне всё простится»? Что ты ещё хочешь про меня спросить?

— Про себя хочу. Когда же я тебе понравился?

Она ответила удивлённо:

— Сразу! Ты разве не понял, что сразу? Как я только тебя увидела. Ты там сидел в углу с бичами, с каким-то

ещё торгашом, а я к тебе через всю залу шла и на тебя только и смотрела. Ты хороший сидел в курточке! Щедрый, и всё тебе нипочём, лицо такое светлое!

— Неправда, я злой был как чёрт.

— Ну, ведь с пропащими сидел. Их же никто за людей не считает, Вовчика этого с Аскольдом. Всё только и бегают они ко мне: то — «Клавка, покорми в долг», то — «Клавка, захмели, завтра в море идём, с аванса разочтёмся». Про меня уже чего только не думают, а я их просто жалею. С ними-то будешь злой!.. А плохо, что ты меня не заметил. Я перед тобой и со скатёрки чистой смела, и уж так, и так... А сказал бы ты мне тогда: «Поедем со мной, Клавка», — тут же бы и поехала, куда хочешь. Скинула б только передник.

Она смотрела на иллюминатор, улыбалась, глаза у неё блестели влажно. Я спросил:

— А дальше что было?

— Дальше-то?.. Может, не нужно?

— Теперь уже — всё нужно.

— А дальше — ты меня перед этими пропащими позорил. Пригласил, за ушком поцеловал... Я-то — разоделась, марафет навела, в большом порядке пришла девочка! А ты, оказывается, специалистку свою ждал — ни по рыбе, ни по мясу... ты уж прости. А потом ещё на Абрам-мыс ездил. Видела я уже — и ту, и другую, — да разве они меня лучше? Да никогда! И уж после того, как они тебе не отпустили, ни та, ни другая, ты ко мне закатываешься: «Клавочка, без тебя жить не могу!»

— Пьян же я был!

— Да уж хорош. Как собака. Я так и поняла: ты — это уже не ты. Мне даже как-то и не жалко было, когда они тебя побили. Не убьют же, думаю, таких не убивают... Я уже потом спохватилась, как узнала от них, что ты в море ушёл — из-за этих денег. Я-то думала — проспишься, придёшь за ними, и мы тогда поговорим хоть по-человечески. Ведь мы ж не говорили! Так я себя проклинала...

— Себя-то за что?

— Ну... наверно, любил же ты эту... специалистку. Не всё так просто было. Я тоже нехорошо про неё говорю. Любил, да?

— Теперь не знаю.

— Это ты так не говори! Это ты и про меня когда-нибудь скажешь: «Не помню, хорошо ли мне было с Клавкой».

Я её обнял.

— Не скажешь ты этого, — она засмеялась. — Ни за что не скажешь!

Я её обнял сильнее.

— Подожди... Ну, подожди же, никуда я не денусь. И устал же ты...

Так сильно она меня обнимала — и уже не помнила про моё плечо, и себя не помнила. Как будто жизнью со мной делилась.

— Хорошие мы, — она сказала. — Хорошие друг для друга.

А потом:

— Ну, это ведь и не чудо, нам же не по шестнадцать. Нет, всё-таки чудо.

И снова лежала — головой на моём плече, с закрытыми глазами, с полуоткрытым ртом. И так славно укачивало нас волною, когда она наплескивалась на стекло.

Кто-то к нам постучался тихонько. Вот уж действительно — как с другой планеты.

— Ох... — Клавка замотала головой и выругалась сквозь зубы. — Ну что поделаешь, открою.

— Ты что!

— Да это же Валечка. Твои постирушки принесла. Ну какой ты у меня ещё мальчик! Думаешь, она без романов тут живёт? Не-ет, Валечка у нас не такая!

Она приоткрыла дверь. Валечка оттуда спросила:

— Всё хорошо? — И засмеялась.

Клавка ей ответила чуть хрипло:

— Лучше не бывает. Спасибо тебе, Валечка.

— Да уж, если на банкет не пошли...

— Ох, какой уж тут банкет! Свой у нас банкет. Спасибо тебе большое.

Клавка уже не вернулась ко мне, стала одеваться, подобрала всё своё с полу. Я спросил:

— Она тоже из-за меня не пошла?

— Ну что ты. Не всё из-за тебя. Двое у неё тут встретились, в одном рейсе. Один бывший, другой теперешний. Гляди ещё — там передерутся, на банкете. Лучше от беды подальше.

— Не растреплет она?

— Кто, Валечка? — Клавка рассмеялась, взъерошила мне волосы. — Миленький, успокойся. Уже про то, что я тут с тобой лежала, вся плавбаза знает. От киля, как говорят, до клотика. Что нам после этого — Валечка!

Я тоже засмеялся.

– Выходит – поженились мы с тобой?

– Да уж поженились...

Я помолчал и сказал:

– Я не просто так спрашиваю, Клавка.

– О чём ты?

– Какими же мы отсюда выйдем? Как я завтра без тебя буду?

– Ой, вот уж про чего не надо. Я тебя умоляю! Таким же и будешь.

– Нет. Уже не смогу...

Я, наверно, права не имел говорить ей эти слова, мне ведь ещё под суд было идти, – да неизвестно же, чем он кончится, этот суд, всё же у меня какие-то оправдания были. По крайней мере, мы б хоть эти недели вместе провели – до приговора, а там уже ей решать, стоит ли ждать меня. Нет, пожалуй, здесь решать, сейчас, – неужели бы я ей не признался, скажи она только «да»!

Клавка присела ко мне.

– Ну зачем это тебе в голову-то пришло? Вот взял и всё испортил. Зачем, спрашивается? Ты подумай-ка – ещё и не началось у нас ничего, а уже всё было испохаблено. Бедные мы с тобой! И что нам такого хорошенького впереди светит? Ну, буду я тебе – моряцкая жена. Будешь ты уходить – на три с половиной месяца! А я тебя – до трапа провожать, в платочек сморкаться. Потом, значит, верность соблюдать, вот так сидеть и соблюдать. Песенки для тебя заказывать по радио. «Сеня, ты меня слышишь? Сейчас для тебя исполнят “С матросом танцует матрос”». В кадры звонить – как мой-то там, не упал ещё «по собственному желанию»?.. Потом встречать тебя, толпиться там, а в сумке уже маленькая лежит, чекушка – чтоб ты не закосил никуда, аванс бы не пропил. Вот так захмелю тебя и приведу домой, на кушетку, и полежим наконец-то рядом. Так вот для этого-то счастья всё остальное было? Чем я тебе не угодила, что ты мне такой жизни пожелал!

Я сказал:

– Да я ведь за эту жизнь тоже не держусь. Уехал бы в любой день – другого чего поискать.

– Это можно... Ну, и про эту жизнь тоже можно по-другому рассказать. Кто послушает – сюда, наоборот, помчится. Мало ли их едет! Ты сам-то – не из этих мест, как и я?

— Почему ты решила?
— Не знаю. Просто кажется мне.
— Я из Орла.
— Ну, так я недалеко от тебя росла — в Курске. И тоже мечтала — в такое место заповедное заберусь, где и дышится не так, и люди какие-нибудь особенные. На северную стройку записалась по объявлению. Во как кровь-то горела! Где посуровей искала, дура. И что нашла? Кирпичи класть? Балки перетаскивать? Раствор замешивать? Или в конторе — мозги сушить? Да никакой работы я не боялась! И как только не покалечилась, бабой быть не перестала?.. А — ради чего? Люди вокруг — всё те же, так же мучаются и других мучают, и что от моего геройства в их жизни поправится? Вот я так пристроилась, чтобы и самой полегче, и они б хоть мелькали побыстрее, не задерживались. Всё же как-то веселее, подолгу-то иной раз муторно их наблюдать. Ты тоже, наверно, так устроился — с людьми особенно не сживаться, не зависеть ни от кого?
— Да почти угадала.
— Плохо это, наверно, но уж так! Но я-то всё-таки — баба, должна же я к кому-то одному прислониться — и тогда уже всё терпеть ради него, радоваться, что терплю. А ты мне — «уедем, другого чего поищем». Нет уж, чего в себе не имеешь, того нигде не найдёшь. И мне никогда не дашь. Милый мой, другим же ты — не родишься!
— Какой же я, Клавка?
— Всё сказать? Не обидишься?
— Нет.
— Не такой ты, за кого выходят. Влюбиться в тебя — можно, голову даже потерять. В одних твоих глазыньках зелёных утонешь... Но выйти за тебя — это же лучше на рельсы лечь. Или вот отсюда, из иллюминатора, вот так, в чём есть, выброситься. Ты знаешь, ты — кто? Одинокая душа! Один посреди поля. Вот руки у тебя хорошие. — Взяла мою руку, прижала к своей щеке. — А душа — ледышка. И не отогреть мне её никогда. Страшно мне было, когда ты на меня кричал.
— Я не кричал.
— Уж лучше б кричал. Лучше бы даже побил. А ты так... по-змеиному, шёпотом. Ты всё на меня мог подумать. Но ты что — не видел, как я на тебя смотрела? Я же на палубе, на ветру стояла! Тут не подделаешься.

Это я просто видел сейчас, как она смотрела. И вспомнилось мне, как салага кричал сверху, в затопленную шахту: «Бичи, вы мне нравитесь, это момент истины!» Наверно, есть что-то, чего не подделаешь, – только ведь различить!.. И ещё про шотландца вспомнилось, на которого я орал. А он, наверно, просто засыпал в корме. Страхом намучился, устал... Руки-то делали, что надо, а душа была – ледышка.

Я сказал:

– Может, потому всё, что жизнь у меня такая. Колесом заверченная.

– А у меня она – другая? Тоже вертись. Но живём же мы ещё для чего-нибудь, не только чтобы вертеться. Иной раз посмотришь...

– И звёздочка над тобой качается?

– Ну, как хочешь это назови. Но должно же оно быть. Бог, наверно, какой-то, я уж не знаю... Ну вот, наговорила я тебе. Не обидела?

– Клавка, – я сказал, – я одно знаю: я теперь без тебя не жилец!..

– Не надо так. Я тебе же хорошего желаю. Я ведь сбегу от тебя, это у меня живенько. Второй раз такое лицо твоё увидеть... как тогда, помнишь, когда я тебя спрашивала: «Что ты против меня имеешь?» А ведь увижу, увижу! Что другое, а это увижу. Наговорят тебе про меня – и увижу. И далеко мне придётся от тебя бежать! От милого-то подальше бежишь, чем от немилого.

– Скажи, зачем же тогда всё было?

– Что было? А ничего такого и не было. – Уже она другая стала, когда платье накинула – с этим кружевом на груди. И самое лучшее уже прошло – когда она в первый раз ко мне припала, к плечу. – Ну что ты спрашиваешь? Зачем любовь была? Да так... Пусто мне в последнее время. Ты в эту пустоту и залетел, такой непрошеный. А тут ещё ты смерть пережил... Ну, прости. Наверно, не надо было...

Нет, я подумал, всё было надо. Хотя бы затем, чтоб ты мне всё рассказала. И впредь бы я не думал, что можно пройти мимо любого и коснуться его – хоть рукой, хоть словом – и совсем следа не оставить. Но зачем же ты пришла, чтобы уйти? Сама же спрашивала: «Зачем так жить глупо?» А все мы так и живём. Уходим, чтобы вернуться. Возвращаемся, чтобы уйти. А мне-то уже подумалось – я прибился к какой-то пристани, и она была, что

называется, «обетованная». Где-то я такое слышал: «Земля обетованная». Не знаю, что это. Но, наверно, хорошая земля. Только и она от меня уходила.

Я это хотел ей сказать — и не успел. Потому что тут, в каюте, тоже динамик был. И по трансляции объявили: наших шотландских гостей приглашают на верхнюю палубу. Причалил норвежский крейсер, который отвезёт их на родину.

— Их ещё долго будут провожать, обниматься, — сказала Клавка. — Ты отдохни ещё, всё-таки я тебя покормлю. Вас-то пока не дёргают.

— Это не задержится.

И точно, не задержалось. Нижепоименованных товарищей попросили вернуться на своё судно — для несения буксирной вахты. Перечислили всех почти, кроме машинной команды.

— И тебя позвали?

— Разве не слышала?

Клавка ушла к столику, закинула руки, встряхнула всю копну волос. И снова рассыпала по спине. Потом стала собирать в узел.

— Я же не знаю твою фамилию. Знаю только, что Сеня.

Я сказал ей.

— Вот, теперь буду знать. Надо тебе идти?

— Вахта всё-таки. Хотя и буксирная.

— Жалко, я думала: мы хоть вместе поплывём. Я бы тебя где-нибудь устроила.

— Я бы и сам устроился. Только ни к чему.

Я теперь должен был встать и уйти. Но встать мне было — как на казнь, и куда я должен был идти от неё — тоже я не знал.

Всё-таки я оделся. И всё-таки ещё одну глупость сделал. Спросил её:

— Не встретимся больше совсем?

— Не знаю. Запуталась я. Уехать бы мне и правда куда-нибудь!.. Ну, иди, пожалуйста. Иди, не терзай меня. Я даже не знаю, как я отсюда выйду. И хлопот мне ещё прибавилось...

— Каких же хлопот, Клавка?

Она улыбнулась через силу.

— Маленький? Не знаешь, с чего дети начинаются?.. Ох, нельзя мне было сегодня!..

Никогда я не знал, что в таких случаях говорят. Я хотел подойти к ней. Она попросила:

— Не надо, не целуй меня. А то я совсем расклеюсь.

— Прощай тогда...

Когда я уходил, она отвернулась к столику, вдевала серёжки.

Я дошёл до главного трапа и остановился. Может быть, здесь она и спрашивала: «Что ты против меня имеешь?»

Я стал в тени, за огнетушителем. Мне хотелось ещё раз на неё посмотреть.

Клавка шла по коридору — медленно и как пьяная. Не как те пьяные, которых шатает. А как сильно пьяные, которые уже прямо идут. Шаркала каблуками по ковру. Остановилась, поправила волосы и улыбнулась сама себе. Но улыбка тоже вышла пьяная и жалкая какая-то.

От других — когда я уходил после этого — мне больше всего отдохнуть хотелось душой, весь я пустой делался. А её — как будто с кожей от меня оторвали. Я даже позвать её не смог, когда она мимо прошла, не заметила. Лучше мне было не смотреть на неё.

Я вышел на верхнюю палубу — там шумно было, светло и весь левый борт, где причалил крейсер, запружен людьми. Там всё ещё провожали шотландцев, никак не могли отпустить. Обнимались с ними, фотографировались при прожекторах.

Я туда не пошёл. Мне хотелось с первой же сеткой спуститься, чтобы не увидеть Лилю, когда она выйдет проводить салаг. Слава богу, они где-то задержались, а первыми Шурка пришёл и «маркони». Ухман нам подал сетку, и мы взлетели. «Маркони» Галя вышла проводить, она ему помахивала платочком и хохотала. Шурку провожала Ирочка, но как будто ей было не до смеха.

Мы летели вниз, и «маркони» мне кричал:

— Сеня, ты с прибылью? Тебя поздравить можно?

— У вас-то как?

— Всё так же, Сеня. Но говорят, с третьего захода ещё верней.

Принял нас «дед». Он в чьей-то телогрейке был внакидку и в шлёпанцах на босу ногу. Понюхал нас и скривился.

— Портвешка накушались, славяне. Ай, как не стыдно!

Я смутился.

— «Дед», забыл про тебя...

— Ты-то забыл, а я нет, — Шурка из телогрейки достал поллитру «Столичной». — Ну, не я, а просили передать.

— Кто ж это, интересно?

— Просили не говорить.

— Таинственно, — сказал «дед». — Ещё тут два инкогнито мне по бутылке армянского смайнали на штертике. Между прочим, ещё не начато.

Спустились ещё Серёга и Васька Буров. Васька на лету вспоминал про бутылку вермута итальянского — так она и осталась на столе нераспечатанная, а дотянуться руки не хватило.

— А попросить, чтоб передали, нельзя было? — спросил «дед».

— Да постеснялись. И так нас вахтенный пускать не хотел.

— И правильно он вас не пускал, — сказал «дед». — Куда вас, таких шелудивых, пускать? Да и вести себя не умеете. А ты-то чего полез, «маркони»? Оба мы с тобой в списке стояли, оба отказались дружно, а ты — взял да полез.

«Маркони» себя почесал за ухом.

— Сам удивляюсь! Ну, все полезли — и я.

— Ох, бичи! Когда же вы достоинство-то будете иметь? Ну, вот что. Насчёт двух бутылок армянского не пропущено без внимания? Так вот, я вас, бичи, к себе приглашаю. Понимаете? При-гла-ша-ю. Но учтите — я вас тоже к себе шелудивыми не пущу.

«Дед» зашлёпал к себе, бичи тоже разбежались сразу. А я ещё задержался — взглянуть на борт плавбазы: не может ли быть всё-таки, что Клавка вышла поглядеть на меня. Нет, так не было.

Вдруг я заметил — в тени, возле капа, одинокая фигура. Ушанка на глазах, лица не увидишь.

— Обод, ты, что ли?

— Ну!

Он как-то нехотя ко мне подошёл, такой нескладный, пальто чуть не до щиколоток.

— Ты почему не на базе?

— А чего там хорошего? Я с вами до порта поплыву. Пассажиром. Примете?

— Плыви. Мы теперь все тут пассажиры.

«Маркони» мне крикнул из рубки:

— Сень, ты не забыл — мы к «деду» приглашены? Галстук у тебя есть? А то могу свой дать, японский.

Шурка мне ещё пуловер одолжил, так что я прилично выглядел. Васька Буров костюм свой вытащил – не знаю, на кого там шили: в плечах тесно, зато через штанины по Ваське можно протащить. Серёга ему посоветовал хоть галстук не надевать, а то он со своей бородёнкой совсем будет чучело.

И отчего-то мы даже волновались слегка, хотя, спрашивается, чего мы там не видели, в «дедовой» каютке? Пошли к нему – как на медкомиссию. «Дед» перед нами извинился, что вынужден принимать нас без пиджака, костюм у него маслом заляпан, а в кителе – это как-то слишком официально. Мы набились тесно на диване и на «дедовой» койке. А за нами ещё Ванька Обод увязался, тихий, как тень. Спросил робко:

– Меня не прогоните? Я тоже не порожним пришёл. – Вытащил из пальто поллитру.

– Входи, беглец несчастный, – сказал «дед». – Как, примем его?

Приняли мы беглеца, только пальтишко предложили скинуть и шапку. «Дед» показал на столик:

– Прошу, славяне.

Но закуси было – тарелка с ветчиной и хлеб на газетке. Шурка вскочил:

– Сейчас пойду кандея раскулачу.

Возвратился с немалой добычей – в одной руке полведра компота, в другой, на локте, два круга колбасы, на пальцах – кружки, под мышками – по буханке белого.

– Хоть шаром покати на камбузе. Всё кореши-иностранцы подъели, а ужин кандей не варил, кум у него обнаружился на «Молодом».

Васька Буров сказал:

– Вот оно как. В первый раз кандей с вахты сбежал, а – трагедия! Но простим кандею, бичи?

Простили мы кандею. «Дед» понюхал ведро и спросил:

– Из-под чего ведёрко?

– Из-под угля, – сказал Шурка. – Да я помыл его.

– Ох, кашалоты, – «дед» засмеялся, – как вас только море терпит!

«Маркони» разлил по кружкам коньяк, первую протянул Ваньке Ободу. Ванька её взял осторожно.

– Почему это мне сначала?

– А первый тост – за вернувшихся, – сказал «дед». – Пока что ты у нас вернулся, беглец. Мы ещё нет.

Ванька пошмыгал носом, вздохнул.

— Я, ребята, не беглец. Я узел хотел развязать семейный.

— Топориком? — «Маркони» мне подмигнул.

— Да, если б застал... — Ванька опять вздохнул. — Втемяшилось чего-то... А кто у меня есть, кроме неё? Развяжешь, а сам — вроде сиротой останешься.

— Не остался бы, — сказал «маркони». — Уже твоей Кларочке отбито, что муж возвращается. Между прочим, полтинник с тебя за радиограмму.

Ванька совсем расстроился. Поглядел в свою кружку и сказал глухо:

— Вы меня простите, ребята. Вы, можно сказать, герои, а я кто?

— Не кайся, — сказал Серёга. — Такие же мы, как и ты.

«Дед» поднял кружку.

— Поплыли, славяне?

Мы сплавали и вернулись. Возвращение наше отметили колбасой и запили компотом, из тех же кружек.

«Маркони» стал рассказывать, как было на банкете, какую там Граков речугу толкал и как он припомнил радиограмму шотландцев, где они благодарили всех, кто пытался их спасти, и просили передать приветы близким. Всё это он в вахтенном журнале утром прочёл и запомнил же слово в слово. И как все начали шуметь — зачем он это зачитывает, а он ещё спрашивал: «Что же вы, дорогие гости, не надеялись на советских моряков? У нас ведь так — сам погибай, а товарища... ну, и зарубежного товарища тоже — выручай». И как ему кеп-шотландец отвечал, что он благодарит русских моряков и надеется, что ему никогда больше не придётся посылать такие радиограммы господину Гракову.

Я поглядел на «деда» — он морщился, как будто у него зуб болел. Однажды мы с ним говорили, и он тогда странную фразу сказал: «И жалко же мне этого жалкого человека». Я спросил: «Притерпелся уже к нему за годы?» — «Ну... всё-таки одного мы с ним возраста, чуть он меня постарше... Ведь ничего делать не умеет. Всю жизнь — ничего, только вот глупости говорить. Прогони его завтра — под забором мослы сложит. Разве что пенсия персональная...»

Ах, «дед», я подумал теперь, неизвестно ещё, кто из вас больше умеет!..

— Жаль, — сказал «дед». — Я думал, хоть что-то в нём человеческое проснётся.

— Насчёт этого незаметно было, — сказал «маркони». — А голос-то всё же поплыл у него, поплыл, как в магнитофоне. Это и боцман наш учуял, Страшной, то-то он ему и врезал.

— Ну-к, потрави, — «дед» оживился. — Боцман-то — неужто осмелился?

— Не сразу. Три стопаря для храбрости принял. Он ведь к нам пересел, с Родионычем только штурмана остались да Митрохин. Тоже, между прочим, речу держал, отметил «слаженные действия капитана и всей команды». А боцман — сидит и накаляется. «Нет, говорит, я всё ж не пальчиком деланный, я сейчас всю правду выложу». — «Умрёшь ведь, говорю, не выложишь». — «Пускай умру, но сперва скажу. Самый момент сейчас: чувствую — он меня боится». И — полез: «Что ж, говорит, всё верно, сам погибай — товарища выручай, но мы-то и не надеялись, что вот за этим столом будем сидеть, у нас такой уверенности не было. А кое у кого, не буду указывать, столько её было, что он уже заранее этот банкет начал, коньячок попивал в каютке».

— Ай, Страшной! — «Дед» усмехнулся. — Ну, по традиции теперь надо за боцмана сплавать. Чтоб ему хоть в боцманах остаться.

— Да уж... Если б тут он и застопорил, а то ведь больные струны пошёл задевать. «Вот, говорит, несчастье у меня в жизни какое: с кем выпить захочу — никогда его почему-то за столом не вижу. Вот я бы сейчас с Бабиловым чокнулся. Да где ж он тут, на нашем банкете?»

— Ну, это зря он, — сказал «дед». — Я ж ведь сам не пошёл.

Я поглядел на «деда» и подумал: как же хитёр человек во зле! Для кого же весь этот список и составлялся — «наших представителей»? Для тебя одного, «дед». Чтоб ты поглядел и отказался. Он-то тебя лучше знает, чем ты его.

Мы снова сплавали — за боцмана — и вернулись. И приятно нам было узнать по возвращении, что впереди у нас ещё богатые перспективы и мы ещё долго не разойдёмся.

А в это время слышались команды на отшвартовке, «Молодой» нас отводил от базы. Никто этого не замечал за травлей, дело привычное. А я сидел у окна, как раз

против её борта, и видел, как он отваливает, как иллюминаторов сначала один был ряд, потом два, потом четыре. Но вот когда я увидел, как нижние заплескивает волной, я чуть не застонал.

Я очнулся – «дед» про меня говорил:

– Загрустил чего-то наш Алексеич.

«Маркони» подмигнул мне.

– Алексеич прибыль свою подсчитывает. Мне дриф сказал – там есть к чему пришвартнуться!

– А может, что посерьёзнее? – спросил «дед». – Тогда уже на этот счёт травить не будем.

Я махнул рукой.

– Да травите чего хотите.

Шурка быстренько разлил по кружкам.

– За вожакового сплаваем. За дорогого моего земелю. Пусть ему живётся, пусть ему любится.

А это, знаете, дорогого стоит, когда такой счастливчик вам пожелает.

– Поплыли, славяне!

И опять мы вернулись, чуть больше нагруженные, и Ванька Обод теперь рассказывал, как было на плавбазе, когда мы тонули, и как он места себе не находил – примета же нехорошая, если кто списывается, вот он с этой приметой нам и удружил, – и как все бегали в машину, просили подкинуть оборотиков, хотя и так уже на предельных шли, и как – будто бы! – кеп плавбазы сказал в рубке вахтенному штурману, что, если даже и кончится всё благополучно, он всё равно свой партбилет выложит, но Граков у него ответит.

– Это уже легенда, – сказал «дед». – Но приятно и легенду послушать.

Тут постучали в окошко – дрифтер припал к стеклу, нос расплющил, строил нам весёлые глазки. Мы ему помахали, чтоб зашёл. Но он не один ввалился – с боцманом, с салагами и уж не знаю с кем ещё там, все в каюте не поместились, стояли в дверях, кружки передавали по конвейеру. И поставили вопрос, чтоб в салон всем перейти, а там всё по новой начать – и разговоры, и тосты, тем более – ни один пустой не пришёл...

...Я с ними сидел, выпивал, смеялся. И было мне опять хорошо. Да, пожалуй, что так мне и было.

7

Весёлое течение — Гольфстрим!

Две тысячи миль от промысла до порта, но Гольфстрим подгоняет, и ветер ещё в корму — не знаю, по какой такой милости, — и летим мы так до самого Кильдина, главная забота — свой залив не проскочить. И приходим на сутки раньше.

Ну, теперь-то нас «Молодой» тащил. Мы только на буксирный трос поплёвывали, чтоб не рвался. Первые сутки ещё базу видели перед собою: днём её дымки, ночью — её огни. Потом она ушла за горизонт.

И мы отсыпались, крутили фильмы. Те же самые, конечно. А на третье утро дорогой наш боцман Страшной вылез на палубу, поглядел на солнышко, на синюю воду, на снежные лофотенские скалы — и так молвил:

— А задам-ка я вам, бичам, работу. Ишь, рыла наели, как кухтыли. А судно прибирать кто за вас будет?

— Ты, боцман, сходи поспи, — Серёга ему посоветовал. — Нас же по приходе в док поставят.

— До дока мы ещё в порт должны прийти. А на чём? Срам, а не пароход!

Ну, мы, конечно, повякали, душу отвели, а потом, конечно, взяли шкрабки, стальные щётки, флейцы, начали прибирать пароход. Шкрябали от ржавчины борта, переборки, потом су́ричили, потом красили. А кто кубрики мыл с содой, кто рубку вылизывал, кто гальюны драил. Салаги зачем-то на верхотуру напросились, на мачту, красили там «воронье гнездо» белилами и чернью, покрикивали зычными голосами:

— Алик, подержи ведёрко, я на клотик слазаю, надо его мумией* покрасить.

— Держу, Дима. Всё покрасим — от киля и до клотика!

Дрифтер с помощником свою сетевыборку выкрасили — такой зеленью, что поглядеть кисло. Третий из рубки смотрел зверем и плевался.

— Во деревня! В шаровый** полагается механизмы красить. Вкуса морского — ни на копейку.

А дрифтер, чтоб ему совсем угодить, и шпиль выкрасил зеленью.

---

* Красная краска.

** Тёмно-серый.

Нам с Шуркой досталось камбуз снаружи прибирать. Милое дело! В корме хорошо, ветра не слышно. Переборка от солнца греется и от начальства заслоняет. Попозже и Васька Буров к нам перебрался — значит, и правда лучшего места не найдёшь.

— Бичи, — говорит, — можно я у вас тут честно посачкую?

— Сачкуй, — Шурка ему разрешил. — Флейц только в руку возьми. И за полундрой следи.

— Что ты, я полундру за милю унюхаю!

И Васька во всю дорогу так и не взял флейца. Сидел, блаженствовал.

Кандей с «юношей» прибирали камбуз внутри и часто к нам выходили — посидеть на кнехте, потравить за жизнь.

— Я, бичи, обратно на завод пойду, — говорит Шурка. — Сварщик же я дипломированный, такое дело на ветер бросать? А по морям шастать — ну его к бесу! Пусть вон салаги попрыгают, они ещё этой романтики не нахлебались. Ты, кандей, со мной согласен?

Кандей Вася не только что согласен, а дальше эту тему развивает:

— Но я тебе скажу, Шура: море нам тоже кое-что дало. Меня возьми — судовые ж повара такой экзамен проходят! Если ты своего дела не профессор, на судне ты не задержишься, не-ет! Кеп тебя в другой рейс не возьмёт, ему тоже покушать хочется хорошо. Так что у меня шанс. В ресторан «Горка» пристроиться. Блат, конечно, нужен. А где он не нужен? Но в принципе?

Не знает Шурка, возьмут ли нашего кандея в «Горку», но кивает, соглашается. Великое дело — погода, солнышко! А тут ещё в порт идём.

— Кандей! А, кандей? — говорит Васька Буров. — А я про тебя сказочку сочинил. Божественную.

— Ну-к, потрави!

И Васька плетёт невесть какую околесицу. Но если прислушаться да расплести — забавная сказочка.

Вот так примерно. Закончатся когда-нибудь наши извилистые пути, и все мы придём туда — к Господу, Которого нету. Там уже будут сидеть космонавты, маршалы, писатели, большие учёные и заслуженные артисты — им-то прямая дорога в рай. И однажды заявится туда наш кандей Вася, приведут его на суд Божий ангелы и архангелы. И спросит его Господь, Которого нету, спросит с ме-

таллом в голосе: «Кто ты и на что надеешься? Отзовись сию же минуту!» — «Повар я. По-рыбацки сказать — кандей. На милость Твою надеюсь, Господи. Больше-то мне на что надеяться?» — «Говори, что натворил ты в жизни земной и морской?» — «Да что ж особенного, Господи? Делал, что все делают. Ну, и грешен, конечно. Бабе изменил с её же сеструхой, она из деревни приехала погостить, жена дозналась — и в крик...» — «Это большой грех, кандей. Он тебе зачтётся. Но главное — что ты делал?» — «Борща варил, с болгарскими перцами». — «Что ж тут за фокус — борща сварить? Это и баба сумеет, а ты всё-таки штаны носил». — «А шторм же был, Господи. Одиннадцать баллов Ты нам послал!» — «Одиннадцать, говоришь? Тогда это не Я — это сатана вам удружил. Я только до шести посылаю, а дальше он». — «Это верно, Господи. При шести ещё жить можно — и к базе швартануться, и на камбузе управиться. А при одиннадцати — попробуй. Если карданов подвес имеется, ещё ничего, а если так, на плите, полкастрюли себе на брюхо прольёшь». — «И как бичи — ценили твоё искусство?» — «Жалоб не поступало. А за ушами пищало. Да как не ценить — другие кандеи при семи баллах сухим пайком выдают, им это и по инструкции положено, а я — исключительно горячим довольствием, да ещё каждый день хлеб выпекал. Но честно сказать Тебе, Господи, тогда им уже не до меня было. Гибли бичи, совсем пузыри пускали». — «Постой! — скажет Господь, Которого нету. — Они, значит, смерти ждали. Им же, значит, о душе следовало подумать, приготовиться к суду Моему. А ты им — борща! Как же это, кандей? Ты, значит, против Меня?» — «Господи, где же мне против Тебя? Но разве Тебе охота с голодными бичами дело иметь? Ведь они уже не о душе будут думать, а как бы насчёт пожрать. Я человек маленький, но я дело знаю. Потонем мы там или выплывем, предстанем мы пред очи Твои или ещё подождём, в рай Ты нас пошлёшь, в золотую палату для симулянтов, или же сковородки заставишь лизать калёные, а я к Тебе бичей голодными не пущу. Я их должен накормить сперва, и притом — горячим довольствием. При любом волнении и ветре. А там — суди меня, как знаешь. Но я свою судовую обязанность исполнил». Призадумается тогда Господь, Которого нету. «Пожалуй, ты прав, кандей. Но у Меня ещё вопрос к тебе. Сам-то ты верил, что смерть пришла?» — «Какие там сомнения, Господи! Ветер — на

скалы, а машина застопорена, и якоря не держат. О чём же я думал, когда на бичей смотрел, как они рубают?» — «И всё-таки ты им борща сварил?» — «Истинно так, Господи. Хорошего, с перцами. Это моё дело, и я его делал на совесть». И скажет Господь, Которого нету: «Больше вопросов не имею. Подойди ко Мне, сын Мой, кандей Вася. Посмотри в Мои рыжие глаза. Грешен ты, конечно. Да хрен с тобой, не станем мелочиться. В основном же ты — Наш человек. И вот Я тебе направление выписываю — в самый райский рай, в золотую палату для симулянтов!» И скажет Он своим ангелам и архангелам: «Отведите бича под белы руки. И запишите себе там, в инструкции: нету на свете никакого геройства, но есть исполнение обязанности...»

Ну, а если серьёзно говорить — я и с Шуркой согласен, и с кандеем, и с «юношей», который в совхоз наметился гусей разводить, — конечно, не дело это — по морям шастать. Они меня тоже спрашивают:

— А ты, вожаковый, куда подашься?

— Не знаю, ещё не решил. Пока в Орёл съезжу, к мамане. А там присмотрюсь. Я всё же на фрезеровщика когда-то учился.

Шурка обрадовался:

— Точно, земеля! На пару в Орёл рванём, наши же места. На одном заводе объякоримся и повело — вкалывать! Салаги, салаги пускай попрыгают!

Ну вот, мы каждый себе союзника нашли и радуемся. И мне как-то и вспомнить лень, что вчера только был у «маркони» и видел все их радиограммы — Шуркину, кандееву, «юношину». Пишут в управление флота, просят продлить им соглашение ещё на год. А я зачем к «маркони» ходил? С такой же самой радиограммой. Потому что ещё за день до этого вызывал нас по одному Жора-штурман, который списки составляет на новый рейс. Меня тоже вызвал, спросил, глядя в сторону:

— Команду набирают на новый траулер, типа «океан». В Баренцево под треску. На двадцать дней. Ты как, пойдёшь?

— Жора, — я напомнил, — мне же под суд идти.

— Ты озверел? Спишут нам эти сети. Это ты до сих пор не жил, страхом мучился? Спросил бы... Только статью подберут, по какой списать. В счёт международной солидарности, что ли. Советская власть — она ж добрая, чего хочешь спишет.

— Граков постарался?

— Ну, и он тоже...

— Спасибо ему. Хороший человек.

— Ты тоже ничего, — говорит Жора. — И как ты только по свободе ходишь? Ты же первый кандидат в тюрягу. Она же по тебе горькими слезами плачет! Ты хоть контролируй свои поступки.

— Стараюсь.

— Ни хрена ты не стараешься!

Я не в обиде на Жору, что он мне тогда посоветовал вожак порубить. Да он и не советовал, если помните. А намёк ещё нужно до дела довести. И его тоже понять можно, Жору: кепа бы за эти сети и разжаловали, и судили, а меня бы только судили, разжаловать же меня некуда. К тому же вон как всё обошлось.

Я спросил у Жоры:

— А ты пойдёшь?

— Да не решил ещё. Отдохнуть хочется, после всех волнений.

Но себя он в список вторым поставил. А первым — «маркони». Потому что «маркони» всё равно себя первым поставит, когда список будет передавать на порт.

Сам же «маркони» мне так сказал:

— Я тут учебник подзубриваю, на шофёра. Вообще-то невелика премудрость. Ну, правила тяжело запомнить, чёрт ногу сломит. Но у меня же в ГАИ кореш, выставлю ему банку, сделает мне правишки. Как думаешь?

А я думаю: кто же мы такие? Дети... Больше никто.

8

В порт пришли мы под утро. «Молодой» нас долго тащил — мимо створных огней, мимо плавдоков, где звякало, визжало, шипела электросварка, мимо сопок, где ни один огонёк ещё не светился, мимо «Арктики», ещё пустоглазой, а в середине гавани он к нам перешвартовался бортом и стал заталкивать в ковш.

Мы уже стояли на палубе, в последний раз кандеем накормленные, одетые в береговое, только мне пришлось телогрейку у боцмана просить.

Я бы порассказал вам, как это бывает — как траулер вползает в ковш и упирается в причал носом, а второй штурман стоит уже наготове с чемоданчиком и с ходу

перепрыгивает на пирс и летит что духу есть в контору — за авансом. А мы пока разворачиваемся и швартуемся уже по-настоящему, крепим все концы — прижимные, продольные, шпринговые, — и только заканчиваем это дело, он уже чешет на всех парах и кричит: «Есть!» И мы набиваемся в салон, дышим друг другу в затылки, а он распечатывает пачки на столе, ставит галочки в ведомости и — пожалте «сумму прописью», кто сколько заказывал: двести, триста. Потом уже грузчики-берегаши выгрузят нашу рыбу, и нам её за весь рейс посчитают, и контора выдаст полный расчёт. А покуда — аванс, и женщины уже нас ждут на пирсе, чтоб сразу же развести по домам — хватит, наплавались капеллой.

Но в этот раз всё по-другому вышло. Ну, если уж повело наискось, так до последней швартовки. Мы посмотрели — и не узнали родного причала. Пусто, некому даже конец принять. Потом явился некто — дробненький, в капелюхе с ушами, как у легавой, — и мрачно нам сказал:

— Это чего это вы левым бортом швартуетесь? Вам диспетчер правым велел стать, радио не слышали? — И скинул нам гашу с тумбы.

— Милый человек, — кеп ему говорит, — у нас же ходу нет, мы же с буксиром сутки будем в ковше разворачиваться.

– А моё дело маленькое. Сказано – правым, значит — правым. Хотите на рейде позагорать — это я могу устроить.

Боцман взял да и накинул ему гашу на плечи. Тот чего-то затявкал, но мы уже не слушали, перепрыгивали на пирс.

Мы пошли по причалу — не спеша, разминая ноги, и так звонко снежок скрипел, никогда он на палубе так не скрипит. И вдруг увидели наших женщин — со всех ног они к нам бежали, с плачами, охами:

— Васенька, Серёженька, Кеша, а нам-то восьмой сказали причал. А мы, дуры, там стоим, ждём. А чтоб ему, тому диспетчеру...

И пошло, и поехало. Они, моряцкие жёны, тоже умеют слова выбирать.

Ваське Бурову жена обеих дочек привела — платками замотанные, одни глазёнки видны заспанные. Не посовестилась она их в такую рань будить. Или же сами напросились: не каждый же день папка из рейса возвращается и

не в каждом же рейсе он тонет. Васька даже прослезился, когда увидел своих пацанок. Расчмокал их в носы, лобики пощупал.

— Горяченькие чего-то!

— Ты что! — Жена кинулась отнимать. — Да где же горяченькие, сдурел совсем. У кого ещё такие здоровенькие!

Васька их сгрёб себе под мышки, одну и другую, и так понёс. Потом на плечи пересадил.

— Да отпусти ты их, старый дурак! — жена кричит. — Они ж уже взрослые, сами пойдут.

— Не отпущу! До дому донесу! Какие они взрослые, ну какие взрослые, пускай подольше на папке поездят, маленькие мои...

Она и улыбалась, и слёзы утирала платком. Поворачивалась к нам ко всем востреньким личиком, виноватым каким-то, будто оправдывалась за Ваську: «Ну, сами же видите, каково мне с ним...»

Зато у Ваньки Обода жена оказалась — чуть не на голову его выше. И разодетая — в сапожках, в шубке из серого каракуля, в кубанке с алым верхом. А из-под кубанки глаз цыганский косит, кудри взбитые вьются, румянец пышет. Этакое богатство, конечно, без топорика не убережёшь.

— Ах ты чучело моё! — ударила Ваньку по плечу. — Фокусы устраиваешь! Я тебя с плавбазой встречаю, а ты мне — сюрприз!

Затискала, затормошила его и сама же хохотала, как от щекотки. Ванька совсем потерялся.

— Клара, ну мы ж не одни, ты б хоть познакомилась раньше.

— А чего ж не познакомиться? — И всем нам руку стала совать с наманикюренными ногтями. — Клара Обод, очень приятно!

Мне пожала — я чуть не присел. До кепа даже добралась.

— Клара Обод, очень приятно. А неприятности — сплюньте через левое плечо, всё будет чудненько!

Кепова жена поглядела на неё испуганно. Клара её успокоила:

— Ах, мы, женщины, дуры, столько переживаем, а они приплывают такие мордастые, и ничегошеньки с ними не случается. Эх, соколики, как мне вас видеть приятно! Денежки вам уже выписаны, в полтретьего валяйте получать.

Мы пошли дальше с женщинами, повернули от причала к Центральной проходной и понемногу растягивались, разбивались на пары.

Рядом со мной «маркониева» жена шла – не скажу, что подарок. Переваливалась, как утица, ноги – бутылками, а личико – ну, то самое, о каком говорят: «На роже скандал», – надменное, губы сухие поджаты, глаза наполовину веками прикрыты, голыми какими-то, без ресниц. Даже и тут она удержаться не могла, пилила его шёпотом, но таким, что и другим было слышно:

– Не понимаю, что у тебя общего с этими серыми людьми. Пусть они лезут хоть к чёрту на рога, а ты специалист, радиооператор, с квалификацией. Ровню себе нашёл!

– Ну, Раиска, ну, перестань, – он ей говорил, морщась, со страданием в голосе. – Ну, киска. Всё же благополучно.

– Да? А кто мне поправит мою нервную систему? Совершенно расшатанную. Твоими похождениями.

– Ну, дома всё скажешь.

– Дома я тебе ещё не то скажу! Напозволялся там. Наверно, с такими же вульгарными нюхами, как эта? – Кларе в спину вонзилась глазами. Как у той шубка не задымилась? – А вспомнить, какая была дата, ты, конечно, не мог?

– Какая? – «маркони» спросил с ужасом. – Ёлки зелёные, выпало начисто!

– Ах, выпало? Чем у тебя голова занята, позволь узнать? Что, ты два слова не мог отбить – в день рождения моей мамы! Которая столько для тебя сделала. Мне все говорят, все говорят: «Твой Андрей – такая свинья, совершенно равнодушный человек!»

Муторно мне стало. От такой напозволяешься – хоть кусок жизни урвёшь. Я вперёд ушёл, пока они не передрались.

К Серёге сразу трое явились – ну до чего ж одинаковые! Этакие матрёшки кругломорденькие – в бурках все, в коротких пальтишках, волосы у всех красно-рыженькие, с пышными такими начёсами, платки в горошек, как будто кровельки с высоким коньком. Удивительно, как он их различал.

– Ну, как ты там, Зиночка? – спрашивал тягучим голосом. – Как ты там, Аллочка, Кирочка?

Они только фыркали да хихикали. Однако не ссорились между собою. Даже ухитрялись виснуть на нём по очереди.

От стенки пакгауза, из тени, вышла под свет фонаря фигурка. Постояла робко, шагнула к нам навстречу. Но близко постеснялась подойти, стояла, мучила ворот пальтишка.

— Моя дожидается, — Шурка узнал. — Ну, подойди, не съем.

Она к нему подошла на шаг и заплакала.

— Шурик...

— Ну, что? Ну, не повезло нам. Ну, всё бывает.

— Что значит «не повезло»? Ты же умереть мог, Шурик.

— Ну, не умер же.

— А ты думаешь — я бы жива тогда осталась? Я бы тут же на себя руки...

Шурка её взял за плечо, сказал нам:

— Вы, ребята, идите. Я её успокою.

Так вышло, что с Шуркой мы попрощались с первым. Помахали Шурке и его жене, спросили:

— Встретимся в «Арктике»?

— Как закон, бичи. К восьми придём.

Мы пошли дальше — по грязному снегу, между цехами коптильни и складами. Наперерез нам локомотивчик тащил платформы с обмёрзшими бортами. Мы остановились, чтоб его пропустить, опять сгрудились в толпу. Но вдруг он застопорил перед нами, сцепка загрохотала в конец состава. Из будки выглянул машинист — беловолосый, с шалыми глазами, кепка прилипла к затылку. Коля его звали, известный нам человек. И нас он знал некоторых.

— Чудно мне, — сказал Коля. — Серёгу вижу со «Скакуна». Месяца не прошло, как я тебя провожал. Или чего случилось?

— А ты не знаешь?

— Не слыхал. Проморгал новеллу. А в чём суть, если в двух словах?

— Не повезло нам.

— Понятно, — сказал Коля. — Живы-то все?

— Все.

— А за груз, хоть за один, получите?

— За один и получим.

— Так чего ж вы огорчаетесь? Вы не огорчайтесь, ребята.

Мы сказали Коле:

— Ну, проезжай. Нас ещё дома ждут.

Коля подумал, снял кепку и снова её надел.

— Не могу, ребята, перед вами. Порожние везу. Лучше-ка я назад сдам.

И вправду сдал. И мы перешагнули через рельсы.

Третьему нашему переживание досталось: дама его пришла встретить, та самая, что «за полторы сойдёт», в пальто с лисой и в шляпе. Однако «морская наблюдательность» его не подвела, он свою «дорогую Александру» издалека высмотрел, как она прогуливается под фонарём, постукивает себя сумкой по коленям. Он поотстал слегка, спрятался за нашими спинами.

— Не прощаюсь. И вообще меня тут не было, ясно? — И скрылся за углом.

Она пригляделась к нам близоруко, спросила низким голосом:

— Простите, это экипаж восемьсот пятнадцатого? Штурман Черпаков не с вами плавал?

— С нами, с нами, только что видели... Ах, нет, на судне задержался.

— Но он здоров, по крайней мере?

— Здоров, чего ему сделается.

Она кивнула.

— Спасибо, мне этого достаточно. — И ушла вперёд широкими шагами.

Возле управления флота кеп от нас откололся с женой и Жора-штурман. Им над актами надо ещё было колдовать — приходным и насчёт сетей. Жора нам сказал:

— В полтретьего на судне. Адьё!

Мы напомнили:

— А к восьми в «Арктике». Вы тоже, товарищ капитан?

Кеп ответил насупясь, но торжественно:

— Капитан вашего судна уважает законы.

Чуть попозже, у портового кафе, Васька Буров откололся, кандей с Митрохиным — им к морскому вокзалу нужно было, через залив переправляться. Ещё сто шагов прошли, и ещё наша когорта поредела: «маркони» и боцман в Нагорное ехали, им нужно было к Южной проходной. С ними — Ванька Обод, Серёга...

— Встретимся в «Арктике»?

«Маркониева» жена сказала:

— Точно не обещаем. Как сложится...

Клара на неё цыкнула:

— Ты моряцкая жена или злыдня? Уж так торопишься мужика скорей под туфлю затолкать. Дай ему хоть первый вечер от тебя отдохнуть.

Та смолчала, губы сжала в полоску, лицо белое стало от злости. «Маркони» развёл руками, улыбнулся виновато.

— Приложу все усилия, бичи. Но — как сложится...

Потом салаги откололись. Они в общежитие Полярного института надеялись устроиться. Я к ним подошёл, спросил:

— Ну, как? В Баренцево не идёте с нами? Надоело?

— Мы ещё подумаем, — сказал Дима. — Пока до свидания, шеф.

Я попросил Алика отойти на пару слов. Димка его ждал, отвернувшись.

— Скорей всего не пойдём, шеф, — сказал Алик. — Мы должны вернуться к *своим* кораблям.

— Конечно. Не ваше это всё-таки дело. — Но мне совсем другое хотелось у него спросить. — Скажи, почему ты тогда отказался, в тузик не захотел сесть?

— Как тебе объяснить? — Он смущался, смотрел под ноги себе. — Ты не поймёшь, наверно. Ну... хотелось разделить с вами. Что бы там ни случилось. Даже любопытно было. И где-то я до конца не верил. Может быть, на минуту — когда свет погас.

— Что ж тут непонятного? Всё как полагается.

— Ты его тоже не осуждай. — Он посмотрел мне в глаза твёрдо, хоть и покраснел. — А я — как мог его отпустить? Что, если б он решился? И его бы там захлестнуло в плотике. Тут грех обоюдный, шеф. Ещё неизвестно, кто кому должен простить.

Я засмеялся.

— Что вы, ребята, бросьте. Какой грех? Все глупостей наделали, ваша не самая большая.

— Хорошо, если ты так думаешь.

— Уже одно, что вы в море с нами сходили...

— Да, для меня это многое значило. Ты не представляешь...

Я перебил его:

— В «Арктику» же вы придёте? Ну, там и скажешь. Все послушают с удовольствием, не я один... Да! — я вспомнил. — Лилю увидишь сегодня?

— Передать ей, чтоб пришла?

— Мне всё равно. — Я даже удивился, как легко я это сказал. — Захочет — придёт, гостьей будет. Но привет, конечно, передай. И ещё — спасибо. Это как она поймёт. — Я пожал ему руку, а Димке просто помахал. — Встретимся в «Арктике»!

Совсем уже маленькой кучкой мы прошли через Центральную проходную, поднялись наверх, к вокзалу. Здесь, на площади, от нас последние уезжали в Росту — «юноша», дрифтер и бондарь. Сонного таксишника растолкали, приспособили к делу.

— Не поминай лихом, — сказал я бондарю. — Я знаю, ты в Баренцево не идёшь, так попрощаемся?

Он руки моей не взял.

— Кто тебя ещё поминать будет? Много чести, знаешь. — И тронул таксишника. — Езжай, родной.

Дальше мы пошли с «дедом». Он совсем близко от нашей общаги жил. Вот так мы с ним когда-то и познакомились: все разошлись, а мы вдвоём пошли пробиваться через метель — и разговорились, и он меня к себе затащил обедать. А за весь рейс не сказали друг другу ни слова.

Я шёл с «дедом», и он говорил мне:

— Беспокоит меня твоё дальнейшее, Алексеич. Ты всё же не бросай флот, зачем тебе жизнь переламывать надвое. Мы, может, самое трудное уже пережили, а теперь, глядишь, техники поднавалят, новые суда пойдут — «океаны», «тропики», условия наладятся, не будете вы в кубриках по восемь рыл друг на друге сидеть. А я-то — уже кончился, это точно. Кончился я в этом рейсе. Тридцать лет около машины провёл, а как посмотрел на парус — вдруг понял: кончился.

— Что ты, «дед»! Мы ещё поплаваем вместе. Ты же меня своему делу обещал научить.

Он не отвечал, усмехался, а я вспоминал: «Приятно и легенду послушать».

У своего переулка он спросил, помявшись:

— Может, ко мне завалимся? Накормят нас, выпить поставят, и спать где найдётся. Чего тебе сразу — с парохода и в общагу?

Но я как вспомнил их комнатёшку, диванчик, на который меня положат...

— А я не в общагу, — сказал я ему весело. — Есть ещё куда завалиться.

— А! — Он улыбнулся мне. — Ну, до «Арктики»!

Мы пожали руки, и «дед» зашагал — тяжёлый, в коротком своём полушубке, в мохнатой шапке, в сапогах. Ещё раз обернулся ко мне, точно бы знал, что я жду этого, и помахал на прощанье. И я пошёл один, сначала одной щекой к ветру, потом другой.

Навстречу мне два чудака шли. Один чего-то бубнил, размахивал длинными мослами, другой — трусил полегоньку, упрятав нос в воротник. Я пригляделся — знакомые силуэты, Вовчик с Аскольдом. Я вышел к фонарю, сделал им ручкой.

— Приветствую вас, кореши. На промысел топаете?

Стали как вкопанные. Вроде бы дёрнулись друг от друга. Потом Аскольд заулыбался, губищи распустил.

— Сень, откудова, какими судьбами?

— Да всё оттуда же, с моря. Где вас никогда не видно.

— А мы тебя в апреле встретить готовились. Как это понять, Сеня?

Неохота мне было им рассказывать.

— Поздновато вы сегодня, бичи. Разошлись уже все. Да и не повезло нам, много с нас не выдоишь.

Вовчик вздохнул.

— Мы б хоть посочувствовали.

Мне смешно стало. И никакой же злости я к ним не испытывал. Но и жалости тоже.

— Всё те же вы, кореши, — сказал я им. — Всё в тех же ушанках драных, в телогреечках. Не пошли вам впрок мои деньги.

Аскольд удивился:

— Какие деньги, Сеня?

— Да уж скажите по правде, дело прошлое... Сколько заначили? Кроме тех, что Клавдия отняла?

Вовчик, друг мой, кореш верный, поскрипел мозгами и сознался:

— Сень, ну заначили... В такси ещё. Ты ж не помнишь даже, как ты роскошно хрустиками кидался. Это ж кого хошь соблазнит.

— Так... Ну, а заначенные — неужели все пропили? Ох, дурни!

– Сень, – сказал Вовчик, – ты ж знаешь, на неё же, проклятую, никаких не хватит.

– Дурни вы, дурни...

Аскольд меня подколоть решил:

– А ведь ты, Сеня, тоже вот в телогреечке. Где ж твоя курточка, подарок наш?

– От вас, – говорю, – и подарок не задержится.

Я пошёл от них. Вовчик меня окликнул:

– Так, может, проводим курточку?

– Это идея!

– Значит, приглашаешь?

– Пригласил бы я вас, кореши. Но вас же не было с нами. Мне очень жаль, но вас не было с нами.

Долго они маячили под фонарём.

В городе намело сугробов, и когда я шёл, тут же мой след заметало поземкой. На Милицейской, возле Полярного института, ветер гудел, как в трубе, телогрейку мою продувал насквозь. Но я всё-таки постоял немного перед знакомым крыльцом и с каким-то даже удивлением почувствовал – нет, ничего это для меня уже не значит. «Спасибо» – и только. Неужели так быстро мы вылечиваемся?

Перед дверью общаги тоже намело снега, мне его пришлось ботинками разгребать, чтоб вахтёрша могла открыть. Та же самая вахтёрша, что провожала меня.

– Узнаёте, мамаша?

– Вернулся?

Я по глазам видел – нет, не узнала.

– Вернулся и долг принёс. Тридцать копеек. Помните?

Вот теперь узнала.

– Что ж ты так скоро? Случилось чего?

– Да так, о чём говорить... Просто не повезло нам.

– Всем бы так не везло – руки-ноги целы. А долг тебе скостили. Новую ведомость завели.

– Да, – говорю, – жизнь не стоит на месте! Поселите меня, мамаша. Желательно – у окошка.

– Где захочешь, там и ляжешь. У нас вон целая комната освободилась. Только приборку сделаем – и поселяйся.

– А приходов сегодня не ожидается?

– В пять вечера должен какой-то причалить.

Я прикинул – раньше семи они здесь не будут, а к восьми я сам уйду в «Арктику», – это значит, на целый день у меня комната своя. Можно запереться, лежать, курить.

– Спасибо, мамаша. Чемоданчик я пока у вас оставлю.

– Оставь, не пропадёт ничего.

– А там и пропадать нечему. Пойду погуляю. Очень я по городу соскучился. По нашим северным воротам, бастионам мира и труда.

Она поглядела на меня поверх очков.

– Что-то с вами там стряслось...

– Я же говорю: не повезло.

На вокзале буфет – с шести; я, случалось, туда захаживал перед утренними вахтами. Буфетчица вылезла сонная, повязанная серым платком, нацедила мне из титана два стакана кофе, чуть тёплого – или мне так показалось с мороза, – и я его пил без хлеба, без ничего, просто чтоб отогнать сон и кое о чём подумать. Потому что мы вечером встретимся в «Арктике» и там, конечно, будем под банкой, и всё опять пойдёт своим чередом. А хорошо бы всё-таки разобраться – для чего мы живём, зачем ходим в море? И про этих шотландцев – почему мы пошли их спасать, а себя не спасали? И о том, что будет со мною в дальнейшем, как говорил «дед»: может быть, я и пойду к нему на выучку или наберусь духу и в мореходку подам, «резким человеком» сделаюсь – в макене-то, с белым шарфиком! – или же мне всё-таки переломить её надвое, мою жизнь?

А так ли это важно – как я свою судьбу устрою, ведь Клавки со мною не будет, а никакая другая мне вовек не нужна. И я же всё равно нигде покоя не найду: отчего мы все чужие друг другу, всегда враги? Кому-то же это, наверно, выгодно – а мы просто слепые все, не видим, куда катимся. Какие ж бедствия нам нужны, чтоб мы опомнились, свои своих узнали! А ведь мы – хорошие люди, вот что надо понять, не хотелось бы думать, что мы – никакие. А возим на себе сволочей, а тех, кто нас глупее, слушаемся, как бараны, а друг друга мучаем зря... И так оно и будет, пока не научимся о ближнем своём думать. Да не то думать, как бы он вперёд тебя не успел, как бы его обставить, – нет, этим-то мы – никто! – не спасёмся. И жизнь сама собой не поправится. А вот было бы у нас,

у каждого, хоть по три минуты на дню — помолчать, послушать, не бедствует ли кто, потому что это ты бедствуешь! — как все «маркони» слушают море, как мы о каких-то дальних тревожимся, на той стороне Земли... Или всё это — бесполезные мечтания? Но разве это много — всего три минуты! А ведь так понемножку и делаешься человеком...

Я сидел у окна — площадь перед вокзалом занесло сугробами, и ни души на ней не было, раскачивались на проводах фонари, чёрные тени шарахались по снегу. Потом из тёмной-тёмной улицы вынырнула «Волга» с шашечками, сделала круг и стала посередине: дальше было не проехать. Из такси — задом почему-то — вылезла баба в коричневой толстой шубе, в белом платке, в пимах, вытянула за собой чемодан. Таксишник выглянул и что-то сказал ей, улыбаясь, и что-то она ему ответила — тоже, наверно, весёлое, а потом пошла к вокзалу, скосясь от чемодана, а он ей глядел вслед и усмехался. Раз она обернулась что-то крикнуть ему, и он ей помахал ладошкой.

Она шла к вокзалу, как раз против окна, где я сидел, но меня не видела, улыбалась сама себе — или тому, что ей сказал таксишник. А я вдруг почувствовал, как что-то у меня стучит в виске и дрожат ладони, в которых я сжимал стакан.

9

— Всё время, замечаю, ты у меня на дороге, рыженький!

— Нет, это ты у меня на дороге.

Клавка повалилась на стул, расстегнула шубу, сдвинула платок на плечи. И тогда уже мне улыбнулась во всё лицо. Уже она успела обмёрзнуть и раскраснеться, пока шла к подъезду.

— Дай глотнуть горяченького, чего ты там пьёшь. — Я ей протянул стакан. Клавка отпила и сморщилась. — Бог ты мой, он кофе пустое пьёт. Как же так жить можно! Нюрка, ты куда же смотришь?

Буфетчица выглянула из-за витрины.

— А что?

— А ничего! Такой парень у тебя сидит, а тебе лень

багажник отодрать со стула. Ты картину видела «Человек мой дорогой»? Посмотри, в «Космосе» показывают. Так он мне ещё дороже, вот этот злодей. Сидит у тебя сиротинкой неприкаянной. Ты б хоть поглядела на него, какой он. Чудо морское!

Нюрка на меня захлопала глазами.

— Ничего особенного.

— Глаза надо иметь! — сказала Клавка грозно. — И мозгов хоть полпорции. Конечно, «ничего особенного», когда он в телогрейке драной. А пришёл бы он в своей курточке — ты б тут легла и не встала. — Клавка мне подмигнула. — Было у меня такое желание.

Нюрка опять ко мне пригляделась и не ответила.

— Что же ты, Нюрка, пива ему не поднесла?

— Да он не просил!

Клавка прямо зашлась смехом.

— Ну, Нюрка, ты мышей не ловишь! «Не просил»! Хороший мужик и не попросит — надо самой давать. Ну-ка, покорми его. Винегрету не вздумай предлагать, он у тебя позавчерашний, я отсюда вижу. Студень небось сама исполняла? Знаю, как ты его исполняешь.

Нюрка там заметалась.

— Балычка могу нарезать осетрового. Колбаски деликатесной.

— Вот, балычка куда ни шло... Хочешь балычка? Хочет он, хочет, потолще ему нарежь. Потом сочтёмся. Да шевелись, Нюрка, живенько, живенько, на флоте надо бегом!

— Я, слава богу, не на флоте.

— Ты-то нет, да он у нас на флоте. Э, дай уж я сама!

Клавка сбросила шубу на стул, взяла у Нюрки поднос, собрала мои стаканы. Кофе она выплеснула в мойку, принесла «рижского» и тарелку с балыком и хлебом. Опять завернулась в свою шубу и смотрела на меня, подперев кулаком щеку.

— Как ты жив без меня? Скучал хоть немного?

— Немного — да.

— И то — не зряшная на свете!

Я спросил:

— Куда едешь, Клавка?

— В Североникель, свёкра хоронить. Ну, не хоронить, его уже там без меня похоронили, а на девятины

ещё успею. – Пнула ногой чемодан. – Сильно они на меня надеются, одних крабов семь банок везу, представляешь?

– Погоди, – я спросил, – почему к свёкру? У тебя муж есть?

Всё лицо у неё вспыхнуло. Отвела глаза.

– Был. Да сплыл.

– Бросил он тебя?

– Да.

– Или ты его?

– Он меня.

Клавка насупилась, закусила губу. До чего ж мне было всё удивительно!

– Как же он мог тебя бросить?

– А что я – золотая? Так уж вышло. Лучше б, конечно, я его бросила. Тогда бы всё ясно было. А так – чёрт знает... Обиделся и ушёл. Ну, конечно, у него основания были.

– Вот, значит, в чём дело.

– Да уж, проговорилась.

– Надеешься – вернётся?

Клавка повела плечом, не ответила. Стала смотреть в окно, в темень.

– Где ж он теперь?

– Я же говорю: сплыл. В море кантуется, вторым механиком на СРТ. Ну, может, ещё и вернётся... ненадолго. Ему про меня такого наговорили – как ему совсем вернуться?

– Это ты в море ходила – его тоже хотела увидеть?

Клавка ещё сильней покраснела.

– Не надо про это. Да и не вернётся он. Это ему снова надо в меня влюбиться. А я уже не та, понял, рыженький? Ты от меня уже одно воспоминание застал.

Клавка улыбнулась – так, что я увидел у неё два золотых зуба сбоку.

– Сколько же тебе?

– Двадцать шестой грянул.

– Да, старуха!

– Всё-таки не восемнадцать.

Вот на чём ты нагрелась, я подумал, вот о чём говорила тогда, на «Фёдоре»: «А что нам такого хорошенького впереди светит?» Я его ни разу в глаза не видел, не знал

о нём ничего, но вдруг такую злость к нему почувствовал! Какое ему до нас дело – раз он ушёл? За что такая почесть ему, что Клавка его ждёт и мучается, и у нас с нею ничего быть не может?

– Сколько же ты с ним прожила?

У неё дрогнули губы, и она ответила не сразу:

– Три года. Без семи экспедиций.

Я допил пиво и отставил бутылку.

– Ты когда вернёшься, Клавка?

– А ты – когда в море уйдёшь?

– Неделю отгуляю. В следующую пятницу «океан» отойдёт.

– Я раньше той субботы не вернусь.

Я подумал: это ты сейчас решила. Если б я воскресенье назвал, ты бы сказала – понедельник. Ну, так – значит, так. Встречаться нам вроде бы и не к чему.

– Я те деньги, что мы говорили, тебе в общежитие снесла. Спросишь у тёти Санечки, кладовщицы.

– Хорошо.

Так вот вышло – как будто я об них спрашивал, когда могу получить. Ну, ладно, значит, нас больше ничего не связывало.

– Проводишь меня? – она попросила. – Раз уж я тебя встретила.

Я взял чемодан.

– Нюрка, салют!

Мы вышли на террасу. Здесь тоже намело снега, на каменных перилах наросли бугры. Клавка смела варежкой снег с перил, вспрыгнула и села. Чемодан я ей поставил под ноги. Внизу под нами блестели рельсы, а дальше спуск начинался к Рыбному порту, и там виднелись в клочьях пара трубы и мачты и стоячие огни в чёрной воде – длинными разноцветными нитями.

Паровозишко, кое-где закиданный снегом, приволок вагоны-коротышки – как раз они остановились под нами. На крышах у них и на стёклах блестел иней. Клавка поглядела на эти вагоны и вздрогнула.

– Там топят хоть?.. А может, это ещё не мой?

В вагонах зажёгся матовый свет, проступили узоры на стёклах. Чёрт знает, топили там или нет. Человечков тридцать, с чемоданами, с мешками, потащились на посадку.

— Твой, североникельский, — сказал я Клавке. — Затопят ещё, он только из депо вышел.

Больше мне нечего было ей сказать. Впрочем, осталось кое о чём спросить.

— Тогда — всё обошлось?

Клавка поняла.

— Ну вот, зачем тебе про это думать. — Отвернулась. — А может, от тебя бы и стоило заиметь?..

— Что б ты с ним делала?

— Что с детьми делают? На ножки бы подняла... Чего смеёшься? А вообще и правда — туман у меня в голове. Ты меня не очень-то и слушай. — Она опять поглядела на вагоны и вздрогнула. — Ну, прощай. Запомнишь меня всё-таки? Хоть у нас и недолго любовь была...

— А недолго и нужно.

Она мне посмотрела в глаза.

— Неужели так? Было что-то — и хватит?

Хотела улыбнуться насмешливо — и не смогла, губы задрожали, и улыбка вышла горькая, жалкая какая-то. Мне тот коридор вспомнился, длинный и пустой, по которому она с такой же улыбкой шла — медленно и как пьяная, шаркая туфлями по ковру. И прошла мимо, и я даже не окликнул. Так и теперь — не окликну. Вот такую, растерзанную, и отпущу — в холодную эту дорогу, к чужим на похмелье. Не рады же они ей — если такое с мужем... Бог ты мой, есть же и её силам конец — и я плеча не подставлю. Я буду о ближних рассуждать, а этой, самой мне близкой, не помогу ничем. И кто же я после этого, за какие ж такие доблести мне это хоть когда-нибудь простится? А я вам скажу, кто я. Третий. Который должен уйти.

— Нет, — я помотал головой. — Ты не обижайся... Я, наверно, не так сказал. Сама ты не знаешь, сколько ты для меня успела сделать — в считанные эти часы; может, мне на все мои годы хватит. Ну, так уж оно случилось, что я не сразу тебя узнал, оттого и расстаёмся, — и кто же тут виноват, если не я?

— Может быть, оба мы...

— Может быть. Но, не знаю, как ты, а я бы ничего не хотел переиграть. И могло ведь худшее случиться — мы б состарились, а так и не встретились... Нет, всё было надо! Вот с этим — езжай, Клавка, счастливо тебе. А будет худо, не дай бог, или пусто, как ты сказала, тогда позови толь-

ко — я примчусь. Мы же с тобой знаем, как это бывает: вот уже, кажется, ничего тебе не светит — и ангел не явится, и чайка не прилетит, — ан нет, кто-то всё же и приходит. Я к тебе отовсюду сорвусь, где бы я только ни был. Даже и письма не напишешь — а услышу, почувствую.

Я хотел её за руку взять. Она стряхнула варежки на колени себе и приняла мою руку в обе ладони и то сжимала их, то разжимала, глядя вниз куда-то, мимо меня. Из-под платка у неё выбился пушистый завиток, и я смотрел на её висок, и у меня сердце сжималось, и я думал, что не надо мне её целовать на прощанье — как я тогда вытяну этот день!

— Спасибо, рыженький... Дорого это — даже слышать. Нет, я знаю, что ты не врёшь. Просто, я думаю... — И помолчала. — Ну, а к тебе-то самому — ангел когда-нибудь явится? Или так и будешь — один посреди поля? Мне же и за тебя страшно.

— А вот этого — не надо, Клавка. Почему же я — один? Человек только подумает о других, не только о себе, — он уже не один. Как бы ему там ни было сиротно, хоть в поле, хоть в море. Вот ты уедешь, не встретимся — и всё-таки я без тебя не буду. А ты — разве одна будешь в чёртовом твоём Североникеле, совсем уж — без меня?

Клавка вздохнула и слезла с перил. Она опять смотрела на мёрзлые вагоны, но уже не вздрагивала, смотрела спокойно. Вот и всё, я подумал, теперь она хоть с ясной душой уедет. Я бы не хотел, чтоб её что-то мучило. Чтоб она меня жалела. Пусть едет с лёгким сердцем, а не бежит от меня, как от чумного. Пусть вспомнит обо мне хорошо. И я её так же вспомню. Я не забуду, как с нею было тепло. Хотя и недолго.

— Посмотри там, — сказала Клавка. — Таксист не уехал ещё?

— Зачем он тебе?

— Поедем на нём. Ко мне в Росту.

— Это что ещё, Клавка?

— Поедем, я сказала. Попробуем жить с тобой.

— Как же девятины? — всё, что я догадался спросить.

— А ну их! — Она провела пальцами по глазам. — Там и без меня не заскучают. А тут ты всё-таки — живой. Эх, сделаю ещё одну глупость — и затихну!

— Клавка, что же ты меня мучаешь!

— Сама вот мучаюсь... Может, нам и повезет с тобой. Может, не так скоро и кончится. Думаешь, мне тебя любить не хочется? Я ж не совсем пропащая.

— А если он вернётся?

— Ну зачем об этом. Что-то же я решила... Ну, будем втроём тогда решать, если тебе так хочется. Может, и подерётесь из-за меня. Только почему-то всегда при этом нашей сестре достаётся.

И это тоже, я подумал, было с тобой. Сколько же мне ещё придётся про тебя узнать?

Мы с Клавкой сошли на площадь по мёрзлым ступеням. Кругом была темень, рассвет ещё и не брезжил. Мне казалось — он никогда не наступит, обошёл он наши края. А таксишник ещё стоял на площади, грел мотор. Ожидал, наверно, пассажиров с «Полярной стрелы», она к восьми приходит.

Клавка пошла впереди — по стёжке, которую таксишники протоптали к буфету. Вдруг она обернулась ко мне, и я на неё налетел. Клавка прижалась ко мне холодной щекой.

— Что ты?

— А может, не надо? Ведь и хорошее было, осталось бы о чём вспомнить, а вдруг мы всё испохабим?

— Не знаю.

— «Не знаю», «не знаю», всё на Клавкину ответственность!.. Закройся ты, бич несчастный! — Клавка роняла варежки, застёгивала мне телогрейку на горле, а студёный ветер выжимал у неё слёзы. — Я тебя завлекала, завлекала, а теперь самой страшно...

— Иди вперёд, — я сказал.

Она кивнула.

— Вот правильно. — И пошла.

Я бы порассказал вам, как мы приехали и вошли с нею в ту комнату, где я почти ничего не помнил, откуда меня выволакивали битым, и как мы прожили первый наш день, и что было дальше, — но тут уже начинается совсем другая история, там и Клавка будет другая, и я другой, и чем бы всё ни кончилось — вы нас запомните вот в эту минуту, потому что, как говорил наш старпом из Волоколамска: «Может быть, мы и живы — минутной добротой».

Так что распрощаемся на набережной, где я в последний раз оглянулся – посмотреть на всю эту живопись. Клавдия стояла поодаль, ждала меня и тоже смотрела на порт. Мы услышали три прощальных гудка, и чёрный траулер вывалился из ковша, пошёл к середине гавани. Он пересекал цветные нити, и ему отвечали гудками верфь и диспетчерская и несколько больших кораблей, где шла ещё ночная работа.

Не знаю, куда уходили бичи, где там над ними закачаются звёздочки. Я и прощался с ними и не прощался – через неделю и мы вот так же уйдём: стране ведь нужна рыба.

И куртки мне было не жалко совсем. Пускай она остаётся в Гольфстриме.

1969

Послесловие автора к первому полному изданию в России

Эта книга возникла из опыта моего плавания на рыболовном траулере СРТ-849 «Всадник» по трём морям Атлантики: Баренцеву, Норвежскому, Северному. Я был на борту не сторонним наблюдателем, но как палубный матрос участвовал в работе и в жизни экипажа; это обстоятельство – возможно, пошедшее на пользу книге – предопределило в немалой степени её судьбу в СССР. Должно быть, доверчивый автор слишком буквально воспринял призывы руководящих товарищей насчёт досконального и всестороннего изучения жизни. К тому же «Три минуты молчания» оказались последним романом, напечатанным в «Новом мире» Александром Твардовским; для тех, кто хотел его свержения, нашлась удобная полноразмерная мишень. Обширная наша пресса, от столицы до окраин, немедля запестрела традиционными заголовками: «В кривом зеркале», «Ложным курсом», «Сквозь тёмные очки», «Мели и рифы мысли», «Разве они такие, мурманские рыбаки?», «Такая книга не нужна!», «Кого спасаете, Владимов?».

Не следует думать, однако, что только «правая» пресса, она же «охранительная», поучаствовала в этом кошачьем концерте. Даже, как ни странно, совсем крайние правые от травли воздержались: к примеру, Вс. Кочетов в своём «Октябре» не дал ругательной рецензии, предпочёл бы, по слухам, «спокойно-объективную» – возможно, из спортивного благородства, которое, говорят, было ему присуще: его роман «Чего же ты хочешь?» и мои «Три минуты» были самыми читаемыми в годы 1970–71; соперничество обязывает к джентльменству.

Остальная королевская рать, равно и правая, и левая, без долгих околичностей дала мне почувствовать, что я не угодил ни тем, ни другим. И, как объяснил мне впоследствии один сведущий человек, и те, и другие решили мною

пожертвовать, то есть излупцевать так наглядно, чтобы власть оценила их умение самим наводить порядок в своём литературном хозяйстве. Некий редактор из правых, до которого происходящее дошло не сразу, даже воскликнул в простодушии: «Э, да они же своего бьют!» О том, чтоб поберечь опальный журнал, «своим» как-то не приходило в голову. Ничего не упускающая власть это заметила — и не отсюда ли пришла к своей гениальной идее: не директивой Политбюро убрать Твардовского, а руками самих писателей? На что тогда и существует могучий союз единомышленников, с его 42-головым Секретариатом!

Долго я не мог понять — и это не в шутку меня огорчало, — чем так раздражил я левую публику, среди которой много было и друзей «Нового мира», и поклонников «Большой руды». Мне казалось, я лишь продолжил то, что было заявлено в моей первой повести, но вдруг оказалось, что её противопоставляют роману — как образец истины, которой я изменил. Высказывания — по большей части кулуарные, но и не только кулуарные, — были в лучших случаях насмешливы, как о вещи несерьёзной, не удавшейся, в худших — применялась, бывало, лексика ненормативная, и прямо-таки с пеной у рта. Оказавшись меж двух огней, бываешь высечен за одно деяние дважды. Правые ругали за «очернительство», за то, что русский народ я представил быдлом, левые — за то, что я этот народ идеализирую, в чём выразился мой долго скрываемый и наконец-то обнаружившийся «конформизм» с властью. Одна взыскательная дама — из тех, о ком никогда не знаешь, что, собственно, обязывает их быть столь взыскательными и чем бы ещё, если не этой сверхвзыскательностью, они бы отличились, — углядела в романе, помимо «нападок на интеллигенцию», ещё и «один шаг до антисемитизма». Любопытно, что к этому «шагу» даже и не подберёшь глагола. Он сделан, этот «шаг»? Или его хотели сделать? Это походило бы на бой с тенью — если б хоть тень «еврейского вопроса» промелькнула в матросских кубриках, в диалогах моих бичей.

Фронт моих не-поклонников простёрся широко — от Софронова, поместившего в своём «Огоньке» рецензию наигнуснейшую и оскорбительную, и до... Солженицына. Да уж, до рязанского нашего кумира, которому я, с чувствами самыми почтительными, послал журнальные оттиски. Своё неприятие романа он предпочёл выразить

публично – оставив письмо в открытом конверте с надписью «Г.Владимову через "Новый мир"». Возможно, входило в планы Александра Исаевича наставить новомирцев на «правильный курс». Это его право. Но тогда и моё право – привести здесь это письмо полностью:

18.11.69

Дорогой Георгий Николаевич!

Начал я Ваш роман просто с наслаждением: какая лёгкость рисунка, полёт пера, какая непринуждённость языка и жаргона! И особенно мне понравилось, что Ваш герой бросает море: вот сейчас-то он на суше хватит, голубчик, узнает, насколько здесь серьёзней.

И вдруг – он возвращается на море... И я – сразу скис: этого мне не одолеть. При нынешнем моём кризисном состоянии – особенно, да и вообще не одолеть... Даже если Вы там нащупаете (очевидно) социальные язвы – слишком много приходится платить за такелаж и солёные брызги.

Будущее (и прошлое, и настоящее) России – на суше. Рыболовный дальний флот – аппендикс, уродство из-за погубленных рек и озёр. Морская тема не может, по-моему, сказаться ни на общественном, ни на нравственном, ни на эстетическом развитии России – или во всяком случае вырастет не сейчас, а когда мы действительно будем заселять сибирское северное побережье. Морская тема – боковой переулок, и именно потому я не в силах в него свернуть... Всё самое героическое, что может произойти сегодня на море, – не интересно для нашей духовной истории.

Простите! Пожалуйста, не обижайтесь!

Может быть, я не прав. Может быть, много важных открытий у Вас там дальше, но мне этого не одолеть. Для меня «Большая руда» всё равно будет на первом месте.

Крепко дружески жму руку!

Ваш

А. Солженицын

Мне казалось тогда – и сейчас кажется, что письмо это в принципе – невозможно. В том смысле, что не мог один писатель написать такое другому писателю. Ни Чехов, ни Толстой, ни Горький, наверное, никогда бы не написали младшему коллеге, что не смогли его прочесть. Не смогли – так и говорить не о чем. А тем паче – о том, что нечитанное и писать не следовало. Тут можно сколь угод-

но спорить и даже иронизировать: если море — «боковой переулок» нашей духовной истории, то раковая больница — что же, её столбовая дорога? Однако ж сказанное не кем-то, но Солженицыным, было мне слишком тяжким приговором, который я не счёл возможным от кого-либо утаить. Мне, собственно, и не оставалось иного после открытого конверта. У людей, чьим мнением я дорожил, оно вызывало удивление, иногда оторопь. Вспоминалось «ногою твёрдой стать при море» и прочее из русской классики, где, по правде сказать, морская тема никогда не состояла в первом эшелоне, но всё же не отвергалась как чуждая и неинтересная для России.

Нашлись, однако, два человека, которым это невозможное письмо понравилось. Андрей Тарковский нашёл его «талантливым», коль скоро автор «прекрасно всего себя выразил». Для великого режиссёра это, наверное, было достоинством первого ряда. Критик Лев Аннинский нашёл в письме тот резон, что русский человек по преимуществу человек сухопутный, тогда как, скажем, англичанин — тот безусловный моряк. Объясняется это, верно, дислокацией империи: российская прирастает близлежащей сушей, британская — за морями, так что желание обозреть её непременно связано с такелажем и солёными брызгами. Я думаю, что так оно и есть, и поэтому-то имперское сознание так легко согласилось с продажей Аляски по сниженной цене: двадцать два километра Берингова пролива делали её какой-то «не родной», не способной когда-нибудь прирасти кровно.

Быть может, есть резон в словах о «нынешнем моём кризисном состоянии»; они, судя по дате письма, относились к исключению Солженицына из «говённого» (его эпитет) Союза писателей, но, сказать шире, дело-то шло — о состоянии общества. Мой старший друг, кинорежиссёр Василий Ордынский, мудро заметил мне: «Вещь у тебя вышла цельная, гармоничная, а состояние-то у всех — раздрызганное...» Действительно, всего год прошёл, как танки маршала Гречко залязгали на улицах Праги; такое унижение нации — не той, на которую напали, а той, от чьего имени это сделали, — даром же не проходит, нужно же на чём-то или на ком-то сорвать обиду. Это был ключ к правде, но ещё не вся она.

Старательно расписывая такелаж и солёные брызги, я ни сном ни духом не подозревал, что создаю аллегорию.

Аллегорию об... эмиграции. То, что наш многопушечный бриг – СССР – повреждён гибельно и хорошо протекает, это признавали многие, разница же была в том, что все, кто населял его палубы, каюты и кубрики, разделились, как это и бывает при кораблекрушении, на «корабельщиков» и «шлюпочников». Первые считают, что надо оставаться на судне и бороться за его плавучесть, вторые – что надо его покинуть и отплыть подальше от затягивающей воронки. Правота тех и других относительна, и чьи шансы предпочтительней, зависит, разумеется, от конкретных обстоятельств.

Так вот, если рассматривать «Три минуты молчания» как аллегорию, тогда большинство моих читателей, принявших роман, следовало бы зачислить в безусловные «корабельщики», всех же не принявших – в «шлюпочники». А большинство «шлюпочников» составляла интеллигенция. Даже и те, кто эмигрировать не собирались или по разным причинам не могли, всё же хотели, чтобы сама эмиграция была оправдана в принципе. В «Трёх минутах молчания» она вроде бы осуждалась, там ведь у меня «дед» говорит кепу: «...можно ли так себя терять, как ты потерял? Зачем ты шлюпочную пробил, когда судно ещё на плаву и его спасать нужно и на нём спасаться?» А так как эмиграция была по преимуществу еврейская, то вот откуда и взялся мой «один шаг до антисемитизма». А я-то голову ломал! Кстати, та взыскательная дама со временем втянулась в крутое православие, стала русее всех русских и думать забыла насчёт эмиграции. Эмигрантом, точнее изгнанником, стал автор – по душевному складу скорее «корабельщик».

В это самое время так называемый «широкий читатель», который себя отнюдь не рассматривал в рамках аллегории, выстраивался в библиотечные очереди и, не надеясь уже дождаться книжного издания, нёс новомирские комплекты в переплётную. Своим не замороченным разумом он оценил мой трижды неодолимый роман как более или менее достоверное повествование о людях моря, имеющих столько же притязаний на изображение их в литературе, сколько и все иные россияне самых разных профессий и мест проживания. Этот читатель имел свободу полагать, что главное действие происходит в душе человека и в его взаимоотношениях с ближними, а сценическая площадка может быть любая...

Как ни смешны все благоглупости, какие может обрушить на автора наша директивная критика и наш литературный и окололитературный beau monde, а они своё дело делают. Накал страстей был такой, что издательство «Советская Россия», продержав рукопись четыре года и отвергнув её, применило к автору санкцию чрезвычайную — отказалось платить причитавшиеся ему деньги, ещё того свирепее — потребовало вернуть аванс. Я, впрочем, уже привык, что со мною может быть поступлено, как ни с кем другим. Однако ж и в случае обратном поступили тоже не как с другими: когда появился на Западе «Верный Руслан», не стали принуждать к покаянию в «Литгазете», а сочли разумным пригласить автора «вернуться в советскую литературу», приоткрыв ему двери московского «Современника». Таким чудесным образом публикация на Западе подтолкнула публикацию в отечестве.

Однако за семь лет у автора накопились свои претензии к роману, а сверх того были надежды восстановить, хотя бы отчасти, выгрызенное цензурой и, напротив, опустить места, служившие вынужденно связками разорванному тексту. В издании «Современника» это не сбылось — тому самому автору, от которого только и требовали «коренной переработки», теперь и на шаг не дали отступить от журнальной версии, с которой новый цензор сверялся чуть не по каждому слову. Сейчас кажется фантастикой, какие препоны могла поставить автору цензура, чтоб выхолостить его сочинение до совершенной стерильности: почему это матрос в одну ночь проматывает все заработанные деньги? почему столько пьют? почему говорят «уродоваться» — вместо «работать» или, на худой конец, «вкалывать»? почему экипаж такой недружный? почему о женщинах говорят неуважительно и своих жён подозревают в измене? Даже и то могли подчеркнуть красным, что выловленную рыбу смывало в шпигаты, — нехорошо, непорядок. Особо ревнительно выхлёстывали «абстракцию», каковым термином принято было у нас клеймить даже начатки духовности, пробуждение интереса к смыслу жизни и к её тайнам, ко всему, что хоть немного приподнимается над интересами рабочими и бытовыми.

Версия, в полной мере авторская, предстаёт российскому читателю лишь здесь, под этой обложкой. До этого она выходила под маркой «Посева», но в Россию поступала в таких микродозах, что практически осталась незамеченной.

По крайней мере, ещё в 1990 году, в первый мой приезд на родину, читатели приносили мне на предмет автографа ущербные изделия «Современника» либо всё те же, аккуратно переплетённые, десятилетиями хранимые, новомирские комплекты. Пользуюсь случаем принести этим верным читателям искреннюю благодарность.

Может быть, сейчас, когда смысл аллегории утрачен и сама она мало кому придёт на ум, можно трезвее оценить наконец то, что я и хотел сказать о людях, с которыми Бог привёл вместе пережить долгое зимнее плаванье.

Г. Владимов

Нидернхаузен, июнь 1997

ПРИМЕЧАНИЯ

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

Первая публикация – в журнале «Новый мир», 1969, № 7–9. Первое отдельное изд. – М., «Современник», 1976. Роман подвергся разносной критике еще до окончания публикации: первые отклики появились в мурманских и калининградских газетах после выхода 7-го и 8-го номеров «Нового мира». По выходе № 9 подключились газеты центральные – «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Водный транспорт», журнал «Огонек».

Отдельные положительные отзывы и обсуждение в Центральном Доме литераторов, многолюдное и бурное, судьбы романа не облегчили.

В 1973 г. издательство «Советская Россия», одобрившее рукопись и продержавшее ее после этого четыре года, неожиданно предъявило автору новые требования, вплоть до сокращения текста почти наполовину. Автор с этими требованиями согласиться не мог, рукопись забрал и дожидался еще три года издания в «Современнике» (1976), которое явилось почти идентичным публикации в «Новом мире».

Издания исправленные и дополненные – изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1982, 1986.

Переводы – на английский, венгерский, итальянский, польский, французский и чешский языки.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

Роман

Владимов Г. Н.

В 57 Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2: Три минуты молчания: Роман/М.: «NFQ/2Print», 1998. 398 с.

ISBN 5-900041-03-4 (Т.2)

ISBN 5-900041-01-8

Том включает в себя первый роман Георгия Владимова «Три минуты молчания», появившийся в конце 60-х годов накануне разгрома «Нового мира» А.Твардовского. Ужесточение литературной «политики» привело к тому, что роман, ставший одной из любимых и самых читаемых книг в стране, подвергся разносной критике, по существу – травле, а в связи с вынужденным отъездом автора за границу, изъят из обихода российского читателя и лишь теперь возвращается в золотой фонд русской прозы. Роман сохраняет обаяние как правдивое и захватывающее повествование о людях моря и полном опасностей океанском плавании (автор принимал в нем участие отнюдь не в качестве пассажира), и как исполненное тревожных предчувствий раздумье о судьбе всей страны и о частных судьбах «шестидесятников» – последних романтиков советской эпохи.

ББК 84 (2Рос=Рус)6

Георгий Николаевич
Владимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Том второй

✦

Редактор *Е. Дворецкая*

Технический редактор *В. Кулагина*

Верстка *Н. Преображенская*

Корректор *Т. Томашевская*

✦

Издат. лицензия ЛП № 050053 от 31 октября 1997 г.

Сдано в набор 27.10.97. Подписано к печати 12.03.98.
Формат 84x108 1/32. Бумага тип. Гарнитура «Миниатюр».
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 22,07.
Тираж 10 000 экз. Заказ 3571.

АОЗТ «NFQ/2Print»
117303, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ППП «Типография “Наука”»
Академиздатцентр РАН
121099, Москва, Шубинский пер., 6